



Кемеровский государственный университет культуры и искусств

Университет Культуры

Литературно-художественный журнал

№ 1–2/2014

Кемерово 2014





Редакционный совет

Е. Л. Кудрина – ректор Кемеровского государственного университета культуры и искусств, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник культуры Российской Федерации.

А. В. Шунков – проректор по научной и инновационной деятельности, кандидат филологических наук, доцент.

В. И. Бедин – советник при ректорате, профессор, заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Редакционная коллегия

И. А. Куралов – главный редактор, член Союза писателей России, заместитель председателя Союза писателей Кузбасса, руководитель литературной студии КемГУКИ, лауреат премии имени В. Д. Фёдорова.

В. С. Ерёмченко – член Союза писателей России, доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников.

М. В. Литовченко – заведующая кафедрой русского языка и литературы КемГУКИ, кандидат филологических наук, доцент.

Е. Л. Мироненко – доцент кафедры литературы и русского языка, кандидат филологических наук.

А. А. Лушпей – старший преподаватель кафедры литературы и русского языка.

Издание осуществлено в рамках проекта «Русский язык в пространстве межкультурных коммуникаций», реализуемого кафедрой литературы и русского языка КемГУКИ.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации **ПИ № ТУ 42-00219**, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области от **07 мая 2010 г.**

Цена свободная

Редактор *О. В. Шомшина*
Компьютерная верстка *М. Б. Сорокиной*

Подписано в печать 12.12.2014. Бумага офсетная. Гарнитура «Times New Roman».

Уч.-изд. л. 24,1. Усл. печ. л. 32,3. Тираж 500 экз. Заказ № 1008.

Издательство КемГУКИ: 650029, г. Кемерово,

ул. Ворошилова, 19. Тел. 73-45-83.

E-mail: izdat@kemguki.ru

ISSN 2079-1917

© Кемеровский государственный
университет культуры и искусств, 2014
© И. А. Куралов, А. В. Шунков, составление, 2014
© Коллектив авторов, 2014



Содержание

<i>Екатерина Кудрина. Журнал открытий</i>	4
Поэзия	
<i>Максимилиан Волошин. Изгнанники, скитальцы и поэты</i>	6
<i>Данило Кулиняк. Данило Братковский. Поэма. Авторизованный перевод с украинского</i> <i>Николая Дорожкина</i>	43
<i>Иосиф Куралов. В пространстве чувствовалась сила</i>	57
<i>Владимир Ерёмченко. Нас освящает Невечерний Свет</i>	63
<i>Юрий Михайлов. Я помню тот чудесный миг</i>	68
<i>Дмитрий Филиппенко. В ладонях мы любовь хранили</i>	73
<i>Алевтина Константинова. Время никогда не остановится</i>	78
Проза	
<i>Николай Дорожкин. Между Непалом и Таймыром. Сборник</i>	82
<i>Владимир Мазаев. Три рассказа сибирячки. Туонельский лебедь. Повесть. Грозовая аномалия. Повесть. Потеснись, завалинка! Миниатюры</i>	128
Публицистика	
<i>Николай Дорожкин. Загадочная русская душа. Как Боян растекался мыслию по дре- ву. Апрельский аврал 1961 года. Размышления после Дня науки</i>	221
Изобразительное искусство	
<i>Акварели Максимилиана Волошина</i>	42
<i>Людмила Оленич. Три сезона кузбасских художников</i>	236
История литературы и искусства	
<i>Максимилиан Волошин. Автобиография. О самом себе. Голоса поэтов. Суриков. Материалы для биографии</i>	239
История отечества	
<i>Николай Дорожкин. Кто кого побил на поле Куликовом? Скифская война, или Про- странство и Время как оружие</i>	271

Журнал открытий



Наш литературно-художественный журнал «Университет Культуры», несмотря на его пока еще юный возраст, вполне можно назвать журналом открытий. Тому немало подтверждений.

Ведь именно мы впервые на русском языке напечатали роман живого классика болгарской литературы Николы Инджова «По следам норвежца». А после публикации писатели Кузбасса, преподаватели нашего и других кемеровских вузов, читатели журнала встретились с Николой Инджовым в формате видеоконференции, которая позволила общаться аудитории с автором, задать ему вопросы, поинтересоваться его планами.

Журнал открывает не только неизвестные произведения известных авторов, но и имена, о которых еще вчера не слышал никто. Мы не знаем, станут ли они профессиональными писателями, но то, что уже написано ими, имеет оче-

видные признаки таланта и по этой причине опубликовано нашим журналом.

Открытие нового становится традицией журнала. Продолжается она и в новом номере.

В отличие от предыдущих номеров, в этом – две цветные вкладки. На одной из них мы публикуем акварели выдающегося русского поэта, художника, художественного и литературного критика Максимилиана Волошина. Эти акварели хранятся в коллекции известной деятельницы российской культуры, генерального директора Всероссийской Государственной библиотеки иностранной литературы, доктора педагогических наук Екатерины Юрьевны Гениевой. Ранее эти акварели в литературных журналах не публиковались. Мы благодарны Екатерине Юрьевне за возможность совершить такое открытие.

Естественно, мы не могли не вспомнить и другие произведения Максимилиана Волошина. В журнале представлены его стихи и проза, дающие широкое представление об одном из лучших поэтов и художников России.

Другие открытия этого номера – произведения современного поэта, прозаика, публициста, ученого, историка Николая Дорожкина. Николай Яковлевич – наш земляк, родился и вырос в кузбасском городе Мариинске. Человек энциклопедических знаний, в одном лице физик и лирик, выпускник физико-технического факультета Томского университета, кандидат технических наук, действительный член Российской академии космонавтики, член Союза писателей России и Союза журналистов России, известный русский писатель и ученый, он предложил нашему журналу два никогда и нигде ранее не публиковавшихся произведения: быль «Жарким летом на болоте» и авторизованный перевод с украинского поэмы «Данило Братковский», автор которой – украинский поэт Данило Кулиняк. Здесь же мы публикуем и другие произведения Николая Дорожкина – художественные, публицистические и даже чисто научные, желая лучше познакомить нашего читателя с этим талантливым писателем и мыслителем.

Еще одно открытие номера – неизвестный ранее вариант повести нашего земляка, кемеровчанина Владимира Мазаева, которого его коллеги давно и заслуженно считают класси-

ком современной русской литературы. Повесть «Туонельский лебедь» ранее публиковалась под иным названием и с несколько иным вариантом текста. Владимир Михайлович предложил нашему журналу неизвестный ранее вариант своей повести. Представлена в номере и настоящая классика Владимира Мазаева – его потрясающие «Три рассказа сибирячки» и другие произведения.

Публикуются и новые тексты и репродукции картин известных и неизвестных кузбасских писателей и художников. Это тоже – наши открытия. И мы желаем успехов нашим талантливым авторам.

Успехов желаем и главному редактору журнала «Университет Культуры», нашему выпускнику, члену Союза писателей России, лауреату премии имени В. Д. Федорова, поэту Иосифу Куралову. Недавно стало известно, что он награжден высокой государственной наградой – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Этой наградой оценена его деятельность за последние годы, в том числе и в должности главного редактора нашего журнала. Что позволяет нам говорить о правильном выборе пути журнала «Университет Культуры». Присоединяемся к поздравлениям губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева и начальника Департамента культуры и национальной политики Л. Т. Зауэрвайн. Желаем новых достижений в осуществлении творческих проектов, в том числе и наших совместных.

Наш журнал особенный. Его читают в библиотеках и в Интернете. Благодаря этому он хорошо известен как в Кузбассе и России, так и за рубежом. Поэтому мы считаем его не просто журналом, но инструментом ведения культурной политики Кузбасса и нашего вуза в России и за ее рубежами.

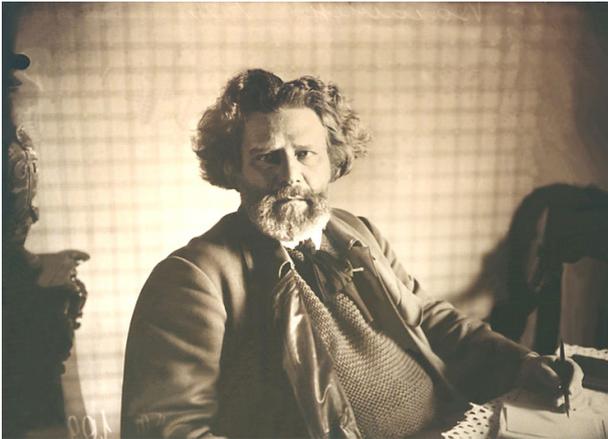
Своей непохожестью журнал привлекает внимание многих авторов, рукописи которых сейчас находятся в портфеле редакции. Из них мы выбираем достойные. Лучших авторов представляем широко, объемно, чтобы дать о них как можно более полное представление.

Таково наше издание. Мы дорожим его лица необщим выраженьем и стремимся и впредь оставаться журналом открытий.

Данный выпуск журнала посвящен 45-летию Кемеровского государственного университета культуры и искусств.

*Екатерина Кудрина,
ректор Кемеровского государственного университета
культуры и искусств, доктор педагогических наук, профессор,
почетный учитель Кузбасса, заслуженный работник культуры
Российской Федерации*

Максимилиан Волошин



Волошин Максимилиан Александрович (настоящая фамилия Кириенко-Волошин) – русский поэт, переводчик, художник-пейзажист, художественный критик. Многим его произведениям присущи сыновнее чувство природы как космического целого, трагическое переживание исторических судеб России: сборники «Иверни» (1918), «Демоны глухонемые» (1919), книги стихов «Неопалимая Купина», цикл философических поэм «Путиами Каина» (1921–1923), поэма «Россия» (1924). Много путешествовал: исходил всю Россию, Европу, был в Египте. В годы Гражданской войны пытался примирить враждующие стороны: спасал в своём доме красных от белых и белых от красных. Стихи этих лет отличаются трагизмом. Был также художником-акварелистом. Его произведения экспонированы в Феодосийской картинной галерее имени И. К. Айвазовского.

Изгнанники, скитальцы и поэты

*Corona Astralis*¹

1

В мирах любви неверные кометы,
Сквозь горних сфер мерцающий
стожар –
Клубы огня, мятущийся пожар,
Вселенских бурь блуждающие светы

Мы вдаль несем... Пусть темные
планеты
В нас видят меч грозящих миру кар, –
Мы правим путь свой к солнцу, как
Икар,
Плащом ветров и пламенем одеты.

Но – странные, – его коснувшись, прочь
Стремим свой бег: от солнца снова
в ночь –
Вдаль, по путям парабол
безвозвратных...

Слепой мятеж наш дерзкий дух стремится
В багровой тьме закатов незакатных...
Закрыт нам путь проверенных орбит!

2

Закрыт нам путь проверенных орбит,
Нарушен лад молитвенного строя...
Земным богам земные храмы строя,
Нас жрец земли земле не причастит.

¹ *Corona Astralis* – Звездный венок (лат.). – Ред.

Безумьем снов скитальный дух повит.
Как пчелы мы, отставшие от роя!..
Мы беглецы, и сзади наша Троя,
И зарево наш парус багрянит.

Дыханьем бурь таинственно влекомы,
По свиткам троп, по росстаням дорог
Стремимся мы. Суров наш путь и строг.

И пусть кругом грохочут глухо громы,
Пусть веет вихрь сомнений и обид, –
Явь наших снов земля не истребит!

3

Явь наших снов земля не истребит:
В парче лучей истают тихо зори,
Журчанье утр сольется в днѣвном хоре,
Ущербный серп истлеет и сгорит,

Седая рябь в алмазы раздробит
Снопы лучей, рассыпанные в море,
Но тех ночей, разверстых на Фаворе,
Блеск близких Солнц в душе

не победит.

Нас не слепят полдневные экстазы
Земных пустынь, ни жидкие топазы,
Ни токи смол, ни золото лучей.

Мы шелком лун, как ризами, одеты,
Нам ведом день немеркнувших ночей, –
Полночных Солнц к себе нас манят

светы.

4

Полночных Солнц к себе нас манят

светы...

В колодцах труб пыливый тонет

взгляд.

Алмазный бег вселенные стремят:
Системы звезд, туманности, планеты,

От Альфы Пса до Веги и от Беты
Медведицы до трепетных Плеяд –

Они простор небесный бороздят,
Творя во тьме свершенья и обеты.

О, пыль миров! О, рой священных пчел!
Я исследил, измерил, взвесил, счел,
Дал имена, составил карты, сметы...

Но ужас звезд от знанья не потух.

Мы помним все: наш древний, темный

дух,

Ах, не крещен в глубоких водах Леты!

5

Ах, не крещен в глубоких водах Леты
Наш звездный дух забвением ночей!
Он не испил от Орковых ключей,
Он не принес подземные обеты.

Не замкнут круг. Заклятья недопеты...
Когда для всех сапфирами лучей
Сияет день, журчит в полях ручей, –
Для нас во мгле слепые бродят светы,

Шуршит тростник, мерцает тьма болот,
Напрасный ветер свивает и несет
Осенний рой теней Персефонеи,

Печальный взор вперяет в ночь Пелид...
Но он еще тоскливей и грустнее,
Наш горький дух... И память нас томит.

6

Наш горький дух... (И память нас
томит...)

Наш горький дух пророс из тьмы,
как травы,

В нем навий яд, могильные отравы.

В нем время спит, как в недрах

пирамид.

Но ни порфир, ни мрамор, ни гранит
Не создадут незыблемой оправы
Для роковой, пролитой в вечность лавы,
Что в нас свой ток невидимо струит.

Без радости, без слез, без сожаленья
Следить людей напрасные волненья,
Без темных дум, без мысли «почему?»,

Вне бытия, вне воли, вне желанья,
Вкусив покой, неведомый тому,
Кому земля – священный край изгнанья.

11

Кому земля – священный край изгнанья,
Того простор полей не веселит,
Но каждый шаг, но каждый миг таит
Иных миров в себе напоминая.

В душе встают неясные мерцанья,
Как будто он на камнях древних плит
Хотел прочесть священный алфавит
И позабыл понятий начертанья.

И бродит он в пыли земных дорог –
Отступник жрец, себя забывший бог,
Следя в вещах знакомые узоры.

Он тот, кому погибель не дана,
Кто, встретив смерть, в смущенье
клонит взоры,
Кто видит сны и помнит имена.

12

Кто видит сны и помнит имена,
Кто слышит трав прерывистые речи,
Кому ясны идущих дней предтечи,
Кому поет влюбленная волна;

Тот, чья душа землей убелена,
Кто бремя дум, как плащ, принял
за плечи,
Кто возжигал мистические свечи,
Кого влекла Изиды пелена.

Кто не пошел искать земной улады
Ни в плясках жриц, ни в оргиях менад,
Кто в чашу нег не выжал виноград,

Кто, как Орфей, нарушив все преграды,
Все ж не извел родную тень со дна, –
Тому в любви не радость встреч дана.

13

Тому в любви не радость встреч дана,
Кто в страсти ждал не сладкого
забвенья,
Кто в ласках тел не видел утоленья,
Кто не испил смертельного вина.

Страшится он принять на рамена
Ярмо надежд и тяжкий груз свершенья,
Не хочет уз и рвет живые звенья,
Которыми связует нас Луна.

Своей тоски – навеки одинокой,
Как зыбь морей пустынной и широкой, –
Он не отдаст. Кто оцет жаждал – тот

И в самый миг последнего страданья
Не мирный путь блаженства изберет,
А темные восторги расставанья.

14

А темные восторги расставанья,
А пепел грез и боль свиданий – нам.
Нам не ступать по синим лунным
льнам,
Нам не хранить стыдливого молчанья.

Мы шепчем всем ненужные признанья,
От милых рук бежим к обманному снам,
Не видим лиц и верим именам,
Томясь в путях напрасного скитанья.

Со всех сторон из мглы глядят на нас
Зрачки чужих, всегда враждебных глаз.
Ни светом звезд, ни солнцем
не согреты,

Стремим свой путь в пространствах
вечной тьмы,
В себе несем свое изгнанье мы –
В мирах любви неверные кометы!

15

В мирах любви, – неверные кометы, –
 Закрыт нам путь проверенных орбит!
 Явь наших снов земля не исстребит, –
 Полночных Солнц к себе нас манят
 светы.

Ах, не крещен в глубоких водах Леты
 Наш горький дух, и память нас томит.
 В нас тлеет боль внежизненных обид –
 Изгнанники, скитальцы и поэты!

Тому, кто зряч, но светом дня ослеп,
 Тому, кто жив и брошен в темный склеп,
 Кому земля – священный край изгнания,

Кто видит сны и помнит имена, –
 Тому в любви не радость встреч дана,
 А темные восторги расставанья!
 1909

Mare internum²

Я – солнца древний путь от красных
 скал Тавриза
 До темных врат, где стал Гераклов
 град – Кадикс.
 Мной круг земли омыт, в меня впадает
 Стикс,
 И струйный столб огня на мне сверкает
 сизо.

Вот рдяный вечер мой: с зубчатого
 карниза
 Ко мне склонился кедр и бледный
 тamarиск.
 Широко шелестит фиалковая риза,
 Заливы черные сияют, как оникс.
 Люби мой долгий гул, и зыбких
 взводней змеи,

И в хорах волн моих напевы Одиссеи.
 Вдохну в скитальный дух я власть
 дерзать и мочь,
 И обоймут тебя в глухом моем просторе
 И тысячами глаз взирающая Ночь,
 И тысячами уст глаголящее Море.
 1907

* * *

Безумья и огня венец
 Над ней горел.
 И пламень муки,
 И ясновидящие руки,
 И глаз невидящих свинец,
 Лицо готической сивиллы,
 И строгость щек, и тяжесть век,
 Шагов ее неровный бег –
 Все было полно вещей силы.
 Ее несвязные слова,
 Ночным мерцающие светом,
 Звучали зовом и ответом.
 Таинственная синева
 Ее отметила среди живших...
 ...И к ней бежал с надеждой я
 От снов дремучих бытия,
 Меня отсюда обступивших.
 1911

* * *

Александре Михайловне Петровой

Быть черною землей. Раскрыв покорно
 грудь,
 Ослепнуть в пламени сверкающего ока
 И чувствовать, как плуг, вонзившийся
 глубоко
 В живую плоть, ведет священный путь.
 Под серым бременем небесного
 покрыва
 Пить всеми ранами потоки темных вод.

² *Mare internum* – Внутреннее море (лат.). – Ред.



И, не противясь древней силе,
Что нас к одной тоске вела,
Покорно обнажив тела,
Обряд любви мы сотворили.

Не верил в чудо смерти жрец,
И жертва тайны не страшилась,
И в кровь вино не претворилось
Во тьме кощунственных сердец.
1910

В цирке

Андрею Белому

Клоун в огненном кольце...
Хохот мерзкий, как проказа,
И на гипсовом лице
Два горящих болью глаза.

Лязг оркестра, свист и стук.
Точно каждый озабочен
Заглушить позорный звук
Мокро хлещущих пощечин.

Как огонь, подвижный круг...
Люди – звери, люди – гады,
Как стоглазый, злой паук,
Заплетают в кольца взгляды.

Все крикливо, все пестро...
Мне б хотелось вызвать снова
Образ бледного, больного,
Грациозного Пьеро...

В лунном свете с мандолиной
Он поет в своем окне
Песню страсти лебединой
Коломбине и луне.

Хохот мерзкий, как проказа;
Клоун в огненном кольце.
И на гипсовом лице
Два горящих болью глаза...
1903

* * *

В эту ночь я буду лампадой
В нежных твоих руках...
Не разбей, не дыши, не падай
На каменных ступенях.

Неси меня осторожней
Сквозь мрак твоего дворца, –
Станут биться тревожней,
Глуше наши сердца...

В пещере твоих ладоней –
Маленький огонек –
Я буду пылать иконней...
Не ты ли меня зажег?
1914

* * *

В янтарном забытьи полуденных минут
С тобою схожие проходят мимо жены,
В душе взволнованной торжественно
поют
Фанфары Тьеполо и флейты
Джорджионе.

И пышный снится сон: и лавры, и акант
По мраморам террас, и водные аркады,
И парков замкнутых душистые ограды
Из горьких буксусов и плющевых
гирлянд.

Сменяя тишину веселым звоном пира,
Проходишь ты, смеясь, меж перьев и
мечей,
Меж скорбно-умных лиц и блещущих
речей
Шутов Веласкеса и дураков Шекспира...

Но я не вижу их... Твой утомленный лик
Сияет мне один на фоне Ренессанса,
На дымном золоте испанских майолик,
На синей зелени персидского фаянса...
1913





Тьма прыщует молнии в зыбучее
стекло...

Мысли заряд волевой равен
замолчанным строфам.

То, Землю древнюю тревожа долгим
зовом,
Обида вещая раскинула крыло
Над гневным Сурожем и пенистым
Азовом.

Вытравить из словаря слова «Красота»,
«Вдохновенье» –
Подлый жаргон рифмачей... Поэту –
понятыя:
Правда, конструкция, план,
равносильность,
сжатость и точность.

1907

* * *

День молочно-сизый расцвел и замер,
Побелело море, целуя отмель.
Всхлипывают волны, роняют брызги
Крылья тумана...
Обнимает сердце покорность. Тихо...
Мысли замирают. В саду маслина
Простирает ветви к слепому небу
Жестом рабыни...
1910

В трезвом, тугом ремесле –
вдохновенье и честь поэта:
В глухонемом веществе заострять
запредельную зоркость.

2

Творческий ритм от весла, гребущего
против течения,
В смутах усобиц и войн постигать
целокупность.
Быть не частью, а всем; не с одной
стороны, а с обеих.
Зритель захвачен игрой – ты не актер и
не зритель,
Ты соучастник судьбы, раскрывающий
замысел драмы.

* * *

Дети солнечно-рыжего меда
И коричнево-красной земли –
Мы сквозь плоть в темноте проросли,
И огню наша сродна природа.
В звездном улье века́ и века́
Мы, как пчелы у чресл Афродиты,
Вьемся, солнечной пылью повиты,
Над огнем золотого цветка.
1910

В дни революции быть Человеком,
а не Гражданином:
Помнить, что знамена, партии и
программы
То же, что скорбный лист для врача
сумасшедшего дома.
Быть изгоем при всех царях и
народоустройствах:
Совесь народа – поэт. В государстве
нет места поэту.

1925

Доблесть поэта

Править поэму, как текст заокеанской
депешей:
Сухость, ясность, нажим – начеку
каждое слово.
Букву за буквой врубать на твердом и
тесном камне:
Чем скупее слова, тем напряженней их
сила.

* * *

Если сердце горит и трепещет,
Если древняя чаша полна...
Горе! Горе тому, кто расплещет
Эту чашу, не выпив до дна.



Ты – слезный свет во тьме железной,
Ты – горький звездный сок. А я –
Я – помутневшие края
Зари слепой и бесполезной.

И жаль мне ночи... Оттого ль,
Что вечных звезд родная боль
Нам новой смертью сердце скрепит?

Как синий лед мой день... Смотри!
И меркнет звезд алмазный трепет
В безбольном холоде зари.
1907

* * *

Как мне близок и понятен
Этот мир – зеленый, синий,
Мир живых прозрачных пятен
И упругих, гибких линий.

Мир стряхнул покров туманов.
Четкий воздух свеж и чист.
На больших стволах каштанов
Ярко вспыхнул бледный лист.

Небо целый день моргает
(Прыснет дождик, брызнет луч),
Развивает и свивает
Свой покров из сизых туч.

И сквозь дымчатые щели
Потускневшего окна
Бледно пишет акварели
Эта бледная весна.
1901 или 1902

* * *

Как некий юноша, в скитаньях
без возврата
Иду из края в край и от костра к костру...
Я в каждой девушке предчувствую
сестру
И между юношей ищу напрасно брата.

Щемящей радостью душа моя объята;
Я верю в жизнь и в сон, и в правду,
и в игру
И знаю, что приду к отцовскому шатру,
Где ждут меня мои и где я жил когда-то.

Бездомный долгий путь назначен мне
судьбой...
Пускай другим он чужд... я не зову
с собой –
Я странник и поэт, мечтатель и
прохожий.

Любимое со мной. Минувшего не жаль.
А ты, что за плечом, – со мною тайно
схожий, –
Несбыточной мечтой сильнее жги и
жалы!

1913

Кастаньеты

Е. С. Кругликовой

Из страны, где солнца свет
Льется с неба жгуч и ярк,
Я привез себе в подарок
Пару звонких кастаньет.
Беспокойны, говорливы,
Отбивая звонкий стих, –
Из груди сухой оливы
Сталью вырезали их.
Щедро лентами одеты
С этой южной пестротой:
В них живет испанский зной,
В них сокрыт кусочек света.
И когда Париж огромный
Весь оденется в туман,
В мутный вечер, на диван
Лягу я в мансарде темной,
И напомнят мне оне
И волны морской извивы,
И дрожащий луч на дне,

И узлистый ствол оливы,
 Вечер в комнате простой,
 Силуэт седой колдуньи
 И красавицы-плясуньи
 Стан и гибкий и живой,
 Танец быстрый, голос звонкий,
 Грациозный и простой,
 С этой южной, с этой тонкой
 Стрекозиной красотой.
 И танцоры идут в ряд,
 Облитые красным светом,
 И гитары говорят
 В такт трескучим кастаньетам,
 Словно щелканье цикад
 В гучий полдень жарким летом.
 1901

Космос

1

Созвездьями мерцавшее чело,
 Над хаосом поднявшись, отразилось
 Обратной тенью в безднах нижних вод.
 Разверзлись два смеженных ночью
 глаза,
 И брызнул свет. Два огненных луча,
 Скрестясь в воде, сложились
 в гексаграмму.
 Немотные раздвинулись уста,
 И поднялось из недр молчанья Слово.
 И сонмы духов вспыхнули окрест
 От первого вселенского дыханья.
 Десница подняла материки,
 А левая распределила воды,
 От чресл размножилась земная тварь,
 От жил – растения, от кости – камень,
 И двойники – небесный и земной –
 Соприкоснулись влажными ступнями.
 Господьдохнул на преисподний лик,
 И нижний оборотень стал Адамом.
 Адам был миром, мир же был Адам.
 Он мыслил небом, думал облаками,
 Он глиной плотствовал, растеньем рос.

Камнями костенел, зверел страстями,
 Он видел солнцем, грезил сны луной,
 Гудел планетами, дышал ветрами,
 И было всё – вверх, как и внизу –
 Исполнено высоких соответствий.

2

Вневременье распалось в дождь веков,
 И просочились тысячи столетий.
 Мир конусообразною горой
 Покоился на лоне океана.
 С высоких башен, сложенных людьми
 Из жирной глины тучных межиречий,
 Себя забывший Каин разбирал
 Мерцающую клинопись созвездий.
 Кишело небо звездными зверьми
 Над храмами с крылатыми быками.
 Стремилось солнце огненной стезей
 По колеям ристалищ Зодиака.
 Хрустальные вращались небеса,
 И напрягались бронзовые дуги,
 И двигались по сложным ободам
 Одна в другую вставленные сферы.
 И в дельтах рек – Халдейский звездочет
 И пастухи Иранских плоскогорий,
 Прислушиваясь к музыке миров,
 К гуденью сфер и к тонким звездным
 звонам,
 По вещим сочетаниям светил
 Определяли судьбы царств и мира.
 Все в преходящем было только знак
 Извечных тайн, начертанных на небе.

3

Потом замкнулись прорези небес,
 Мир стал ареной, залитою солнцем,
 Палестрою для Олимпийских игр
 Под куполом из черного эфира,
 Опертым на Атлантово плечо.

На фоне винно-пурпурного моря
 И рыжих охр зазубренной земли
 Играя медью мускулов, атлеты
 Крылатым взмахом умощенных тел

Металли в солнце бронзовые диски
Гудящих строф и звонких теорем.

И не было ни индиговых далей,
Ни уводящих в вечность перспектив:
Все было осязаемо и близко –
Дух мыслил плоть и чувствовал объем.
Мял глину перст и разум мерил землю.

Распоры кипарисовых колонн,
Вощенный кедр закуранных часовен,
Акрополи в звериной пестроте,
Линялый мрамор выкрашенных статуй
И смуглый мрамор липких алтарей,
И ржа и бронза золоченых кровель,
Чернь, киноварь, и сепия, и желчь –
Цвета земли понятны были глазу,
Ослепшему к небесной синеве,
Забывшему алфавиты созвездий.

Когда ж душа гимнастов и борцов
В мир довременной ночи отзывалась
И погружалась в исступленный сон,
Сплетенье рук и напряженье связок
Вязало торсы в стройные узлы
Трагических метопов и эподов
Эсхилowych и Фидиевых строф.
Мир отвечал размерам человека,
И человек был мерой всех вещей.

4

Сгустилась ночь. Могильники земли
Извергли кости праотца Адама
И Каина. В разрыве облаков
Был виден холм и три креста – Голгофа.
Последняя надежда бытия.

Земля была недвижимым темным шаром.
Вокруг нее вращались семь небес,
Над ними небо звезд и Первосилы,
И все включал пресветлый Эмпирей.

Из-под Голгофы внутрь земли воронкой
Вел Дантов путь к сосредоточью зла.

Бог был окружностью, а центром –
Дьявол,
Распяленный в глубинах вещества.

Неистовыми взлетами порталов
Прочь от земли стремился человек.
По ступеням империй и соборов,
Небесных сфер и адовых кругов
Шли кольчатые звенья иерархий
И громоздились Библии камней –
Отображенья десяти столетий:
Циклоны веры, шквалы ересей,
Смерчи народов – гунны и монголы,
Набаты, интердикты и костры,
Сто сорок пап и шестьдесят династий,
Сто императоров, семьсот царей.
И сквозь мираж расплавленных оконниц
На золотой геральдике щитов –
Труба Суда и черный луч Голгофы.
Вселенский дух был распят на кресте
Исхлестанной и изъязвленной плоти.

5

Был литургийно строен и прекрасен
Средневековый мир. Но Галилей
Сорвал его, зажал в кулак и землю
Взвил кубарем по вихревой петле
Вокруг безмерно выросшего Солнца.
Мир распахнулся в центильоны раз.
Соотношенья дико изменились,
Разверзлись бездны звездных Галактей,
И только Богу не хватило места.
Пытливый дух апостола Фомы
Воскресшему сказавший: «Не поверю,
Покамест пальцы в раны не вложу», –
Разворотил тысячелетья веры.

Он очевидность выверил числом,
Он цвет и звук проверил осязаньем,
Он взвесил свет, измерил бег луча,
Он перенес все догмы богословья
На ипостаси сил и вещества.
Материя явилась бесконечной,
Единосушной в разных естествах,



отметил огненным разрывом.
 Дитя растет, и в нем растет иной,
 не женщиной рожденный, непокорный,
 но связанный твоей тоской упорной –
 твоею вязью родовой.
 Я знаю, мать, твой каждый час – утрата.
 Как ты во мне, так я в тебе распят.
 И нет любви твоей награды и возврата,
 затем, что в ней самой – награда и
 возврат!

1917

* * *

Мир закутан плотно
 В сизый саван свой –
 В тонкие полотна
 Влаги дождевой.

В тайниках сознания
 Травки проросли.
 Сладко пить дыханье
 Дождевой земли.

С грустью принимаю
 Тягу древних змей:
 Медленную Майю
 Торопливых дней.

Затерявшись где-то,
 Робко верим мы
 В непрозрачность света
 И в прозрачность тьмы.
 1905

* * *

Мой пыльный пурпур был в лоскутках,
 Мой дух горел: я ждал вестей,
 Я жил на людных перепутьях,
 В толпе базарных площадей.
 Я подходил к тому, кто плакал,
 Кто ждал, как я... Поэт, оракул –
 Я толковал чужие сны...

И в бледных бороздах ладоней
 Читал о тайнах глубины
 И муках длительных агоний.
 Но не чужую, а свою
 Судьбу искал я в снах бездомных
 И жадно пил от токов темных,
 Не причащаясь бытию.
 И среди ладоней неисчетных
 Не находил еще такой,
 Узор которой в знаках четных
 С моей бы совпадал рукой.
 1913

* * *

Мы заблудились в этом свете.
 Мы в подземельях темных. Мы
 Один к другому, точно дети,
 Прижались робко в безднах тьмы.

По мертвым рекам всплески весел;
 Орфей родную тень зовет.
 И кто-то нас друг к другу бросил,
 И кто-то снова оторвет...

Бессильна скорбь. Беззвучны крики.
 Рука горит еще в руке.
 И влажный камень вдалеке
 Лепечет имя Эвридики.
 1905

* * *

Мысли поют: «Мы устали... мы
 стынем...».

Сплю. Но мой дух неспокоен во сне.
 Дух мой несется по снежным пустыням
 В дальней и жуткой стране.

Дух мой с тобою в качанье вагона.
 Мысли поют и поют без конца.
 Дух мой в России... Ведет Антигона
 Знойной пустыней слепца.



Дух мой несется, к земле припадая,
Вдоль по дорогам распятой страны.
Тонкими нитями в сердце вращая,
В мире клубятся кровавые сны.

Дух мой с тобою уносится... Иней
Стекла вагона заткал, и к окну,
К снежной луне гиацинтово-синей
Вместе с тобою лицом я прильну.

Дух мой с тобою в качанье вагона.
Мысли поют и поют без конца...
Горной тропею ведет Антигона
В знойной пустыне слепца...
1906

* * *

Над головою поднимая
Стопы цветов, с горы идет...
Пришла и смотрит...

Кто ты?

– Майя.

Благословляю твой приход.
В твоих глазах безумство. Имя
Звучит, как мира вечный сон...
Я наважденьями твоими
И зноем солнца ослеплен.
Войди и будь.
Я ждал от рока
Вестей. И вот приносишь ты
Подсолнечник и ветви дрока –
Полудня жаркие цветы.
Дай разглядеть себя... Волною
Прямым, лоснящихся волос
Прикрыт твой лоб, над головою
Сиянье вихрем завилось.
Твой детский взгляд улыбкой сужен,
Недетской грустью тронут рот.
И цепью маленьких жемчужин
Над бровью выступает пот.
Тень золотистого загара
На разгоревшихся щеках...
Так ты бежала... вся в цветах...
Вся в нимбах белого пожара...

Кто ты? Дитя? Царевна? Паж?
Тебя такой я принимаю:
Земли полуденный мираж,
Иллюзию, обманность... – Майю.
1914

* * *

Поликсене Сергеевне Соловьевой

Над горестной землей – пустынной и
огромной, –
Больной прерывистым дыханием
ветров,
Безумной полднями, облитой кровью
темной
Закланных вечеров, –

Свой лик, бессмертною пылающий
тоскою,
Сын старший Хаоса, несешь ты в славе
дня!
Пустыни времени лучатся под стезею
Всезрящего огня.

Колючий ореол, гудящий в медных
сферах,
Слепящий вихрь креста – к закату
клонишь ты
И гасишь темный луч в безвыходных
пещерах
Вечерней пустоты.

На грани диких гор ты пролил пурпур
гневный,
И ветры – сторожа покинутой земли –
Кричат в смятении, и моря вопль
напевный
Теперь растет вдали.

И стали видимы среди сумеречной сини
Все знаки скрытые, лежащие окрест:
И письма дорог, начертанных
в пустыне,

И в небе числа звезд.
1907

После долгих лет скитанья
Нити темного познания
Привели меня назад...
1903 или 1904

Облака

Гряды холмов отусклил марный иней.
Громады туч по сводам синих дней
Ввысь громоздят (всё выше, всё тесней)
Клубы свинца, седые крылья пиний,

Столбы снегов, и гроздьями глициний
Свисают вниз... Зной глуше и тусклей.
А по степям несется бег коней,
Как темный лёт разгневанных Эриний.

И сбросил Гнев тяжелый гром с плеча,
И, ярость вод на долы расточа,
Отходит прочь. Равнины медно-буры.

В морях зари чернеет кровь богов.
И дымные встают меж облаков
Сыны огня и сумрака – Ассуры.
1909

* * *

Обманите меня... но совсем, навсегда...
Чтоб не думать – зачем, чтоб не

помнить – когда...
Чтоб поверить обману свободно,

без дум,
Чтоб за кем-то идти в темноте наобум...
И не знать, кто пришел, кто глаза

завязал,
Кто ведет лабиринтом неведомых зал,
Чье дыханье порою горит на щеке,
Кто сжимает мне руку так крепко

в руке...
А очнувшись, увидеть лишь ночь

и туман...
Обманите и сами поверьте в обман.

1911

Одиссей в Киммерии

Лидии Дм. Зиновьевой-Аннибал

Уж много дней рекою, Океаном
Навстречу дню, расправив паруса,
Мы бег стремим к неотвратимым
странам.

Усталых волн всё глуше голоса,

И слепнет день, мерцая оком рдяным.
И вот вдали синееет полоса
Ночной земли и, слитые с туманом,
Излоги гор и скудные леса.

Наш путь ведет к божницам
Персефоны,
К глухим ключам, под сени скорбных
рощ

Раин и ив, где папоротник, хвощ

И черный тисс одели леса склоны...
Туда идем, к закатам темных дней
Во сретенье тоскующих теней.
1907

Осенью

Рдяны краски,
Воздух чист;
Вьется в пляске
Красный лист, –
Это осень,
Далей просинь,
Гулы сосен,
Веток свист.

Ветер клонит
Ряд раки,т
Листья гонит
И вихрит

Вихрей рати,
И на скате
Перекаати-
Поле мчит.

Воды мутит,
Гомит гам,
Рыщет, крутит
Здесь и там –
По нагорьям,
Плоскогорьям,
Лукоморьям
И морям.

Заверть пыли
Чрез поля
Вихри взвили,
Пепеля;
Чьи-то руки
Напружили,
Точно луки,
Тополя.

В море прянет –
Вир встает,
Воды стянет,
Загудёт,
Рвет на части
Лодок снасти,
Дышит в пасти
Пенных вод.

Ввысь, в червлёный
Солнца диск –
Миллионы
Алых брызг!
Гребней взвивы,
Струй отливы,
Коней гривы,
Пены взвизг...
1907

* * *

Отроком строгим бродил я
По терпким долинам
Киммерии печальной,
И дух мой незрячий
Томился
Тоскою древней земли.
В сумерках, в складках
Глубоких заливов,
Ждал я призыва и знака,
И раз пред рассветом,
Встречая восход Ориона,
Я понял
Ужас ослепшей планеты,
Сыновность свою и сиротство...
Бесконечная жалость и нежность
Перепополняют меня.
Я безысходно люблю
Человеческое тело. Я знаю
Пламя,
Тоскующее в разделенности тел.
Я люблю держать в руках
Сухие горячие пальцы
И читать судьбу человека
По линиям вещей ладоней.
Но мне не дано радости
Замкнуться в любви к одному:
Я покидаю всех и никого не забываю.
Я никогда не нарушил того, что растёт,
Не сорвал ни розу
Нераспустившегося цветка:
Я снимаю созревшие плоды,
Облегчая отягощенные ветви.
И если я причинял боль,
То потому только,
Что жалостлив был в те мгновенья,
Когда надо быть жестоким,
Что не хотел заиграть до смерти тех,
Кто, прося о пощаде,
Всем сердцем молили
О гибели...
1911

Памяти В. К. Цераского

Он был из тех, в ком правда малых
истин

И веденье законов естества
В сердцах не угашают созерцанья
Творца миров во всех его делах.

Сквозь тонкую завесу числ и формул
Он Бога выносил лицом к лицу,
Как все первоучители науки:
Пастер и Дарвин, Ньютон и Паскаль.

Его я видел изможденным, в кресле,
С дрожащими руками и лицом
Такой прозрачности, что он светился
В молочном нимбе лунной седины.

Обонпол слов таинственно мерцали
Водяные литовские глаза,
Навеки затаившие сиянья
Туманностей и звездных Галактей.

В речах его улавливало ухо
Такую бережность к чужим словам,
Ко всем явлениям преходящей жизни,
Что умиление сжимало грудь.

Таким он был, когда на Красной Пресне,
В стенах Обсерватории – один
Своей науки неприкосновенность
Он защищал от тех и от других.

Правительство, бездарное и злое,
Как все правительства, прогнало прочь
Ее жидителя и воспретило
Творцу творить, ученому учить.

Российская усобица застигла
Его в глухом прибрежном городке,
Где он искал безоблачного неба
Ясней, южней и звездней, чем в Москве.

Была война, был террор, мор и голод...
Кому был нужен старый звездочет?
Как объяснить уездному завпроду
Его права на пищевой паек?

Тому, кто первый впряг в работу солнце,
Кто новым звездам вычислил пути...
По пуду за вселенную, товарищ!..
Даешь жиры астроному в паек?

Высокая комедия науки
В руках невежд, армейцев и дельцов...
Разбитым и измученным на север
Уехал он, чтоб дома умереть.

И радостною грустью защемила
Сердца его любивших весть о том,
Что он вернулся в звездную отчизну
От тесных дней, от душных дел земли.
1925

* * *

Пламенный истлел закат...
Стелющийся дым костра,
Тлеющего у шатра,
Вызовет тебя назад...
Жду тебя, дальний брат, –
Брошенная сестра...

Топот глухих копыт
Чуткий мой ловит слух...
Всадник летит, как дух,
Взмыленный конь храпит...

Дышит в темноте верблюды,
Вздрагивают бубенцы,
Тонкие свои венцы
Звезды на песке плетут...
Мысли мои – гонцы
Вслед за конем бегут...

1916

И запах душных трав, и камней отблеск
ртутный,
И злобный крик цикад, и клекот хищных
птиц –

Мутят сознание. И зной дрожит от
крика...

И там – во впадинах зияющих глазниц
Огромный взгляд растоптанного Лица.
1907

Полынь

Костер мой догорал на берегу пустыни.
Шуршали шелесты струистого стекла.
И горькая душа тоскующей полыни
В истомной мгле качалась и текла.

В гранитах скал – надломленные
крылья.
Под бременем холмов – изогнутый
хребет.
Земли отверженной – застывшие
усилья.
Уста Праматери, которым слова нет!

Дитя ночей призывных и пытливых,
Я сам – твои глаза, раскрытые в ночи
К сиянию древних звезд, таких же
сиротливых,
Простерших в темноту зовущие лучи.

Я сам – уста твои, безгласные
как камень!

Я тоже изнемог в оковах немоты.
Я свет потухших солнц, я слов
застывший пламень,
Незрячий и немой, бескрылый, как и ты.

О, мать-невольница! На грудь твоей
пустыни
Склоняюсь я в полночной тишине...

И горький дым костра, и горький дух
полыни,
И горечь волн – останутся во мне.
1907

Портрет

Я вся – тона жемчужной акварели,
Я бледный стебель ландыша лесного,
Я легкость стройная обвисшей мягкой
ели,
Я изморозь зари, мерцанье дна
морского.

Там, где фиалки и бледное золото
Скованы в зори ударами молота,
В старых церквах, где полет тишины
Полон сухим ароматом сосны, –

Я жидкий блеск икон в дрожащих
струйках дыма,
Я шелест старины, скользящей мимо,
Я струйки белые угаснувшей метели,
Я бледные тона жемчужной акварели.
1903

Поэту

1

Горн свой раздуй на горе,
в пустынном месте над морем
Человеческих множеств, чтоб голос
стихии широко
Душу крылил и качал, междометья
людей заглушая.

2

Остерегайся друзей, ученичества шума
и славы.
Ученики развинтят и вывихнут мысли и
строфы.
Только противник в борьбе может быть
истинным другом.

3

Слава тебя прикует к глыбам твоих же
творений.
Солнце мертвых – живым – она
намогильный камень.

4

Будь один против всех: молчаливый,
тихий и твердый.
Воля утеса ломает развернутый натиск
прибоя.
Власть затаенной мечты покрывает
смятение множеств.

5

Если тебя невзначай современники
встретят успехом –
Знай, что из них никто твоей не
осмыслил правды.
Правду оплатят тебе клеветой,
ругательством, камнем.

6

В дни, когда Справедливость ослепшая
меч обнажает,
В дни, когда спазмы Любви
выворачивают народы,
В дни, когда пулемет вещает
о сущности братства, –

7

Верь в человека. Толпы не уважай и
не бойся.
В каждом разбойнике чти распятого
в безднах Бога.
1925

* * *

Пройдемте по миру, как дети,
Полюбим шуршанье осок
И терпкость прошедших столетий,
И едкого знания сок.

Таинственный рой сновидений
Овеял расцвет наших дней.
Ребенок – непризнанный гений
Средь буднично-серых людей.
1903

* * *

Пурпурный лист на дне бассейна
Сквозит в воде, и день погас...
Я полюбил благоговейно
Текущий мрак печальных глаз.

Твоя душа таит печали
Пурпурных снов и горьких лет.
Ты отошла в глухие дали, –
Мне не идти тебе вослед.

Не преступлю и не нарушу,
Не разомкну условный круг.
К земным огням слепую душу
Не изведу для новых мук.

Мне не дано понять, измерить
Твоей тоски, но не предаю –
И буду ждать, и буду верить
Тобой не сказанным словам.
1910

Пустыня

Монмартр... Внизу ревет Париж –
Коричневато-серый, синий...
Уступы каменистых крыш
Слились в равнины темных линий.
То купол зданья, то собор
Встает из синего тумана.
И в ветре чутся простор
Волны соленой океана...
Но мне мерещится порой,
Как дальних дней воспоминанье,
Пустыни вечной и немой
Ненарушимое молчанье.

Раскалена, обнажена,
Под небом, выцветшим от зноя,
Весь день без мысли и без сна
В полубреду лежит она,
И нет движенья, нет покоя...
Застывший зной. Устал верблюд.
Пески. Извивы желтых линий.
Миражи бледные встают –
Галлюцинации Пустыни.
И в них мерещатся зубцы
Старинных башен. Из тумана
Горят цветные изразцы
Дворцов и храмов Тамерлана.
И тени мертвых городов
Уныло бродят по равнине
Неостывающих песков,
Как вечный бред больной Пустыни.

Царевна в сказке, – словом властным
Степь околдованная спит,
Храня проклятой жабы вид
Под взглядом солнца, злым и
страстным.
Но только мертвый зной спадет
И брызнет кровь лучей с заката –
Пустыня вспыхнет, оживет,
Струями пламени объята.
Вся степь горит – и здесь, и там,
Полна огня, полна движений,
И фиолетовые тени
Текут по огненным полям.
Да одиноко городища
Чернеют жутко среди степей:
Забывших дел, умолкших дней
Ненарушимые кладбища.
И тлеет медленно закат,
Усталый конь бодрее скачет,
Копыта мерно говорят,
Степной джюсан звенит и плачет.
Пустыня спит, и мысль растет...
И тихо всё во всей Пустыне,
Широкий звездный небосвод
Да аромат степной полыни...
1901

* * *

Равнина вод колыхается широко,
Обведена серебряной каймой.
Мутится мыс, зубчатую стеной
Ступив на зыбь расплавленного тока.

Туманный день раскрыл золотое око,
И бледный луч, расплесканный волной,
Скользит, дробясь над мутной глубиной,
То колос дня от пажитей востока.

В волокнах льна златится бледный круг
Жемчужных туч, и солнце, как паук,
Дрожит в сетях алмазной паутины.

Вверх обрати ладони тонких рук –
К истоку дня! Стань лилией долины,
Стань стеблем ржи, дитя огня и глины!
1907

* * *

Раскрыв ладонь, плечо склонила...
Я не видал еще лица,
Но я уж знал, какая сила
В чертах Венерина кольца...

И раздвоенье линий воли
Сказало мне, что ты как я,
Что мы в кольце одной неволи –
В двойном потоке бытия.

И если суждены нам встречи
(Быть может, топоты погонь),
Я полюблю не взгляд, не речи,
А только бледную ладонь.
1910

Рождение стиха

Бальмонт

В душе моей мрак грозовой и пахучий...
Там вьются зарницы, как синие птицы...
Горят освещенные окна...
И тянутся длинные,



Протяжно-певучи
 Во мраке волокна...
 О, запах цветков, доходящий до крика!
 Вот молния в белом излучии...
 И сразу все стало светло и велико...
 Как ночь лучезарна!
 Танцуют слова, чтобы вспыхнуть

попарно

В влюбленном созвучии.
 Из недра сознания, со дна лабиринта
 Теснятся виденья толпой оробелой...
 И стих расцветает цветком гиацинта,
 Холодный, душистый и белый.
 1904

* * *

Священных стран
 Вечерние экстазы.
 Сверканье лат
 Поверженного Дня!
 В волнах шафран,
 Колышутся топазы,
 Разлит закат
 Озерами огня.

Как волоса,
 Волокна тонких дымов,
 Припав к земле,
 Синюют, лиловеют,
 И паруса,
 Что крылья серафимов,
 В закатной мгле
 Над морем пламенеют.

Излом волны
 Сияет аметистом,
 Струистыми
 Смарагдами огней...
 О, эти сны
 О небе золотистом!
 О, пристани
 Крылатых кораблей!..
 1907

* * *

Себя покорно предавая сжечь,
 Ты в скорбный дол сошла с высот
 слепую.

Нам темной было суждено судьбою
 С тобою на престол мучений лечь.

Напрасно обоюдоострый меч,
 Смирняя плоть, мы клали меж собою:
 Вкусив от мук, пылали мы борьбою
 И гасли мы, как пламя пчельных свеч...

Невольник жизни дольней – богомольно
 Целую край одежд твоих. Мне больно
 С тобой гореть, еще больней – уйти.

Не мне и не тебе елей разлуки
 Излечит раны страстного пути:
 Минутна боль – бессмертна жажда

муки!

1910

Северовосток

Да будет благословен приход
 твой – Бич Бога, Которому я служу,
 и не мне останавливать тебя.

*Слова Св. Лу, архиепископа
 Трусского, обращенные к Аттиле*

Расплясались, разгулялись бесы
 По России вдоль и поперек –
 Рвет и крутит снежные завесы
 Выстуженный Северовосток.

Ветер обнаженных плоскогорий,
 Ветер тундр, полесий и поморий,
 Черный ветер ледяных равнин,
 Ветер смут, побоищ и погромов,
 Медных зорь, багровых окоемов,
 Красных туч и пламенных годин.



Этот ветер был нам верным другом
 На распутье всех лихих дорог:
 Сотни лет мы шли навстречу выюгам
 С юга вдаль – на Северовосток.
 Войте, вейте, снежные стихии,
 Заметая древние гроба;
 В этом ветре вся судьба России –
 Страшная, безумная судьба.

В этом ветре – гнет веков свинцовых,
 Русь Малют, Иванов, Годуновых,
 Хищников, опричников, стрельцов,
 Свежевателей живого мяса –
 Чертогона, вихря, свистопляса –
 Быль царей и явь большевиков.

Что менялось? Знаки и возглавья?
 Тот же ураган на всех путях:
 В комиссарах – дурь самодержавья,
 Взрывы Революции – в царях.
 Вздеть на виску, выбить из подклетья,
 И швырнуть вперед через столетья
 Вопреки законам естества –
 Тот же хмель и та же трын-трава.

Ныне ль, даве ль? – все одно и то же:
 Волчьи морды, машкеры и рожи,
 Спертый дух и одичалый мозг,
 Сыск и кухня Тайных Канцелярий,
 Пьяный гик осатанелых тварей,
 Жгучий свист шпицрутенов и розг,
 Дикий сон военных поселений,
 Фаланстер, парадов и равнений,
 Павлов, Аракчеевых, Петров,
 Жутких Гатчин, страшных Петербургов,
 Замыслы неистовых хирургов
 И размах заплечных мастеров.

Сотни лет тупых и зверских пыток,
 И еще не весь развернут свиток,
 И не замкнут список палачей,
 Бред Разведок, ужас Чрезвычайек –
 Ни Москва, ни Астрахань, ни Яик
 Не видали времени горчей.

Бей в лицо и режь нам грудь ножами,
 Жги войной, усобьем, мятежами –
 Сотни лет навстречу всем ветрам
 Мы идем по ледяным пустыням –
 Не дойдем... и в снежной вьюге сгинем
 Иль найдем поруганным наш храм –
 Нам ли весить замысел Господний,
 Все поймем, все вынесем любя –
 Жгучий ветер полярной Преисподней –
 Божий Бич!- приветствую тебя!
 1920

Бехмет

Влачился день по выжженным лугам.
 Струился зной. Хребтов синели стены.
 Шли облака, взметая клочья пены
 На горный кряж. (Доступный
 чьим ногам?)

Чей голос с гор звенел сквозь
 знойный гам
 Цикад и ос? Кто мыслил перемены?
 Кто, с узкой грудью, с профилем гиены,
 Лик обращал навстречу вечерам?

Теперь на дол ночная пала птица,
 Край запада лудою распаля.
 И персть путей блуждает и томится...

Чу! В теплой мгле (померкнули поля...)
 Далеко ржет и долго кобылица.
 И трепетом отвечает земля.
 1909

* * *

Сквозь сеть алмазную зазеленел
 восток.
 Вдаль по земле, таинственной и
 строгой,
 Лучатся тысячи тропинок и дорог.
 О, если б нам пройти чрез мир одной
 дорогой!



Все видеть, все понять, все знать, все
 пережить,
 Все формы, все цвета вобрать в себя
 глазами.
 Пройти по всей земле горящими
 ступнями,
 Все воспринять и снова воплотить.
 1903 или 1904

* * *

Склоняясь ниц, овеян ночи синью,
 Доверчиво ищу губами я
 Сосцы твои, натертые полынью,
 О мать земля!

Я не просил иной судьбы у неба,
 Чем путь певца: бродить среди людей
 И растирать в руках колосья хлеба
 Чужих полей.

Мне не отказано ни в заблужденьях,
 Ни в слабости, и много раз
 Я угасал в тоске и в наслажденьях,
 Но не погас.

Судьба дала мне в жизни слишком
 много;
 Я ж расточал, что было мне дано:
 Я только гроб, в котором тело бога
 Погребено.

Добра и зла не зная верных граней,
 Бескрылая изнемогла мечта...
 Вином тоски и хлебом испытаний
 Душа сыта.

Благодарю за неотступность боли
 Путеводительной: я в ней сгорю.
 За горечь трав земных, за едкость
 соли –
 Благодарю!
 1910

Солнце

Святое око дня, тоскующий гигант!
 Я сам в своей груди носил твой
 пламень пленный,
 Пронизан зрением, как белый
 бриллиант,
 В багровой тьме рождавшейся
 вселенной.

Но ты, всезрящее, покинуло меня,
 И я внутри ослеп, вернувшись в чресла
 ночи.
 И вот простерли мы к тебе – истоку
 Дня –
 Земля – свои цветы и я – слепые очи.

Невозвратимое! Ты гаснешь в высоте,
 Лучи призывные кидая издалека.
 Но я в своей душе возжгу иное око
 И землю поведу к сияющей мечте!
 1907

* * *

Сочилась желчь шафранного тумана.
 Был стоптан стыд, притуплена
 любовь...
 Стихала боль. Дрожала зыбко бровь.
 Плыл горизонт. Глаз видел четко, пьяно.

Был в свитках туч на небе явлен вновь
 Грозящий стих закатного Корана...
 И был наш день – одна большая рана,
 И вечер стал – запекшаяся кровь.

В тупой тоске мы отвратили лица.
 В пустых сердцах звучало глухо: «Нет!»
 И, застонав, как раненая львица,

Вдоль по камням влача кровавый след,
 Ты на руках ползла от места боя,
 С древком в боку, от боли долго воя...
 1909





И с болью помнил профиль бледный,
Улыбку древних змийных губ, –
Так сохраняет горный дуб
До новых почек лист свой медный.
1910

Танах

Тихо, грустно и безгневно
Ты взглянула. Надо ль слов?
Час настал. Прощай, царевна!
Я устал от лунных снов.

Ты живеПредраассветной глубины,
Вкруг тебя в твоей пустыне
Расцветают вечно сны.

Много дней с тобою рядом
Я глядел в твое стекло.
Много грез под нашим взглядом
Расцвело и отцвело.

Все, во что мы в жизни верим,
Претворялось в твой кристалл.
Душен стал мне узкий терем,
Сны увяли, я устал...

Я устал от лунной сказки,
Я устал не видеть дня.
Мне нужны земные ласки,
Пламя алого огня.

Я иду к разгулам будней,
К шумам буйных площадей,
К ярким полымям полудней,
К пестроте живых людей...

Не царевич я! Похожий
На него, я был иной...
Ты ведь знала: я – Прохожий,
Близкий всем, всему чужой.

Тот, кто раз сошел с вершины,
С ледяных престолов гор,

Тот из облачной долины
Не вернется на простор.

Мы друг друга не забудем.
И, целуя дольний прах,
Отнесу я сказку людям
О царевне Таиах.
1905

* * *

Так странно, свободно и просто
Мне выявлен смысл бытия,
И скрытое в семени «я»,
И тайна цветенья и роста.
В растенье и в камне – везде,
В горах, в облаках, над горами
И в звере, и в синей звезде
Я слышу поющее пламя.
1912

Тангейзер

Смертный, избранный богиней,
Чтобы свергнуть гнет оков,
Проклинает мир прекрасный
Светлых эллинских богов.
Гордый лик богини гневной,
Бури яростный полет.
Полный мрак. Раскаты грома...
И исчез Венерин грот.
И певец один на воле,
И простор лугов окрест,
И у ног его долина,
Перед ним высокий крест.
Меркнут розовые горы,
Веет миром от лугов,
Веет миром от старинных
Острокрыших городков.
На холмах в лучах заката
Купы мирные дерев,
И растет спокойный, стройный,
Примирающий напев.



И чуть слышен вздох органа
В глубине резных церквей,
Точно отблеск золотистый
Умирающих лучей.
1901

* * *

Темны лики весны. Замутились влагой
долины,
Выткали синюю даль прутья сухих
тополей.
Тонкий снежный хрусталь опрозрачил
дальние горы.
Влажно тучнеют поля.

Свивши тучи в кудель и окутав горные
щели,
Ветер, рыдая, прядет тонкие нити
дождя.
Море глухо шумит, развивая древние
свитки
Вдоль по пустынным пескам.
1907

* * *

Теперь я мертв. Я стал строками книги
В твоих руках...
И сняты с плеч твоих любви вериги,
Но жгуч мой прах.
Меня отныне можно в час тревоги
Перелистать,
Но сохраняют всегда твои дороги
Мою печать.
Похоронил я сам себя в гробницы
Стихов моих,
Но вслушайся – ты слышишь пенье
птицы?
Он жив – мой стих!
Не отходи смущенной Магдалиной –
Мой гроб не пуст...
Коснись единый раз на миг единый
Устами уст.
1910

* * *

То в виде девочки, то в образе
старушки,
То грустной, то смеясь – ко мне
стучалась ты:
То требуя стихов, то ласки, то игрушки
И мне даря взамен и нежность, и цветы.

То горько плакала, уткнувшись мне
в колени,
То змейкой тонкою плясала на коврах...
Я знаю детских глаз мучительные тени
И запах ладана в душистых волосах.

Огонь какой мечты в тебе горит
бесплодно?
Лампада ль тайная? Смиренная
свеча ль?
Ах, все великое, земное безысходно...
Нет в мире радости светлее,
чем печаль!

1911

* * *

Фиалки волн и гиацинты пены
Цветут на взморье около камней.
Цветами пахнет соль...
Один из дней,
Когда не жаждет сердце перемены
И не торопит преходящий миг,
Но пьет так жадно златокудрый лик
Янтарных солнц, просвеченный сквозь
просинь.
Такие дни под старость дарит осень...
1926

* * *

Чем глубже в раковины ночи
Уходишь внутренней тропой,
Тем строже светит глаз слепой,
А сердце бьется одиноче...
1915

* * *

Эта светлая аллея
В старом парке – по горе,
Где проходит тень Орфея
Молчаливо на заре.

Дичась, безлюдует душа
И замирает не дыша
Клубами жертвенного дыма.
1913

Весь прозрачный – утром рано,
В белом пламени тумана
Он проходит, не помяв
Влажных стеблей белых трав.

* * *

Я глазами в глаза вникал,
Но встречал не иные взгляды,
А двоящиеся анфилады
Повторяющихся зеркал.

Час таинственных наитий.
Он уходит в глубь аллея,
Точно струн, касаясь нитей
Серебристых тополей.

Я стремился чертой и словом
Закрепить преходящий миг.
Но мгновенно плененный лик
Угасает, чтоб вспыхнуть новым.

Кто-то вздрогнул в этом мире.
Щебет птиц. Далекий ключ.
Как струна на чьей-то лире,
Зазвенел по ветке луч.

Я боялся, узнав – забыть...
Но в стремлении нет забвенья.
Чтобы вечно сгорать и быть –
Надо рвать без печали звенья.

Всё распалось. Мы приидем
Снова в мир, чтоб видеть сны.
И становится невидим
Бог рассветной тишины.
1905

Я пленен в переливных снах,
В завивающихся круженьях,
Раздробившийся в отраженьях,
Потерявшийся в зеркалах.
1915

* * *

Я быть устал среди людей,
Мне слышать стало нестерпимо
Прохожих свист и смех детей...
И я спешу, смущаясь, мимо,
Не подымая головы,
Как будто не привыкло ухо
К враждебным ропотам молвы,
Растущим за спиною глухо;
Как будто грязи едкий вкус
И камня подлого укус
Мне не привычны, не знакомы...
Но чувствовать еще больней
Любви незримые надломы
И медленный отлив друзей,
Когда, нездешним сном томима,

* * *

Маргарите Васильевне Сабашниковой

Я ждал страданья столько лет
Всей цельностью несознанного счастья.
И боль пришла, как тихий синий свет,
И обвилась вокруг сердца, как запястье.

Желанный луч с собой принес
Такие жгучие, мучительные ласки.
Сквозь влажную лучистость слез
По миру разлились невиданные краски.

И сердце стало из стекла,
И в нем так тонко пела рана:
«О, боль, когда бы ни пришла,
Всегда приходит слишком рано».
1903

АКВАРЕЛИ

Максимилиана Волошина

Экспозиция включает копии акварелей поэта, переводчика, эссеиста, искусствоведа, мыслителя, художника – **Максимилиана Александровича Волошина** (1877–1932), входящих в *личную коллекцию Екатерины Юрьевны Гениевой* – генерального директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино, доктора педагогических наук.

Из рассказа Екатерины Юрьевны:

«Эта небольшая коллекция акварелей принадлежала моей бабушке, Елене Васильевне Гениевой, которая была очень дружна с Максимилианом Александровичем Волошиным. Елена Васильевна вместе со всей семьей – мужем, профессором Николаем Николаевичем Гениевым, и двумя детьми провела несколько летних месяцев в гостеприимном доме Максимилиана в Коктебеле.

Теперь акварели представляют значительную художественную ценность, но тогда они были для Максимилиана Волошина всего лишь «открыточками – весточками», которыми он щедро одаривал своих корреспондентов, ни на секунду не задумываясь, что когда-нибудь они станут предметом поиска коллекционеров.

В акварелях важен не только рисунок, но и текст на обороте: порой он говорит о личности их создателя больше, чем долгие объяснения...»

Надписи сделаны рукой Волошина, что не только увеличивает ценность рисунков, но и наполняет их особой человеческой теплотой. Правда, эти автографы художника есть не на всех его работах. В нашей публикации они представлены рядом с рисунками, на обороте которых сделаны.

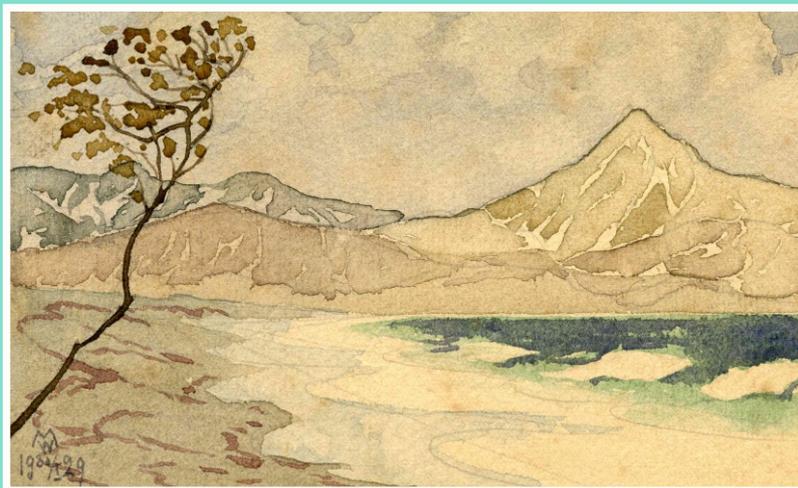


Акварели Максимилиана Володина

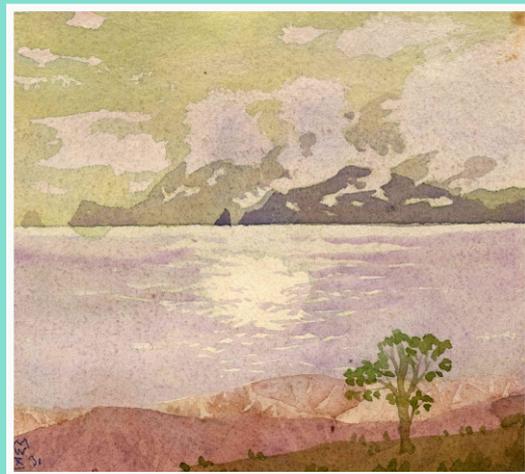
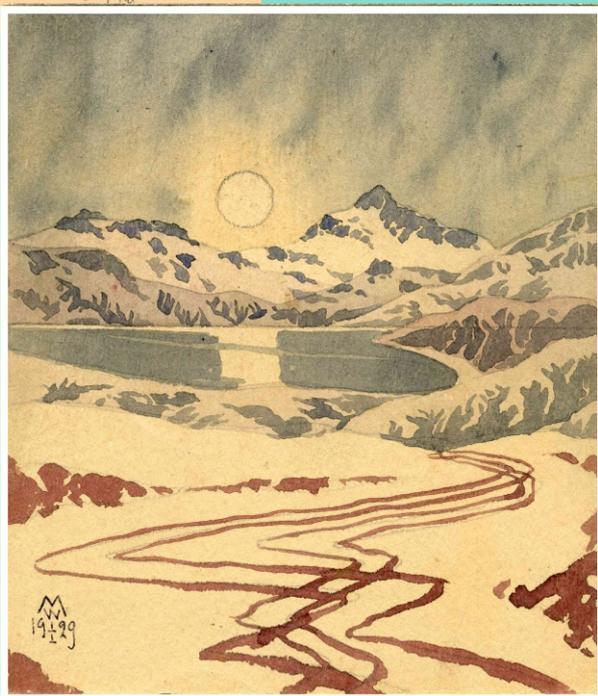


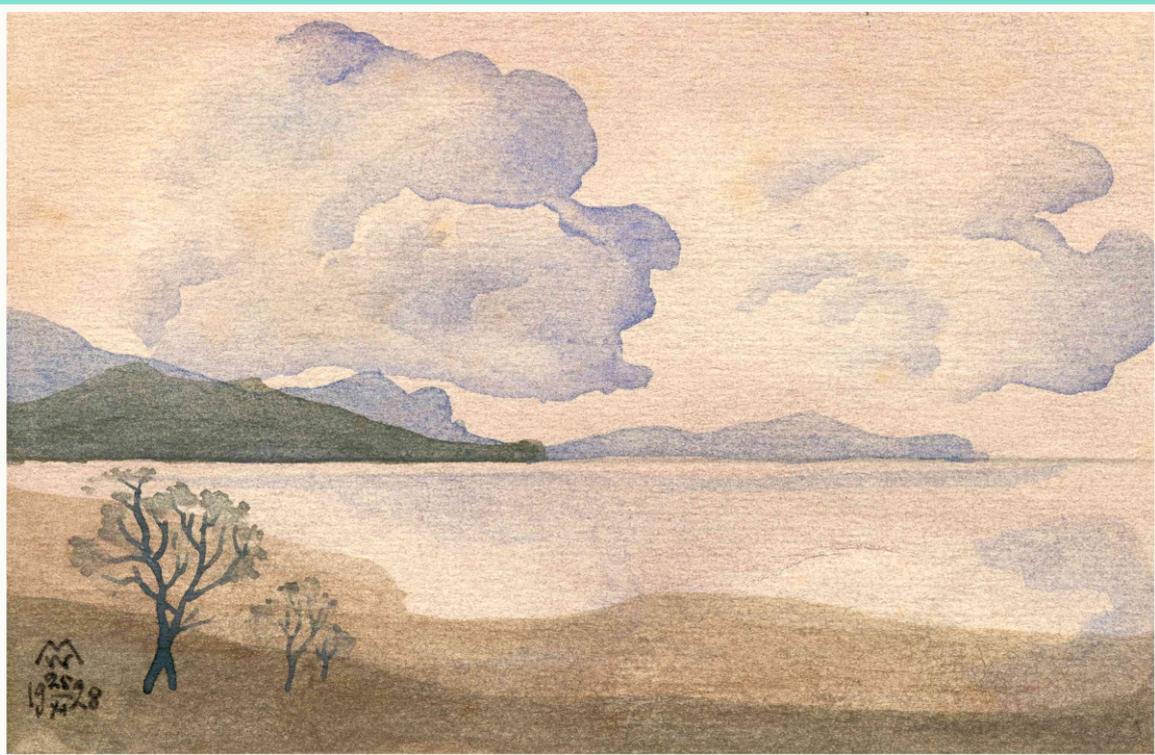
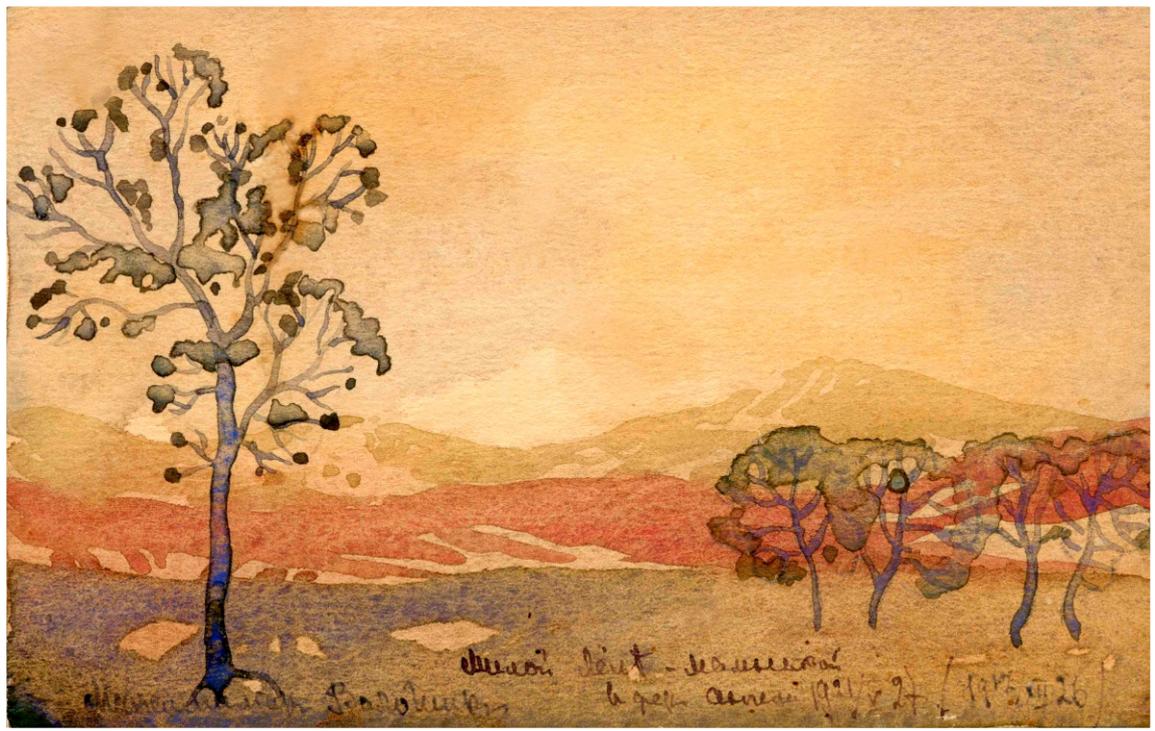
Х.В.,
 форте Шлава, Пасишветел
 Как много живем? Ждем мед
 в котелки в ажиотажу кифе-
 сиффо. Чуть дым ольм тифина
 и киффа зиса и оти алоди и
 оти колди. Мисери ва тифе
 и сифоди и сифи и сифоца.
 Ольм тифа мотим и фат-
 ам, мисе и фифоим воуце
 Дана
 Макс
 Сларца

Х.В.
 Форт Шлава, Пасишветел!
 Володина



19/IV/29,
 Шлава Дана,
 мисорадем тифа Р.К. и мисов
 фотам и мисо уфам
 тифа мисоремис димм миса
 ольм мисоремис. Мис тифа все
 фам, мисоремис ольм мисоремис
 фам, мисоремис мисоремис мисоремис
 мисоремис мисоремис мисоремис мисоремис
 мисоремис мисоремис мисоремис мисоремис
 мисоремис мисоремис мисоремис мисоремис
 Макс
 Сларца





Человек сестр. Ренди
а. Мотула

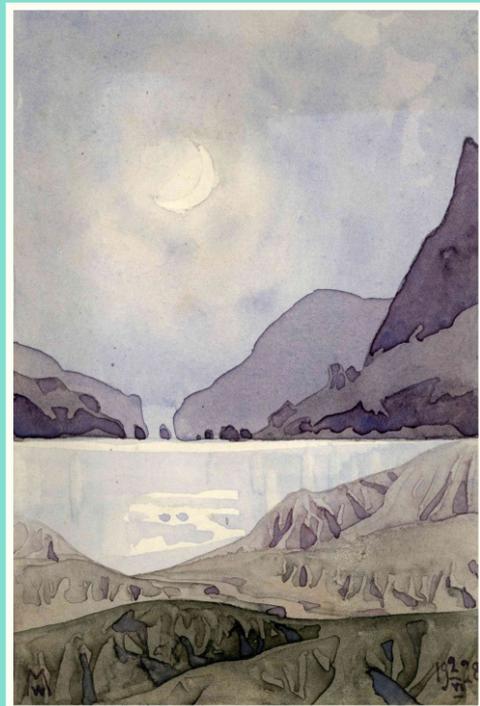
Человек



Человек сестр. Ренди, как всегда
прекрасно и в са. нонна, самураи мае
ни некое место. А во время мист и
Роскошь и хол. Воды немы абарам! же мае, студи
Март. Век. и дивны. тек. А воистинду он мае
не упрям. О чем думать мае и восторжен. О чем

Человек

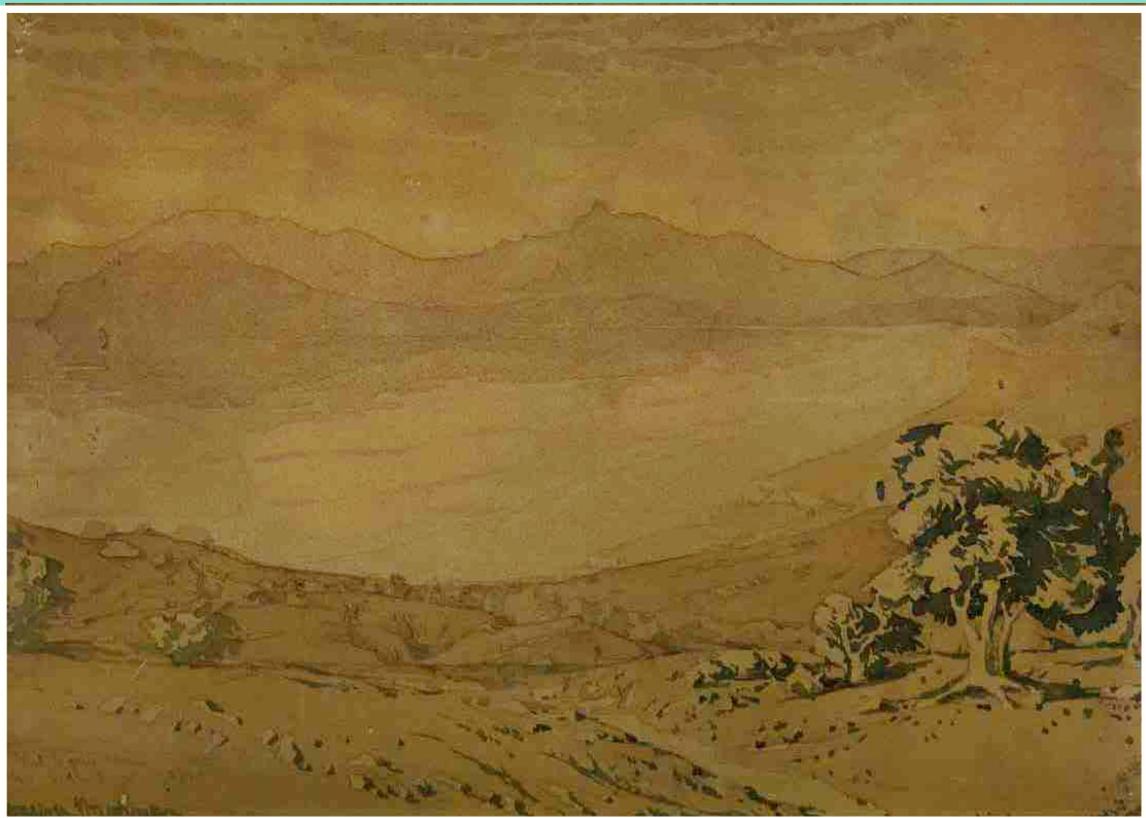
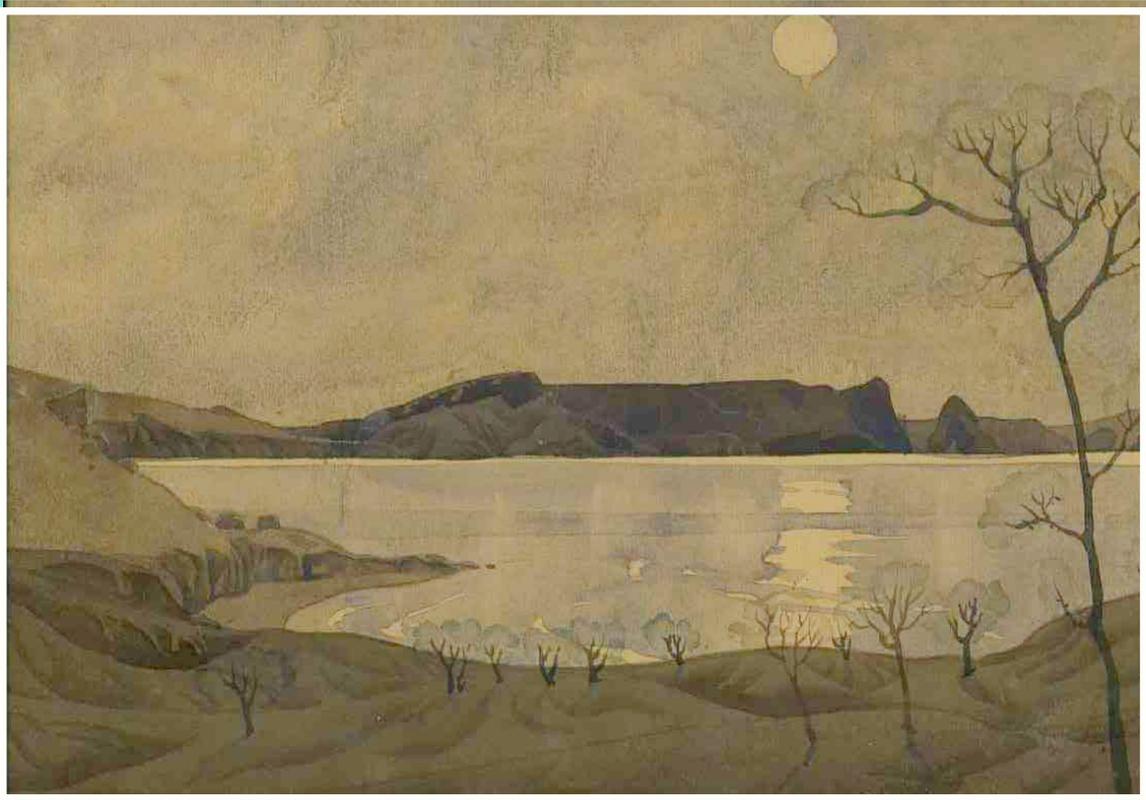
1914/28



X.B.
Мне сестр!

Маскен.





Данило Кулиняк



Кулиняк Данило Иванович родился 2 апреля 1948 года в семье священнослужителя в селе Старый Крапивник, ныне Львовской области. В 1972 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Известный украинский поэт, прозаик, журналист, публицист, историк и эколог. Член Национального союза писателей Украины и Национального союза журналистов Украины. Член Правления Конгресса литераторов Украины. Лауреат нескольких премий за журналистскую деятельность и литературное творчество. Во время аварии на Чернобыльской АЭС находился в зоне радиоактивного облучения, вследствие чего тяжело болел. Данило Кулиняк руководил Чернобыльской группой специализированной историко-культурной экспедиции Минчернобыля Украины, будучи одним из её организаторов. Проживает в городе Ирпень Киевской области.

Данило Братковский

ПОЭМА

*Авторизованный перевод
с украинского Николая Дорожжина*

Перевод поэмы «Данило Братковский» стал результатом нескольких интересных совпадений. В 1982 году я узнал из юбилейного буклета, что мой родной Мариинск в статусе города отмечал своё 125-летие. Основан же он был в начале XVIII века. В тексте буклета сообщалось, что основание населенного пункта связано с именем атамана украинских казаков Палия – полковника Семена Филипповича Гурко. Эта информация запомнилась.

Летом 1985 года, во время отпуска в Белой Церкви, дочь затащила меня в парк Александрия. Там, в музее парка, я увидел портрет Палия – того самого полковника С. Ф. Гурко. Чуть позже в том же году мне попал в руки сборник стихов известного украинского поэта Данила Кулиняка. Стихи мне понравились, и некоторые из них я перевел на русский. Общий знакомый передал их автору. Данило Иванович Кулиняк переводы одобрил и прислал мне книжку с предложением перевести еще и поэму «Данило Братковский». Герой поэмы – личность историческая, поэт и мыслитель, общественный деятель, боровшийся за независимость Украины от католического Запада, за её единение с православной Россией. Из поэмы я узнал, что Д. Братковский был другом и единомышленником того самого Палия, идеологом повстанческого движения за союз братских народов.

Украинский язык я никогда не изучал, но, прочитав несколько книг на нём, почувствовал, что он мне достаточно понятен. Работая над переводом, я перевёл не только поэму, но, как сообщил мне её автор, и вошедшие в её текст стихи самого Д. Братковского (выделены курсивом). Данило Иванович Кулиняк перевод одобрил, то есть авторизовал.

Прошли годы, произошёл распад СССР. Мы с автором поэмы оказались в разных странах. Неожиданно в конце 2011 года он мне позвонил и попросил прислать ему перевод. Дело в том, что Украинская православная церковь решила канонизировать Данила Братковского как мученика за православную веру. Это давало надежду на опубликование в Киеве моего перевода. Но замысел так и не был осуществлён, и, судя по событиям на Украине, этот перевод вряд ли будет там напечатан.

Возможно, он будет интересен сибирякам, среди которых есть и потомки выходцев с Украины тех времён, когда мы были единым народом.

1. ПРОЛОГ

По фортеции Луцкой ходил я
заворожённый.
С детских лет, как магнитом,
притягивает старина,
Где звенит, резонируя в памяти сердца
бездонной,
Чьей-то доли безвестной трагическая
струна.
Там застал меня вечер на лестнице
башни надвратной.
Просверлившая камень, крутилась
крутая спираль.
В узких окнах пылало багровое пламя
заката,
А внизу изгибалась река, словно сабли
кровавая сталь.
Я по башне бродил, по каморкам её,
казематам,

Приникая к скрипучим дверям и
проёмам бойниц.
Осень... Быстро смеркалось.
Пора возвращаться обратно –
В мир двадцатого века, привычных
забот и страниц.
Я спускался и думал, как выразить
виршами можно,
Что всеильное время следов не
оставит от этого дня,
Но упёрся: тяжёлые двери снаружи
закрыты надёжно –
Персонал по домам разошёлся,
забыв в этой башне меня.

Обмер я и отчаянно в дверь кулаками,
ногами забухал,
К окнам башни бросался,
«Откройте!» – кричал неизвестно кому.
Всё напрасно! Лишь строчка звенела
настырно, как муха:
«Угодить так бездарно в плен к Времени
самому!»
Я метался тревожно во тьме
по истёртым ступеням,
Эхом камер подземных шаги мои были
слышны...
Месяц глянул в окно и разбавил
гнетущую темень,
Дал увидеть пролёты и кладку
гранитной стены.
И свеченье луны, хоть холодным и
призрачным было,
Но контроль над собой и спокойствие
мне принесло.
Луцк внизу засыпал. Ночь осенняя
темень сгустила.
Только месяц меж туч, только ветер
стучится в стекло...
Провести эту ночь в каземате... А что –
интересно!
Расскажи – не поверят.
«Ну, – скажут, – совсем как в кино!».
Может, даже удастся поспать в этой
башенке тесной?

А пока что устрою себе променад перед
сном.
И пошёл не спеша
подниматься по древним ступеням.
Только вдруг... Кто тут есть?! Или это
мерещится мне?
Словно кто-то там ходит чуть слышною
призрачной тенью,
На последнем спирали витке,
в темноте, в тишине...
«Кто ты?» – крикнул я в страхе.
Мне: «Кто ты?» – ответило эхо.
«Я Данило...» «Данило...» – так глухо
звучит в тишине.
Я ускорил шаги – и навстречу ускорили,
сверху...
«Подожди, не беги!» «Не беги!» – снова
эхо откликнулось мне.
Замер я – и движение встречное
остановилось...
Между нами – всего лишь спирали
виток.
Но его одолеть, я почувствовал,
смертный не в силах –
Этот призрачный, созданный
воображеньем мосток.
А когда от луны в закутке моём чуть
посветлело,
В немоту погрузил меня взгляду
явившийся вид:
Кунтушом дыроватым прикрыв
измождённое тело,
Весь в следах истязанья, человек
на ступенях стоит.
Пряди сивых волос над плечами висят,
словно ключья,
Мук невысказанных знаков на мрачном
обличье легли.
Лишь пытливо и твёрдо глядят
утомлённые очи...
Под кровавою рванью одежд – раны
страшные и кандалы.
«Я – Данило Братковский, поэт и
венденский подचाший.

Я из древнего рода православных
волынских дворян.
А что так необычно вдруг судьбы
скрестились наши –
Удивляться не надо: нам путь этот
Господом дан...
Всё, что я расскажу, ты, Данило,
услышишь впервые.
Не страшись, узнавая о цели своей и
пути:
Знать, тебе суждено нашей жизни дела
огневые,
Сквозь столетья распяты, в мирные
дни донести.
Развивается мир наш земной по закону
спирали,
Поднимаясь всё выше, как лестницей,
с каждым витком...
Мне зелёным юнцом приходилось
учиться в Италии,
Там открылся мне этот жестокий
и дивный закон.
Никакой новизны старый мир наш
от века не знает.
Жизнь твоя – повторённая уровнем
выше спираль.
На высоких витках чью-то долю она
догоняет,
Но в познании этого вечная скрыта
печаль.
И пространство, и время в виток
упакованы каждый.
Годы, эры, эпохи спрессованы в этих
витках.
Здесь во времени брешь, в этой вот
Свинопасовой башне:
Переступишь ступеньку – окажешься
в прежних веках!
Каждый шаг – это год, а возможно,
и сразу столетья,
А за ними – истории чаша, испита
до дна...
Мы – в двух разных мирах, но единое
солнце нам светит,

Не смогли утерпеть тут вельможные
 депутаты:
 «Не позволяю! Схизматик – и нам чтоб
 закон диктовал?»
 И Данило, спасаясь от злобы
 шляхетской и мести,
 Луцк покинув, бежал к православному
 братству во Львов.
 Шел и далее выбранным шляхом
 свободы и чести,
 Только понял, что ныне и сабля –
 подмога для слов.
 Дорогою до Львова было время
 Со всех сторон обдумать выбор свой.
 Он шляхту знал – заносчивое племя,
 Павлиний гонор при душе пустой.
 И знал еще – явить величье духа
 Способен и пастух, и гречкосей.
 Оно звучит для внутреннего слуха,
 Как голос всех времен, Вселенной всей.
 Душа народа – нива под ветрами,
 Чьи всходы там, где будущего синь...

... Но вот уже за этими холмами,
 Похоже, начинается Волянь.
 Да, это видно и по селам нищим,
 Опутанным долгами по рукам,
 Где небо серо, как стена жилища...
 Курная хата – дом Полещука!
 А по́дати – подушная, иная...
 Бесплатно не ступить и не пройти.
 Пан ненасытный все себе сгребают,
 Кус вырвет изо рта у сироты!
 Когда в Батурин ехал, Берестечко
 Он проезжал и речку Пляшеву.
 Никак не забывалось то местечко,
 Мерещилось, как будто наяву,
 Предание, рассказанное дедом –
 Он вместе с Хмелем волю добывал, –
 Как рыцарственно трудный бой
 последний

Отчаянный отряд казацкий дал, –
 И отступила вражеская сила!
 Об этом помня, думал пан Данило:
 «На сей земле ничто не пропадет:

Из прошлого в грядущее войдет.
 Идущие преодолевают шлях.
 Земля гудит набатом предрассветным.
 Костями людей усеяны поля,
 Кроваво-чёрные от мук несметных.
 О, сколько лет лежат в подземной мгле
 Отборнейшие зёрна нив народных!
 Не люди тут закопаны в земле,
 То зреет новый урожай свободы.
 И он взойдет... Лишь нужен зёрнам
 ливень,
 Чтоб к жизни пробудить, развеяв сон.
 И он взойдет... Но жизни нужно диво –
 Союз былых и будущих времён!».
 Качался на колдобинах рыдван.
 Немолодой дремал, казалось, пан, –
 Воспоминанья о былом ожили:
 О Кракове, где книжку издавал,
 Стихи из этой книжки вспоминал, –
 Её пока что люди не забыли:
 «Ксендзы нам на горе растят

униатов,
 Забывших дорогу в родимую хату.
 На горе Отчизне и доле народа
 Бездушных лакеев выводят породу.
 Ведь знаем, что в жизни бывает

и так:
 В беседу богатых вмешался бедняк.
 – Не так оно будет, – сказал пану
 смело,
 А тот его в зубы – и кончено дело.
 Не стоит барану волков задевать.
 А хвост тебе вырвут, так надо
 тикать...

... Вельможных панов у нас в сейм
 выбирают,
 Они же в наказ целый воз напихают,
 Такой, что шестеркой везут ту
 цыдулю,
 Обратно ж привозят известно что...
 дулю!

На сеймике лихо – там нету порядка,
 Командует всеми повальная пьянка.
 Пан дома горлянку с утра заликает,
 На сеймик придет – воеводе кивает.

Куда подевались тут правда и разум?
 Со всем произвол расправляется
 разом.
 Тут крик «Не позволям!» – он все
 заглушает.
 А что «не позволю»? – сам дурень
 не знает.
 Впрямь, как говорят, «ни туда,
 ни сюда»,
 Играет лишь хмель в головах,
 как дуда.
 Полдюжины чаш и две дюжины чашек,
 Да сотня бутылок, да тыщи
 рюмашек...
 Пей, лей, челом бей перед каждым
 собратом,
 Коль сделаться хочешь паном
 депутатом.
 Пан молится Богу, чтоб дал ему
 хлеба,
 А груды богатства укрыты от неба.
 Сам хлеба ты просишь – и хлеба
 жалеешь,
 Чтоб бедному дать... А с чего же
 жиреешь?
 А если считаешь хлеб даром
 небесным,
 Других одеяй этим даром чудесным.
 Бог много дает не тебе самому:
 Ты только смотритель добру своему.
 Дарите ж убогим, побойтесь кары,
 Не то похватает вас черт по три
 пары!
 Люди хоромы одни разрушают,
 Роскошнее строят и вновь украшают.
 Пышным пустующим замком
 гордятся –
 Бога, похоже, совсем не боятся!
 Лучше бы госпиталь соорудили,
 В ночлежке бы нищих, калек приютили!
 То, что убогим тобой отдается,
 В Царстве Небесном к тебе же
 вернется.
 Готов перед паном я низко
 склоняться,

Прошу лишь в ворота мои не
 стучаться –
 Честь слишком большая – в убогом
 дому
 Увидеть вельможу... Слуге ж своему
 Вели ко мне бочку вина прикатить:
 Без пана с холопом смачней будет
 пить!»
 Колючих слов шляхетство не прощает –
 У гонора особенный язык.
 Какой же силой слово обладает –
 Способно пережить звучанья миг!
 Волынь... Вооружённая прислуга
 При панах и подпанках: где-то тут
 Есть, говорят, разбойники в округе,
 А если проще – угнетённый люд,
 Восставший, наконец, терпеть
 не в силах
 Панов, ксендзов и прочих упырей...
 И шляхта неспроста засуетилась –
 Её поместья начали гореть.
 Сплошь на путях – военные заставы.
 А впереди Олыка – там ночлег.
 И спать пора – уже смеркаться стало...
 И кони сами перешли на бег,
 И только у ворот остановились, –
 Точнее, жолнеж их остановил.
 «Застава!» – кто-то громко объявил, –
 «Эй, выходи!» Данило молча вышел,
 Увидел – жолнежи со всех сторон,
 А впереди гарцует добрый конь
 Под шляхтичем, как будто бы
 знакомым.
 «О, пан Данило! Радость – нету слов!
 Вы из каких мандруете краев?
 И отчего вам не сидится дома?
 Так пусть нам объяснит вельможный
 пан,
 Прошу прощенья – знать потребно нам,
 Откуда едет нашими местами?
 Не в Лавру ли к святыням ездил он,
 Или к митрополиту на поклон,
 А может, – на беседу с москалями?
 Мы видим – пусть нас извиняет пан, –

Что этот, весь обшарпанный, рыдван
 Исколесил неблизкие дороги.
 Неужто паном приговор забыт,
 Что на Волынь проезд ему закрыт?
 То виршей подстрекательских итоги.
 Пан будто для души их сочинял,
 Но сам среди людей распространял!
 Дальнейшую судьбу узнайте Вашу:
 За тот протест, что есть опасный блуд,
 Постановил заочно Луцкий суд
 Вас задержать и заключить под стражу.
 Прошу прощенья, пан вооружён?
 Оружье надо сдать – таков закон!
 Что делать, пане? Служба – жребий
 тяжкий!

Смириться надо с тем, что отведём
 Вас под конвоем не в ночлежный дом –
 Закончите поездку в каталажке...»

3. РУБИКОН

Бежать удалось ему из каземата:
 На счастье, увидел того гайдука,
 Которому дал он когда-то на хату
 Сосёнок из собственного леска.
 Гайдук тот был хлопцем веселым
 и дюжим,

Собрался жениться – хибару латал.
 Да не суждено было стать ему мужем –
 Невесту помещик в именье забрал, –
 Была она дивчиной очень пригожей,
 И многие хлопцы просили руки...
 Её ж нареченного, Господи Боже,
 Граф тут же кому-то продал в гайдуки,
 Подальше куда – от неё, от палаца...
 Вот так и попал он в охрану тюрьмы.
 Уж сколько прошло – всё глаза её
 снятся

Да плач, когда руки ей пан заломил.
 Вот этот гайдук, волыняк бесталаный,
 Узнавши Данила, помочь был готов;
 Он помнил о помощи доброго пана –
 На свете не густо подобных панов.

Время серую пыль со скелетов сотрёт.
 Одичало промчатся в тревоге года.
 Только ворон заглянет в раззявленный
 рот.

Окружили их травы густые стеной.
 А осенней порой, как ведётся годами,
 Отпоёт и оплачет их ветер степной,
 Как пожухлой травой, шевеля
 волосами.

Спите, мир вам, родные из дальних
 годов,
 Никогда не забудет о вас Украина.
 Не страшны вашей памяти сабли
 врагов
 И холуйства предательская лавина...

...Год тысяча семьсот второй.
 У Паляя собралась рада:
 Здесь депутаты казаков, мещан, купцов
 и духовенства

Из всех разбуженных краёв.
 Гремели отзвуки боёв.
 До многих достучалась Правда!
 Пересеклись две дороги, хоть у каждого
 доля своя:

Здесь, близко впервые увидев,
 Данило узнал Паляя!
 «Не Семён ли Гурко? Вот так встреча,
 скажите на милость!

Мы же вместе когда-то в Коллегии
 Братской учились!»

...И решила та рада: поднявши
 внезапно восстание
 Против ляшской неволи, в защиту
 казацких свобод,
 Надо всюду гонцов разослать, чтобы
 людям читали воззвание,
 Чтобы в помощь восставшим на бой
 поднимался народ,

И Данило, «як вчена людина й піта
 відмінний»
 (так позднее о нём летописец
 известный писал),
 Обращаясь ко всем православным
 сынам Украины,

Дай силы сладить с искушеньем
 И с ними их не поделить венец –
 Венец великомучеников наших.
 Еще до цели надобно дойти.
 Молчит Данило, только сердцем плачет:
 Колы в работе проще, чем кресты.
 «О, посмотри, послушай, Сыне Божий,
 Твои по духу братья на крестах.
 Смерть от людей, как ты, приняли тоже.
 Но воскресенье их – ещё в веках».
 Мост перешёл. У самых стен Заслава –
 Процессия. Опять! В который раз...
 Отряд – угрюмых гайдуков орава –
 Вёл казака какого-то на казнь.
 Залетный птах – с Великого, знать,
 Свисает оселедец до плеча.
 Измучен пытками, но нет во взгляде
 Лишь светлая, с усмешкою печаль.
 Ругается: «Никто и не сыграет!
 Ну что за шляхта, так её растак?
 Без музыки в могилу загоняет!»
 И – лихо трепакком пошел казак:
 «Что ни дивчина – молодка,
 Что ни дивчина – красотка.
 А ты, милая, не плачь,
 Поцелуешь – дам калач.
 Ой, там, где яры, раздавали дары.
 Всем по дивчине досталось,
 А мне старая осталась.
 На нее гроша не трачу.
 Продам бабку – куплю клячу.
 Сдохнет кляча – шкуру слуплю,
 Продам шкуру – девку куплю.
 Добрый люд, не удивляйся,
 Какой я удался.
 Батько мой повешен был,
 А я оборвался».
 Развеселился, видно, казачище –
 Танцует и поет ещё себе...
 Но ждет палач, оскаливаясь хищно,
 А в небе тужит стайка голубей,

тайным

Луга.

туги,

И кровью наливается калина,
 И свежий кол нетерпеливо ждёт.
 И скорбно смотрит мать Украина,
 А он идет, так весело идет,
 Что даже ляхи выдержать не в силах,
 И кто-то приказал: «Быстрее кончать!»
 На казака набросились, скрутили.
 «Вот чёрт! Не дали мне дотанцевать!..
 Что криво кол идёт, паноньку майстре!» –
 Успел еще он выкрикнуть слова,
 И придорожные склонились астры,
 Когда его поникла голова.
 Душа поэта – ранюю кровавой,
 И мысль одна стучится: «Не забудь,
 Как запорожец шёл в последний путь!»
 И он пошёл... А у ворот Заслава –
 Из гайдуков и жолнежей заслон,
 И шляхтичи гарцуют, подбоченясь,
 И с ними – боже мой! – неужто он?
 Ну, если он – конец земным мученьям...
 Да, на коне – Микола Семиховский,
 И он соседа сразу же признал:
 «А что же вырядился пан по-хлопски?
 И где же пан так долго пропадал?
 Хотя мы в Свищеве от мужичья
 Пан к Палию зачем-то поспешал...
 И мы, конечно, тоже здесь читали
 Все то, что пан про нас насочинял.
 Однако в этот раз, заступник быдла,
 Уже не выйдет кары избежать.
 Твоя крамола нам давно обрыдла!»
 А самого от злобы аж скрутило.
 «Эй, обыскать! Бумаги в торбе, видно!
 Держать его! Связать! Арестовать!»
 Враз на Данила свора слуг насела,
 Связали и втокнули в каземат...
 На воле небо медленно темнело.
 Последний луч. Последний солнца
 И над Волынью распростерлась темень.
 Все полно болью – небеса и твердь.
 И ночь полна тяжёлых дум осенних.
 А после ждут допросы, суд и смерть.

слыхали –

взгляд,

5. ЗАВЕЩАНИЕ

Холодный камень пола, стен, постели.
 Ни звёзд, ни ветра. В инее гранит.
 Перед свечой в глубоком подземелье
 Над завещаньем арестант сидит.
 На днях его наведаль Ледуховский –
 Великий пан, вельможный кастелян. –
 Ну, как живётся, оборонец хлопский?
 Тут не дворец, пусть извиняет пан.
 Зато сильна охрана, безусловно,
 И невозможно совершить побег.
 Как вы могли, учёный человек,
 Сам шляхтич, нарушать свои законы?
 Ведь вы свои шляхетские права
 Тем самым быдлу бросили под ноги.
 Мы думали, Братковский – голова!
 Для вас стелились славные дороги –
 Варшава, вечный Рим и Ватикан,
 А может, стали б даже депутатом...
 Не только нас – себя же предал пан.
 То – Божья воля – за грехи расплата.
 Но милостив Господь. Еще не всё
 Вы потеряли, и спастись возможно.
 Раскаянье спасенье принесёт.
 Покайтесь же, и сеймик – воля Божья! –
 Как шляхтича простит, возможно, вас.
 Волинским сеймик – это, пане, сила!
 Слезу пустите в подходящий час,
 Скажите, что с пути гордыня сбила,
 Но что теперь вы к истине пришли
 И проситесь в католики, смирившись,
 Чтоб, грешный, исповедаться могли...
 Да что там вы? Епископ Жабокрицкий –
 И тот недавно унию признал, –
 Он понял, наконец, где больше сила.
 И если б пан, подумав, написал,
 В таком вот духе, как я подсказал,
 Ещё куда он шел, кого искал, –
 То шляхта б оценила и простила.
 Пан никого, надеюсь, не убил,
 А все стихи, протесты и посланья, –
 Так пан же показать себя любил,
 И в том найдет у шляхты пониманье.
 Наш брат и сам не прочь поковыряться,

Особенно как добре подопьет,
 А рядом дамы или молодницы...
 В себе сумеете схизму побороть.
 А те возванья, что несли с собой –
 Не вы писали... Доказать же надо,
 Что вы их автор, а не кто другой...
 Сейчас нам нужно больше униатов.
 Какая радость Господу – овца
 Заблудшая вернулася в отару...
 Я вижу, пан меняется с лица?
 Нет смысла затевать сейчас нам свару.
 Подумать время есть. Вам каламар
 С чернилами дадут, бумагу, перья.
 Покайтесь! И не лезьте под удар!
 Еще зайду». – И затворились двери
 За Ледуховским. Скрежетнул замок,
 И подземелье оглушило тишью.
 Заснуло время. Мир вокруг замолк.
 Молчит Данило. Что ж, он им напишет:
 Про сёла, где безлюдье в окнах стынет,
 Где волки шастанут, подобно псам,
 Про край, что ныне превращен
 в пустыню,
 Где люди одичали по лесам, –
 От произвола панского сбегают.
 Про пустыри заброшенных полей,
 Что бурьяном дремучим зарастают,
 Про костяки безмолвные людей...
 Он жизнь свою недёшево оценит,
 Свободе, правде всю отдав ее.
 Погибнуть – значит жить. А смерть –
 в измене.

Он пишет завещание свое:
 «Все нажитое завешаю детям.
 А заповедь последняя моя –
 Им продолжать, покуда солнце светит,
 То дело, за какое гибну я.
 А по свершении работы катской,
 Что оборвёт страстей и мыслей нить,
 Я завешаю в Луцкой церкви братской
 Плоть грешную мою похоронить.
 Не надо поминального обеда –
 Готовить некому. А злоты и гроши,
 Раздайте лучше нищим, детям бедным,
 Калекам – на помин моей души.

Еще признаюсь – грех в душе

не спрячешь –
Однажды, помню, в летах молодых,
Я встретил мужика с убогой клячей
В лесу, в своих владеньях родовых.
Я сгоряча с ним обошёлся строго –
Кричал, что он добро мое крадёт.
А он молчал, несчастный и убогий...
Я виноват – ведь все добро от Бога,
А Бог для всех добро своё даёт.
Ту клячу я забрать распорядился
И на мою конюшню отвести.

А он в слезах до дому потащился.
Удел мой – тяжкий грех в душе нести.
Сынов моих прошу: его найдите,
Коль жив еще, или его семью,
Вы тридцать золотых им отдадите, –
И пусть простят мой грех, вину мою.
Я понимать старался боль чужую,
Чтоб осветила истина умы:

Одну мы знаем землю-мать родную,
А значит, братья – мужики и мы.
Спасибо за доверье. Крупной мерой –
Своею кровью отплачу вам я.

А вам идти за волю и за веру
Под прапоры Семёна Палия!»
Стуча ногою по дверям обитым,
Охранников поднял и крикнул им:
«Возьмите у меня вот этот свиток
С последним сочинением моим
И передайте пану кастеляну
Франциску Ледуховскому!» – «Давай!»
... Здесь наверху, под небом, словно
рана,

Кровоточил его любимый край.
Слезой жёлтой свечка оплывала,
Слезинками дождя стекали дни
Последние. Осталось их так мало.
Жизнь позади. Заботы лишь одни:
На эшафот взойти, как на вершину,
Сквозь дней и дел лихую круговерть.
Всю жизнь бредем холмистою равниной
На перевал с названьем кратким –
Смерть.

6. СУД

Чёрной стаей вороны кружатся
над Луцком осенним.
И, подобно воронам, из местечек, лесов
и болот

Растревоженно шляхта Волыни
слетается в город на сеймик...
Кастелян завещанье прочёл и читает,
и вновь перечтёт...
Кастеляна Волыни отаманом
провозгласили.

«Придушить бунтарей!» – шляхта
требует, остервенев.
Только это не бунт, а война.

У повстанцев немалые силы
И уменье сражаться, и вера, и доблесть
казачья, и гнев.
Их войсками уже гарнизонные крепости
взяты,

Бар, Бердичев, Немиров и Белая
Церковь захвачены ими в боях.
На Волынь отступают разбитых отрядов
шляхетских остатки,

И ползёт впереди чадным дымом
клубящийся страх.
Собирается сеймик. В осадном Волынь
положении.

Как повстанцы под Луцк подойдут –
не уйти от беды.
Шляхта вся сгуртовалась. Свели её
злость и смятение.

Вся надежда на то, что окажут войска
короля вспоможенье,
А пока – беспощадны военные будут
суды.

Прочитал кастелян завещанье.
Черкнул: «Приобщается к делу».
И подумал: «Умою я руки, как Понтий
Пилат.

Не хотел пан схизматик слукавить,
чтоб душа не рассталась с телом;
Выбрал смерть, а не жизнь –
пусть продолжит дискуссию кат!
Только надо – поскольку мы всё ж
уважаем законы, –

Прошу, свидетель Семиховский,
встаньте,
И разъясните панству тот момент». «Когда Братковский выкупил именье, Он при своих крестьянах говорил, Что к Палию идет. Об этом сообщенье В суд городской я сам препроводил. Так там донос мой даже не читали, А он тем часом к Палию утёк. Вот если б мы в тюрьме его держали, То он бы нас, как нынче, не допёк. А так – успел призыв бунтарский Он написать, чтоб быдло возмущать. Прошу я судей, господ-дворянство, За преступленья – навсегда изгнать Носителя заразы православной На страх другим!» – и к месту пан пошёл.

А шляхта загудела: «Славно, славно Пан говорил. Без лишних слов – на кол!» «Панове, тише! – крикнул инстиггатор, – Здесь суд, не сеймик! – Зал слегка притих. –

Вы соблюдать обязаны порядок. И подсудимому дать слово надо В защиту дел и принципов своих. А может, он свидетелей запросит, Которые бы кару отвели. Ведь здесь не шутят. Жить-то каждый хочет. И нам бы разобраться было проще, И мы бы легче наказать могли. А то у нас улик серьезных много Вины тяжелой и злодейских дел. Данило встал: «Сказать хочу одно я: Жалею глубоко, что не успел Закончить свое дело до расправы. Но завершат другие за меня, И вы пожнете урожай кровавый. А право на защиту – болтовня. В служеньи правде – жизни суть моя. На смерть за это – я имею право!» Судейство за столом оцепенело,

И шляхта ропот злобный подняла: «Чего гадать? Тут очевидно дело. На кол вора! Знать, многих зазвала На скотский бунт схизматская паскуда. Еще, смотрите, и грозитя тут!» Встал Ледуховский: «Спор вести не будем. Не время нынче! Мы – военный суд. Быть не должно сегодня мнений разных.

С учетом тяжких злодеяний всех Достоин подсудимый смертной казни. Его в живых оставить будет грех». Одобрил суд: «Казнить!».

И инстиггатор, Для оглашенья приговора встав, Прочел: «Братковского подвергнуть смертной казни – За семь ударов разрубить на части, С лишением чинов, имущества и прав». «То добре!» – колыхалось эхо в зале, – «На страх бунтовщикам других времен, Чтоб правнуки схизматов вспоминали...»

Ассессор крикнул: «Рано повставали! Последнее имеет слово – он!» «Я – лишь зёрнышко нив Украины У истории в жерновах. До конца никогда я не сгину.

Прорасту я в других временах. Я – зерно, и народ – моя нива, Чем смогу прорасти для него? Не былинкой взойти бы, а взрывом! Жить растительно проще всего. Старших братьев моих размололи Вечно алчущие жернова. Шепчет тихо пустынное поле, Кличет сердце: «Ты жив? Так вставай! Поднимайся до солнечной выси И на землю сиянье неси». Осыпаются с дерева листья – Листья речи, традиций, красы – Многоцветный ковёр создавая, Но в следах от сапог он чужих.



Как, земля, родила ты, родная,
 Этих жалких рабов? Как ужи,
 Пресмыкаются перед панами,
 Католичество взяли в закон,
 Позабыли, кто есть они сами,
 Пали ниц под сияньем корон.
 Разум страсти до взрыва доводит,
 Гнев людской – всё сильнее и сильней.
 Я – лишь зёрнышко нивы народной,
 Я – дитя украинских полей.
 Я – зерно с плодородной равнины,
 Я – лишь строчка народной судьбы.
 Верь в грядущее, мать Украина;
 Древний Рим разгромили рабы!»

7. СМЕРТИЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ

Данило замолчал. В надвратной башне –
 Смещение времён, и чувств, и дел...
 Дохнуло холодом, тюремным духом
 страшным.

Трагедия – честнейших душ удел.
 Сидел он, на пролёт ступенек выше,
 Весь в тяжких думах, бледен, измождён.
 Былого остывает пепелище,
 Уходит в даль оставленных времён.
 Он видел – день вставал, в окне
 серело,

Гранит, светлея, льдисто холодел.
 Готовил он измученное тело
 К тому, что дух уже преодолел,
 К реке, что жизнь от смерти отделяет.
 Жизнь – только миг. И суета сует.
 Но вот уж небо алое у края,
 Сквозь стены гул неясный долетает,
 Народ на плац идёт. Отсрочки нет.
 Всему свой срок приходит неминуемый.

Всесильно время – сказано давно.
 Часов последних неприступна круча –
 Он видит, что нам видеть не дано.
 И вот внизу засовы закрипели.
 Данило вздрогнул: «Ну, как будто всё.
 Ждёт дело, трудное невероятно дело,
 И тут, мой брат, уже не пронесёт.
 Шаги внизу. За мною, значит, злыдни, –
 Бряцают сабли сонных гайдуков,
 Но до тебя им – больше трёх веков!
 Спокоен будь – они тебя не видят.
 Прощай, Данило! Брате, не забудь!
 Будь мужественным и от казни
 страшной

Не прячь очей...»
 А гайдуки идут –
 Глаза их равнодушны. Рожи красны.
 Данило вниз, вперёд, идет на них –
 И сквозь меня прошёл, задевши душу.
 Ушли, и шум шагов уже затих...
 Скорей к окну – увижу всё, не струшу,
 Его исполню волю – для сынов
 Его земли, для нас, живущих ныне.
 Объединяет пролитая кровь
 Минувшее с грядущим Украины.
 На эшафот он, как на пьедестал,
 Взошёл, лицом навстречу солнцу встав.
 Какие ж страшные за нас принял он
 муки!

Я видел всё.
 Застыли в горле звуки...
 «Смертию смерть поправ!
 Смертию смерть поправ!
 Смертию смерти поправ!»

г. Москва, 1985 год



Иосиф Куралов



Куралов Иосиф Абдурахманович родился в 1953 году в городе Прокопьевске. Окончил режиссерское отделение Кемеровского государственного института культуры. Работал в редакциях газет, в учреждениях культуры, образования. Автор нескольких книг стихотворений и поэм, первая из которых, «Пласт», вышла в 1985 году, с предисловием Ю. П. Кузнецова. Главный редактор журнала «Университет Культуры», заместитель председателя Союза писателей Кузбасса, главный специалист Дома литераторов Кузбасса, заведующий отделом поэзии журнала «Огни Кузбасса», руководитель литературной студии «Свой голос». Член Союза писателей России. Живет в Кемерове.

Поэзия

*В пространстве
губтывавагась суга*

* * *

Даль разламывая, ветер
Громко стонет в проводах,
Двести лет живет на свете
В пролетарских городах.

Но родней ему и ближе
Не в железины греметь –
Раскрутив солому с крыши,
В тонких дудочках звенеть.

* * *

Последние дни листопада!..
А я по квартире брожу,
Угрюмого города чадо.
И выхода не нахожу.

Из окон открытых доносит:
Пространство пронзая насквозь,
Во всю неоглядную осень
Поют про «мороз, не морозь».

Там юные духом верзилы
С гитарой сидят на скамье.
И звуки, рыдая вполсилы,
Летают в воздушной струе.

А листья спокойно кружатся
Под этот простецкий мотив.
И медленно наземь ложатся,
Собою весь взор затопив.

Крокодил и девочка

Девочка эта в мой дом приходила
И говорила, что я – крокодил.

Что народ трамвая страстно, громко
Из пространства мира вызывает
Не меня. Иосифа другого.
(Звать в трамвай меня или Кобзона
У народа не было резона).

А трамвай поехал по маршруту.
Бесконечно долго – круг за кругом.
Бесконечно долго – год за годом.
И все время в нем звучала песня.
Пела песню женщина в трамвае
Голосом Вахтанга Кикабидзе.

Ей никто уже не отвечал.
И народ трамвая не взрывался
Криком небывало громким, страстным.
Весь народ трамвая тихо-тихо
Ехал-ехал и молчал-молчал.

Я в трамвай тот больше не садился.
Я пешком ходить предпочитаю.
А красивый белоснежный лайнер
В небесах летит, неся во чреве
Не трамвайный, а другой народ.

Воспоминания о школе

Двадцатый век. Семидесятый год.
В дыму – индустриальный небосвод.
И ночью не видать небесных тел.
А на земле тебя я разглядел.

Вокруг тебя сверкает каждый атом!
В девятом классе ты, а я в десятом.
Мы на пороге жизни, как на старте,
Стоим, стоим... Не объявляют старт!..
И позабыли мы портфели в парте,
И прогуляли вместе целый март!

Я на год старше! Полон оптимизма!
Мне нравятся старания твои!

Ты мне читаешь свод соцреализма!
А я тебе читаю А. Виньи!

И если «женщина всегда ребенок»,
Как молвил упомянутый француз,
То юбка на девчонке – вид пеленок,
И нет тебе, ребенок, равных Муз!

...Гляди! Идут прекрасные созданья
Ветхозаветного воспоминанья,
Вдруг разглядев во тьме ученья тело,
Решительно, хотя и неумело,
Природы юной выполнив заданье
И сокрушив до самого предела
Библейскую основу мирозданья,
После уроков – прямо в зданье школы!..

Застигнутым на месте преступления,
На самой высшей точке ослепленья,
Теперь нам долго не спрягать глаголы!..

Теперь идем – и всюду тает снег!
А подо льдом кипит волна, играя!
Нигде не предусмотрен наш ночлег:
Нас только утром выгнали из рая!..
И по указу грозного райкома –
Из школы! А родители – из дома!

А нам плевать, хоть школа вся – сгори!
Вот так и заявляем добрым людям:
Мы мокрые от влаги изнутри,
Но эту школу мы тушить не будем.

Чугунная дева

Я не стоял под баобабом,
Зато стоял под этой ню!
И потрясен ее масштабом,
И с баобабом не сравню!



Боюсь чугунного искусства!
Хочу вопросы задавать!
Оно должно какие чувства
У теплокровных вызывать?

Скажу, как брат, ослу и гусю:
Вы оба счастливы вполне.
А я любимую Марусю
Увидел в этом чугуне.

* * *

Забить любимых имена!
Как будто не было на свете!..
Тоска по самой первой Свете
Теперь не очень-то нужна.

Неплодотворная тоска
И в памяти не шевелится...
И сверху наслоились лица,
Дороги, города, века...

Нарос такой культурный слой,
Что хочется считать золой!
И разгребать его лопатой,
И скрыться в нем спиной горбатой.

И там, во мраке юных лет,
Найти нетленный, постоянный
Первоисточник, слово, свет,
Древней, чем уголь,
Безымянный!

* * *

Стояла полная Луна.
Ко мне любимые входили.
И среди них была одна.
Водила пальчиком по пыли.

Ударился я сердцем о
Несовершенство бледных линий.
И от удара моего
Они свернулись в чашки лилий.

Я стал из чашек пить вино,
Чтоб утонуть без лишней муки.
Я много выпил, но оно
Не заменило свет и звуки.

И пригляделся я к душе.
Душа моя опять парила.
Я на десятом этаже
Встал на балконные перила.

Легко по воздуху пошел
Над современностью железной.
Моих любимых алый шелк
Дышал, держа меня над бездной.

Хрустальный звон стоял в ушах.
Я шел по воздуху – сквозь воздух.
Сверкала ночь. И каждый шаг
Звенел и отзывался в звездах.

А на земле завода пасть
В огнях, призывная, зияла.
И я мечтал в нее упасть
И напоследок вспыхнуть ало.

Но я себя не дописал.
И так любимые сияли,
Что я в пространстве повисал,
Как в достижимом идеале.

Я до земли не долетал,
Как прочие земные грузы.
Напрасно душу я пытал,
Мои возлюбленные Музы.





Не забываю юность нашу.
Встаю. Тржусь. И спать ложусь.
Ношу цветы. Ограду крашу.
Тебе в подметки не гожусь.

А где душа моя летает,
Один Господь об этом знает.

Передовая

К столу прикован. Песен не пою.
Завидую любому соловью.
Какие соловьи на поле боя?!
Передовую должен сдать статью
Про уголь черный, небо голубое
И честную позицию свою.

...Писал одно, а написал другое.

«Зачем живем? Затем, чтобы страдать?
И темной прозой заполнять газеты?
Водить машины? Уголь добывать?
Директора главней или поэты?

Директора уже сто лет твердят:
Точи болванку – в ней твое призванье!
Точу! И в небесах – крошечный ад!
И жизни нет – одно существованье.

Мы пропадем под этой тучей зла!
Ведь черт и тот сломал в забое ногу.

В большом достатке уголь и зола.
И не видать сквозь них дорогу к Богу».

Пар выдохнул. И пару интервалов
Отбил кареткой. И украсил датой
Передовую: год восьмидесятый.
Поставил четко подпись: И. Куралов.
Куда податься бедному солдату?

Редактору отдал плоды труда:
Читай! Себя поздравил со спасеньем.
На улицу ушел в пальто весеннем.
Апрель. Капель. Черны осколки льда.
Грозит Пространство новым
потрясеньем.

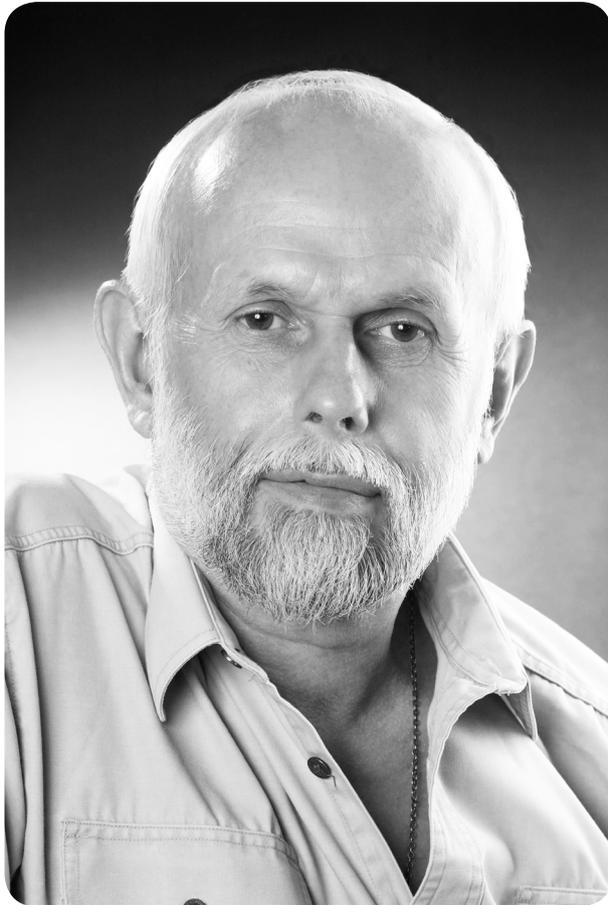
А был редактор Парень Хоть Куда.
И никогда не медлил с донесеньем.
Он прочитал и передал Туда.
А Там решили: строгий, с занесеньем.

Конечно, не геройская звезда.
А все, какая ни на есть, награда.
И к пиджаку прикручивать не надо,
Чтобы сверкать в пространство в день
парада.

Но понял я, когда прошли года:
Она – не меньше боевой медали.
Ее ведь за Передовую дали!
И далеко не всех так награждали
За результаты мирного труда.
Ведь так, товарищи и господа?



Владимир Ерёменко



Ерёменко Владимир Спиридонович родился в 1948 году в Мариинске. Русский поэт, автор нескольких книг. Служил в армии. В 1973 году окончил Кемеровский государственный институт культуры, режиссерско-театральное отделение. С 1975 года по сей день работает в Кемеровском государственном университете культуры и искусств. В 2001 году окончил Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт, катехизаторско-педагогический факультет. Член Союза писателей России. Живет в Кемерове.

Поэзия

Нас освещает Невероятный Свет

Рождение

Из Глубины, из Тьмы, из Скал –
Игры Начала и Кончины –
Рождался Ритм, а мозг искал
Ему названья и причины.

Осознавая меры сил,
Еще в невыявленном свете
Он вспышки резкие светил
Запоминал, немой свидетель.

Уже, откликнувшийся, мог
Я осознать, что существую,
И Ритм, всему пославший ток,
Всё нарастает, торжествуя.

Он волны катит, он растёт,
Он наяву не замечает,
Что омывает неба свод,
Всей силой вод меня качает!

Сияет белизной листа
И славой Твоего творенья!
И – Вдох живительный в уста,
И – Первое стихотворенье.

И океан, и ропот волн,
И пар клубами из расщелин.
И мир грядущий Света полн,
И я в Его Любви уверен.

Хоть не знаком ещё с судьбой,
Во всём – Любви первооснова!
Как хорошо мне здесь с Тобой,
Внутри Несказанного Слова.



Здесь и вопрос, здесь и ответ,
Здесь я, родившийся, родился!
Здесь Ты сказал:
– Да будет Свет!..
И Свет на свет ко мне явился.

И пульс, ликующий в крови:
«Я изначально-бесконечный!..
В Любви рожденный для Любви!..»
И надо мной – Совет Превечный!

На Землю тёплой ногой
Ступаю я из колыбели –
И в сердце, и над головой
Звучат Небесные свирели.

* * *

Золотые часы пробужденья!
Голос надколыбельный затих.
Вот и первое стихотворенье –
С солнцем вместе – молитвенный стих!

– Слава Богу за всё! – восклицаю, –
За великую радость Любви,
За лукавства, что отрицаю, –
Одолеть их благослови!

Напряженья!.. Круженья!.. Крушенья!..
Что сегодняшней день принесёт?..
Золотые часы пробужденья!
Слава Богу за вся и за всё!

Строка

Тетрадь и – чистый лист... Строка...
Еще не понимаема пока...
Еще не ощущаема... Откуда
Явилось на раскрытую тетрадь,
На чистый лист, и по нему гулять
Пустилось это явленное чудо?..

То солнца луч или прострел земной?..
Разрушился душевный непокой.
Прочь унеслись непрошенные мысли.
Одна гуляет! Вдоль и поперек!
Гнездо готовит для случайных строк,
Что между небом и землей зависли.

Одна царит на белизне листа.
Желанна. Удивительна. Проста.
Как птичка-небыличка в сновиденье.
Еще секунда, полсекунды, миг –
И слышится ее призывный клик –
Передо мной цветет стихотворенье!

Поэт

Сияй в человечестве! Или молчи.
Ю. Кузнецов

Он пишет стихи, но ему невдомек,
Насколько высок или слаб его слог,
Но снова и снова,
Как горный родник, как гремящий поток,
Пронзает его нарастающий ток
От мысли и слова.

Перо лишь бумаги коснется едва,
На ней появляются сами слова –
Страница запела!
Снег белым простором лег на Покрова,
Вручая ему и ключи и права
От слова и дела.

Делами в пространстве уже говорит,
Творенье, Творцу подражая, творит,
И – Вечность отверста!
Душою для Бога и Неба открыт,
Его окрыляет возвышенный ритм
От дела и сердца.

За сердцем с тревогою смотрят врачи,
Но ритм расцветает во дни и в ночи,



И по-ве-ле-ва-ет!..
А если нет сердца, кричи – не кричи!..
Сияй в человечестве! Или молчи...
Так Бог наставляет.

Мама

В круговерти жизни забываясь
Или просто выбившись из сил,
К матери я вдруг засобираюсь,
Забывая, что похоронил...

–Хоть и близко – по тебе тоскую...
Вдруг услышу... Голову склоню...
– Вот проснусь, сынок, и поцелую
В книге фотографию твою.

Да стихи на выбор почитаю
О моих картинках, обо мне...
Я порою, милый мой, не знаю, –
Наяву я или же во сне.

Видится мне белое кипенье,
Множество великое цветов...
И о чем такое вдруг виденье,
Кто мне это разгадать готов?..

Замолчит, а я ей разгадаю:
– Рай ты видишь, мама... Напиши
Все, что видишь, проходя по Раю...
Нарисуй... В картинках расскажи.

Улыбнется от таких известий:
– Ну, пойдём на кухню... Покормлю...
Хорошо мне с мамой, словно в детстве,
Как в заливе тихом кораблю.

Господи, да много ль беззаботных
Дней таких мы вспомним на Руси?!
Упокой родителей и родных,
В мир иной отшедших упаси.

* * *

И. Киселёву

Да, вероятно, нервы расшатал,
И не на то я тратил их и трачу, –
Вот лишь стихотворенье прочитал,
Всего одно и – неизменно плачу.

Я плачу, а душе моей легко,
Как будто камень с сердца отвалился,
Как будто я высоко-высоко
Твоим стихотвореньем просветился.

Я плачу о поэте, строчкой чьей
Преображён, как Духом Осиянным,
И о Любви Немыслимой Твоей,
И о себе, окольном, окаянном.

Божий лик

Две монеточки, конфетка –
Подаяние ему...
Надломившаяся ветка.
Горе сердцу и уму.

Две, как лодочки, ладони
В мир бушующий плывут.
Их обида не затронет,
Коли и не подадут.

Даже если обругают –
Улыбнётся в тот же миг...
Проступает, проступает
Сквозь улыбку Божий Лик.

Байкал

Соборные волны на каменный берег
взбегают,
Шумят о Свободе, великом просторе
воды,

* * *

В. Коврижных

Я не знал, что так можно работать –
И копать, и таскать, и пахать!..
До седьмого парящего пота,
Уставать, что почти – умирать!

Мужики полюбили за это,
И прощается много грехов,
Например, что слывёшь ты поэтом,
Но на деле и в слове таков!

И не просто поэтом хорошим,
А любимым поэтом в стране...
И в глубинку ты Богом заброшен,
От Москвы далеко в стороне.

* * *

Свет Небесный, слава Богу,
Льется в сердце... Благодать!..
В Царство Божие дорогу
Всю до камушка видать.

До былиночки, до блика,
До родимого Двора,
До сияющего Лица,
До Спасения!.. Пора!..

Сердцем радостным взлетаю.
Как легко дано парить!..
Созреваю!.. Умираю!..
Успеваю, чтобы Жить!

* * *

Жизнь и смерть... Бросает осень листья
На Весы... И в пламени костра
Догорают Время, Мысли, Числа –
Всё, что было – не было вчера.

Все мы жертвы требуем Господней,
А ответной жертвы не даём.
Что нам Апокалипсис сегодня,
Что нам испытание Огнём?

Для гоненья Церкви всё готово,
Все по горло в пламени стоим...
Что нам Воскресение Христово,
Если умереть с Ним не хотим?!

* * *

В начале жизни и на склоне лет
Нас освящает Невечерний Свет
И Небо в каждом сердце открывает.
Мы постигаем цель земных дорог
И понимаем: Милостивый Бог
Нас вечно жить в Любви благословляет.





Юрий Михайлов



Михайлов Юрий Михайлович родился 10 апреля 1953 года в поселке Разведчик Кемеровского района. Окончил Кемеровский государственный университет. Работает в городе Березовский корреспондентом газеты «Мой город». С 1993 года руководит литературной студией Центра развития творчества детей и юношества. Абсолютный победитель конкурса «Золотое перо – 2006», лауреат Областного литературного конкурса «Образ». Автор восьми поэтических книг. Живет в городе Березовском.

Я помню тот чудесный миг

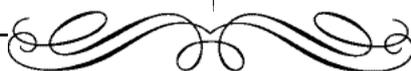
* * *

Я познаю себя
В холодных формулах
И на столиких
Шумных форумах,
В космических
Минувших далях,
Где Архимед
Бежит в сандалиях.
И в сорок лет,
И в шестьдесят
Во мне познанья
Рай и ад.

Я все могу:
Объять природу разумом
И объяснить ее
По-разному,
В науку знанье
Обратить,
Свить поэтическую
Нить...
И мудрость признана
Моя.
И все же, все же –
Что есть я?

* * *

Я помню тот чудесный миг,
Когда в отрочестве постиг
Орлиных крыл размах могучий...
Я лез, смиряя страх, по круче,
Чтоб мир увидеть под собой,
К нему примериться судьбой.
Пытаясь на скалу взобраться,
Я обдирал до крови пальцы.



И вот, схватившись за карниз,
Чтоб с камня не сорваться вниз,
Я приподнялся над плитой –
И вдруг удар над головою
Волны воздушной ощутил
И взмах упругих, мощных крыл.
То был орел, под солнцем сизый,
Он в бездну ринулся с карниза,
Расправив крылья широко.
И мне примнилось, что легко,
Как он, свои расправить крылья,
Казалось, что еще усилие –
И сбросит тяжесть плоть моя,
И воспарю над миром я...

Варис

Я слышал эту бэль в горах,
Где прежних дней развеян прах.
К вершине – крепости веков –
Учитель вел учеников.
Он открывал им новый мир.
Дышал остуженный эфир,
Кружа отчаянных орлов
Между скалистых берегов.
Внизу реки сверкала нить –
Такой и мастеру не свить.
Быть может, там звонка, чиста
Вода струилась до Христа.
А здесь вздымались валуны,
Им снились каменные сны,
Которые не угадать,
Пока Бог не дал камнем стать.

Вдоль тягостных валунных гряд
На плато поднялся отряд.
Один из юных храбрецов,
Забыв о правилах отцов,
На край обрыва наступил.
И твердь пошла... Как страшен был
Миг осознания конца...

Учитель оттолкнул юнца,
Но сам в обвале потонул.
Эфир вспорол лавины гул.
Вертелись камни, плоть меля, –
Не выжить, Господа моля.
Стихии слепо торжество...
Исчез учитель... В честь него
Была вершина названа.
Зовется Варисом она.

Вот так и жизненной тропой
Ведет учитель за собой
В пылу трудов до склона дня,
От всякой пагубы храня,
Возлюбленных учеников
В глубины тайные веков,
К вершинам опыта седым.
Ученики спешат за ним.
И, веря в то, что он не слеп,
Вкушая с ним познанья хлеб,
Взбираются на самый верх,
Где Бог благословляет всех.

Кедр

Поднимаюсь по скале холодной.
Рядом бьются ледяные струи.
А внизу, как в темной преисподней,
Водяная круговерть ликует.
Выше, выше... Каменеют руки.
Там, вверху, на поднебесной круче,
Связанной узлом корней упругих,
Кедр стоит свободный и могучий.
Над долиной пасмурной, туманной
Он один парит подобно птице.
Я немею, от восторга пьяный,
Поравнявшись с ним. Мне б уцепиться
За валун, чтоб не сорваться в бездну.
Для него же в дерзости недвижимой
Бесконечность – радостная песня,
А камней суровость – мудрость жизни.

Светопад

Стою на каменистом дне
В гудящих струях водопада.
А надо мной скалы громада
В небесной стынет вышине.

Оттуда, тени прочь гоня,
В бурлящей влаге растворенный,
Нисходит свет, обогащенный
Высокой тайною огня.

И сотни нитей золотых
Меня телесного сжигают.
И вот уже душа нагая
Вбирает жадно силу их.

И ловит в грохоте воды
Глас истины и откровенья.
Секреты смерти и рожденья
Открылись, как седые льды.

Теперь я слышу без труда
Чарующую песнь долины
И зов серебряной вершины
Над мглой провалов в никуда.

* * *

Чтобы вновь понять, что стоит жить,
Я согнул судьбы стальную нить,
Череду ненастных дней прервал
И ушел один за перевал.

Я увидел вновь дороги сон
И услышал дали шальный звон,
Вздохи ощутил земли седой
Под холодной, но живой звездой.

Различил я рыси скрытный ход
И в реке нашел маралий брод.
Говорит о тайне каждый след:
Все живем по замыслу планет.

Долго я за вороном следил.
Вот кто знает, сколько нужно сил –
Век парить, но быть с землею, здесь,
Жизнь любить такой, какая есть.

* * *

Печать осеннего огня:
Все повторится... без меня.
Меня – горящего листка,
Меня – всходящего ростка.
Не будет юности моей
Средь зеленеющих ветвей.
Не будет моего тепла,
Что охраняла жизнь от зла.
Но то, что я любил, согрел,
Даст миллион зеленых стрел.
Они пронизуют льды весной
И снова мир наполнят... мной.

* * *

Солнце – озерный цветок,
Небо – холодные воды.
Скоро осыплются годы
Листьями в светлый исток.

И озарится погост
Мудростью первого снега.
Только не хватит разбега
Сразу допрыгнуть до звезд.

Новая суть суеты –
Звездный поток мирозданья.
Грешное жизни созданье,
Что будешь значить в нем ты?

* * *

Упал листок –
Неси, поток,
Туда, где времени исток,
Где, растворяясь,
Прах и грязь

Вновь ощущают с Богом связь.
И где, смущая света гладь,
Жизнь начинается опять
Вселенским звездчатым цветком
И все осмыслившим листком.

Путнику

Чтоб бабочка затрепетала,
Ряд превращений совершится.
Чтоб человеку осветиться,
Он должен все пройти с начала.

Ты помнишь землю наших предков,
Густые кедры над полями.
Они души питали пламя –
Вселенной дар, счастливый, редкий.

Изведав разочарованье –
Нет совершенства в этом мире –
Душа искала свет в эфире,
Высокое, как небо, знанье.

Страданья проходя сурово,
К вершине красоты стремилась.
И высшая свершилась милость:
Душа преобразилась в Слово.

Оно – та бабочка из плена,
Отбросившая прочь пеленки,
Оно – энергий трепет тонкий.
И в мироздании нетленно.

* * *

Я купил себе, вот ведь чудак,
Деревянную ложку-черпак,
Чтобы ловко зачерпывать счастье.
Но оно не дается никак.

Жарко угли краснеют в золе,
Густо варево в черном котле,
И бурлит, словно в дьявольской
страсти,
Наша жизнь на уставшей земле.

Нет удачи без слез и тревог:
Зачерпнешь – то беда, то подлог.
Сводит судорогою запястье...
Да поможет мне праведный Бог.

* * *

В бескрайней глубине твоих серьезных
глаз

Хочу себя найти высоким, новым.
И, к твоему прислушиваясь слову,
Понять, куда, каким путем идти сейчас.

В бескрайней глубине твоих серьезных
глаз

Ищу поддержки и благословенья,
С которыми переживу в мученье
Рождение себя, быть может, в сотый
раз.

В бескрайней глубине серьезных глаз
твоих

Пытаюсь отыскать тебя как друга,
Касаясь чувств твоих, как струн упругих,
Не нарушая чуткого покоя их.

Твой свет

Он скользнул белой молнией с неба
И разлился до края земли.
Ты натер чесноком корку хлеба
И растаял однажды вдали.

Светом истинным, тонким и странным,
Ты, избранник, навек ослеплен.
Он зовет в новый путь непрестанно.
Вместо друга и женщины – он.
Оттого и живешь очень строго,
Сам не зная о том, столько лет.
Ну и ладно, так велено Богом,
Если Бог – этот трепетный Свет.



* * *

В ракушке море
Шумит о вечности.
Подарок южный –
Такое чудо...
Душе покойно
Внимать в беспечности:
Ни подсудимых нет,
Ни судей.

В прибрежном шёпоте –
Преданья древние,
Созвучья мудрые
Тысячелетий.
А человечье
Остервенение –
Ничто
В коротеньком
Куплете.

* * *

Я был уже... Жизнь человечья –
Поток, который не объять.
Во сне суровом помню меч я,
Рука сжимает рукоять...

Еще мне снится: я за плугом
Веду умело борозду
Иль, онемевший от недуга,
С сумой и посохом иду...

И жаждет дух мой единенья
В потоке целостном времен
Как истинного пробужденья...
Но путь еще не завершен.

И ты, преемник мой курносый,
Героем став грядущих дней,
Прими стихи мои, как посох,
До истины дойти сумей.



Дмитрий Филиппенко



Филиппенко Дмитрий Александрович. Родился в 1983 году в г. Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Стихи пишет с 15 лет. С 2006 года – участник литературного объединения «Л.И.К.». Публиковался в альманахах: «Жарки Сибирские», «Кольчугинская осень», сборнике «Поэты России», газетах «ЛИК», «Образ». С 2012 года – редактор газеты шахты имени А. Д. Рубана «Молодые лица». С 2013 – главный редактор литературных альманахов «Кольчугинская осень» и «Образ».

Поэзия

В лапонах мы любовь хранили

Потерялись

Я тебя навсегда, навсегда отпускаю.
 Потерялись в сети разговоры по скайпу.
 В кудрях чёрных дорог мы запутались
 сильно.
 В декабре нелюбовью дожди моросили.
 Стены наших квартир передавлены
 шумом.
 Тишина обвенчалась с последнею
 шуткой.
 Я прошёл долгий путь и хотел
 перемирия.
 А в ответ ты опять поменяла фамилию.
 Потерял я любовь между тьмой и
 лесами.
 И на дне чувств моих горько-сладкий
 осадок.
 Не понять, кто уходит, а кто же бросает.
 На глазах тает лёд одиноких касаний.

Поймай грозу

Для тебя я поймаю грозу,
 Упакую в надёжный мешок.
 Я целую на небе лазурь –
 Лишь бы было со мной хорошо.
 Обжигает мне руки гроза,
 Удержать не хватает мне сил.
 Но к любви нет дороги назад,
 Хоть её на коленях проси...



А на завтра проснусь у тебя,
Разбудив на проспектах жару,
Вот такой вот безоблачный я
На ладонях берёзовых рук!

Деревня детства

Я приехал в деревню свою,
Чтобы детство увидеть далёкое.
Снова плечи целует июль,
Задышали свободою лёгкие.

Прикоснулся я к чистой траве,
Отогрел возле озера душу.
Я б остался в берёзах навек,
Птичью музыку здесь я слушаю.

А когда приползёт темнота,
Сяду я на скамейку у тополя...
Деревенская спит красота
И название ей – Протопопово.

Галактика

Завидую людям, которые спят,
Не считают сугробы на улицах.
На колпаке старого фонаря
Звёзды сидят – сутулятся.

Светится марс на моей голове,
На кресло уселась галактика.
Даже балкон свой почувствует вес,
Если станет планетой на практике.

И в колорите неоновых лиц
Свалилась комета сонная.
И по плечам скатилась вниз
Вселенная наладонная.

Наверное, всё было зря

Я думал, ты птица другого полёта,
Пока не сожгла пустоту.
С тобой улыбался и плакал по нотам...
У ночи украл темноту.

Любовь рисовал я на сером асфальте,
Но дождь уничтожил тату.
И ночь надевала забрызганный фартук,
Стирала со всех улиц тушь.

Любовь потерял в пространстве России.
Наверное, всё было зря.
И падали звёзды, и сильно просили
Собрать их у ног сентября.

* * *

Если мир разбивается вдребезги
В преддверии февраля,
Если плачут на небе две звезды,
С ними плачу и я.

Если в кассах, в которых солнца нет,
Продаются стихи,
Растекается, кается сосен цвет
И черёмухи штиль.

Если город качнётся от наглости,
А под ним не качнётся земля,
Мы заплачем в единой тональности –
Солнце, звёзды и нежность моя.

Встреча

Сонный Питер. У Всадника Медного
Повстречалась Марина Цветаева.
Говорю, что гуляли у Бедного.
А она мне в ответ: «Я не знаю Вас».



Неужели меня вы не помните?
И гармошку рязанскую громкую?..
Нарезал Вам я сырные ломтики
И кормил Вас у Блока в комнате.

Не узнала. Лишь кудри погладила.
И ушла в переулочек, рассеянной.
Вкус духов плыл за нею усладой.
Лишь успел прокричать, что ЕСЕНИН
Я!!!

* * *

В октябре сворую дождь – и пролью его
на крышу.
Пьяным звёздам я скажу, чтоб вели
себя потише.
Не мешайте мне играть на чудесной
арфе неба

Эту музыку воды
из свинцово-чёрных
недр.
Эти струны из дождя слух ласкают так
преlestно!

Рядом звёзды и луна
из осеннего
оркестра.
Но наступит новый день – и вернёт
свой дождь природа.

Я отдам ей инструмент:
наигрались,
хватит, – кода.

* * *

Восхищён я твоими стихами
И коллегой тебя назову.
Можешь взять меня с потрохами...
Слышишь солнца оранжевый звук?

На проспектах поэзии скользко,
Но не страшен тебе этот лёд.
Аллегорий и образов косы
Гладишь, гладишь всю ночь напролёт.

Может, хрупкая ты, только слово
Бьёт по чувствам, по нервам бьёт.
Неустанно хвалить буду снова
На бумаге твой правильный мёд.

Зачем

Зачем кормить ненужные стихи?
Зачем любить, когда ты не нужна мне?
Твоя любовь – хронический бронхит –
Мне не даёт дышать, застряла камнем.

Мне поцелуй больше не нужны,
Их мёд давно стал с привкусом лимона.
В кафешке старой встречи не важны,
Не кушать нам с тобой «Наполеона».

Зачем дарить без запаха цветы?
Не согревай замёрзший гладиолус,
С тобой останутся кудрявые мечты,
Я разлюбил ромашковый твой голос.

* * *

Сентябрь льёт дожди за окном,
И в космосе всё как положено,
Я думаю лишь об одном –
Мне осень любовь натревожила.

И. Н.

Ну как мне её отпустить?
Ведь столько всего с нею связано,
Любовь не сгорает в груди,
Засела тяжёлую язвою...

Хотел я тебя удержать
Ненужными, нужными фразами,
Любил сердцем, еле дыша,
Любил ночь свою кареглазую.

А я был твой радужный день,
Такой же счастливый и ясный,
Писал я поэму про тень
И думал: моя жизнь прекрасна.

Но ты выбирала других,
Они не тебя выбирали,
Прошу, ну хоть раз мне солги,
Солги, вопреки всем моралям.

Я знаю, не выбросить боль,
С любовью она сговорилась,
А ты так гордишься собой,
Что сердце поэта разбила.

Хоккейное

Поздним вечером страна горько плачет:
Уложили всю страну на лопатки,
И солёный лёд последнего матча
Понял правду, почему он не сладкий.

Ждали чуда, запах первого гола,
А в подарок – аритмии осколок,
Лишь остался горький вкус валидола,
Не разгонит нам сердца кардиолог.

Голодали без побед и медалей,
Долго всматривался в нас город Сочи,
Поменяем мы коньки на сандалии,
Если наш хоккей ещё кровоточит.

Трамвай

Огонь в руках сгорает, тает,
В ладонях мы любовь хранили.
Ползли по улицам трамваи,
Троллейбусы им вслед шутили.

И на конечной остановке
Я вышел, но тебя не встретил,
И помогла тогда толстовка
Мне переждать колючий ветер.

Я шёл по рёбрам тротуара,
Светились фонарей ресницы.
Любовь в ладонях догорала
И заново ей не родиться.

Не потревожу сон

Ленинск-Кузнецкий, спокойной ночи,
Не потревожу сон.
Вижу – березы одели сорочки,
Голым остался клён.

Стало спокойно на перекрёстке,
И задремал светофор.
Только поэт превращает наброски
В свой стихотворный узор.

Ленинск-Кузнецкий уснул, заблудился
Ветер в печальных домах.
Снег на поверхность земли
приземлился,
В город вернулась зима.



Кинотеатральное

Суэта по вестибюлю,
На афиши – хоть молись!!!
Голливудскую пилюлю
Люди выпить собрались
Разных взглядов, разных нравов,
У кого испорчен вкус,
И заморскую отраву
Смотрят и храбрец, и трус.
Ну, а в баре не до шуток,
И пускай грозят врачи,
Но готовится желудок
Для атаки сырных чипс.
Пробираясь в тусклом свете,
В кресла сели две мадам,
И малиновые сплетни
Полетели по ушам.
«Дамы, дамы, помолчите,
Начался у нас сеанс,
И по залу не ходите,
Это вам ведь не Прованс...»
Голливуда-самодура
Полюбил наш русский брат.
Если век дурной культуры,
То никто не виноват.

В квартире Пушкина

Как хорошо, что был в его квартире я!
Меня с теплом в ней встретил русский
гений,

И оказался словно в паутине я
Проблем поэта и его мучений.

Как хороши приятные мгновения!
Сколь не крути, но стало их немного.
Мы дети странного немого поколения,
Мы разрушаем грубо памятники богу.

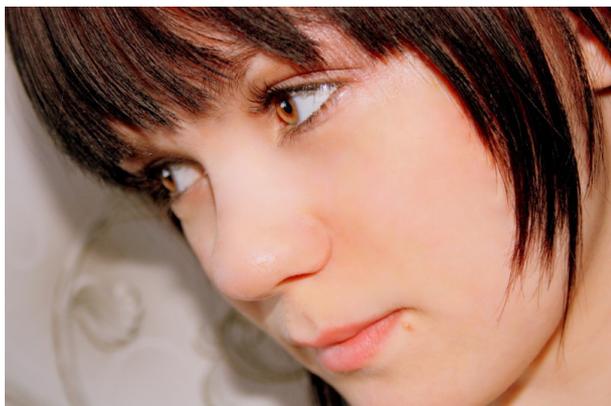
Ночь по имени Юля

Что-то не спится,
А может, влюбиться
В ночь по имени Юля...
Смогу ли
Его вдохнуть
И в нем утонуть?..





Алевтина Константинова



Константинова Алевтина Александровна родилась 1 мая 1992 года в Междуреченске. Стихи пишет с детства. Становилась дипломантом Областного детско-юношеского литературного конкурса «Свой голос», Областного конкурса «Мир глазами детей». Студентка Кемеровского государственного университета культуры и искусств.

Время никогда не остановится

Бегемот

Чёрным бегемотовым лапам,
Которыми он что-то закапывал,
Печально любуясь закатом,
Когда дождь ледяной накрапывал,

Я душу свою отдала,
Остывшую и помятую.
Я столько ночей не спала,
Горячей мечтою распятая!

Глазами одними кричала:
«Мне холодно, я погибаю!»
Он понял. Теперь сначала,
По новым законам играю.

Теперь вместо звёзд лучистых
Мой путь освещают кошачьи глаза,
Нет снов больше вешних чистых,
Мне снится одна гроза.

Сошла я на чуждый путь –
Мякнул злодей: «Согрею!..»
Никогда не пытайтесь горы свернуть,
Иначе горы свернут вам шею.

Ветер

Постирай мои серые будни
И раскрась недоверчивым голосом.
Я улыбку скрывать не буду,
Когда ветер путает волосы.

Будто знает, что так безопаснее,
Если спрятать мои глаза,
Даже если гремит безобразная,
Больно жалящая гроза.



Константинова

Если дни невозможно серые,
Их раскрасишь ты парой фраз.
А мой ветер, я в это верую,
Спрячет пару горящих глаз.

Время

Время
Никогда
Не остановится.
Отпечаток от пули
Никогда
Не пройдёт.
Всегда будут живы былины, пословицы,
И в воду на солнце превращается лёд.
И время
Всегда
Безжалостно
Будет
В гигантских шагах
Нас всех
Измерять.
Мы с тобою,
Как все несчастливые люди,
Которых спасло бы одно
«Расстрелять!».
Нет.
Ты сильный.
Ты скоро оправишься.
А я просто
Навечно
О счастье забуду.
Ты, родной,
Никогда
Не состаришься.
А я юной больше не буду.

Довольно!

О края твоих белых листов
Я порезала пальцы больно.
А под сводом заглавий-оков
Прочиталось одно: «довольно».

Мне бы выжечь триаду родов –
Корневица твоих систем,
Чтоб ни зелени, ни плодов,
Ни побегов, ни веток-вен.

Чтобы кровь мою со страниц
Смыла только одна твоя,
Чтобы стая бесцветных птиц
Разлетелась, печаль тая,

В край тобой недосмотренных снов,
В край прибоя и пены морской,
Чтобы больше и пары листов
Из меня ты не вырвал рукой.

Дыши

Хочешь – крепко сплету в узлы наши
мысли, ресницы, вены.
Этой сетью я задушу вереницы твоих
сомнений.
Хочешь – снов твоих белую скатерть я
накрою блаженством яростным.
Хочешь – солнца медовую мякоть я
в постель подам утром радостным.
Ты дыши со мной, полетим давай
сквозь дождливый рой облаков седых!
А устанешь – ты только скажи, и я
буду дышать за двоих.

Зеркало

Эта осень такая холодная:
Что ни день – то колючий дождь.
Ты мне шепчешь, что ты свободная,
Скрыть пытаюсь простудную дрожь.

Я б тебя напоила чаем,
Прописала б тебе покой,
Но ты даже в минуты отчаянья
Не советуешься со мной.

Ты мне шепчешь, что ты свободная,
Прячась в старый тяжёлый плед.

Задаёшь мне вопросы холодные:
«Сколько нам с тобой нынче лет?»

Да какие ещё наши годы!...»
Только видно тебя насквозь:
Я же знаю, как в смену погоды
Ломит каждую твою кость.

ЛЕБЕДЬ

Мама, нарисуй лебедей белых –
Этих гордых птиц, этих птиц смелых.
Мама, научи быть меня сильной.
Сильной быть, как ты. В небесах синих.
Папа, нарисуй облаков стаю.
Папа, научи! Я ничего не знаю.
Научите ждать, научите верить!
Я хочу летать... Я хочу, как лебедь.

Непогода

Кораблю путешествие портит шторм,
Самолёт – неприятель нелётной
погоды.
Сквозь картину седых задёрнутых штор
Не увидишь, какой облака породы.

Я двухтысячный раз сбиваюсь с пути,
А наученный зверь не бежит на ловца.
Мне так хочется быть каплей чистой
воды –
Быть счастливой слезой на щеке отца,

Быть у мамы негаснущим блеском
в глазах,
Моих братьев смеющимися голосами,
Быть теплом у любимого на руках
Или солнцем над их головами.

И я Бога прошу в ежедневной мольбе
Подарить мне все эти умения.
Но мне даже себя не найти в себе.
Отдыхай, природа. Я дочь гениев.

ОДИНОЧЕСТВО

Разувайся. Ты хочешь чаю?
Или, может быть, что-то крепче?
Ты послушай, что я узнала:
Как поплачешь, так станет легче.

Я давно уже не летаю
(Забывала тебе сказать).
Мне того, что тут есть, хватает:
Холодильник, комод, кровать.

Как дошло ты в такую стужу,
Укрываясь одним крылом,
Босиком по шершавым лужам,
Чуть прикрытым мохнатым льдом?

Ты ко мне и зимой, и летом,
И без рук, и без ног приползёшь,
Ты не ждёшь от меня приветов.
Ничего от меня не ждёшь.

Ты привыкло быть просто рядом
И любить меня просто так,
А мне будто другого не надо –
Я же ведь перестала летать.

Мне того, что тут есть, хватает:
Холодильник, комод, кровать.
Только небо, увы, не знает,
Как хочу я его обнять.

Папоротник

Околдована сиянием сказки
Необъятной величины,
Я беру чёрно-белые краски
И рисую цветные сны:

Мы у счастья стоим на причале,
И растаял колющий лёд!
Но мне люди зачем-то сказали,
Что папоротник не цветёт.



Подождите. Откуда вы знаете?
Потому лишь, что сами не видели,
Вы за папоротник всё решаете?
Вот как сказки склоняются к гибели.

В громе диких колёс электричкиных,
Под печальный собачий вой,
Обездушена, обезжизненна
Еду, еду к себе домой.

Вы, собака, не войте жалобно,
Ваш хозяин – простой человечиска,
И душонке его не надобно
Видеть слёз ваших глаз черешневых.

Вы ему свою жизнь даруете,
А ему это мыло мыльное –
То, о чём вы так горько тоскуете.
Я прошу вас, не плачьте, милая!

А давайте, собака, вместе
Мы отыщем волшебный цветок?
Он быть должен... в священном месте,
В перекрёстке крапивных дорог.

Не пойдёте? Я вас понимаю,
Вам теплей у хозяйских ног.
Я в болезненном слышу лае,
Что папоротник не цветёт.

Ну и где ты, всеильный Боже!
Дай мне сил, чтоб идти вперёд!
Или ты мне ответишь тоже,
Что папоротник не цветёт?

А в ответ – ни шумочка, ни голоса,
Ни дождинки, ни ветра, ни молнии,
И от страха внутри расколось всё
На пылинки скупые, безвольные.

Неужели мечту придётся
В деревянный с крестом переплёт?
У неё же так сердце бьётся!
Но папоротник не цветёт.

Я найду! Я сама его выращу!
По заросшим крапивой полям
Я дорогу, пусть больно, но вымощу,
Я сказку свою не предам!

Руки – в кровь, а душа – в огонь,
Сил последних лишилась и сна.
Я теперь, как горбатый конь,
Заслуживший на старость овса.

Больше я не гоняюсь за сказками,
Я в крапиву уже не ходок.
Но ведь разве это не счастье ли –
Я нашла заветный цветок!

Сохрани меня

Не открывай окно,
Не выпускай тепло.
Солнце – оно одно.
Под солнцем – суровое дно.

Не запускай мороз,
Не позволяй мне слез.
Ветер слова разнес,
Сплетен цветок пророс.

Но не давай упасть
В злую бездонную пасть.
Кончится боли власть –
Жизни колючая часть.

Ты распиши окно –
Солнце, цветы, тепло...
Солнце – оно одно...
Так же, как сердце мое.



Николай Дорожкин



Дорожкин Николай Яковлевич родился в 1935 году в Мариинске Кемеровской области. Окончил физико-технический факультет Томского университета. Кандидат технических наук, старший научный сотрудник. Работает в ЦНИИмаш Роскосмоса. Действительный член Российской академии космонавтики. Член Союза писателей России и Союза журналистов России. Стихи публиковались в журналах «Юность», «Техника – молодёжи», «Свет. Природа и человек», в «Антологии русского лиризма, XX век», альманахах «День поэзии – 2000», «Память», «Долгие пруды», «Радуга над Клязьмой», «Надмосковье», «Болшевский Парнас». Автор поэтических сборников «Поздний велосипедист», «Паровоз», «Чай по-азиатски», «Кавалергардский марш» и «Параллельные миры», а также научно-популярных книг «Астрономия», «Космос. Загадочный мир Вселенной», «Загадки русской истории», «Великие путешественники», «Великие путешествия», «Тайнопись Ветхого Завета». Книга «Астрономия» вышла в переводе на украинский язык. Книга «Загадки русской истории» и поэма «Кавалергардский марш» удостоены литературной премии им. С. Н. Дурылина в 2008 и 2009 годах.

МЕЖДУ НЕПАЛОМ И ТАЙМЫРОМ

Авторское предисловие

Сборник «Между Непалом и Таймыром» составлен из трёх текстов. Это – быль «Жарким летом на болоте», эссе «Неволя и величие поэта» и невыдуманный рассказ «День под знаком Р. Б.». Быль «Жарким летом на болоте» ранее нигде не публиковалась. Сокращённый вариант «Неволи и величия поэта» под этим же заголовком напечатала газета «День литературы» (№ 1, 2003 г.). Варианты рассказа «День под знаком Р. Б.» были опубликованы в литературной газете московского региона «Домашнее чтение» (ноябрь 1997 г.), выходившей в 1992–2001 годах, и в журнале «Огни Кузбасса» (№ 1, 2013 г.).

Все три текста имеют один общий признак – привязку к моему родному городу Мариинску Кемеровской области. Он расположен на берегу красивой и чистой реки Кии (притока Чулыма), в северной части Кузбасса. Кия, вторая по величине водная артерия области, отделяет город от Арчекаса – невысокой горной гряды, северного отрога Кузнецкого Алатау. Мариинск носит своё название, полученное в честь императрицы Марии Александровны, с 1857 года, а до того был известен как село Кийское и город Кийск. Ранее на этом месте было стойбище селькупов – местного народа, родственного хантам, манси и ненцам. С ними соседствовали сибирские татары и шорцы. Первое русское поселение было основано рядом с этим стойбищем в самом начале XVIII века казаками атамана Палия (полковника С. Ф. Гурко), оклеветанного гетманом Мазепой и по указу Петра I сосланного в Сибирь. После измены Мазепы Палий был реабилитирован и восстановлен в своём воинском статусе. Уча-

ствовал в Полтавском сражении. Это о нём строки А. С. Пушкина в «Полтаве»:

Но близ московского царя / Кто воин сей под сединами?

В своё время через село Кийское прошёл Московский тракт, и население стало быстро увеличиваться. А когда была построена Великая Транссибирская магистраль, на сибирские чернозёмы двинулись все искавшие лучшей доли жители многих губерний империи – русские, украинцы, белорусы, поляки, а также татары, мордва, чуваша, эстонцы... После Русско-японской войны здесь осели многие отслужившие солдаты и унтер-офицеры из европейской части России. К началу сороковых годов население Мариинска достигало 25 тысяч. Когда началась Великая Отечественная война, город и район дали Красной армии и Флоту заметное пополнение: Сибирские дивизии показали себя под Москвой и далее везде... На стелах мемориала выбиты имена всех не вернувшихся с войны – более 5500 земляков. Среди них назван и мой отец – старший техник-лейтенант Я. Г. Дорожкин (1908–1944), воевавший в составе 140-й Сибирской стрелковой дивизии. На фронт его проводили в июле 1941 года.

Координата Мариинска по меридиану находится примерно между Непалом и Таймыром, что и послужило основанием дать такое заглавие всему сборнику.

Сегодня Мариинск – административный центр сельскохозяйственного района, крупная железнодорожная станция на Транссибирской магистрали, узел автомобильных дорог на Томск, Новосибирск и Красноярск. Район с довоенных времён славится рекордными урожаями картошки – недаром в её честь установлен оригинальный памятник. С начала XX века известен и Мариинский завод, выпускающий популярнейшую «Белугу». А ещё в городе есть замечательный краеведческий музей, Дом-музей знаменитого земляка, писателя-патриота В. А. Чивилихина и уникальный Музей берестяных изделий. В Мариинске и окрестностях множество археологических памятников глубокой древности. Другие местные особенности, надеюсь, видны из текстов, предлагаемых вниманию читателя.

НЕВОЛЯ И ВЕЛИЧИЕ ПОЭТА

ЭССЕ

Новый «немец»

Был год 1949, и была осень, и было это в средней железнодорожной школе № 42. Стало известно, что у нас в седьмом «А» будет новый «фриц», или новый «немец», то есть преподаватель немецкого языка. Между прочим, старшего преподавателя мы ни немцем, ни фрицем не называли, хотя нацпринадлежность была очевидной. Но, во-первых, это была женщина, а, во-вторых, молодая и симпатичная. Какой же это «фриц»? Миниатюрная голубоглазая блондинка, похожая на Янину Жеймо («Золушка» из кино сороковых годов), Марта Георгиевна вела свои уроки весело и энергично. Хотя и приходилось ей одной вести предмет во всех классах – с пятых по десятый. Наши ошибки, проказы, глупость и невоспитанность не раздражали, а чаще смешили её. Когда проходили классическое «Анна унд Марта баден», один балбес, не отличив немецкое «д» от «б», прочитал «баден» как «бабен»! И перевёл, конфузливо опустив глаза: «Анна и Марта – эти... ну... женщины!» Марта долго заливалась заразительным смехом физкультурницы и поставила горелингвисту четыре с минусом. «Минус – за незнание, а четыре – за решительность!» – пояснила она, лукаво поглядывая из-под белокурой чёлки.

Четвёрки и пятёрки так и порхали по нашим дневникам и тетрадам. Тройки получали только самые «колуны» да ещё её сын Бруно, далеко не «колун». Он называл язык предков дурацким и фашистским, игнорировал артикли, дифтонги и умляути. Марта и ругалась с ним, и плакала, но юный Зигфрид (ярко выраженный тип!) оставался непреклонным.

И вот теперь приходит какой-то новый «фриц», часть классов и наш в том числе переходят к нему.



Новый «немец» явился в наш седьмой «А» точно по звонку. Немолодой, за сорок, среднего роста, сухощавый, сутуловатый. Подтянутый. Большие, навывкат, глаза с красными прожилками. Резкие продольные морщины на впалых щеках. Немецкие усы – две такие вертикальные щёточки, аккуратно расчёсанные. Тёмные с серединой волосы чётко разделены ровным пробормом справа и строго уложены – вверх налево и вниз направо. Уже по его виду, выражению лица, манерам было видно – человек нездешний и необычный.

Нездешность и необычность человека были в здешних условиях обычным явлением. Наш Мариинск, районный центр, который «на карте генеральной кружкой означен не всегда», был самой настоящей столицей – не административно-территориальной единицы, но очень серьёзного учреждения – Сиблага МВД, крупного острова в известном «архипелаге», который тогда, в СССР, носил название Гулаг (Главное Управление ЛАГерей), а в России XXI века скромно именуется ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний). Если проще, то в нашем городе находилось Управление Сиблага МВД по Кемеровской области. Вокруг города и по району располагались лагпункты. Поэтому в городе достаточно было и бесконвойных зэков, и ссыльных, и отбывших срок, но временно или насовсем осевших в нашем гостеприимном Марграде.

И было совершенно в порядке вещей, что в клубе имени Л. П. Берии идут спектакли по пьесам классиков – от Шекспира и Мольера до Островского и Чехова, поставленные столичными режиссёрами, а заняты в них столичные артисты. В медсанчасти лечат людей доктора и кандидаты медицинских наук, генералы и полковники медслужбы. В школах города преподают выпускники МГУ и ЛГУ, Сорбонны и Гарварда, а игре на пианино обучает «в Берии» любимая ученица композитора Глазунова, бывшая ранее директором музыкального училища в одном областном городе... Куда ни глянь – всюду люди нездешние и необычные! Горожане относились к данному обстоятельству спокойно, как и к другим местным достопримечательностям – например, к шедеврам деревянной архи-

тектуры XIX века или знаменитому винзаводу, выпускающему лучшую в Сибири водку. Много позже, в начале 1980-х годов, показывая наш город в своей телепрограмме, Юрий Сенкевич скажет кратко, но многозначительно о своеобразном «культурном слое» в его истории...

...Итак, новый «немец» вошёл в класс точно по звонку. Положил на стол журнал и учебник.

«Здравствуйте!.. Садитесь...»

Седьмой «А» шумно уселся. «Будем знакомы! Меня зовут Александр Александрович. А как зовут вас, я сейчас узнаю...», – и начал переключку. Выкликаемый вставал, учитель, глянув на него из-под низких бровей, благодарил кивком головы и словесно: «Спасибо... Очень рад... Благодарю вас... Прошу садиться... Очень приятно...» Когда, наконец, грузно опустился на скамейку последний по списку медвежеватый Мишка Явгель, «немец» выдержал паузу и сказал: «А теперь я послушаю, как вы читаете по-немецки. Каждый – по две строчки вот этого текста. Итак, прошу вас! По алфавиту...»

Я прозевал свою очередь и оттого не сразу понял, почему меня толкают соседи сбоку и сзади. Прозевал, потому что смотрел на лицо нового учителя. На его выражение... Седьмой «А» читал немецкий текст, и произнесение каждого слова отражалось на лице учителя... Нет, это надо было видеть! Сначала вежливое внимание: готов, жду, слушаю... И вот – чтение. Брови «немца» поднимаются, выше, ещё выше, лоб уже весь, как сжатая гармошка, а брови всё ещё лезут вверх, потом изгибаются и сходятся посреди лба под углом, как крыша дома, потом начинают выкатываться глаза, в них сначала – удивление, затем – растерянность, крайнее изумление, страх, а дальше – просто ужас, тихий ужас, ночной кошмар... Позже в действие приходят губы, щёки, шея, и мимика, не справляясь с чувствами, требует пантомимы, и вот уже пальцы в тревоге пробегают по серебристым пуговицам железнодорожного кителя, вот руки судорожно хватаются за крючки стоячего воротника, в отчаянии вздымаются вверх, обхватывают и сжимают виски, и волосы – буквально! – поднимаются по обе стороны пробора...



Тогда я не мог ещё классифицировать мимико-пантомимические фигуры, но позже мне попала на глаза фотография из учебника психологии, иллюстрирующая состояние сильного ужаса в комплексе с крайним отвращением – вот на этой степени оценки нашего чтения и был я оповещён толчками в спину и в бок, что подошла моя очередь отличиться. Захваченный невиданным доселе зрелищем смены эмоций, я долго искал, откуда читать, а потом вяло промямлил свои две строчки, позорно произнёс умляюты как Ю и Ё, сократил долгую гласную, растянул краткую – и уже ничего не изменил в лице и фигуре учителя. Чувства его, видимо, достигли плоской вершины, а затем, по мере дальнейшего нашего чтения, углы его рта опустились, глаза увлажнились, одна рука зажала рот, другая ухватилась за горло – горькая обида, оскорблённое достоинство глядели на нас из-за учительского стола, когда весь алфавит был исчерпан. Учитель медленно сел, руки бессильно упали на стол, голова легла на руки... Немая сцена продолжалась несколько минут. Мы были смяты, раздавлены, уничтожены, брезгливо смешаны с «органическими удобрениями». Класс подавленно молчал, а учитель, не поднимая от рук сидящей головы, горестно покачивал ею из стороны в сторону...

Когда учитель, наконец, поднялся, нас он, похоже, просто не видел. Взгляд поверх класса упирался в «Великий Сталинский план преобразования природы», занимавший заднюю стену, но глаза, кажется, не видели и его. Губы сначала беззвучно, а потом всё громче произносили: «Боже мой, Боже мой, Боже мой...». Потом учитель замолчал, резко покрутил головой, будто сбрасывая остатки страшного сна, быстро подошёл к окну, глядя на улицу, глубоко вдохнул-выдохнул, причесался, разгладил усы, снова повернулся к нам и заговорил:

«Товарищи ученики седьмого «А» класса средней железнодорожной школы номер сорок два станции Мариинск Красноярской железной дороги! Немецкий язык – один из важнейших в европейской и мировой культуре. На немецком языке написаны бессмертные творения художественной литературы, в том числе детской – ведь вы наверняка читали сказки Гофмана, Га-

уффа, братьев Гримм? Вот видите, большинство! А Мюнхаузена знаете? Все знают! Ну, а таких авторов кто-нибудь читал или слышал, как Шиллер, Гёте, Гейне? Один, два, три... пять... восемь – великолепно! Ах, вы читали ещё и Бертольда Брехта? И Манна? Серьёзный человек... И какого же Манна вы читали, или хотя бы что именно? Вот как, «Учитель Гнус»? Это прекрасно, только, уверяю вас, название переведено не совсем точно – но это пока несущественно... Ну-с, далее. На немецком языке изложены философские системы Канта и Гегеля, с немецкого переводятся на языки всего мира труды Маркса и Энгельса! Но и это далеко не всё.

Я догадываюсь, что все вы – будущие инженеры, машинисты локомотивов, врачи, агрономы, офицеры нашей доблестной армии и флота. Правильно? Ну вот... Значит, тем более важен для вас этот прекрасный язык – немецкий! Знаете ли вы, что немецкий – идеальный язык технической документации? Что это язык справочников конструктора, технолога, металлурга, энергетика? Что это – язык математики, точной механики, оптики? Вот – вы!» – это он ко мне – «Что у вас на глазах?» – «Очки!» – «А что в очках главное?» – «Стёкла!» – «Стёкла в окнах, а в очках – что?» – «Линзы!» – «Правильно! А линзы – слово немецкое! Садитесь... А вы, да, именно вы – что вы наносите на чертёж, который не успели закончить дома?» – «Штрихи... А что, тоже немецкое слово?» – «Благодарю вас, вы очень догадливы... Так-с, а теперь вот вы – посмотрите в окно: кто там идёт по улице с деушкой и, нарушая устав, держит её под локоть правой рукой? Правильно, солдат: в русский язык это слово тоже пришло из немецкого!.. А вы, товарищ в тельняшке, – я не ошибаюсь, вы мечтаете быть моряком?» – «Так точно!» – это Борька Адмирал дождался своей очереди. «А кем можно быть на корабле человеку вашего возраста?» – «Юнгой, слово это немецкое!..» – «Хвалю, юнга, садитесь...» – «Есть!»

«Ну, а вы сами хотите что-то сказать? Слушаем вас...» За моей спиной поднялся Вовка по прозвищу Ороchon: «А вот в часах есть такая ось у маятника... Называется – акса. Тоже немецкое слово?» – «Молодчина, знаете!» – «А он и оро-



чонский язык знает!» – это Валька Копчѣный, мой сосед, лукаво прищурил и без того узкие глаза. «Вы хотите сказать, орончонский диалект эвенкийского языка? Прекрасно... А вы (это к Вальке), наверное, говорите по-хакасски?» – «Не-а! Мы пишемся русскими...» – «А я – эстонка...», – покраснев до корней белых волос, пискнула Оля Меос. «Да у вас тут, я вижу, полный интернационал – русские, затем, судя по фамилиям – украинцы и белорусы, татары, теперь вот эвенки, хакасы, эстонцы...» – «Поляки!» – гордо расправил круглые плечи Стаська Войтович. «А я – наполовину немка, по маме... А вы – тоже немец?» – прозвучало с первой парты. Это заявила о себе Искра Чурикова, по прозвищу Искренняя Рожа. «Нет, ребята, я не немец... Хотя фамилия у меня и нерусская – Энгельке. Но вы же читали у Лермонтова, что бывает немец Иванов, а русский – Вернер... Так что я – русский человек. Ещё вопросы есть?» Вопросов было много, но прозвенел звонок. «Ауф видерзеен!» – «Ауф видерзеен...»

А немецкие слова с этого дня всплывали и на уроке физики, и на зоологии...

Первый урок Сан Саныча – а так его звала уже вся школа и учителя в том числе – показал, что учить немецкий – интересно. Но уже на втором его уроке мы почувствовали, что учиться стало труднее. Сначала показалось, что средняя оценка снизилась на один балл – прежние пятёрочки съехали на четвёрки, хорошисты – на тройки, троечники начали хватать пары и колы... Но вот Мартины двоечники вдруг пересели на тройки, воспрянули духом и стали почему-то лучше успевать даже по русскому и литературе!

Но особенно тяжко пришлось небольшой группе из пяти-семи человек, в которой мне тоже пришлось оказаться. У Марты мы были среди твёрдых четвёрочников, и пятёрки перепали, но Сан Саныч на нас насел, как басенный медведь на крестьянина. Он не прощал нам малейшей небрежности, гонял по всему материалу, давал нам немецкие книжки на дом и заставлял переводить по странице в день, а потом и больше... А я всё сильнее ощущал непривычную потребность встречаться и разговаривать с этим человеком не только на уроках немецкого...

О вреде и пользе эпигонства

Восьмиклассником, начитавшись Власа Дорошевича и Льва Кассиля, я начал издавать подпольную газету «Голос республики Щ». Буква Щ начинала фамилию моего друга Толи, – он перешёл в вечернюю школу и работал ассенизатором, но мы продолжали считать его своим. Конечно, издание такой газеты было грубым эпигонством, но разве оно исключает вдохновение? Хотя ничего особенного в газете и не было. Ну, передовая статья – сообщение о провозглашении Республики Щ в составе Великой Империи. Географическая карта империи, административно-территориальное деление: республики, королевства, ханства, султанаты и эмираты... Списки официальных лиц: глава государства, премьер-министр, другие министры, генералы, верховный судья, палач... Неоднократное упоминание – почтительное, со всеми титулами – самого Его Величества Императора по имени Гыр-Нога... Светская хроника: имена очередных фаворитов и фавориток, указы о награждении орденами от № 1 до № 5+, сводки с мест боёв между султанатами и эмиратами... Уголовная хроника (типа «некто Икс курил в сортире, был застукан неким Игреком, доставлен непосредственно к Е. В. г. Императору Гыр-Ноге, морально четвертован, физически поимел бледный вид») и т. д., включая ребусы, эпиграммы и карикатуры... Язык газеты и имена политических фигур были понятны – в чём я не сомневался – только гражданам республики Щ, для которых и выпускалась газета.

Эффект был оглушительным! «Огонёк» Коротича просто отдыхает... Первый номер газеты (восемь тетрадных страниц) за один день был предельно истрёпан и замусолен. Но первый же оказался и последним... Единственный экземпляр газеты был изъят у какого-то растяпы беспощадной рукой завуча-исторички – Железной Дамы. Брезгливо держа «Голос Республики Щ» за уголок, завуч-историчка невозмутимо закончила урок и, не удостоив газету прочтения, так же брезгливо опустила её в портфель.

А на другой день... Первые два урока прошли спокойно. Третий – химия. Вёл её сам директор,



грозный Гольденберг. Это был мужественный золотокудрый красавец, которому шла даже хромота от фронтального ранения. Урок он вёл как обычно. Но вот, посреди рассказа о солях щелочных металлов, он, ни к кому не обращаясь, медленно и задумчиво произнёс: «Интересно, а кто это такой – император Гыр-Нога?» И демонстративно скрипнул протезом, произведя тот самый звук, от которого и пошло его прозвище. Республика Щ подавленно молчала. Я предположил, что ведётся расследование, и увидел своё будущее в довольно мрачном свете...

На перемене наша классная руководительница, географиня Полина Абрамовна, могучим бюстом загнала меня в угол и, таинственно глядя в сторону, на конспиративно-пониженных тонах сообщила: «Я выкрала и уничтожила этот дурацкий пасквиль. Считай, что пронесло. Но учти на будущее!» И, после жуткой паузы: «С ума сойти! Подпольная газета в советской школе! В моём классе! При такой сложной международной обстановке!.. И имей в виду – ОН догадывается, кто издатель, автор и редактор...». Все мы, конечно, знали, что Полина – жена директора, но тут я, на радостях, «прикинулся валенком»: «Кто – ОН?» – «Как это – кто?» – распахнула Полина печально-насмешливые библейские глаза. «ОН – император Гыр... Тьфу, директор школы! Кто-кто... Дед Пихто! С вами с ума сойдёшь...». И величественно удалилась, плавно колыша синим панбархатом.

А Его Величество Государь Император в тот же день остановил меня в коридоре и, ткнув перстом в пуговицу моей гимнастёрки, всемилостивейше повелеть соизволил: «Поручаю тебе работу заместителя главного редактора школьной стенгазеты! Но – без глупостей, мистер Херст!» И добавил вдогонку: «В другой раз классная дама тебя не спасёт!».

...А главным редактором школьной стенной газеты был Александр Александрович Энгельке...

«Таинственная гондола»

И вот, получив «высочайшее поручение», я стал видаться с Сан Санычем помимо уроков. Делать с ним газету было одно удовольствие.

Он знал массу забавных случаев из истории журналистики, рассказывал о Чехове, Куприне, Гиляровском, Олеше, Ильфе и Петрове. Когда дело дошло до эпитграмм, оказалось, что он помнит их сотни – греческих, римских, средневековых, русских девятнадцатого века – и на языках подлинников, и в переводе. «Как вы смогли столько заучить?» – изумлённо спрашивал я его. «Ничего я не заучивал... Что запомнилось – то и вспомнилось...» – «Как так?» – «Много будешь знать – мало будешь спать! Давай карикатуру...»

Как-то мы с ним основательно застряли на банальном сюжете: некий мрачный балбес из девятого класса поимел четыре двойки за четверть. Карикатуру я сделал столь же банальную: тупого вида амбал, стоя в колеснице, аки фараон, правит четырьмя лошадьми с двойкообразно выгнутыми шеями. Подпись что-то не шла. Сан Саныч ритмично проборматывал что-то вроде: «он на уроке хмур и тих, зато четвёркой править лих... нет, квадригой править лих...». Слово «четвёрка» применительно к лошадиной упряжке вытолкнуло на поверхность моей памяти полузабытые строчки, и я негромко продекларировал: «Когда святой Марк покинет свой грот, и впряжёт в колесницу четырёх коней...»

Ритмичное бормотание прекратилось. Сан Саныч удивлённо смотрел на меня и медленно поднимался со стула:

– Ты... Эти стихи... Откуда ты знаешь эти стихи?

– А из книги... как её? «Таинственная гондола»...

– Ты читал «Таинственную гондолу»?

– Ну... А чё такого?

– «Ну, чё...» Читает такие книги – и «ну, чё...»

Он смотрел на меня так, как, наверное, смотрел бы сто лет назад православный миссионер на встреченного в сибирской тайге остяка или шорца, читающего вслух псалмы Давида на греческом...

– А чё? Ничё... (Это я уже, подыгрывая, изображаю туземного вахлака). Законная книженция!

– Эта «законная книженция» была моей настольной книгой, когда я был чуть моложе тебя – в 12–13 лет... Ты давно её читал?

– В третьем классе... Кирюха один давал, эвакуированный. В красной обложке...

– «Кирюха...» Ты хоть понимаешь ли сам, что говоришь? «Кирюха эвакуированный... в красной обложке!»... Бордовый коленкор, золотое тиснение... Издательство «Гранстрем». Исторический роман времён наполеоновских войн. Бонапарт в Италии. Мистика, экзотика... А героев помнишь?

– Конечно... Марк Севран, французский офицер... Гондольер Марино Фано... Этот – сбор, полицейский... Я хотел бы ещё раз её почитать – тогда я не всё понял и не дочитал: хозяин быстро забрал. Они в Россию возвращались...

– В Россию? А здесь не Россия?

– Здесь – Сибирь...

– Сибирь – тоже Россия, запомни! Так что же? Получается, что у нас с тобой одна и та же любимая книга?

– Ну, не то чтобы самая любимая... Перечитать – хотелось бы!

– А ты можешь назвать мне несколько вещей, которые ты перечитываешь или хотел бы перечитать?

– Конечно! «Спартак» Джованьоли, «Человек-невидимка» и «Борьба миров» Уэллса, «Очарованный странник» Лескова, «Педагогическая поэма» Макаренко, «Путешествия Гулливера» Свифта – старого издания, не для детей, ну ещё «Степь» Чехова, «Чёрный араб» и «Корень жизни» Пришвина... Ещё «Кинология» и «Стрелковое оружие» – это учебники тридцатых годов... Жюль Верн, Алексей Толстой, Теодор Драйзер – «Гений»...

– А Дюма, Майн Рид, Фенимор Купер?

– Читал, интересно, но – один раз...

– Так-так-так... Что же получается, месье? Я вынужден подписаться под большей частью вашего списка любимых книг – за исключением, разумеется, «Кинологии» и «Стрелкового оружия»... да, пожалуй, Макаренко... это тоже учебник, только в приличной художественной форме... Толстой – да, но мне ближе Лев... И Алексей Константинович. Разницу ты потом сам поймёшь...

– Когда – потом?

– А когда будешь большой и умный...

– Ну да, конечно, я же чалдон, туземец, тупой сибирский валенок...

– А ты ещё добавь: у меня, мол, старик-отец, мать-вдова, дети-сироты...

На это я возразил, что мама у меня, действительно, вдова, но отец совсем не старик, потому что погиб на фронте в возрасте тридцати пяти лет.

– Извини, дружок, я этого не знал... А ты разве не слышал такое выражение: «доведённая до абсурда пародия на этакого нытика»? Отвыкай понимать всё буквально, да ещё принимать на свой счёт... Вот у меня, например, действительно, старик-отец, а матери я даже не видел – она умерла в тот день, когда я родился... Но, как видишь, я выжил.

– У вас была... кормилица?

– Если ты имеешь в виду источник молока, то была, разумеется, какая-то корова... а для меня наняли няньку. Позже была бонна-француженка. Отец хотел, чтобы у меня было два родных языка – русский и французский. Мать-то была француженкой... Отец – русский.

– Как интересно... И с каких лет она вас учила французскому?

– Примерно с годовалого возраста. Но она меня не учила. Она просто говорила со мной по-французски. По-русски она знала только три слова – «здраст», «пожаст» и «бодаст» (благодарствую). Вот так!

– А ваш отец сейчас жив?

– Да, слава Богу. Он по профессии военный строитель, полковник, доктор военных наук. Живёт в Ленинграде. Ещё у меня два брата и сестра. Братья – инженеры, а сестра художница. А теперь ты мне расскажи о своих родителях.

– Мама по образованию учительница младших классов, сейчас работает инспектором отдела кадров. Её зовут Анна Алексеевна Коржинская...

– Однофамилица нашего учителя физкультуры, Ивана Алексеевича...

– Нет, родная сестра. Ей тридцать семь лет.

– Запомни: о возрасте дамы говорить не принято!

– Но она же – мама...

– Это не имеет значения – мама, бабушка, тётя или сестра – воспитанные мужчины о возрасте дам не говорят и не спрашивают.

– А вот моей сестре Светке, то есть Светлане, – тринадцать лет. Что, она тоже дама?

– Нет, твоя Светлана – барышня, мадемуазель... На школьный возраст это правило не распространяется. Она ведь в нашей школе? Тогда я её знаю – курносая, с вьющимися волосами...

– Да, Светка кудрявая – в отца. Он её очень любил...

– Отец ваш когда ушёл на фронт?

– В июле сорок первого. Это для него была третья война – после событий на КВЖД и Халхин-Гола. Погиб в сорок четвёртом, на Западной Украине.

– Он был офицером?

– Да, старший техник-лейтенант, оружейник.

– Мой старший брат тоже оружейник... Твои родители – местные, сибиряки?

– Нет, мамы родители приехали в 1905 году с Украины. А отец был пензяк, то есть из Пензенской губернии...

– А мой далёкий предок по отцу – из Швеции...

– Приехал в Россию по приглашению Петра I?

– Нет, явился без приглашения, в 1709 году. Как-нибудь я расскажу тебе свою историю подробнее...

Наш разговор продолжился уже на улице – я проводил его до подъезда. Жил он, оказывается, рядом со школой – в таком же «железнодорожном» двухэтажном бревенчатом доме. Вместо «ауф видерзеен» он сказал: «Заходи! Второй этаж, направо...»

Ничего себе – «заходи!» Кто это – так вот, «здравствуйте, я ваша тётя!» – явится к учителю домой без крайней необходимости? Но я вежливо ответил «спасибо, до свидания, зайду...», абсолютно уверенный в том, что, конечно же, не зайду. А спустя совсем немного времени поймал себя на том, что очень жду какого-нибудь повода для визита.

Физкультура, литература и родственные отношения

Да, я ответил Сан Санычу: «Спасибо, зайду...» Но я знал только двух учителей, к которым так вот, запросто, после школы приходили ученики.

Я и сам у них часто бывал. Это были учитель физкультуры Иван Алексеевич Коржинский и его жена Альбина Павловна, словесница.

Иван Алексеевич Коржинский был спортсмен-универсал: футболист, хоккеист, лыжник, конькобежец... Да ещё с багажом восьмилетней службы на Тихоокеанском флоте! Невысокого роста, крепкий, с лихими русыми усами и шкиперской бородкой, он и в школе, и дома был всегда окружён старшеклассниками – боксёрами, гимнастами, футболистами. Случайно или нет, но все эти рекордсмены школы, города и более высоких уровней были почему-то не в ладах с изящной словесностью. И вот, наговорившись с любимым физруком (он же тренер), чемпион разворачивался к Альбине Павловне и с совершенно другим выражением лица умолял спросить его ещё раз или разрешить переписать сочинение. И Альбина Павловна, всегда весёлая и смешливая, становилась каменно-неприступной, а Иван Алексеевич, к которому затем с надеждой обращал взор неудачник, только пожимал плечами и разводил руками, не вторгаясь в область литературы...

Но я-то бывал у Коржинских совсем не по школьным делам, а по-родственному. Иван Алексеевич был для меня дядей Ваней. Родство с учителями чревато немалыми трудностями... По крайней мере Иван Алексеевич, как подобает советскому педагогу (и парторгу школы!), сгоняя с класса по семь потов, с родного племянника сгонял все десять, а четвёрку ставил с таким видом, будто вручал олимпийскую медаль. Однажды я пожаловался маме на её младшего брата, но услышал в ответ: «А ты чего хотел? Это тебе средняя школа, а не детский сад!»

Однако должен признаться: если бы не строгость дяди Вани как учителя, никогда бы я не выполнил нормы третьего спортивного разряда по велокроссу (на грунтовой дороге!) и по стрельбе из винтовки, не занял бы первое место в беге на 400 метров на факультетских соревнованиях.

Альбина Павловна тоже была строгой учительницей. Когда в сочинении «Мой любимый литературный герой» я вдохновенно воспел Остапа Бендера, сравнив его с Робинотом Гудом, она поставила мне четыре с минусом и при-

писала, что мог бы выбрать героя и поприличнее. Но за сочинение «Горький и Маяковский об Америке» я получил пятёрку, которую наша словесница сопроводила перед классом устной речью: «Можете сколько угодно говорить, что я по-родственному делаю поблажки племяннику, но я ставлю ему заслуженную пятёрку – единственную в классе!»

Словесница она была замечательная. Читала нам наизусть «Евгения Онегина» и «Мцыри», увлекательно рассказывала о русских классиках. А когда проходили Маяковского, больше половины десятиклассников стали его яростными апологетами. Я даже сходу выучил поэму «Владимир Ильич Ленин» и нарисовал в подарок школе большой портрет «лучшего, талантливейшего поэта». Споры о Маяковском переходили в ссоры и даже приводили к разрывам дружеских отношений.

Втянули в эти споры и Александра Александровича. Было это на уроке немецкого. Надо сказать, что наши учителя нередко отвлекались от темы занятия, чтобы пополнить наши знания чем-то интересным не только по своему предмету. Вот и Сан Саныч в этот раз читал нам отрывки из «Фауста» по-немецки, а затем в русском переводе. И вот Искра, наша Искренняя Рожа, поднимает руку и заявляет: «Сан Саныч, мы считаем, что если человек не любит Маяковского, то он не советский человек!» И с тевтонской прямоотой – вопрос в лоб: «А вы любите Маяковского?»

Десятый класс замер. Но Сан Саныч спокойно отвечал:

– А как вы считаете, Владимир Ильич Ленин был советским человеком?

– Конечно! А как же? Но причём здесь Ленин?

– А притом, что Владимир Ильич не любил Маяковского.

– Как не любил?

– Вот так и не любил! Он только однажды похвалил его стихотворный фельетон «Прозаседавшиеся», отметив при этом, что это одобрение касается не формы, а только существа дела. Так что вопрос «любит – не любит» – это категория вкусовая, а не политическая. Что касается лично меня, то я по-разному оцениваю разные произведения Маяковского. Он очень талантливый

поэт, но увлечение формой иногда вредит его творчеству. А самыми лучшими его строчками я считаю вот эти: «Я всю свою звонкую силу поэта Тебе отдаю, атакующий класс!». Это просто гениально!..

И, помолчав, Сан Саныч обратился к Искренней Роже:

– Ну и как, по-вашему, я – советский человек?

Искра искреннейшим образом покраснела и пробормотала что-то вроде «извините...».

Вечер длиной в три года

Вскоре после брошенного Сан Санычем «заходи» заглянул к нам вечером дядя Ваня и радостно сообщил, что наконец-то его семья получила квартиру – и не где-то, а рядом со школой. Под квартирой в те времена обычно подразумевалась комната. Дом этот я знал и спросил номер квартиры. Оказалось – в том же подъезде, что и Сан Саныч. И – «второй этаж, направо».

«А кто у вас там соседи?» – «Тоже учителя, да ты же знаешь – Энгельке, Сан Саныч и Вера Михайловна. У них маленькая комната, у нас – большая. Приходи!»

Бывает же!

Уже на другой день, сразу после уроков, я навестил новосёлов. Мне понравилась большая (метров двадцать пять) и светлая комната, где разместились Коржинские с детьми, Таней и Лёшей, и нянькой Ириной. Дверь в соседнюю комнату была закрыта, но, когда я заглянул на кухню, увидел Сан Саныча, который сидел за столом в ожидании обеда. «Ты ко мне?» – спросил он. «Я к дяде Ване...» – «А кто здесь дядя Ваня? Ах, да! Это же Иван Алексеевич!» – «Это я!» – подтвердил Иван Алексеевич, усаживаясь за соседний стол. Когда мне было предложено занять табуретку, я оказался между двумя учителями. В те времена было не принято обедать вне дома, я отказался от двух приглашений и остался просто наблюдателем.

Учитель физкультуры и учитель немецкого языка отметили своё соседство распитием чутушки водки и сопроводили сей торжественный акт воспоминаниями о флотской службе. То, что дядя Ваня моряк и старшина второй статьи, мне

было известно с первых сознательных шагов по жизни. А вот то, что Сан Саныч был в тридцатые годы старшим лейтенантом Балтийского флота, ходил на эсминцах и паруснике «Товарищ», обучая красных гардемаринов английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам, преподавал в Высшем военно-морском инженерном училище в Ленинграде – это представляло его в несколько ином свете... Потом Иван Алексеевич рассказал о восьмилетней службе на Тихоокеанском флоте – о катерах «Большой охотник», и о том, как в составе морской пехоты участвовал в войне с Японией. Отдельно рассказывал о длительном противостоянии на Тихом океане двух военных флотов – нашего и американского, о стычках с хамоватыми янки во Владивостоке («мы сняли ремни и так им дали латунными бляхами, что у многих до конца жизни якоря на лбу отпечатались!») и отсидаках за это на «губе». Тему сороковых годов Сан Саныч почему-то не поддержал, дядя Ваня тут же перевёл разговор на выписку угля, а мне велел идти делать уроки. «А то завтра спрошу!» – пригрозил вдогонку Сан Саныч.

...Три последующих года (в том, что касается общения с Александром Александровичем) слились в моей памяти в долгий-долгий зимний сибирский вечер на кухне этой квартиры, на втором этаже деревянного дома с печным отоплением, водоснабжением из колонки и прочими «удобствами во дворе». Время от времени кухня сменялась узкой длинной комнатой, где, кроме единственного окна, были ещё письменный стол, кровать и – книжные шкафы, из которых выглядывали корешки неведомых мне книг на самых разных языках. Совершенно точно помню, что, кроме русского и церковно-славянского, там присутствовали немецкий, английский, французский, итальянский, испанский, португальский, шведский, норвежский, голландский, греческий, латинский. «Вы все эти языки знаете?» – «Ну что ты... Просто читаю. А знаю лишь романские и два германских... Думать же могу только на русском и французском... Ну, и на том, с какого в данное время перевожу».

Упоминание о переводах не задело сознания восьмиклассника. Привлекало содержание таин-

ственных книг. Одна, в кожаном переплётё, оказалась мне очень старой. Сан Саныч осторожно извлёк её из ряда, бережно раскрыл – на меня глянули совершенно незнакомые буквы. Похоже и на латинский, и на готический – и в то же время... «Это – книга на старофранцузском языке, издана в XVII веке... Видишь, какая бумага? А типографская краска? Таких книжек осталось в мире не более десяти штук. Я имею в виду экземпляр данного издания».

В промежутке между шкафом и письменным столом на белёной стене висело несколько акварелей за стеклом, в металлических рамках. На одной, размером в половину тетрадного листа, была изображена сценка – группа отдыхающих людей где-то на юге, за городом, у развалин старинной каменной стены. Мужчины в жилетках и панталонах до колен, у женщин в руках лютни или мандолины. Прозрачно-голубое небо, тёплый ветер. Спокойное море, горячие камни старой стены. Люди веселы и беззаботны. Меня поразили тонкость карандашного рисунка и красочного слоя на грубоватой бумаге, переливы цвета в одном мазке – такого нарочно не сделаешь... Картинка завораживала, и Сан Саныч заметил это. «Карраччи, подлинник... Мне от предков досталась».

Понемногу, в отдельных разговорах, прояснилась почти вся биография учителя. Фамилия Энгельке была шведской и досталась ему от давнего предка – молодого шведского офицера, пленённого русскими войсками под Полтавой в 1709 году. Как большинство пленников, он был сослан в Восточную Сибирь, там женился, дети его были крещены в православии. Сыновья и внуки служили в русской армии, участвовали в походах Румянцева и Суворова, получили русское дворянство. Отец Александра Александровича, тоже Александр Александрович, военный инженер, ко времени Октябрьской революции был штабс-капитаном. Принял Октябрьскую революцию и служил в Красной армии. В те годы, когда Сан Саныч работал в нашей школе, старший А. А. Энгельке жил в Ленинграде, имел звание полковника в отставке и учёную степень доктора военных наук.

Оказалось, что и сам Сан Саныч тоже служил в Красной армии. Вначале он, как сын овья многих офицеров, учился в Императорском Пажеском корпусе, который позже был преобразован в кадетский. После революции корпус был распущен, и четырнадцатилетний кадет по настоянию отца поступил в кавалерийскую школу Красной армии. Годы учёбы входили в стаж воинской службы. А в 1920 году курсанты Кавшкола РККА были брошены на польский фронт, где Тухачевский намеревался взять Варшаву. Вот там, под Варшавой, полк, в котором служил шестнадцатилетний красноармеец Энгельке, был почти полностью уничтожен и пленён превосходящими силами противника. Каким-то чудом остались живыми и свободными всего несколько бойцов, в том числе израненные в сабельной атаке польской конницы наш Сан Саныч и его ровесник, тоже из Питера...

А потом Сан Саныч учился в Ленинградском университете, на лингвистическом факультете, закончил отделение романских языков. После получения диплома из-за безработицы пришлось осваивать профессию продавца в книжной лавке. Запомнился ему визит рабоче-крестьянского поэта Демьяна Бедного. Важный, в каракуле от воротника до шапки, живой классик ввалился в тесную лавку, отобрал большую пачку книг и велел доставить ему по адресу. «Это будет стоить...» – начал было книгопродавец, но Ефим Алексеевич Придворов, достав с полки тоненькую брошюрку, изрёк: «Вот это издание окупит мне всё!»

В начале тридцатых годов лингвист Энгельке был призван на службу – уже в командирском звании, преподавателем иностранных языков в Высшем военно-морском инженерном училище. Приходилось ходить на военных кораблях и на учебном трёхмачтовом паруснике. К этому времени Александр Александрович был уже женат на Вере Михайловне, у них росла дочь Ирина...

О том, как учитель попал в мой родной город, я не спрашивал – ждал, когда он расскажет сам. Суть дела была понятна... Кое-какие подробности известны были части учителей, но выяснилось это всегда неожиданно. Как, например, на мероприятии, которое называлось...

«Княгиня Трубецкая и Иркутский губернатор»

В те времена отмечались очень многие даты – государственные праздники, юбилеи русских классиков, годовщины важных исторических событий. Вот и на этот раз был подготовлен вечер памяти восстания 14 декабря 1825 года. Прочитав краткий доклад, завуч Анна Васильевна (она же – учитель истории) объявила, что педагогический коллектив подготовил инсценировку по поэме Н. А. Некрасова «Русские женщины», глава «Княгиня Трубецкая». Роли исполняют: Иркутский губернатор – Александр Александрович Энгельке, княгиня Трубецкая – Вера Михайловна Энгельке. За автора – Григорий Анатольевич Гольденберг.

Зал притих. Это было что-то новое. Обычно школьные спектакли ставил драмкружок, в ролях были заняты ученики... А тут вдруг – учитель немецкого языка, его жена, которая работала бухгалтером, и даже сам директор школы!

Но вот поднялся занавес. Нашим взорам предстали Александр Александрович в мундире с эполетами и со шпагой на боку и аристократически величественная дама в одеянии девятнадцатого века. Начался поединок княгини Трубецкой, стремящейся к мужу в Нерчинск, с генерал-губернатором, который целую неделю всячески препятствовал её стремлению. Чтец от автора, стоя за трибуной, ровным голосом комментировал нюансы. Наконец, генерал объявляет, что есть только один способ добраться до места – идти этапом с очередной партией арестантов.

Княгиня:

«Велите ж партию собирать –

Иду! Мне всё равно!»

«Нет! Вы поедете!.. – вскричал

Нежданно старый генерал <...>

Я вас в три дня туда домчу...»

Продолжая эту реплику, «генерал» Сан Саныч развернулся на каблучках и крикнул куда-то за кулисы:

«Эй! Запрягать, сейчас!..»

Занавес опустился, и зал взорвался аплодисментами. Конечно, играли здорово, и было ясно видно, что аристократические манеры не отретированы супружеской парой Энгельке,

а свойственны им органически. Но когда включили свет, я увидел, что все наши учительницы – и пожилые, и недавние выпускницы педвузов, стеснительно прикладывают к глазам платочки. Мне было непонятно, почему этот классический некрасовский сюжет в самостоятельном исполнении вызывает у дам такую реакцию.

Ясность внесла Альбина Павловна, когда по пути домой сказала мне по секрету: «Вера Михайловна, подобно жене декабриста, поехала к Александру Александровичу, как только он был расконвоирован и направлен работать переводчиком на номерной завод под Красноярском. Он ведь отбывал срок в Канских лагерях! По пятьдесят восьмой статье...»

Объяснять сибирскому подростку, что такое 58-я «политическая» статья, было излишним. Естественно, что наш учитель был осуждён не за кражу или мошенничество!

...Однажды я застал Сан Саныча за странным занятием: он аккуратным почерком записывал в тетрадь какие-то стихи. «Это вы так быстро стихи сочиняете?» Он усмехнулся: «Стихи пишут, а сочиняют нечто другое...» Как выяснилось, он записывал свои переводы стихов французского поэта Эредиа. Мне запомнилась первая строфа: «Так пьём, будь что будет, дай чокнусь с тобою, / Тому, кто пьёт дольше, почёт и хвала. / Украсим чело его пышной лозою. / Да славится хором король пиршества!» Я спросил: «Это про алкоглотиков, против пьянства?» – «Эредиа не писал агитстихов, здесь он рисует весёлую студенческую пирушку. Когда ты будешь большой и умный, узнаешь разницу». Я не удержался от бестактного вопроса:

– Почему вы переводите других, а сами не пишете?

– У меня есть и свои стихи. Но... переводов гораздо больше.

– Но почему?!

– Это... непростая история. Может, когда-нибудь и расскажу...

Непростая история

Прибыв домой после первого курса университета, я узнал, что Сан Саныч готовится отбыть в Ленинград – уже насовсем. Реабилитация!

«Возвращаемся домой, поживём пока у дочери, а меня ждут в училище...» А года через два, на очередных каникулах, я увидел у Коржинских книгу Лонгфелло в переводах А. А. Энгельке с дарственной надписью:

*На память о часах досуга,
Что вместе проводили мы
Под свист Мариинской зимы,
От переводчика и друга.*

Но только в шестидесятых годах, уже семейным человеком, смог я возобновить беседы с учителем – очные и заочные. Бывал у него в Питере. В первый мой приезд в Ленинград Александр Александрович повёл меня в Артиллерийский музей. По залам ходили экскурсии, нам предлагали присоединиться, но у моего учителя была своя программа. Он показывал мне батальные картины прошлых веков и обращал особое внимание на вооружение и мундиры воинов. Оказывается, он знал об этой стороне войны практически всё! Помню, как он возмущался, увидев, что на картине неточно передан цвет ментиков какого-то гусарского полка. Объясняя, чем отличаются от других родов войск казаки, гусары, уланы, драгуны... Я заметил тогда, что с какой-то особой интонацией он говорил о кавалергардах. Только много позже выяснилось, что Императорский пажеский корпус, в котором учился Сан Саныч, в прежние времена готовил именно кавалергардов...

Дважды чета Энгельке гостила у нас в подмосковном Калининграде, который сейчас известен как город Королёв. В одну из этих встреч и рассказал Сан Саныч, как он стал переводчиком.

Когда началась гражданская война в Испании, начальник училища приказал ему (единственному, кто знал испанский язык) организовать общество испано-советской дружбы. Но в 1938 году, после победы режима Франко, органы начали искать его агентов. Александру Александровичу, арестованному в ходе этой кампании, было предложено подписать список «франкистских шпионов», завербованных в училище. Два года шло следствие, в ходе допросов применялись угрозы, шантаж, даже резиновая дубинка. Но подследственный ничего не подписывал.



Сам он рассказывал об этом так: «Когда я почувствовал, что могу от происходящего сойти с ума, решил: надо занять голову какой-то работой. Начал вспоминать все иностранные стихи, которые читал когда-либо. Оказалось, что помню очень много, даже не ожидал... Потом стал переводить их на русский язык и запоминать. Дело моё трижды возвращали с Лубянки на доследование – за недоказанностью вины. Наконец Особое совещание при Берии вынесло приговор: шесть лет лагерей. Это минимальный срок по 58-й статье, с зачётом двух лет под следствием... Но переводить я не переставал и в лагере, под Канском. Так получилось, что я, спасаясь от сумасшествия, приобрёл новую профессию».

Помню, когда я в семидесятых годах рассказал эту историю известному поэту-переводчику Аркадию Акимовичу Штейнбергу, он заметил: «Я знаю о некоторых русских поэтах, что они сходят с ума от своего творчества, но впервые слышу, что человек становится поэтом, чтобы не сойти с ума!»

Как я уже говорил, французский, английский и немецкий Александр Александрович знал с детства и учил в пажеском корпусе. Испанским, итальянским и латынью овладел в университете. В зоне, общаясь с нерусскими заключёнными, Сан Саныч пополнял и лингвистические знания. Уже работая в школе, изучил португальский – оказалось достаточно прочесть книгу на этом языке. А славянские языки, считал он, должен знать каждый образованный русский человек.

К 1975 году в переводах А. А. Энгельке были опубликованы стихи Г. Лонгфелло, Г. Сакса, Г. Шторма, В. Гюго, нескольких латиноамериканских поэтов, и проза – новеллы Ш. Нодье, произведения Стендаля, Бенито Переса Гальдоса и многое другое. Но гордостью Александра Александровича стало издание книги Альфреда де Виньи «Неволя и величие солдата» (Л.: Наука, 1968, серия «Литературные памятники»). В ней А. А. Энгельке принадлежат перевод, биографический очерк и примечания. Он прочитал де Виньи в подлиннике ещё кадетом и пронёс впечатление от книги через всю жизнь.

«Четыре кавалергарда»

Осенью 1977 года телеграмма известила меня о смерти учителя. В тот же вечер я выехал ночным поездом в Ленинград.

Провожали его литераторы и военные. Распорядитель церемонии, предоставляя слово для прощания, называл имена известных ленинградских писателей, поэтов, переводчиков... Потом выступали преподаватели и курсанты высшего военно-инженерного училища. Тем временем у гроба сменялись группы почётного караула. Последними подошли и встали четверо очень пожилых (явно за семьдесят), но крепких, подтянутых, чем-то схожих между собой мужчин. Из компании строгих, с незакрашенными сединами дам почтенного возраста, окружавших вдову, послышались приглушённые голоса:

- Смотрите, это они...
- Да, они... Четверо осталось...
- Однокурсники по Императорскому Пажескому корпусу...
- Последние кавалергарды...
- Да... Все четверо – с кавалергардскими проборами... Ах, молодцы!..

Я присмотрелся – действительно, седые редкие волосы четверых ветеранов были уложены совершенно одинаково – справа ровный пробор, зачёс налево, аккуратно подбритые виски... Ровные-ровные седые проборы... В точности, как у их товарища, которого они провожали, стоя в карауле. И, пока я на них смотрел, ещё не раз прозвучало это полузабытое слово, означающее воина российской конной гвардии.

Это звучное слово отчётливо резонировало с именем и образом ушедшего и с этой торжественно-скорбной атмосферой заполненного немолодыми людьми зала ленинградского Дома литераторов, и с видом этих строгих красивых стариков. Слово медленно прошло по всему залу. «Четыре кавалергарда...» – негромко проговорил опирающийся на трость капитан первого ранга. «Четыре кавалергарда...» – задумчиво повторил учёного вида ветеран с тремя лауреатскими медалями. «Четыре кавалергарда...» – прокатилось по рядам военных



в морской и артиллерийской форме, прошелестело, переповторённое пожилыми людьми в гражданской одежде.

Вызванные этим сочетанием звуков какие-то чуть ли не шекспировские ассоциации не оставляли меня до тех пор, пока не пришло решение – написать о прекрасном человеке, учителе и друге. Написать в стихах, как Бог на душу положит.

Поэму «Кавалергардский марш» я писал с перерывами 15 лет. Образ главного героя со шведской фамилией Эдельстрём во многом срисован с Александра Александровича Энгельке. Частично привнесены и черты других знакомых мне людей, чем-то схожих с ним – характером, талантом, судьбой...

В поэме есть глава «Слово об учителях». Я завершил её такими строчками:

*Не сразу поймём, –
уж простите! –
не сразу ответим себе,
что значит отдельный учитель
в отдельной людской судьбе...*

Такой учитель, каким был Александр Александрович Энгельке...

2003–2012

ЖАРКИМ ЛЕТОМ НА БОЛОТЕ

БЫЛЬ

Класс и прослойка

Лето 1950 года. Радио, которое с июня сорок первого не выключается ни на минуту, в эти дни приносит только радостные вести. Растет и ширится борьба за мир во всем мире. Корейская народная армия с помощью китайских добровольцев успешно отражает атаки американских империалистов и войск марионеточного режима Ли Сын Мана. В нашей стране с опережением плана ведутся работы по восстановлению и развитию народного хозяйства. В колхозах и

совхозах Сибири и Алтая успешно идёт заготовка кормов. Выпускники школ устремляются в приёмные комиссии вузов и техникумов. И все чаще звучит новинка – «Школьный вальс» Дунаевского.

А я только что закончил седьмой класс. Неполное среднее образование! Можно поступать в техникум. Но внутренний голос не советует пока переходить к взрослой жизни. Я охотно следую совету и так же охотно начинаю бездельничать. Первую неделю каникул ничего не делать – это так здорово! Тем более что я стал обладателем настоящего взрослого велосипеда! Он в разобранном виде хранился на чердаке с июля сорок первого года, когда отец уходил на фронт. Мама разрешила мне его восстановить только после успешного окончания семилетки. Для начала «ну полного ничегонеделания» я быстро освоил замечательное транспортное средство. В этом помогали мне друзья-одноклассники – Толька Цыган и Сашка Белобрысый. При этом они и сами, почти не пострадав, научились ездить на двухколёсной мечте.

Продолжая «ну полное ничегонеделанье», я забрался на сеновал с дореволюционной книгой юмористических рассказов Власия Дорошевича. Но тут пришел Сашка Белобрысый и нагло, высокомерно, вызывающе заявил, что он теперь – «класс», а я – «прослойка»:

– Меня батя устроил на лето разнорабочим в сельхозтехникум! Буду вкалывать. И как рабочий, и как крестьянин! – Сашка выпятил грудь, а заодно и нижнюю губу. – А ты будешь все лето валяться на сене и книжки читать. Интеллигенция в очках!

– А у меня тоже работы хватает! Картошку окучивать, грядки поливать, полоть, корову нашу пасти... Дров напилить и наколоть, уголь перетаскать...

Но Сашка был неумолим.

– Это все работа для себя, а рабочие и крестьяне трудятся для общества!

И добавил ещё – о наших одноклассниках:

– А Борька с дедом – в татарский колхоз, Витька – чертежником в жилконтору, Толька – в бригаду ассенизаторов!



И Сашка, нахлобучив старую кепку, стал спускаться по лестнице. На нижней перекладине остановился и, решив, видно, меня добить, задрал голову:

– А ещё я буду играть в духовом оркестре! На эсном басу... – и спрыгнул на упругую от навоза землю.

Как можно после таких известий бездельничать? Я имею в виду – бездельничать с удовольствием?

В тот же вечер я сказал своим дамам – маме, бабушке и Светке, – что хочу на лето идти работать. Для общества!

Дамы переглянулись.

– Интересно, это ты сам додумался? – спросила мама. – Или кто-то успел сказать, что срочно нужен пастух?

– Какой ещё пастух? Мы же со Светкой и так пасем...

Это была правда. Уже не первый год хозяева скота с двух соседних улиц объединились и пасли общественное стадо по очереди. Наша со Светкой очередь выпадала раз в две-три недели, и работой мы это не считали. Значит, речь шла о чём-то другом.

– Тут соседские женщины приходили, советовались, – пояснила мама. – Они предлагают пасти не по очереди, а нанять пастуха. Наняли Василия, но он сначала запил, а потом нанялся на рынке мясо рубить.

– А бабёнки больше не хотят сами пасти коров, – уточнила бабушка. – Ищут нового пастуха. Так что бери стадо и паси каждый день, да как положено! И баб соседских освободишь, и еще, может, деньги какие заработаешь! И тут же тебе и работа, и тут же тебе и общество!

– И ещё какое! – издевательски подхватила Светка. А мама подытожила:

– И для здоровья полезно – весь день на свежем воздухе. А заодно и поход по родному краю, как призывает «Пионерская правда»...

Я уже год выписывал «Комсомолку», но мои дамы если уж начнут издеваться... Женщины трех поколений – семьдесят, тридцать восемь и тринадцать, а я среди них один, пятнадцатилетний... Что поделаешь?

– Завтра же и выходи! Я разбужу в четыре часа, – твердо пообещала бабушка.

Серо-буро-малиновое утро

Ранним пасмурным утром, часа в четыре, мучительно зевая, дрожа и передергиваясь от предрассветного холода и выпитой на завтрак простокваши, я вышел на улицу, завернулся в брезентовый дождевик, купленный еще покойным дедом в лавке купца Гуревича, закинул на плечо ременный бич и пошел за стадом. Я старался, как бывалый пастух, так же тяжело топтать кирзовыми сапогами, лениво хлопать бичом и хрипло покрикивать: «Эй, Манька, куда?! А ну, цыля-пошла!» (Так в наших местах «цылей» погоняют коров).

Прошли по нашей Угольной улице, мягкой и зеленой, где вместо дороги узенькая тропинка вьётся по зарослям душистой ромашки; потом вышли на улицу Максима Горького, где трава рассредоточилась по придорожным канавам, уступая место грунтовой дороге; затем, мимо клуба имени Берия и колхозного рынка – на Тракторную улицу, которая представляет собой часть великого Московского тракта (он же Сибирский и Иркутский); а уж оттуда – налево, на юг, по насыпи, к болотам и заливным лугам.

Я впервые так рано шёл по этим местам. И впервые увидел, как при первых малиновых волнах солнечного восхода всё болото вдруг задымилось, закурилось, и жуткая живая буроватая туча площадью в сотни гектаров зашевелилась над серой осокой, над зелёными кочками и чёрными болотными ямами с торфяной водой. Это были комары. Миллионы комаров. Туча издавала ровный гудящий звук. Она поднималась, клубилась, распространялась. После восхода комары разделялись, разлетались – искать себе жертв, сосать чью-то кровь, наполняться, раздуваться, гибнуть на месте преступления от шлепка руки или коровьего хвоста – или, уцелев, лететь к лужам, к реке, садиться на траву, падать в воду, пожираться лягушками, тритонами, куликами, хариусами...

Таким вот ранним серо-буро-малиновым утром началась моя пастушеская работа.

Огромное пространство к югу от города разделялось длинной насыпью, протянувшейся до водокачки на берегу Кии. Слева от насыпи лежали большие болота с островами заливных



лугов. Справа в болотистых берегах – Чёрное озеро, длинное и узкое старое русло Кии, а за ним – полоса лесостепи с картофельными полями и редкими колками – небольшими рощицами из берёзок, черёмухи и боярышника.

За Кией голубел зарослями высоких трав и деревьев Арчекас – невысокая горная гряда, один из северных отрогов Кузнецкого Алатау. Всем моим ровесникам было известно, что с самой высокой точки Арчекаса, в самую ясную погоду, человек с острым зрением может разглядеть вдали снежный пик Белухи – красы Алтайских гор. Годы спустя, проделав простейший расчёт, я с сожалением убедился: чтобы стать видимой на таком расстоянии, Белуха должна быть втрое выше.

Болото начинается сразу же за городом, за его южной окраиной. И отсюда тянется почти до обрывистого берега реки. Уже тогда, в пятидесятом году, болото считалось высыхающим, и сейчас, в восьмидесятых, всё высыхает и никак не хочет высохнуть. Спустя двадцать лет после моего пастушества мой десятилетний сын в этом самом высыхающем болоте увяз по пояс, а когда вылез, обнаружил, что оставил в чмокающей торфяной массе кеды и шорты...

Трипольская культура

Бегать за коровами по кочкам не так уж и трудно. Сухая осока так вытирает (до блеска!) подошвы сапог, что даже не хочется потом выходить на пыльную дорогу.

С пастушеским делом я быстро освоился и уже спустя неделю-другую, загнав подопечных на зелёный островок, позволил себе подняться на насыпь и внимательно осмотреться с биноклем – а что там, за насыпью, между обширными картофельными полями и Чёрным озером?

В шестикратный бинокль было всё хорошо видно, а деления на внутренней линзе позволяли даже определить расстояние до любого предмета, если знать его примерные размеры. Я настроил окуляры на резкость и стал обводить вооружёнными глазами пространство за картофельными полями. Там, у самого озера, были заросли камыша, рогоза и других озёрно-болотных растений. На их фоне темнели шалаши и землян-

ки. Жилища дымили печными трубами. Чернели кострища. Обнаружились и другие признаки человеческой цивилизации. У одной землянки стоял велосипед «Диамант», у другой паслась привязанная коза. Бегали и лаяли собаки. Вредным голосом плакала девчонка. Кого-то громко ругала женщина.

Пока я не обращал внимания на это «поселение Трипольской культуры», никто из его обитателей меня не замечал. Но стоило мне глянуть со стороны на этот незнакомый мир, как туземные жители тоже меня увидели, и очень скоро один из них нанёс мне визит вежливости.

В один из привычно жарких дней, когда уже часов в одиннадцать солнце стало допекать, и атакующие коров пауты (они же оводы) гудели злобно, как немецкие самолёты в фильмах о войне, на дороге, идущей по насыпи, появился вдруг странный человек (представитель «Трипольской культуры», как я сразу понял). Это был здоровенный сутулый мужик. Лицо его мне сразу показалось удивительно знакомым, хотя я точно знал, что вижу его впервые.

И впервые я видел человека в такой одежде. Даже для тех времён, когда одеяние большинства моих земляков выполняло лишь основные функции – прикрывать и согревать, – его костюм выглядел очень и очень необычно. Издали казалось, что он в старых, выцветших добела солдатских брюках, но, когда человек подошел ближе, оказалось – не брюки это были, а бязевые подштанники с завязками. Из-под них виднелись другие, более новые, используемые уже по прямому назначению. На плечах мужика, поверх застиранной солдатской гимнастерки, сидел тёмно-серый пиджак из какой-то ткани, очень похожей на клеенку, с которой частично ободрали клеевое покрытие.

По пути мужик неоднократно оглядывался, а один раз остановился, повернувшись ко мне спиной. И тогда я увидел, что спины у пиджака не было. Был воротник, перед с отворотами, высокие ватные плечи и рукава, а спины не было – ее отпоролы зачем-то вместе с подкладкой. Видеть это было не то что неприятно – скорее, страшновато... Пиджак по моде тех времен был двубортным, на правом отвороте лазурно блестящий значок парашютиста. Все остальное было



обычным – ботинки, тяжелые, как из чугуна, г...давы, с телефонным кабелем вместо шнурков, и новенькая кепка чёрного сукна. Эти кепки шил и продавал некто Банзар Бурхиев.

Бурхиева все знали и посмеивались над его странностью. Она была в том, что материал для кепок он покупал в магазине, шил кепки не хуже фабричных, а продавал их дешевле... Одно время мы, мальчишки, подозревали, что он – японский шпион или диверсант («штабс-капитан Рыбников»), но потом из городской газеты узнали, что Банзар Бурхиевич Бурхиев – участник трёх войн, начиная с германской, и имеет множество наград, в том числе солдатского Георгия и два ордена Славы.

Я с уважением посмотрел на бурхиевскую кепку странного гостя и перевел взгляд на его лицо. Оно опять показалось мне знакомым – красное, всё, до самых глаз, утыканное густой рыжей щетиной, как мелко нарубленной медной проволокой. Глаза были маленькие, заглублённые, светло-голубые с золотинкой, и ясные-ясные. Смотрели они не прямо, а всё куда-то вкось, сильно прищуриваясь, так, что даже нос от этого морщился. Мужик подошел совсем близко и, глядя мимо меня, спросил, улыбаясь:

– Что читаешь?

Я показал обложку однотомника Чехова.

– Что читаешь? – переспросил он и, помолчав, сам себе тихо ответил:

– Книжку...

Мой личный опыт, хоть и не очень большой, подсказывал, что такое начало разговора, да при столь вызывающей внешности, ничего хорошего не обещает. На всякий случай я встал и переложил книгу в левую руку, а бич в правую.

Но мужик, еще сильнее сморщив нос и ощерив крупные зубы цвета слоновой кости, молчал и по-прежнему смотрел вкось. Потом он сказал:

– Покажи кабинет!

– Что показать?

– Покажи кабинет!

– Какой кабинет?

– А энтот!

И толстый бурый палец с ногтем, похожим на копытце жеребенка, осторожно дотронулся до моего бинокля.

– А, вы хотите посмотреть в бинокль?

– Ага, покажи бинокль!

Я дал ему «кабинок», не снимая ремешка с шеи. Он впихнул окуляры в глубокие глазные впадины, и щетинистое лицо расцвело такой детски радостной улыбкой, что мне даже стало неловко.

Мужик долго обшаривал горизонт, потом остановился; улыбка из радостной стала блаженной. Он долго пялился в одном направлении, наконец вынул бинокль из глазниц и сказал торжественно:

– Тама бабы купаются! Голыя!..

И снова рванул бинокль, так дёрнув меня ремешком за шею, что я чуть не полетел с насыпи. Он такого пустяка просто не заметил. Еще минут пятнадцать он держал меня на привязи и смотрел, не отрываясь, на дальний конец озера. Лицо его стало цвета свеклы. Нижняя челюсть равномерно опускалась и поднималась, подобно ковшу экскаватора; с губы, стеклянно блестя на солнце, тянулась длинная вожжа слюны... Но вот губы утёрты, челюсти захлопнуты. Дядька вернул мне бинокль и произнес очень душевно:

– Тама бабы купаются! Голыя! Толстыя!.. Но ты не смотри, ты школьник!

И сел на край насыпи. Я присел рядом, и мы познакомились. Оказался он сторожем от артели инвалидов, охранял картофельное поле. Звали его Вася Паршин. Был он контуженным, специальности не имел, грамоты почти не знал. Родом был из села Собакина соседнего района. Больше всего на свете любил парную баню, толстых баб и свежие огурцы. Еще он любил детей, но жена не хотела их – боялась голос испортить...

– У вас жена... певица?

– Ага! Такая певушка, что ты! Она же с капитаном жила, а ушла ко мне! А певушка была какая – ой-ёй-ёй! Капитан плакал...

Потом уже я увидел эту «певушку», да и услышал... Конечно, я был тогда только вчерашним семиклассником и многого не понимал, но, увидев Васину жену, подумал, что тот капитан, скорее всего, был или дурак, или плакал от радости, когда Вася уводил его «певушку». Ещё я подумал, что и сам Вася тоже не стал бы очень далеко преследовать того, кто увёл бы его жену...

Вася стал приходить ко мне каждый день. Я иногда приносил ему огурцы с огорода и за



это весь день мог не бегать за коровами – Вася мне этого попросту не позволял. Он делал это сам, – топая чугунными г...давами, носился по полю, как тяжело вооруженный рыцарь, страшно хлопая бичом, и коровы дико шарахались от его глухого рева:

– Эй, Манька (Катька, Зорька, Ночка...), куда?.. твою мать! А ну, цыля-пошла!

Я всё не мог понять, почему его лицо казалось мне знакомым, и подолгу рассматривал его, когда Вася (а для меня дядя Вася), схрумкав десяток огурцов с черным хлебом, ложился на склоне насыпи и на два-три часа засыпал. Я испытывал какое-то волнение, как будто я вижу то, чего не видел никто другой, или будто я знаю об этом человеке что-то такое, чего он сам не знает и не узнает. Но никак я не мог понять, в чём тут дело.

На фронте Вася был санитаром в медсанбате, но потом его перевели в другое подразделение. Произошло это так. Санитар, рядовой Паршин, получил приказ сопроводить под конвоем раненого пленного офицера в штаб. Пройдя некоторое расстояние, немец показал знаками, что идти не может. Конвоир, помня приказ – «доставить», взвалил раненого на спину и попер его, «как мешок с картохами». Но фриц был тяжёлый, а путь неблизкий. Уставши, Вася положил немца на траву и сам сел, привалившись к дереву. И – задремал... Проснувшись, увидел, что раненый фриц не только стоит на ногах, как здоровый, но и крадётся к винтовке. Санитара больше всего возмутило, что немец его обманул («Ташил его, паразита, на себе!..»). Вася обложил немца большим матом и показал кулак, на что немец ответил что-то по-своему и ударил Васю по щеке. Тогда Вася от души дал немцу в ухо. И, как оказалось, убил... За это Васю перевели в похоронную команду. С ней он дошёл до Польши, где и был контужен.

Не Качалов... И не Яхонтов!

Выгоняя по утрам стадо, я всегда брал с собой какую-нибудь книгу. Когда коров ничто не беспокоило, я усаживался на сухом месте и глотал страницу за страницей. Если были стихи, я иногда пробовал читать их вслух, «с выражением». В тот день у меня была с собой книжка

Бертольда Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи».

«Приходят милые детки, / Что служат в контрразведке, / На пап и мам донося, / – Мол, папы и мамы – изменники, / – И вот уже они пленники, / И спета песенка вся...», – читал я, обратясь лицом к рогатой аудитории, которой было совершенно всё равно, как и что звучит, будь то Руставели, Маяковский, Михалков или Брехт.

Когда над болотом отзвучал Бертольд Брехт, сзади послышались громкие и очень ироничные аплодисменты. Я обернулся. Передо мной стоял низкорослый тощий мужчина, на вид лет тридцати с лишним. «Он ничего не боится!» – подумал я, увидев его глаза – светло-серые, прозрачные и страшно спокойные. Он стоял и продолжал аплодировать.

– Да ладно вам! – сказал я. – Плохо ведь читал...

– Да уж, не Качалов, не Яхонтов... и не Ермолова! Даже не Хенкин! Артиста из тебя не получится... Закурить есть?

– Я не курю.

– Ага. Не куришь, не пьёшь и девок не... любишь. Так?

– Так...

– Ну и дурак. А я вот и пью, и курю, и девок ... не обижаю!

От ближнего шалаша послышался пронзительный женский зов:

– Лёва! Лёва!.. Иди картошки исть!..

– Пардон, это меня, – сказал маленький мужчина и стал спускаться с насыпи. Одна нога у него не сгибалась. Я помог спуститься и сопроводил его до места. У входа в шалаш (у нас это чаще называлось балаганом) стояла женщина лет за сорок, радостно и щербато улыбаясь. Хромой обернулся ко мне:

– Прошу к нашему шалашу...

Женщина стеснительно протянула мне руку: «Шура!..»

– Шура-дура... – изрек Лёва. Шура заулыбалась ещё радостнее.

– С нами картошки исть... – пригласила меня. Я сказал: «Спасибо, обедал» – и присел на пень у входа. За столом из горбылей между Лёвой и Шурой сидела девчонка лет десяти, остриженная наголо, как детдомовская.

– Вы сторож? Пастух? – спросил я. – Вас зовут Лёва?

– Кто я? Как меня зовут? – и Лёва, посыпая картошину солью, продекларировал:

– Иван Иванович Иванов, предводитель жиганов! И я же – Иван Иванович Померанцев, любитель музыки и танцев!

Шура упала на лавку и прямо закатилась от смеха. Мне тоже было смешно, но не настолько, чтобы так вот закатываться и валиться на лавку. А Лёва продолжал:

– Вот сейчас поедем картошки, я пойду покурить и сразу тебе всё расскажу – кто я есть, зачем на свет родился, что из этого вышло и т. д., и т. п., и всегда к вашим услугам.

Всё, что изрекал Лёва, приводило Шуру в радостное восхищение. Сама она ела мало, а всё подкладывала Лёве и девчонке, лоя при этом каждое слово маленького мужчины.

Закончив обед, Лёва заковылял к насыпи, я за ним. Вспомнив, как он хвастался – «и пью, и курю...», я очень вежливо заметил:

– А я видел, каких вы девок любите...

Он громко захохотал:

– А это не девка, это – жена! Мне – двадцать семь, ей – всего сорок! А Гальку я удочерил, это её дитя, невинный плод любви несчастной... У каждой женщины должна быть волнующая тайна! А если нет, надо придумать. А без тайны – нет женщины! Так, скотина двуногая... Я правильно излагаю?... Ха-ха!.. Ну ладно, давай знакомиться, честь имею – Лёва, Лёвчик, Лев Николаевич Петров. Профессия – вор-рецидивист!

Я ему сразу поверил. И тут же сделал глупость. Желая изобразить бывалого парня, знакомого с блатным миром, спросил небрежно:

– Давно завязал?

– Завязал своевременно. А ты мне тютельки-мутьельки не строй. Я же тебе сказал – артиста из тебя не выйдет, можешь мне поверить. Ты – кто? Ученик седьмого или восьмого класса, комсомолец, член бюро или редактор стенгазеты... Отличник учёбы или около того, сын порядочных родителей... И по фене со мной не надо. Я тебя такого, как есть, уважаю. Давно за тобой наблюдаю... Ты мне подходишь!

– Для чего подхожу? – с некоторой тревогой спросил я.

– Для души, для разговора! Мы же с тобой русские люди... Как можно без разговора? Ты вот садись, и я присяду. Я сейчас буду излагать свою автобиографию, а ты слушай и не перебивай. Все вопросы в письменном виде!

Но тут вдруг прибежала Галька и закричала, что какой-то дядька уводит корову из моего стада. Я выскочил на насыпь и увидел, что пожилой мужик тащит на верёвке красно-пёструю Зорьку. Пока я его догонял, Галька успела прокричать, что этот дядька сам загнал корову на своё поле.

Ковбойские страсти

Всё ясно – этот гад изобразил потраву, чтобы получить четвертную на бутылку, и решил корову не уступать... Я догнал мужика и стал вырывать у него из рук верёвку. Но ему, конечно, жаль было упускать 25 рублей. Он цепко держал конец, материл меня, грозился заявить в милицию за хулиганство, а также в школу и в райком комсомола. При этом он всё старался пнуть меня по голени – знал, видно, что это очень больно, – но я успевал поднять ногу, и мужик каждый раз попадал своей голенью по носку моего сапога. От боли он злился ещё больше. Он был не сильнее меня, но почти домостроевское воспитание не позволяло мне ударить или хотя бы толкнуть пожилого человека. Это давало похитителю моральный перевес, он стал дёргать резче, и я чуть было не выпустил верёвку. Какие-то звуки сзади заставили меня оглянуться.

Вдалеке маячил быстро хромающий Лёва, что-то мне кричал. Но его заглушил глухой грозный рёв и тяжёлый топот. По насыпи, как боевой слон Ганнибала, стремительно приближался Вася. Он сообразил, что совершается несправедливость. Лицо его было тёмно-багровым, в рёве не разобрать отдельных слов. Корова испуганно заметалась, дёргая во все стороны верёвку. Мужик ещё ничего не понимал и продолжал тянуть корову к себе. Но неотвратимое возмездие в лице Васи налетело с рёвом «убью!», схватило издёрганную верёвку и так рвануло её на себя, что мужик-похититель с размаху бряк-

нулся на дорогу. Я освободил глупое животное, и Зорька, подгоняемая Васей, радостно побежала к знакомому стаду.

Мужик поднялся, хмуро осматривая ободранные ладони. Мне его стало даже жалко, но, отдавая ему верёвку, я посоветовал: «Можете на ней повеситься...». Уже договаривая отвратительную фразу, я пожалел о сказанном, а потом увидел глаза похитителя-неудачника и понял: этого он мне не простит... Так оно и вышло.

Он потом выбрал день – специально следил, – когда Вася уходил в город за пенсией, а я зачитался, – и загнал-таки на своё поганое поле мою корову, да не просто из моего стада, а нашу собственную кормилицу, Катьку – стройную синеглазую красавицу украинской степной породы, редкой для Сибири масти – под цвет чая с молоком, бодучую, как молодой бычок. Ему бы с ней ни за что не справиться, если бы не помощь сына – синемордого пьянчуги...

И мне пришлось пережить несколько часов унижительных переговоров, упрасиваний, объяснений, взаимных обвинений и оскорблений. Хозяину картошки всё было нипочём. Я, потеряв контроль над собой, обзывал противника паразитом, падлой, кулацкой мордой, а сына его – пьяным боровом. Они запросто могли меня, как это называлось, «вусмерть изметелить», но тогда дело могло дойти до милиции, и уж денег-то им бы точно не видать! И двое взрослых людей терпели истеричные выкрики пятнадцатилетнего очкарика. Старик ограничивался матерками и многозначительными «ну-ну», а сын его, предельно пьяный, пытаясь что-то сказать, только выпучивал красные опухшие глаза и, угрожающе покачивая грязным толстым пальцем, шевелил раскисшими губами. Слова не получались, но шевеленье губ было очень выразительным, даже страстным. Ещё бы, ведь двадцать пять рублей – это же бутылка водки плюс банка паштета из частичковых рыб...

Победила несправедливость. Вася, узнав о победе злоумышленников, то утешал меня, то грозился переломать ноги паразитам, обидевшим школьника. Но старик долго после этого не появлялся на своём поле, и Вася понемногу успокоился.

Чего в школе не проходят

Оказалось, что Лев Николаевич Петров – коренной ленинградец. Отец его заведовал районо. Мать – костюмерша на Ленфильме. Воровать Лёва начал с одиннадцати лет, и не от нужды, а из любви к искусству. Несколько раз попадался, подводил отца «под монастырь». Перед самой войной Лёва был судим за участие в групповой краже по предварительному сговору, получил срок. В войну попросился на фронт. Там принял твёрдое решение – завязать. Осенью сорок четвёртого был ранен в ногу...

– Вот в эту? – показал я на негнущуюся тяжёлую конечность.

– Вот в эту...

– И с тех пор не гнётся?

– Не гнётся... Но чешется. Дай-ка я почешу...

И Лёва с помощью здоровой ноги стащил сапог с негнущейся. Ступня была обмотана газетой вместо портянки – обычное дело... Лёва достал из кармана большой складной нож, раскрыл, вытер блестящее лезвие о штаны.

– Чешется – не могу... Ах ты! – и он, наклонившись, ударил ножом по обмотанной ступне. – Ах ты, мать твою... – и снова ударил.

– Что вы делаете? – закричал я растерянно.

– Ногу чешу! Я говорил тебе – не перебивай, все вопросы – в письменном виде. А ты перебил, вот нога и зачесалась!

Наверное, у меня было очень глупое выражение, потому что он посмотрел-посмотрел и рассмеялся. Потом размотал газету на ноге... Ступня была деревянная, истыканная и изрезанная ножом. Краска телесного цвета почти вся облезла.

– Вся нога – протез. От середины бедра. Понял? После ранения ампутировали! А чешется так, что глаза на лоб лезут. Я уже много обрезал. И что отрезал – не чешется. Так вот! Загадка природы...

Лёва замолчал, полез в карман за кисетом, от газетной портянки оторвал аккуратный прямоугольник, ловко свернул цыгарку, с треском затянулся и выдал длинную цепочку колец махорочного дыма. Я смиренно ожидал продолжения, не пытаясь больше перебивать. Но Лёва

не был молчуном. Просто ему надо было убедиться, что урок усвоен.

– А дальше было так. Вышел из госпиталя, еду поездом в Питер, мечтаю о мирной и честной жизни... Вдруг ночью какой-то гад вещмешок у меня из-под головы хватить – и дёрну! Разве я догоню на костылях? Представляешь? Смех и грех – вор у вора мешок украл!.. Но мне тогда не до смеха было. Ни шкуры, ни денег, ни жратвы... Вот тебе и завязал!.. Прибыл в Питер. Родители – я знал из письма – должны были вернуться из эвакуации. Иду домой – в квартире чужие люди, о моих ничего не знают... Пошёл искать друзей, знакомых – никого... Понятно – кто на фронте, кто сидит, а кто в блокаду помер... Занесло меня к ночи в Парголово – любимое место... Иду. Все мысли – пожрать... А уже весна, листва зелёная, всё цветёт – у меня голова кружится, костыли тяжёлые... Вижу – в домике одно окно открыто, лампа горит, и на столе, у самого окна – буханка хлеба! Ну, думаю, в последний раз... Пролез в палисадник, руку в окно, булка сама в руке оказалась. А хозяйка была в палисаднике! Она меня хватить за костыль, я и шмякнулся на землю. Она костыли схватила, хай подняла, тут соседи, патруль... Может, и обошлось бы, да судимость не первая... Ха-ха!.. Два года лагеря и на шесть лет – в Сибирь твою родную. И вот я здесь, и вот я с вами... Работаю сапожником в артели инвалидов имени Михаила Ивановича Калинина. В лагере научили шилом ковырять... Женился вот на Шурке...

– Вы теперь окончательно завязали?

– Не извольте сомневаться! Имею в жизни цель и ясную перспективу. Семь классов у меня было, теперь в вечернюю школу хожу, нужна десятилетка. Я отличник по всем предметам. Память у меня богатая, мужчина я начитанный и культурный. Отбуду ссылку – займусь настоящим делом. Ты меня тогда не узнаешь!

Я опять поверил Лёве. Была в его речах такая определённая и уверенность, будто дело за самым простым, как встать и согнать корову с картошки. А Лёва, помолчав, уточнил:

– Ты семь классов уже закончил? Ну, тогда можно! Слушай, я тебе расскажу, как меня в первый раз взяли на дело...

Рассказывал Лёва так живо, что все события, которые он описывал, я как будто видел в кино. А когда что-то заставляло его прерываться, я воспринимал паузу как обрыв киноленты, хоть кричи: «Сапожники!». Я сказал об этом Лёве, он с удовольствием посмеялся:

– А я и в самом деле сапожник!.. Значит, интересно рассказываю? То-то! Я же тебе не Вася, а Лев Николаевич! Имя обязывает...

Культполитпросветработа

В то лето изредка случались не очень жаркие дни. Но хотя небо и было пасмурным, воздух оставался сухим. Лёгкий прохладный ветерок разгонял комаров и паутов, коровы спокойно наполняли свои сложные желудки, а мы усаживались на краю насыпи и ждали, когда Лева придет в настроение и что-нибудь интересное нам расскажет. Но чтобы прийти в настроение, Лева нужна была заправка. Чаще всего повод давал Вася. Он просил закурить, сворачивал сигарку в свой палец толщиной. Возвращая Лева кiset, говорил: «Папироски лучше». «Ишь ты, дурак, а хитрый!» – парировал Лева, и иногда этого было достаточно.

Помню его рассказ о соучастии в краже со взломом. Когда Лева дошел до кульминации, то есть до момента, когда в квартиру вошел её хозяин и, увидев воров с узлами, спокойно сказал «руки вверх!», держа правую руку в кармане, Вася схватил рассказчика за руку:

– Не надо! Ему не надо! Он школьник!

– Заткнись! – бросил Лева, и Вася молча подчинился. Лева продолжал.

...Когда вору – их было трое – по одному выходили из квартиры, держа руки за головами, хозяин останавливал каждого на площадке второго этажа и приказывал прыгать вниз, в пролет. «Иначе – стреляю!» Один сломал ногу, другой – ребро, третий обошёлся синяками. Хозяин сам вызвал скорую и сказал врачу, что это шпана на спор прыгала с площадки.

– А вы...тоже прыгали? – не удержался я от вопроса.

– А меня с ними не было! Я на шухере стоял. Замечтался... Думал, что куплю на свою долю.

Хозяина и прозевал. Мне тринадцать лет было. Глупый еще... Пока ждали скорую, наш старший говорит хозяину: «Мы на твою пушку легавых наведем, статью получишь, фраер!» А фраер достаёт из кармана портсигар деревянный: «Вот моя пушка, ребята...»

Я со своего поста все видел и слышал. Досадно было – на понт взял... Правда, милиции он нас не закладывал. Все равно после мы его выследили, хотели морду бритвами расписать. Встретили, окружили, а он опять в карман. Старший кричит: «А ну давай, фраер, стреляй из своего портсигара!» Фраер ему: «Пожалуйста!» – и из пистолета по ногам... Тот упал, мы – в стороны, а мужик этот кричит: «В третий раз, ребята, не пожалею!» Больше мы его не трогали...

Но Лев Николаевич рассказывал не только о блатной жизни. Оказывается, этот отличник учебы обошел в юные годы все залы Эрмитажа и запечатлел все увиденное в своей ненормальной памяти. Скульптуры он описывал детально, до виноградных листков. Говоря о картинах, старался передать не только сюжет, но и краски, и свое настроение от каждой картины. Старинное оружие, золотые украшения и прочие драгоценности он просто перечислял, как будто читал по списку, составленному завхозом.

Иногда Лёва пересказывал содержание прочитанных книг. Похоже было, что он шпарит наизусть. Помню, он излагал нам роман И. Микитенко «Утро» (он так и сказал: роман И. Микитенко «Утро»). В том же году, зимой, эта книга попала мне в руки. Я начал читать. Дойдя до фразы: «Вот Нафтула: здорово прыгает, чёртов татарин!», я почувствовал, что читаю знакомый текст. То же было и с книгой В. Шишкова «Странники» – она вошла в мою память прежде всего через Леву.

Конечно, читал он не только про уголовников и воспитанников трудколоний. Как-то он пересказал нам только что прочитанную книжку американской журналистки Аннабеллы Бюкар «Правда об американских дипломатах». Странное было зрелище: на краю насыпи стоит маленький мужчина в мятом, засаленном пиджачке, одна нога в рваном сапоге, у другой деревянная ступня разбита в щепки; на лице –

жиденькая бородка карикатурного дьячка, насмешливый красный нос и холодные, спокойные глаза цвета сыворотки, кепка так низко надвинута на глаза, что голова постоянно задрана. И странно было слышать, как эта фигура говорит – нет, вешает – звонким, резким тенором, отчетливо произнося: «Джон Джонс не хочет войны. Джон Джонс хочет мира!»

Вася слушал, сощутив добрые ясные глаза и глядя ими куда-то вкось. Шура, если бывала на чтениях, гордо выпрямлялась, поправляла на тощей груди жакетку-обдергайку. Она не все понимала, но твердо знала одно: ее муж самый умный, и чего не знает Лева – того уж точно не знает никто!

Пантелей-сифилитик

Два раза в месяц Лёва ходил в город: за инвалидной пенсией и получкой. В эти дни он задерживался допоздна и возвращался, как уважительно говорила Шура, «выпимши». Мне пришлось не раз наблюдать его возвращение. Лёва медленно двигался по насыпи, стуча костылём и протезом, и громко, с большим чувством распевал блатные песни.

Помню ленинградские ночи холодные,

Брали на дело меня, –

неслось над полями и болотами. И вскоре из землянки, возле которой стоял велосипед «Диамант», слышалась такая же пронзительная, старательно исполняемая мелодия. Играли на аккордеоне. Это третий сторож от артели инвалидов имени Калинина, Пантелей по прозвищу Сифилитик, подыгрывал приятелю.

Быстро пробили четыре отверстия

Возле стального замка –

Деньги народные, пачками сложены,

Смотрят на нас свысока, –

выводил голосом Лёва, а в дальней землянке разводил меха сияющего перламутром инструмента сутулый мрачный человек, бывший старший конюх госконюшни, от долгой несчастной любви спившийся, а от короткой счастливой любви получивший сифилис. Болезни свои Пантелей одолел. От сифилиса его вылечили в рекордно короткий срок чудо-препаратом, название ко-



того Пантелей произносил торжественно и с дрожью в голосе: «Пенициллин!» Поразмыслив, Пантелей решил, что тяга к выпивке – тоже болезнь, только психическая, а значит, и лечить её надо силой своей души. Он целый год не притрагивался к спиртному и однажды испытал великое наслаждение от простого чувства свободы: хочу – пью, хочу – мимо лью.

Теперь у Пантелея была репутация трезвенника, но прозвище Сифилитик осталось, и осталось брезгливое отношение к нему знакомых и соседей. Пантелей построил в поле комфортабельную землянку с дощатым полом, застеклённым окном, печуркой с трубой; там была у него обстановка – железная кровать и ещё топчан, буфет с посудой, даже половики – в отличие от Лёвиного жилища, где вся мебель состояла из лавок, застеленных сеном и телогрейками, да стола из сосновых горбылей. Но у Лёвы часто бывали гости, а к Сифилитику никто не заходил. Он даже купил аккордеон и выучился очень прилично играть, но люди по-прежнему обходили его открытый для гостей дом. Не помогало даже то, что все знали: хотя Пантелей теперь не пьяница, у него всегда под топчаном есть полбанки на случай гостя. Топчан, застеленный всем чистым, тоже ждал случайного ночлежника. Даже Лева – на что уж ничего не боялся – домой к Пантелею не заходил, хотя и общался с ним довольно часто. Кричит, бывало:

– Эй, Пантюша, как дела? Ещё не женился? Ну, ничего, ты, главное, верь в свое светлое будущее, а любовь – она придёт, неожиданная! Давай, Пантюша, выше нос, которого нет!

Это было несправедливо. До носа Пантелея хвороба не дотянулась. Нос у него был – длинный и унылый. Пантелей улыбался Лёве, махал рукой и уходил в свою землянку, а злыдень с деревянной ногой кричал ему вдогонку:

– Горячий привет Ивану Демосфеновичу!

Имелся в виду знаменитый местный врач – специалист по гинекологии, урологии и венерологии. Иван Демосфенович был грек, откуда-то с юга, бывший заключённый. Весь свой срок он проработал в медсанчасти Сиблага МВД, лечил заключённых, вольнонаёмных сотрудников, офицеров, рядовых стрелков и пользовался

у всех величайшим уважением. Ещё в лагере он женился на врачихе, тоже заключённой. Когда великого доктора расконвоировали, он решил остаться жить в нашем городе – к великой радости «сифончиков» и «бубончиков», как ласково называл он своих пациентов. Ко времени освобождения Иван Демосфенович был уже состоятельным человеком: купил дом, автомобиль «Победа» и моторную лодку.

Дама с собачкой

...никто не знал, кто она, и называли её просто: дама с собачкой.

А. П. Чехов

Почти каждый день утром, около семи, появлялась она, медленно поднявшись по отлогой тропинке на насыпь, и двигалась по направлению к городу. После полудня, не ускоряя и не замедляя шага, той же дорогой возвращалась назад, сходила с насыпи и, пройдя через картофельные поля и вдоль озера, скрывалась в самой удалённой землянке.

Она появилась в нашем городе в начале войны. Это была слепая женщина лет за сорок, с крупным обветренным лицом, избитым крупными оспинами. От оспы она и ослепла – ещё, говорят, в молодости. Кто-то построил ей тёплую землянку, там она и жила – зимой и летом, выходя по утрам в город с собачкой-поводырем. Была она спокойная, неторопливая, вежливая. Одевалась просто и чисто. Всегда на ней был белый платок до бровей, телогрейка зимой и вязаная кофта летом, всегда – длинное суконное платье и рабочие ботинки, всё на удивление опрятное.

Кто-то из учителей прозвал её Дама с собачкой, и прозвище закрепилось. Собачка была учёная, она вела слепую хозяйку, повинувшись каждому слову. «На рынок! К сапожнику! За керосином! В чайную!..» – и собачонка, напрягаясь всем телом, натягивает поводок, а хозяйка шествует следом, чуть отклоняясь назад, будто слегка упираясь. Время от времени собачки менялись, но всегда это была маленькая, белая с жёлтыми пятнами дворняжка, умная, послушная и работающая. Хозяйка кормила её тем



же, что ела сама. Зарабатывала слепая гаданием по руке. В те годы у гадалок и ворожеек было клиентов хоть отбавляй. Дама с собачкой всегда готова была взять женскую ладонь и, водя по ней пальцем, поднимая к небу незрячие глаза, говорить – о прошлом, настоящем, будущем... Она не утешала, не украшала речь цыганскими любезностями и прочей пошлой экзотикой – работала. Плату не назначала, денег никогда не просила. Давали сразу, просили подождать, не платили вовсе – одинаково молча кланялась, поворачивалась и уходила. Кроме того, она ещё и добротной вязала из шерсти шарфы, носки, варежки. Ей, видимо, хватало на жизнь. Всё лето она собирала лечебные травы – наощупь, обнюхивая каждый листок и стебель. Сама таскала с болота сухие коряги и торф, разводила и поддерживала огонь под таганком.

Однажды, когда я гнал коров по насыпи домой, она шла навстречу. Остановилась, пропустила коров и сказала хрипловато: «Сынок, дай руку – хочу тебе сказать... Нет, уже все хорошо, мне показалось... Смотри, больше не простывай...» И ещё сказала, сколько мне лет, и что отец погиб на фронте, что живу я вместе с матерью, бабушкой и младшей сестрой, и что я два раза тонул... Денег у меня было – пятак, но она приняла его с поклоном.

Иногда ее спрашивали, не надо ли чем помочь. Она благодарила и отказывалась. И добавляла: «Я сама, если надо, могу любому помочь!» Люди принимали эти слова за шутку. До поры до времени...

«Парень-молодяк»

Примерно в январе того же года появился в нашем городе Болгарин. Это был высокий, неправдоподобно красивый человек лет, по видимости, за сорок. Огромные черные глаза на смуглом лице, черная волнистая борода и усы, ровные белые зубы. Но – одет он был в какое-то жуткое рванье, и штаны постоянно блестели от влаги, за несколько шагов от него несло резкой вонью. Иногда с ним заговаривали, и он, хотя плохо говорил по-русски, мог объяснить, как он здесь оказался.

В годы войны он проживал в Румынии и был мобилизован в румынскую армию, в первых же боях на Украине перебежал к нашим. Румынский офицер, взятый в плен той же частью, злостно его оклеветал. Болгарин не смог доказать своей невиновности. Время было суровое, и он получил пятнадцать лет. Срок отбывал на Колыме. В сорок девятом его досрочно освободили и отправили в Москву, чтобы там он обратился в Болгарское посольство. Оказалось, что его родственник, занимающий большой пост в болгарском правительстве, возбудил ходатайство и добился его освобождения.

Все складывалось хорошо. Он был свободным и невиновным, получил приличную одежду и деньги на дорогу, он уже ехал в купе скорого поезда Владивосток – Москва... Но в том же поезде ехали освобожденные уголовники. Они подстерегли его в тамбуре, отняли деньги, раздели, сбросили с поезда. Он пролежал ночь на снегу, но остался жив. В больнице, куда его доставила милиция, он пробыл больше месяца, но осталось недержание мочи – постоянное, изнурительное. Оперативники дали ему одеться, посадили на поезд. И снова – уголовники... Правда, на этот раз его не ограбили, а просто выбросили из вагона. Он снова остался жив. Пешком дошел до нашего города и больше не делал попыток что-либо изменить в своей судьбе. Его сторонились, и он сам сторонился людей. В городской больнице ему предложили операцию – он не решился. Родственникам о себе ничего не сообщал, – видимо, недуг полностью лишил его и сил, и воли. Не знаю, где он спал, но на ночь лег никуда не просился. Милостыню он не просил, – просто стоял где-нибудь и глядел прямо перед собой. Деньги ему опускали в карманы, и на еду ему, похоже, хватало.

Однажды на рынке я видел, как он подошел к книжному киоску, стал перебирать книги. Продавщица терпела и даже улыбалась. Вдруг Болгарин схватил одну книжку, руки его задрожали. Я был рядом и видел – это была «Накануне» Тургенева, серии «Народная библиотека», с цветной иллюстрацией на бумажной обложке. Меня поразило сходство лица Инсарова на рисунке с лицом самого Болгарина. Его, видимо,



тоже... Болгарин заплатил, взял книжку и ушел.

Конец зимы и всю весну пятидесятого года он провел, появляясь то на рынке, то на насыпи. В начале лета его встретила Дама с собачкой. Она трижды обошла вокруг него, постепенно приближаясь, взяла за руку, поводила пальцем по ладони и сказала: «Пошли!»

Он стал жить в ее землянке. Уже спустя несколько дней он выглядел совершенно иначе. Дама купила ему новый костюм из чертовой кожи и как-то сделала, что его одежда оставалась сухой. Она по-прежнему промышляла гаданием по руке, а теперь стала брать больше заказов на вязание из шерсти. Болгарин почти перестал бывать в городе. Он корчевал коряги, копал торф, ловил багром в реке бревна, сушил их, пилил, колол, складывал дрова у землянки. О странном симбиозе судили по-разному, но Лёвина Шура категорически утверждала, что слепая его лечит – и только.

Когда он появлялся изредка на насыпи, с ним вежливо здоровались, провожали глазами. Обсуждали вопрос, сколько ему лет. Мне он казался пожилым, Вася с Шурой давали ему тридцать пять. Умный Лева, пару раз присмотревшись внимательно к чернобородому иноземцу, выдал нам свое веское заключение: «Какие там тридцать пять-сорок?! Ему двадцать пять, не больше. Парень – молодец! Меня не проведешь!» Лева был очень близок к истине. Как оказалось, Болгарину в это лето было двадцать шесть.

Вести с трудового фронта

Теперь я мог спокойно встретить любого одноклассника, как будто нечаянно спросить: «Где работаешь?» и на такой же вопрос небрежно ответить: «А я – пастухом!». Однако встречи теперь, как назло, стали редкими – ведь мой рабочий день начинался в четыре утра и заканчивался в девять вечера. На обед я пригонял стадо только в сильный зной, когда паузы доводили коров до отчаяния.

В один из таких дней я увидел на улице ассенизационный обоз. На задней повозке восседал мой одноклассник Толя. Он с важным видом дымил длинной папирсой и независимо поглядывал

вал по сторонам. Меня поприветствовал жестом «Рот Фронт» и сообщил, что вечерами ходит на танцы в городской сад. От него же я узнал, что в духовом оркестре горсада на эсном басу играет Сашка Белобрысый.

Сашку я тоже встретил. Это было в обед, в самый зной. Могучая латунная труба на его плече так горела на солнце, что, казалось, вот-вот расплавится и прожжет деревянный тротуар. Вытирая подкладкой кепки раскаленное докрасна лицо, Сашка заявил, что теперь он не только рабочий и крестьянин, но еще и работник искусства. Еще он громко порадовался жаркой погоде: это значит, много народу ходит купаться на Кию и, значит, много будет утопленников и, значит, лабухам-духоперам будет много работы – «жмуриков таскать». Все это он выпалил так быстро и так куда-то спешил, что я даже не успел сказать о своей работе.

Похищение «Диаманта»

К Пантелею наконец-то пожаловал гость. Какой-то нездешний бродяга, проштатавшись полдня по насыпи, под вечер спустился к Пантелеевой землянке и попросился переночевать. Приняв гостя, Пантелей нажарил картошки с салом, выставил пол-литра водки, сыграл на аккордеоне «Златые горы» и «Летят перелетные птицы», уложил гостя спать. Довольный, долго курил у входа в землянку и с заходом солнца тоже улегся. Удалились на ночлег и Вася с Лёвой.

А я в это время, освободившись до утра от пастьешеских дел, оседлал велосипед и прикатил на болото, чтобы получше рассмотреть в шестикратный бинокль полную Луну – в городе мешали деревья. Остановившись посреди насыпи, я положил велик на склон и стал ждать, когда небо как следует потемнеет. Какой-то неясный звук заставил меня навести зрительный прибор на землянку Пантелея. От неё к насыпи быстро шёл человек, ведя за руль Пантелеев велосипед «Диамант». Когда он уже поднимался по склону, раздался крик – это возмущённый Пантелей выбежал из землянки, размахивая палкой. Похититель шустро взбежал на насыпь, оседлал велик и поехал. На крик из своих жилищ выскочили



Вася и Лёва. Ворюга катил по насыпи уже мимо Лёвиной усадьбы. Лёва понял ситуацию мгновенно. Совершенно голый, прыгая на одной ноге (протез на ночь снимался), он снизу метнул свой костыль и попал в колесо, между спицами. Гость вылетел из седла и пропахал носом с полметра дороги. К нему уже мчался Вася. Он страшно грохотал своими чугунными башмаками и глухо ревел: «Убью!» Он и убил бы, но Лёва не дал ему дотронуться до вора.

Когда я подъехал к месту происшествия, там уже вершилось правосудие. Лёва велел похитителю встать, вытащил свой костыль из покореженного колеса, выпрямился и уставился вору в глаза – абсолютно голый, облитый голубым лунным светом, одноногий маленький человек с до жути спокойным взглядом!

– Гнида! – сказал он негромко. – Бикса дешевая! У кого воруеть?.. Ну что, будем правилки качать?

Вор задрожал и отчаянно замотал головой. Лёва что-то бормотнул ему на ухо, никто не разобрал слов. А тот засуетился, выгреб из кармана большую пачку денег и с готовностью протянул Лёве.

– Не мне, а хозяину – за обиду! И на ремонт веломашины...

Пантелей, ничего не понимая, растерянно взял деньги, мял их в руках, укоризненно смотрел на вора. Вор нерешительно попятился, делая попытку уйти. Лёва развернул его лицом к городу и торжественно произнес:

– Мы надеемся, сударь, что впредь наши дороги не пересекутся...

А потом добавил, адресуясь уже к Васе:

– Друг мой, зашнуруйте ваш башмак и дайте... короче, Вася, дай ему под ж..., да так, чтобы он летел, свистел и радовался!

...Вор, сильно хромая и держась обеими руками за задницу, быстро удалялся в сторону города. Пантелей плакал. Лёва проникновенно сказал, частыми прыжками спускаясь с насыпи:

– Вот видишь, Пантелей, какие еще есть нехорошие люди в нашем обществе... Зачем пускать к себе в дом кого попало? У тебя же есть друзья!

Пантелей смотрел на Лёву, не понимая, издевается тот или к чему-то клонит. Он открыл было

рот, чтобы, наверное, пожаловаться на свою судьбу, но голый одноногий прыгун добрался до шалаша и прокричал:

– Слушай, Пантюша! Бери-ка ты завтра водяры и закуски. Мы с Васькой придем к тебе в гости! И Болгарина с собой прихватим!

Фигура Пантелея сначала радостно распрямилась, но потом озадаченно изогнулась. Причиной было, конечно, упоминание о Болгарине. Его по-прежнему вежливо сторонились, и чистюля Пантелей в первую очередь. Но Лёва твердо повторил:

– Болгарина прихватим! Понял? А без него не пойдем! – и сиганул в свою берлогу.

И Пантелей смирился.

...И весь день назавтра гуляли сторожа, и заливался шикарный фрицевский аккордеон, и неслись над болотами песни, запеваемые Лёвой, и Шура гордилась своим мужем, и Пантелей был рад и счастлив до предела... А когда Лёва, уходя вечером, обнял хозяина и трижды пьяно поцеловал, а потом это же сделал Вася, а затем, прижав руку к груди, поклонился в пояс высокий чернобородый Болгарин – Пантелей не выдержал: у него задрожал подбородок, и глаза уставились в небо, как будто в поисках Полярной звезды.

Гости ушли. Лёва, поддерживаемый женой, нырнул в свой шалаш. Вася (он выкушал около литра) гулял, топая по насыпи своими г...давами. Болгарин, почти трезвый, растворился в болотном тумане. Пантелей, оставшись один, опустился на колени, обхватил руль велосипеда и громко зарыдал, дергаясь всем длинным телом. И даже когда Вася угомонился, Пантелей еще долго не уходил в свою комфортабельную землянку – маячил на насыпи, шатался призраком по болоту, полез зачем-то среди ночи в Черное озеро, блаженно стонал, фыркал, гудел невнятные песни и что-то бормотал.

После этой гулянки с Пантелеем что-то случилось. Он стал задумываться, ходить, молча улыбаясь, по насыпи, играть вечерами неведомые мелодии, а потом вдруг рассчитался с артелью и куда-то уехал. Говорили, вернулся на родину, в Кемерово, и снова работает старшим конюхом госконюшни.

Болотный детектив

Мы втроем сидели на насыпи, и Лева излагал с выражением «Записки следователя» Льва Романовича Шейнина. Вдруг слышим сзади: «Здравствуйте вам...». Садится рядом с Лёвой очень неприятный тип – классический урка. Угощает папиросами, сплевывает вожжём на три метра, все руки в наколках. И задает вопросы, в которых, среди гуши препохабнейшего мата, можно разобрать, что ищет он двух корешей, которые только что «выскочили», интересуется, не видали ли мы этих корешей, приметы их сообщает. Станным показалось мне только, что у этого блатяка морда какая-то знакомая. Ну, не то что совсем знакомая, но где-то я его видел, и не на рынке, не на вокзале, где всегда таких типов полно, а где-то еще... но где?

Пока я ломал голову над вопросом «где?», Лёва кратко и очень прохладно дал урке отрицательный ответ. Урка попытал еще Васю, тот с улыбкой покачал головой. Спросил и меня – взглядом и кивком головы. И я таким же манером ответил, что не видел. Блатной еще покурил, поматерился, плюнул и встал. «Прифет!» – бросил он небрежно и подался к городу. Отойдя шагов на полсотни, он остановился и крикнул мне: «Эй, малый, я там вроде портсигар выронил! Будь другом...» Действительно, блестящий тяжелый портсигар лежал на траве. Я взял его и побежал отдавать. Засовывая портсигар в карман, урка улыбнулся мне совсем по-человечески и спросил негромко: «Нэ признав, Микола?»

Вот это да! Ничего себе урка! Это же сосед, с нашей улицы, старший лейтенант МВД, оперуполномоченный! Вот это маскарад! Но опер не дал мне возможности поудивляться вслух и быстро проговорил: «Понимаешь, тут у нас был побег... ищем опасных преступников. А меня ты не знаешь, договорились? Ну, покедова!» И, громко матюгнувшись, опер направился в город.

Когда я вернулся на место, Лёва очень равнодушно спросил: «Не про меня опер спрашивал?» Я растерялся: «Нет... А как вы узнали?..» «Скажи ему, что липовых наколок слишком много. И лаетея он очень уж... выразительно... Да что я, оперов не видел? Ну, раз не про меня лично, значит – был побег».

Уже осенью этот знакомый опер при мне рассказывал знакомому офицеру медслужбы, что после побега этих двоих был массовый побег из каторжного лагеря – более двадцати бывших полицейев и карателей с Западной Украины, осуждённых на 25 лет. Нападая на милиционеров и охранников, они основательно вооружились. Только спустя месяц удалось их выследить и окружить. Взвод оперативников подобрали из одних фронтовиков. Каратели, привыкшие убивать только безоружных людей, старых и малых, оказались вояками плохими. На торфяном болоте оперативники дали им бой на уничтожение. Живыми взяли только двоих – главаря и идеолога, – «для отчетности», как сказал опер.

Детство человечества

Между болотом и городом протянулся обширный городской сад. Собственно садом была только сосновая роща, посаженная до революции солдатами местного гарнизона – каждый солдат сажал одно дерево. Там же были Дом культуры (бывшая церковь), эстрада, танцплощадка... Южная, березовая часть сада, была старым кладбищем, которое закрыли в начале 30-х годов, и между берез еще долго видны были могильные холмики. В то лето горсовет решил заняться благоустройством сада, и для начала его отделили от болота и пастбищ, чтобы не заходили коровы и овцы. Для этого весь березовый участок, обращенный к болоту, окопали рвом глубиной около двух метров, при этом разрезали много старых могил. Стена рва со стороны сада была отвесной, и в сухой глинистой земле чернели дыры, местами торчали сгнившие доски, на дне рва валялись кости и черепа.

Здесь часто собиралась местная шпана – начинающие урки, приклатнённые подростки. Они играли в карты, пьянствовали. Иногда, напившись, вылезали на луг и, найдя череп поцелее, играли им в футбол. Как-то старик, пасший козу, сказал футболистам: «Может быть, это чей-то из вас дед или отец, а вы его голову пинаете». Но ему велели заткнуться, пригрозив сыграть его собственной башкой.

Вообще с этими урками даже бывалые мужики-фронтовики старались не связываться –

шпана, вооруженная финками и кастетами, вела себя вызывающе. Школьников моих лет и младше они зазывали в свою компанию, учили играть в карты, заставляли воровать... Я познакомился с ними где-то в 9–10 лет. Меня они заставляли украсть для них картошки с поля, я отказался. Их было пятеро, по 13–15 лет. Довольные своим превосходством, они были даже «великодушны». Обшарили карманы, отняли фуражку, помахали перед глазами бритвой, кольнули в бок финкой и отпустили, в кровь разбив мне физиономию.

Как-то мы с Васей направились в сад поискать клубники и земляники. Когда переходили ров, в самом неглубоком месте, Вася увидел под ногами череп. Он остановился, осенил себя крестом, бормоча молитву, поднял череп и положил в нору. «Нехорошо, грешно» – говорил он, мотая головой. Я сказал ему, что здесь много подобных вещей, и он пошел вдоль рва, собирая черепа и кости. Меня позвали к коровам, а он все ходил и ходил по рву – и так до вечера. Он сложил все найденные кости в могильные норы, отверстия завалил камнями и засыпал землей. Когда он услышал про футбольные игры пьяной шпаны, то долго смотрел на меня, не понимая, а поняв, побагровел, затрясся и зарычал, оскалась: «Убью!..» Он и убил бы, но та банда больше не появлялась – то ли их посадили, то ли они сами куда-то убрались.

Правда, футболисты вскоре появились, но уже другие. Несколько ребят гоняли ногами что-то серое, неправильной формы. Уже когда мы подбежали к ним шагов на десять, я увидел, что пинают они не череп, но Вася не внимал ничему – он несся с ревом, размахивая огромной суковатой дубиной, и игроки мигом исчезли за насыпью. Вася схватил предмет, которым они играли. Это была брезентовая футбольная крышка, набитая сухой болотной травой. Но Вася медленно отходил от гнева. Он стоял, широко расставив полусогнутые ноги, медленно и грозно поворачивая голову вместе с корпусом, обнажив могучие клыкастые зубы и нечленораздельно рыча.

В эту минуту я понял вдруг, почему его лицо казалось мне странно знакомым. Я же видел

точно такое лицо и похожую фигуру в книге (не помню автора) «Детство человечества» на рисунке, изображавшем неандертальца на охоте.

Я и сейчас убежден, что неандертальцы никогда не вымирили. Они просто рассеялись среди людей современного типа и полностью приспособились к их образу жизни. И пусть их внешность заметно отличается от классического облика *гомо сапиенс сапиенс*, неандертальцы были и остаются людьми. Каждый может вспомнить знакомых и незнакомых представителей рабочих, крестьян, трудовой интеллигенции, в лице и фигуре которых преобладают явные неандертальские признаки. А реликтовые гоминоиды профессора Б. Ф. Поршнева, они же йети – это те, которые не смогли или не захотели приспособиться.

Но Вася, Вася! Другого такого яркого представителя вида мне больше встречать не приходилось. Боже мой! Сколько прочитано, прослушано, передумано о чьих-то наблюдениях, впечатлениях, выводах... А ведь тогда, жарким летом 1950 года, не кто-то, а я сам видел его почти ежедневно, был рядом, разговаривал с ним, читал ему книги, угощал огурцами и подсолнухами... И сейчас, много лет спустя, слыша, читая или думая о происхождении человека, я всегда представляю себе светлый образ моего товарища Васи Паршина из села Собакина, человека с могучим телом и нежной детской душой.

Детство человечества...

Протезная голова

Остатки лета прошли в постоянной беготне за коровами – было очень жарко, пауты замучили. На Арчекесе археологи раскопали стоянку времен палеолита, но я не смог там побывать из-за коров. Пионеры нашли в горах пещеру со скелетами и оружием времён Гражданской войны – и этого я не увидел. Через город проехал инвалид в коляске, запряженный тремя медведями, но и этот экипаж я увижу только год спустя при его возвращении.

Встречаясь изредка с одноклассниками, я рассказывал им о своей работе, упоминал о болотных приятелях. Сашка – его ничем не уди-

вишь – пожал плечами: «Вася – наш сосед... И жену его знаю... И брата Афоню... Золотоискатель!.. Лёва?.. Подумаешь, питерский! Может, рассказывает и интересно, а сапожник он – так себе... Бате моему сапоги ремонтировал...» Как-то Сашка проезжал по насыпи – в кузове полуторки. Сопровождал груз кормового жмыха. Увидев меня, гордо выпятил грудь, поправил кепку, но снизошел и метнул с высоты диск величиной с большую тарелку. Жмых уже не был деликатесом, как в годы войны, но еще годился для разнообразия...

Толя явился в свой выходной. В белой вышитой рубашке, в наглаженных брюках, в блестящих штиблетах. Аромат «Шипра» расходился от него зеленоватым облаком. Познакомился с Лёвой, Васей, щелкнул крышкой портсигара: «Закуривайте!» С ходу перешел на ты и в разговоре с Лёвой показал хорошее знание «фени». Лёва, издевательски задрал голову, долго травил анекдоты, а потом, таинственно понизив голос, огорошил моего друга:

– А знаешь ли ты, в какой гостишь компании?

– Да вроде знаю... А что?

– А то... Ну, он (кивок на меня) – твой кореш. Ладно. А вон там, видишь – дым из трубы? Там живет Болгарин. Так вот у него – протез мочевого пузыря. Понял?

– Иди ты...

– Сам иди... Вон там живёт Пантелей. Сифилистик. У него, знаешь, где протез?

– Чего?.. Не может быть!

– Может... А это видел?

И Лёва торжественно снял сапог со своей разбитой вдребезги деревянной конечности.

– Ну, это что... – протянул Толя.

– Ах, это что? А это – видел? – и он, сняв с Васи кепку, похлопал по его лохматой рыжей голове.

– Ну и что? Голова...

– Ну и то, что это – не просто голова, а – протез головы!

– Как?.. Да ты что... Ты что?!..

Но тут сам «носитель головного протеза» посмотрел внимательно на Лёву, на Толю, на меня – и медленно, задумчиво произнес:

– Лёва не врет...

Толя в растерянности повернулся ко мне, но я невинно развел руками. Моему «корешу» стало не по себе. Он поднялся и заходил по насыпи, в сильном возбуждении пытаясь закурить и ломая спички. Наконец Лёва не выдержал и громко расхохотался, за ним последовал я. Когда уже успокоенный Толя, попрощавшись, ушел, наступила очередь Васи. Он громоподобно, с подвыванием хохотал, катаясь по склону насыпи и колотя по траве чугунными башмаками.

Прощание славян

К сентябрю мое пастушество закончилось. Школьные заботы постепенно заняли большую часть времени, и мне все реже удавалось навещать своих товарищей по болоту. А когда выкопали картошку, Вася и Лёва вернулись на зимние квартиры. К тому времени в городе снова стал появляться Болгарин. Уже осенью он распрямился, стал улыбаться, разговаривать с людьми. Освоил русскую речь. От слепой знали, что он теперь совершенно здоров и может ехать в Москву, а оттуда – в Болгарию. Однако он жил у слепой гадалки еще зиму, весну и лето. Часто он по утрам выходил с вещмешком на дорогу, ведущую к лесозаводу и ближним селам, ждал попутной машины, а вечером возвращался, довольный. Дама с собачкой ждала его, стоя у землянки, и трудно сказать, кто раньше чувствовал его появление из-за поворота – собачка или ее хозяйка...

А в один из дней осени 1951 года люди могли видеть, как по насыпи, а затем по Тракторной, а там и по Ленинской, к вокзалу, прошел высокий, чернобородый, тревожно красивый человек в синем шевиотовом костюме, в новенькой бурхиевской кепке, в лаковых штиблетах и с хорошим кожаным чемоданом в руке. Рядом шла Дама с собачкой, как всегда, до глаз повязанная белым платком, в белой грубо вязаной кофте и рабочих башмаках. Собачка, не слыша указаний, расслабленно бежала на поводке возле хозяйки. Подошел скорый поезд «Хабаровск – Москва». Слепая сказала: «Иди». Болгарин, наклонившись, что-то ей говорил, но слепая, подняв к небу плотно закрытые глаза,

медленно качала головой и повторяла: «Иди...» Дали сигнал отправления. Болгарин вошел в вагон, а слепая сразу же двинулась назад. Собачка туго натянула поводок и, слыша глуховатое «Домой, домой», напряженно заперебирала белыми лапками через город – к насыпи, на болота, к Черному озеру.

Много лет спустя

Ещё три года прожил я в родном городе. Ещё три года, время от времени, встречались мне на улицах товарищи по жаркому болотному лету. И даже не на улице... Зимой, в день Рождества Христова, к нам домой заявился – Вася! И он, и я были одинаково изумлены: он не знал адреса, а я никак не ожидал его визита... Оказывается, Вася просто ходил славить! Конечно, одет он был не по-болотному, а вполне прилично: в армейском бушлате и суконных галифе. Одолев смущение, Вася стянул с головы ушанку и запел тропарь, но вскоре запнулся – наверное, мешало что-то в моём выражении лица... Бабушка – а она узнала его – как ни в чём не бывало подсказала продолжение, и тропарь был допет как следует. Бабушка пригласила: «Раздевайся, Василий, садись к столу», – поднесла рюмку водки из лечебных запасов, накормила, дала с собой пирогов с картошкой и калиной... Больше я с ним не встречался. Позже узнал, что он уехал на Алдан – поддался агитации брата Афона, золотоискателя.

Этот Афоня!.. Тогда ещё встречались такие типы. Они мало изменились со времён шишковских «Угрюм-реки» и «Чертозная». Заработать за сезон тысяч пятьдесят (а в то время «Победа» стоила шестнадцать) и – за несколько месяцев пропить-прогулять... Не для себя искал Вася золото на Алдане, а для Афона, для утоления его вечной жажды и могучих страстей...

Лёва, он же Лев Николаевич Петров, не засиделся в сапожниках. Не ограничился он и вечерней десятилеткой, и курсами счетоводов, а потом и бухгалтеров. В начале шестидесятых он, работая бухгалтером, учился заочно в институте и ездил на «Запорожце» с ручным управлением. Показывал паспорт, чистый от судимости...

А в семьдесят третьем году, эффектно захлопнув дверцу зелёного «Москвича» и высоко задрав голову в кепке с неизменно надвинутым до носа козырьком, меня приветствовал уже главбух какого-то заготовительного учреждения. С заднего сидения гордо и радостно улыбалась мало изменившаяся Шура, сверкая зубами – уже совсем не редкими – из высококачественной нержавеющей стали.

Дама с собачкой – ходит всё так же, и гадает, и вяжет из шерсти, и лечит травами. Правда, живёт уже не на болоте, а в городе. Собачки меняются, но всегда кажется, что это одна и та же.

Толя, поработав то лето ассенизатором, перешёл в вечернюю школу и продолжил ездить под крики мальчишек «тарам-барам!». Потом – школа милиции. К восьмидесятым годам – начальник Областного управления ГАИ. Высокий, худощавый, горбоносый, кавказского типа полковник МВД часто приезжает в родной город на черной «Волге», с чёрным доберманом на переднем сидении. Рыболов, охотник, честолюбец, сноб... Гордится, что в юности три года возил дерьмо, и сокрушается, что судьба такая – по долгу службы снова приходится возиться с ещё худшим «дерьмом», которое ездит по дорогам в нетрезвом виде да ещё с превышением скорости.

Сашка Белобрысый – рабочий, крестьянин, деятель искусства и культуры... Всё при нём! Александр Иванович – директор крупнейшего многоотраслевого совхоза, который славится не только внушительной территорией и многомиллионными доходами, не только коттеджами для рабочих и собственным техникумом, учёными степенями главных специалистов и современным Дворцом культуры... В совхозе – оркестр народных инструментов, вокально-инструментальный ансамбль «Молотилка» с классным длинноволосым трубачом, мастером импровизаций. Но гордость директора – шикарный духовой оркестр. Порой тёплым летним вечером, когда в совхозном саду, на огромной танцверанде под могучими вековыми липами космополитично-модная молодёжь совершает раскованно-фантастические телодвижения, подчиняясь попеременно ритмам ВИА и духовика, директор совхоза, плотный краснолицый мужчина с белы-

ми, как и в юности, волосами и бровями, с золотой звёздочкой на пиджаке, подходит к эсному басу, говорит: «Сынок, отдохни...» – и садится за пюпитр. И молодёжь, слыша мощное ритмичное хрюканье огромной медной трубы, почтительно переглядывается: «Шеф снимает деформации...»
1973–1986

ДЕНЬ ПОД ЗНАКОМ Р. Б.

НЕВЫДУМАННЫЙ РАССКАЗ

В течение пятнадцати лет после того августовского вечера, когда у синего вокзального киоска он разлил бутылку «Кориандровой горькой» по четырем граненым стаканам, а потом, уже стоя на подножке вагона, разгладил усы и свистнул вдруг, да так по-паровозному громко и резко, что даже проводница, вздрогнув, заругалась, – вот в течение всех этих пятнадцати лет мне время от времени казалось: сейчас, здесь (и неважно, в каком городе), на улице или в метро, я увижу высокую сутуловатую фигуру с острыми плечами, в ковбойке и парусиновых брюках, и правое острое плечо дернется, и в широкой впалой груди послышится гулкое «гум-гум», и тогда я подойду сзади и скажу: «Здравствуйте, Р. Б.!». И он обернется, и я увижу, что это не он, совсем другое лицо, и усы не те, или совсем никаких усов, и я даже обрадуюсь, что это не он, и слава Богу, опять пока не он! И скажу: «Извините, пожалуйста, я обознался...».

Но всякий раз, подходя к сутулому человеку с острыми плечами, я уже видел свою ошибку, и мне ни разу даже не пришлось извиняться.

* * *

Было свежее крымское утро в начале августа 1969 года. Еще вчера решено было, что первым же автобусом едем в Феодосию – увидеть морские пейзажи Айвазовского, киммерийские

гуаши Волошина, ощутить атмосферу портовой романтики, вдохновлявшую Грина. Встали рано. Вдоль дороги к автобусной станции, на обочинах, стояли столы, на них – бутылки кефира и караваи украинского хлеба. Веселые продавщицы громко приглашали прохожих позавтракать.

Автобус «Судак – Феодосия» уже стоял наготове, пыхтя и отфыркиваясь. С трудом удалось найти указанные в билетах места для жены и сына, – всё заняли-заслонили-заполонили толстые шумные хохлушки с мешками, семечками и веселым приморским «суржиком», одинаково понятным для всех местных и приезжих. Но вдруг...

Потный поток хохлушек стал прозрачным и призрачным... Из двери автобуса я увидел на остановке... да, высокого сутулого человека с острыми плечами. Все было на месте – черные усы, гладкие черные волосы, ковбойка и парусиновые брюки. Вот сейчас... правое плечо... ну да, правое плечо дернулось, и я отчетливо расслышал гулкое «гум-гум». Я выбрался из автобуса. Он стоял, держа руки в карманах, смотрел поверх голов и не спешил на посадку.

– Простите...

– Да?.. (Лицо повернуто ко мне, но взгляд ищет что-то за горизонтом).

– Вы... не были в пятьдесят втором – пятьдесят четвертом году в Мариинске?

– Да, я там был, – и он уперся в меня колючим зеленым взглядом.

– Тогда – здравствуйте, Р. Б.!

– Пардон, вы – кто?.. Неужели?.. Колька, сволочь! – и он, как писали в старинных романах, заключил меня в свои железные объятия.

Никуда не денешься – это действительно был он, натуральный Р. Б., собственной персоной, со всеми своими, как он выражался, атрибутами и аксессуарами. Пока он расспрашивал меня – кто я, где я, как я, с кем, куда и почему, я вдруг подумал, что, если он остался самим собой, у него должна быть при себе какая-нибудь необычная вещь. Ну, например, пистолет Лепажки или бронзовый циркуль времён Коперника.

Когда мы вошли в автобус, он, прежде чем садиться, пожелал познакомиться с моим семейством. Фертом подошел к моей жене, картинно

изогнувшись, приложился к ручке, демонически шевельнул усами и уже оскалился было, чтобы громогласно, как всегда, произнести свое эффектное имя, – но она его огорошила:

– Я знаю, вы – таинственный Р. Б., мистический друг юности моего супруга!

У него дернулось плечо, «гум-гум», он ещё раз приложился к ручке, а потом все же не остался в долгу и выдал, адресуясь ко мне:

– У вашей благоверной ярко выраженный азиатский тип лица. Как я вас понимаю! Нам, русским, это всегда было необходимо. Одному нужна полонянка, другому – повелительница... что вообще-то одно и то же!

Потом он широким мужественным жестом протянул руку нашему сыну:

– Нам ехать долго, и с тобой, Ян, мы еще поговорим. Я скажу тебе, кем ты станешь в будущем. Учти – я никогда не ошибаюсь!

И только после всего этого он пожелал сесть. На весь салон было объявлено:

– На одном из сидений стоял серый металлический ящик с кожаной ручкой. Так вот, на этом самом месте должен сидеть я!.. Вы позволите?..

Ящичек сразу же нашелся, и загорелый юноша в черных очках неохотно поднялся с места. Р. Б. смачно уселся и положил ящичек себе на колени. Нежно поглаживая молотковую эмаль, он громко пояснил:

– Здесь – зрительная труба тридцатишестикратного приближения. Редкая вещь, хотя и стоила мне всего девяносто рублей. Она займет достойное место в моей коллекции... Однако дайте я на вас посмотрю... Нет, не узнал бы! Сколько же вам лет? Постойте, сам скажу... Тридцать четыре! Уже – тридцать четыре! А мне – всего только сорок семь! Выгляжу, как видите, прекрасно и чувствую себя соответственно. Могу любого сбить с ног одним ударом! (Этого он мог и не говорить). Да... Пятнадцать лет... Моему Серёжке – четырнадцать. Вы не знаете? У меня сын – Сергей. Весь в меня!

– А я помню вашу жену. Тогда, в пятьдесят четвертом...

– Причем здесь жена пятьдесят четвертого года? Мало ли кто у меня был?.. Мы живем вторым – мама, я и Сергей!

– Так, значит, Магда Францевна?..

– Да, она не только здоровствует и благоденствует – она моложе своих лет! Очень просто – вычитает из возраста восемь лет заключения... в вашем родном городе... Однако – я расселся, а вы стоите? Пуркуа? Варум?

– Да мест нет... Ничего, мне вполне удобно...

– А сейчас будет ещё удобнее! Верочка, вы видите, я встретил старого друга, и нам надо поговорить. Он порядком старше вас, и я думаю, что около часа ваши ножки потерпят вибрацию металла?

Оказалось, что рядом с Р. Б. сидела дева лет двадцати и с обожанием ловила каждое его слово, даже не ей адресованное. Усы Р. Б. нетерпеливо шевельнулись. Верочка со вздохом встала и покорно уцепилась за поручень. Стало ясно, что она не сядет, если даже место останется свободным. Воля повелителя!

Не знаю, что заставило меня взглянуть на номер кресла. Я несколько не удивился, увидев, что этот же номер и на моём билете...

Автобус бодро бежал по твердому, нагретому солнцем Крыму. Все окна были открыты, и сухой степной воздух, сохраняя в салоне тепло, не оставлял в нем ни кубика духоты. Р. Б. притянул деву за шею и стал что-то говорить ей на ухо. Я огляделся вокруг – все пассажиры автобуса гладели на нас, точнее, на Р. Б. И я вспомнил, что точно так же смотрел на него в первые дни нашего знакомства.

* * *

Это было летом 1952 года. Медленно тянулись каникулы в преддверии десятого класса. В один прекрасный день я обнаружил себя в дружном коллективе художественной самодеятельности клуба имени Л. П. Берии, или просто клуба Сиблага МВД. Втащили меня туда старые друзья Толя Цыган и Гена Декадент, активисты самодеятельности. Толя открыл в себе актерский талант. Он блестяще сыграл в школьном спектакле Пимена-летописца. В благородном старце с конопляной бородой, закрывающей впалую грудь и достающей до согбленных дрожащих колен, невозможно было узнать стройного юного брюнета кавказского типа.



А как он произносил: «Поддай костыль, Григорий!». Как принимал костыль! На репетициях «Григорий» подавал вместо костыля лыжную палку. Узнав об этом, Толин дядя-оперативник возмутился: «Искусство должно быть реалистическим!» В день премьеры он выпросил у знакомого инвалида запасные костыли – настоящие, с опорами для рук и подмышек, – и принес их за кулисы. И когда «Пимен», поднимаясь, попросил костыль, «Григорий» подал ему оба. И старый летописец пошел из кельи, поджав для натуральности одну ногу и опираясь на новенькие, блестящие алюминиевые костыли.

Какие были аплодисменты! И как хохотал, сползая бессильно с кресла, директор школы грозный Гольденберг! И как в отчаянии хватался за голову руководитель драмкружка, режиссёр-профессионал Клавдиев, однокурсник Бориса Андреева и Петра Алейникова, норильский коллега и приятель Иннокентия Смоктуновского!

Гена Декадент (а как ещё могли звать в 1952 году высокого тощего парня, носившего на голове не «бокс» или «полубокс», а гладкие густые волосы до плеч?) играл на всём, что попадало под руку. А еще он мастерски бил чечётку. Меня он обучал игре на семиструнной гитаре. Вот с такими талантливыми друзьями явился я, как у нас говорили, в «Берии».

В «Берии» тогда входил в моду джаз, называемый официально эстрадным ансамблем. В этот ансамбль включили и меня. Руководил нами аккордеонист Эвир Ленивцев. На скрипке играл электромонтёр Вася Алтаев, на гитарах – Толя и Гена. Мне дали огромную балалайку-контрабас. Саксофона не было, его искусно имитировал на аккордеоне Эвир. А партию фортепиано вела Магда Францевна, бесконвойная заключенная. Ученица композитора Глазунова, она была ранее директором музыкального училища в большом областном городе.

В тот день мы репетировали вальс «Осенние мечты». «Начали!» – уже, наверное, в десятый раз сказал неутомимый Эвир («Эпоха Войн и Революций»), растягивая аккордеон. Гитаристы ущипнули средние и басовые струны. Вася повёл смычком. Магда, морщась, как от изжоги, дотронулась до клавиш. Я, перехватывая

гриф контрабаса, начал ударами расчёски срыывать с толстых струн тупые, отрывистые звуки. Магда морщилась всё сильнее. Эвир горестно размахивал длинным носом.

Вдруг за кулисами послышался громкий издевательский смех, и кто-то вызывающим тоном изрёк:

– Это что – румынский оркестр на принудительной свадьбе? Или просто работает комиссия по уничтожению списанных инструментов?

Играть после таких слов было невозможно. Все повернулись в сторону говорящего, и он вышел из-за кулис. В те времена в нашем городе можно было встретить самых разных типов, но такого я видел впервые. Не знаю, почему, но он показался мне изысканно одетым, хотя на нем был какой-то брезентовый китель и явно не шерстяные тёмные брюки. Смуглое лицо с прямым тонким носом, цепкие зеленые глаза, узкие черные усы. Он вошёл и остановился. Магда ахнула, встала с табуретки и тихо пошла к нему, сильно наклоняясь вперёд. Он подхватил её, обнял, сказал еле слышно: «Мама...». Так они стояли минуты три, потом он усалил Магду и заговорил, по мере разворота к нашей компании возвращая прежнюю интонацию:

– Я очень рад, что тебя расконвоировали, я тоже последние годы был бесконвойным... Приехал час назад, нашёл клуб имени нашего благодетеля, иду по коридору – и вдруг слышу твою игру... Откуда в этом городе Бехштейн?.. Да, слышу твою игру, но – на фоне какого-то шума, визга, дребезжания... Мама, неужели ты вынуждена иметь дело с этой компанией?

Магда счастливо улыбалась и согласно кивала, вытирая слезы.

– Но, мама, неужели нельзя тебе одной исполнить этот вальс на прекрасном инструменте? Или хотя бы вот этому юноше, на его аккордеоне – кстати, прелестная австрийская работа... Но зачем все эти шумовые эффекты? – он повел усами на нас. – И самое интересное, – ткнул он пальцем в мой контрабас, – зачем здесь этот... балалай?

– Это не балалай, а контрабас! – не дал мне ответить Эвир и тут же добавил:

– Но в данном случае это неважно... Играли плохо! Репетиция окончена. Завтра в это же вре-



мя! Магда Францевна, мы вас поздравляем... – и наш маэстро решительно впихнул свой прелестный австрийский аккордеон в не менее прелестный австрийский футляр.

Мы разошлись по домам. Я понял, что одну из множества дорог, открытых перед советской молодежью, перекрыл для меня издевательский шлагбаум. «Балалай!» Надо же...

А человека с усами я встретил в этот же день, к вечеру. Он остановил меня на улице и сказал: «Познакомимся!» Рука была сухая и сильная, в энергичном пожатии не ощущалось ни иронии, ни превосходства. Тогда я и увидел, как дергается его правое плечо, и услышал «гум-гум». Он сразу же объяснил:

– Ранение легкого, сквозное – Севастополь... А это, – он наклонил голову и показал неровно заросший рубец, – это Керчь-Эльтиген!

– Вы моряк?

– Морская пехота, батальонная разведка, капитан-лейтенант... Было! Теперь – о главном. Всё, что я говорил в клубе, относится только к вашей игре на этом инструменте – не более того. Лично вы мне интересны, как, несомненно, и я вам. Именно поэтому мы и сошлись в этой точке земного шара, в определенный день и час. Далее. Можете звать меня по имени-отчеству, можете – по фамилии, но между словами «мистер» и «сэр». Можно и по-американски, одними инициалами – Р. Б. Правда, я их, американцев, не очень люблю, хотя и уважал когда-то, до войны... и до встречи с ними на поле оном. Войки они оказались так себе. Молодцы, когда десять ковбоев с кольтами на одного индейца с кремневым ружьем... Мне англичане более симпатичны. Во всех смыслах. И что важно – умеют посмеяться над собой. Ценное качество – нам его не хватает. Знаю по себе – я над собой смеюсь только в полном одиночестве или вместе с мамой. Если вы это усвоите, мы будем друзьями. Пока, сэр!..

* * *

Р. Б. тронул меня за плечо, вернув к 1969 году:
– Я очень хочу, чтобы вы побывали у меня дома. Увидите уникальную коллекцию. Зрительные трубы и старинные хронометры. Вы не

собираете старинные хронометры? Напрасно! Весьма увлекательно и познавательно. В прошлом году мой гость, переводчик из ФРГ, предлагал за хронометр XVIII века новенький «Фольксваген». Но зачем мне этот «ваген» или какой другой? Человек должен быть свободен!

Все это он вещал громко, как с трибуны. Мне было несколько не по себе, но никто в автобусе и не пытался сделать ему замечание, хотя южная публика до этого великая охотница.

– А ещё я люблю рассматривать лица окружающих, выискивая на них печать одухотворённости... или хотя бы мысли! Но это такая редкая жемчужина – мысль! Я уж не говорю об одухотворённости... Ну где она, одухотворённость? – он сокрушенно повёл глазами по салону автобуса. Публика молчала. Я тоже.

– Где одухотворённость, я вас спрашиваю? – повторил Р. Б. Я не знал, где одухотворённость. Дева Верочка, видимо, знала – она потянула повелителя за рукав. Но он, понизив голос и добавив интимных ноток, пресёк ее посягательство:

– Верочка, я встретил друга, и мы с ним беседуем. Бе-се-ду-ем! С вами же мы провели – и чудесно – две недели, и вы ни разу не пытались вызвать меня на беседу! Так обойдемся и сейчас, синьора!

Бедная дева часто-часто моргала. В салоне висела тишина. Все слушали Р. Б. Смотрели не в окна – только на Р. Б. А я, услышав «синьора», снова вернулся в 1952 год.

Он снимал тогда комнатку в частном доме на Транспортной улице. Обычно я заставал его лежащим на железной кровати, застеленной суконным одеялом. Он читал или, реже, писал что-то карандашом в толстой тетради. Иногда он виноватым голосом просил прийти завтра, потому что сейчас у него «получается». Чаше же откладывал работу, и начиналось наше совместное путешествие по закоулкам его знаний и впечатлений. Нередко я заставал у него «синьор». Только один раз он, не открывая, сказал резко, что занят; во всех других случаях он произносил: «Простите, синьора, с вами было чрезвычайно интересно, а теперь я должен принять гостей!». И синьора уходила, бросая злобные взгляды – нет, не на него, а почему-то на меня!



Писал он стихи, рассказы, пьесы. Где-то они печатались – я видел на столе корешки переводов из газет Саратова, Новгорода, Киева, из каких-то неизвестных мне журналов. Я просил почитать, но он всё откладывал: «Это не шедевры. Потом...» И первым прочитал мне не своё. «Слушайте, – сказал он, – этих стихов вы еще долго нигде не прочитаете и не услышите. Запомните фамилию автора – Гумилев!»

И он читал мне Гумилёва несколько вечеров. Долго ещё образ прекрасного поэта ассоциировался у меня с чертами Р. Б.

Были и его, Р. Б., стихи. Запомнились отдельные строфы «Уральского скита»:

Здесь в прошлом тонет каждый миг.

В большой печи трещат поленья.

И тянет запахами тленья

От заключённых в кожу книг...

Восьмиконечный строгий крест

Хранит далёкую обитель,

И даже волк, таежный житель,

Не обижает этих мест...

А на оторванном листке численника я прочитал написанное его карандашом:

Меня казнят. Костра задушен дымом,

Я повторю в душе свои грехи.

Но никогда трусливым псевдонимом

Не подпишу мои стихи!

... Странно я чувствовал себя, выходя от него. Все волновало – и новые знания, и сладость запретного плода (он предупреждал, о каких авторах не стоит говорить в обществе), и ощущение чего-то необычного, нездешнего, такого далёкого от привычного мне провинциального сибирского мира...

Несколько раз я прокручивал в уме его жизнеописание. У нас в городе было немало «залётных птиц», и разных историй мы слышали множество, да и доверчивостью излишней юные туземцы послевоенной лагерной Сибири не страдали... Но жизнь Р. Б., изложенная им в один из дней, так резонировала с тем, что читалось в затрепанных, подклеенных, не раз переплетённых книгах избыточных казенных и домашних библиотек! (Не только каторжной, но и книжной была Сибирь...) И душа начитанного старшеклассника впитывала всё, что увлеченно вещал

тридцатилетний хищноусый офицер и поэт, прошедший адские круги войны и зоны...

Отец Р. Б. был генералом, оставил семью, когда сыну было 12 лет. Р. Б., окончив школу в 16 лет, убежал из дома. Ходил юнгой на паруснике. На Чёрном море попал в компанию контрабандистов. Поступил матросом в торговый флот. Был в кругосветном плавании. Турция, Индия, Япония, Америка... Поножовщина в Сан-Франциско. Любовь с юной китайкой на острове Таити. Ночевка в лепрозории. Любовь с негритянкой в Рио-де-Жанейро...

Когда я шёл от Р. Б. под грузом впечатлений, окружающая действительность виделась мне жалкой и убогой. Сошло наваждение под вечер, когда я, сам не зная зачем и презирая себя, прикинул на бумаге: сколько времени понадобилось бы человеку на все эти плаванья, странствия, переходы? Оказалось – лет пять. А у него – два года... И ещё он до войны успел окончить два курса филфака в Новгороде. Да...

Математика растворила романтическую оболочку, и я вдруг разозлился – на него и на себя. Потом стал подробнее вспоминать его рассказы, и мне показалось, что разные эпизоды звучали с разными интонациями. И выражение лица его менялось. Может, он просто испытывал меня? На глупость, на легковёрность? Но так хотелось верить, что необыкновенные приключения бывают не только в авантурных романах...

... А может быть, просто он делал все быстрее, чем другие?..

Цифры – трезвые и убедительные – целую неделю удерживали меня от визитов к Р. Б. И тогда он явился сам! Как он узнал адрес? Не знаю до сих пор... Мы со Светкой сидели на кухне, увлеченно поедая только что собранную черемуху. Бабушка чистила картошку. Он вошёл, снял кепку: «Мир дому сему!». Поклонился бабушке. Поблагодарил за приглашение присесть. Попробовал черемухи. Вежливо полистал альбом с фотографиями. Спросил, когда и где погиб отец. Разговор пошёл о войне. Он рассказывал о своих фронтовых делах, о разведке, о пленных немцах и румынах, о рукопашных схватках. Все было просто, реально и – куда страшнее портовых драк и ночёвок в лепрозории. Я понял: здесь он не сочинял, а вспоминал.



Светка спросила:

– А какой у вас был самый-самый страшный момент?

– Самый-самый? Пожалуй, атака немецкого женского батальона. Представляете? Три сотни разъярённых пьяных баб, косматые, расстрепанные, несутся с визгом на наши окопы. Мы растерялись – как стрелять в женщин, даже вооружённых автоматами? Не привыкли мы с ними воевать... Немцу проще: был бы приказ – будет исполнено! Мы отступили... Я так драпал!.. Потом наш батальонный комиссар, политрук, участник гражданской, напомнил: «Ребята, это – война. А вы – военные, они – тоже. Вот и воюйте... Подпустите ближе, не высовывайтесь, а потом – как учили: штыком-ножом-прикладом...». Командир одобрил и повторил этот совет как приказ. Мы сделали всё аккуратно. Пленных не брали. Положили всех. Больше таких атак не было... Между прочим, все эти немки были светловолосыми, и я с тех пор не переносу блондинок! – перешел он на легкий тон.

Тема сменилась. Все помолчали. Черемуху подмели. Бабушка насыпала горку кедровых орехов, предложила гостю. Он отказался, – мол, не люблю. «И я не люблю, – сказала бабушка, – с тех пор, как зубов нет». Р. Б. весело захохотал и, показав недостаток зубов, пояснил, что в лагере переболел цингой.

– Ну, вы еще молодой, у вас новые вырастут, железные, – утешила бабушка.

– Если уж вставлять, то золотые или натуральные, человеческие! Вот, помню, штурману нашему в Японии...

* * *

Слово «Япония», произнесенное в 1952 году, срезонировало с этим же словом здесь, в крымском автобусе 1969 года. Оказывается, о Японии он вёл речь в связи с возрождением этой страны, умеющей гениально перерабатывать элементы европейской культуры, не теряя своего национального достоинства. Вещал Р. Б. вдохновенно, и я заметил, что его новые зубы всё-таки пластмассовые. Что делать!.. А он от Японии перешел

к Азии вообще, заговорил о женщинах Востока. Неужели, подумал я, опять о любви с китайкой на острове Таити? Нет, другой мотив...

– Панмонголизм! – гремел он на весь автобус. Публика молчала, заворожённо слушая. – Панмонголизм! Хотя имя дико, но мне ласкает слух оно! Вы знаете, мне оно тоже ласкает слух, равно как монгольские имена и топонимы. Бурундай! Магсаржав! Хайлар! Керулен! Сильный, мужественный язык. Мечтаю там побывать. А то чёрт знает что: в Польше был, в Германиях, Японии, а в Монголии, в самой континентальной Азии, – нет... Стыдно – ведь мы же всё-таки азиаты!

Тоже мне, азиат! Я не удержался:

– Я-то – да, сибиряк! Но вы же – новгородец, какая там Азия?

– А тот гений, который сказал: «Да, скифы мы, да, азиаты мы», – он даже по фамилии немец! И все-таки – русский, азиат. Нет, милый мой, только азиатская страна может так перемешать и переварить в своём котле, как Россия-матушка... Или мачеха, если точнее... А кстати, вам известна гипотеза, что предки славян не из Припятских болот выползли, а явились миру из степей Алтая и Казахстана?

... В Казахстане он отбывал часть срока. Был табунщиком – пас лошадей в степи. Сейчас он должен об этом вспомнить – ну вот, уже рассказывает... Интересно, покажет шрам на ладони? Да, вот она, розовая полоса, ровная, без изгибов – след от ножа. Табун хотели угнать двое бандитов – знали, что пасут коней два безоружных ээка. Но не знали, что один из них – разведчик морской пехоты. И когда одного табунщика, оглушив, связали и стали подбираться к другому – перед ними предстал Р. Б.! Не просто представить себе последующую сцену у вахты: бесконвойный ээк, по-ковбойски картинно сидя на мохнатой и злой «монголке», вручает охране трофейный карабин и двух связанных арканом субъектов – одного с искривленной шей и черным пятном на месте глаза, другого с простреленной рукой и расцвеченной физиономией. А у самого левая ладонь рассечена до кости и перевязана рукавом рубашки...

Население автобуса слушало, замерев. Верочка хлопала глазами.

– Вас, конечно, реабилитировали? – спросил я.

– Ещё в пятьдесят пятом. С восстановлением воинского звания и наград. А годы неволи зачтены как срок службы в офицерском звании. Бумага за подписью маршала Конева. Мама тоже реабилитирована. Иначе как бы меня пустили за кордон?.. В Польше – на родине мамы – и в обеих Германиях я побывал по литературным делам. Оказывается, меня сложно переводить на немецкий! Польские, испанские, французские переводы читаю с удовольствием, а немецкие... Какие-то нюансы теряются... Решил переводить сам – я ведь немецким владею в совершенстве!

Немецким он владеет в совершенстве – это уж точно. И не только языком! Все фильмы об эсэсовцах показались мне детскими страшилками, когда я увидел Р. Б. в немецком обличье...

* * *

Увлеченный общением с Р. Б., я тем же летом 1952 года попытался «угостить» им своих друзей. Толя влюбился в него с первого рукопожатия. Лёва Рыжий слушал Р. Б. понимающе-снисходительно и согласно кивал головой. Мы стали компанией – Р. Б., Лёва, Толик и я. Правда, когда мы бывали все вместе, Р. Б. не разговаривал на серьёзные темы и не читал стихов. Он зубоскалил, травил анекдоты, просвещал нас «по женской части». Как-то он поведал, что развлекается сейчас с молодой вдовушкой. Муж её год назад погиб в шахте. Р. Б. легко и быстро расположил даму к себе и стал регулярно тайком навещать. «Так вот, джентльмены, у нее в горнице висит портрет мужа в черной рамке. Хорошее лицо передового рабочего. Память священна! Но вот появляюсь я, загадочный брюнет без определенных занятий, но с определенными мужскими достоинствами. Душа и тело вдовицы завоеваны за три вечера! Нормальный успех... Но мне интересно – как эта синьора чтит память покойного мужа? И вот после самого интимного момента я нагло и цинично, готовый получить заслуженную пощечину, спрашиваю её, как выглядело тело мужа после поднятия из шахты... И скромница моя подробно и душевно излагает...»

Лёва издал хохоток бывалого хахала. Толик выдал восхищенно: «Вот стерва!». Р. Б. ожидал моей реакции. И дождался: «Она просто дура! А с вашей стороны это... некрасиво!» – «Что я слышу? Юный туземец говорит со мной на темы морали? Морали свободного мужчины в отношении свободных, безмозглых и похотливых вдовушек? Да полно, сэр, не мужское это дело!»

Но меня его история зацепила. Никаких Америк он нам, семнадцатилетним жителям столицы Сиблага, не открывал. Дело в другом. Хотя Р. Б. не называл имён, я понял, о ком речь. Я не просто знал эту вдовушку. Знал и её родных. Я бывал у них дома. Был и в тот раз, когда принесли телеграмму о гибели Ивана. И помнил, как она с воплем упала на поленницу дров, и как заголосили сёстры, как молитвенно запричитала мать, и как отец их, старый невозмутимый пожарник, участник трех войн, длинно и отчаянно выматерился. И вот – такое...

Несколько дней я носил в себе этот гвоздь. Думал... И – додумался! Рассказал обо всём младшей сестре вдовы, Светкиной однокласснице. Та, естественно, возмутилась и пообещала раскрыть глаза «этой дуре».

Прошло несколько дней. Я ходил, довольный своим дурацким делом. Рос в своих глазах! И до того дорос, что поделился дома со своими. Сглаживая, конечно, неудобные места – в семье, где на четверых я был единственным существом мужского пола, не обо всём говорилось прямо. Но – рассказал. Жду одобрения. Мой женсовет долго молчал. Потом Светка, глядя куда-то в пространство, спросила: «Интересно, отличники все такие дураки – или встречаются более-менее?» А мама поставила меня в тупик: «Почему ты решил, что он говорил именно об этой женщине? Мало ли у нас шахтерских вдов? Мы живем в Кузбассе!» И я – усомнился... А вдруг Р. Б. действительно говорил не о ней?

Темным пасмурным вечером я услышал знакомый свист. За воротами стояли Толик и Лёва. Предложили прогуляться, – расскажем, мол, кое-что интересное. Что-то в их интонациях было не так... Дошли до центральной улицы, пересекли сквер... Мои спутники, идя с боков, направились

к городскому саду, где так поздно гулять было не принято... Я остановился:

– Что делать в саду?

– Да ты иди, иди, там увидишь – очень интересно, просто смех!

Ладно, пошли смеяться... Прошли сосновую аллею. Темнотища – освещения никакого. Двинулись к березовой роще, где раньше было кладбище.

– Вы что, хотите меня испытывать? Тогда ещё рано! Полагается в полночь. И через настоящее кладбище, а не бывшее!

– Ты иди, иди... – взял меня под локоть Лёва, и мне показалось, что он как-то нервно глотнул воздух.

– Иди, не бойся, – очень бодро поддержал Толя.

– Чего – не бояться? Что вы темните?

– Стоп! – скомандовал вдруг Лёва. – Пришли...

В лицо мне ударил слепящий свет фонарика.

– Кто ещё здесь?

– Я ещё здесь! – медленно произнес Р. Б., выходя из темноты и передавая фонарик Лёве. Выглядел он жутко. На нем был чёрный, мокро блестящий плащ, на голове – эсэсовская фуражка с высокой тульей и черепом на кокарде.

– Зинд зи фертиг? Вы готовы? – спросил он лающим голосом.

– Яволь... Йес, сэр... герр... – бормотнули в унисон мои конвоиры.

– Нун, гут. Что же, майн юнге фройнд, я объясню вам, в чем дело. Четыре дня назад вы передали моей... даме через третье лицо мои нелестные о ней отзывы. Так?

– Так! – подтвердил я.

– Он признался! Отлично! Прошу занести в протокол. А знаете ли вы, что в кругу настоящих мужчин такой поступок строго наказывается?

– Может быть, но я не вижу здесь настоящих мужчин!

– Отвечать на мои вопросы! Вы человек взрослый, старше шестнадцати, значит – подсудны. Мы, трое ваших товарищей, рассмотрев дело судом чести, заочно вынесли вам приговор, который немедленно и приведем в исполнение. Лео, ты готов? Анатолий, ты готов?

– Да, йес... сэр... герр...

– Приступайте!

Я не мог двинуться с места. Мысли, одна другой несуразнее, метались хаотически в голове. Так он немец... Мать – Магда... Ах ты... Фашист! Так вот за что он сидел... а ребята? Задурил... запугал...

Лёва тем временем достал откуда-то веревку, сделал петлю, перекинул через сук толстой березы. Толя взял меня за локоть: «Пошли...» Я понимал, что убежать от троих, в темноте, среди деревьев и могильных холмов – вряд ли... Что делать? Лёвка в очках, как и я... Собью очки, а Тольке ногой в пах...

– Пошли! – Толик подтолкнул меня к дереву. Я прыгнул к Лёвке, стараясь сбить очки, но он резко отшатнулся и треснулся затылком о дерево. К Тольке я повернуться не успел – он снова держал меня за локти. Я дал ему каблуком по голени, он взвыл, и я почти вырвался, но Лёва схватил меня за грудки, лицо его исказилось от боли в затылке...

– Все! Спектакль окончен. Лёва, Толя, идите домой! Задание выполнено зер гут... о-кей! Мы преподали нашему моралисту хороший урок кодекса мужской чести.

Я медленно приходил в себя:

– Сволочи вы все! Суки позорные! Я вам этого не забуду!

– Ничего-ничего, пусть выговорится... – почти ласково сказал Р. Б.

– А я не хочу с вами разговаривать!

– Всё! – голос Р. Б. стал жёстким. – Ребята, оставьте нас вдвоём. У нас будет серьёзный разговор. Не для посторонних... Идите!

Обиженно косясь на Р. Б., «посторонние» протянули мне руки: «Пока...». Я никогда не был матерщинником, но тут от души их послал. И добавил: «Холуи немецкие! Фрицевское г...!» – для убедительности. «Идите!» – уже зло крикнул Р. Б. Ребята ушли. Оставшись наедине с Р. Б., я почему-то не испытывал никакого беспокойства. Осталась только злость – на него, но ещё больше на друзей и на себя. Я поднял глаза на «немца»:

– Ну, что мне сообщит мистер-сэр-герр? Что я ещё не дорос до понимания сути его любовных походов?



– Друг мой, – сказал Р. Б. как-то просто и устало, кладя на плечо мне тяжелую руку, – друг мой, простите мне весь этот идиотский маскарад... эту дешевую сцену. Дело ведь совсем не в той дуре... Велика потеря! Из-за этого я не стал бы огород городить. Дело не в ней, а в вас. Вот вы передали ей мои слова и решили – по вашей логике, – что она укажет мне на дверь. Но ведь было все совершенно не так! Надо же знать людей и учитывать их характеры, интеллект... Вы рассказали сестре дуры. Но сестра – тоже ведь дура! Она не вдовице всё изложила, а вывалила на стол – всему большому, дружному, честному трудовому семейству!.. И что же? Родные, воздевая руки к небу, изрыгают проклятия на мою голову? Три ха-ха! Они все накинулись на нее, на бедную вдовицу! И вдохновенно накинулись – вы же знаете их таланты в искусствах! Обо мне – ни звука! Я пришел – и ушел. А она осталась – молодая, здоровая, красивая и одинокая баба... Думаете, она будет вам за это благодарна?

– Да уж понял...

– И это ещё не все. Этот дурацкий спектакль... Простите за пошлую театральность, но – так вы лучше запомните... Вы слишком доверчивы... слишком открыты для ваших друзей... Просто прозрачны для них!

– Но они же – друзья...

– А вы уверены, что они для вас так же открыты? Поймите – очень немногие могут быть настоящими друзьями! Это – такой же редкий дар, как талант художника, музыканта, поэта. И дружба – не в общих развлечениях, целях и идеалах... Впрочем, я перешел на банальности – фи, сэр! Короче говоря, я хотел показать ваших друзей. Для вас был урок, для них – экзамен. Идёмте домой...

По дороге он отцепил от фуражки изображение черепа, как оказалось, грубо сделанное из костяной бельевой пуговицы, и приладил на чьём-то заборе, под номером. Задерживая мою руку при прощании, Р. Б. растянул усы в улыбке:

– А вы ещё скажете мне спасибо за этот спектакль!

– Большое спасибо! – я даже приложил руку к груди. – Век буду благодарен!

Но он проигнорировал мою иронию.

... Оказывается, Лёва и Толя всю дорогу, крадучись, шли за нами. Едва Р. Б. свернул к себе, они догнали меня.

– Ну, что вам нужно? Ведь ваш босс отменил... экзекуцию. Можете быть свободны... суки позорные! Иуды поганые...

Но – сквозь ругань, клятвы, взаимные посылы, толкания в грудь и хватания за рукава до меня все-таки достучалась она – истина. И оказалось, что...

Когда Р. Б. предложил им «психологический опыт», они поняли, что это испытание – для них. И сделали вывод: он – немец, эсэсовец, шпион и диверсант. Он и в лагерь пошёл для конспирации. Ребята согласились на опыт, но между собой решили: как только дойдет до дела, изобразить неумение и растерянность, чтобы он, Р. Б., сам взялся за палачество, а уж тут... Толя его сзади – р-раз! – по башке двухкилограммовой гирей (вот, на ремешке!), а Лёва – из-под низу! – бросает ему в глаза горсть нюхательного табаку (вот, в кисете!), и тут же его – левой в печень (ты понял, да?), а дальше я помогаю им его связать и – «куда следует»! Но я, оказывается, им помешал – хоть и растерялся, но не так, как они рассчитывали... А Р. Б., видимо, все же эсэсман – откуда у него плащ и фуражка с черепом? «Откуда?» – страстно вопрошали заговорщики. Как разочаровало их мое объяснение! Фуражка – просто мичманка, деформированная проволочным обручем! А череп... Эта подделка их просто оскорбила. Еще бы – так пошло купиться на пуговицу от кальсон!

И мои друзья единодушно решили – для них Р. Б. больше не существует! Они выдерживали характер около двух лет. Мне удалось помирить их только под конец его пребывания в нашем городе, когда мы были уже студентами...

* * *

«Сейчас будет Щebetовка. Здесь приличный пищеблок!» – объявляет Р. Б. и ведет алчущих перекусить. Перекус оказался плотным – на-



зад публика еле тащится, но Р. Б. лёгок и бодр. В салоне многие задрёмывают. Но – не Р. Б. Едем дальше. Крым звенит под колесами могучей Львовской машины. Водитель – энтузиаст, как, похоже, все крымские шоферы...

Я – к Р. Б.: «А вы сейчас в каком жанре? Поэзия, проза?» – «Я – драматург! – отрекомендовался он во всеуслышание. «Помните мою пьесу “Серые глаза”? Я написал её ещё в зоне. Так вот, начиная с 1961 года она прошла в театрах Новокузнецка, Вольска, Саратова, Берлина и даже Варшавы! Идут спектакли и по другим пьесам, на темы войны, разведки; жду разрешения органов на пьесу об одном неизвестном разведчике, но вряд ли получу – там есть нюансы... Так вы помните “Серые глаза”?»

Ещё бы мне не помнить! Я помню даже тетрадь, сшитую из листов разного цвета и качества, и помню страницы, исписанные то простым, то химическим карандашом, со следами дождя, прибитых комаров и мошки. Отпечатки пальцев, мелькавшие на страницах рукописи, состояли из древесной смолы, железной ржавчины и машинного масла. Не меньшее впечатление, чем тетрадь, произвела и сама пьеса. Суть вкратце такова.

Действие происходит в США конца сороковых годов. Старуха миллионерша слепнет. За восстановление зрения она готова отдать миллион долларов. Ей сообщают, что в Лос-Анджелесе работает хирург-окулист, который по методу Филатова пересаживает радужную оболочку от донора или свежего трупа. Он готов помочь миссис Денежный Мешок и даже предлагает на выбор цвет глаз. Карга хочет сохранить свой природный цвет, очень редкого оттенка серый, но ставит условие: никаких трупов! Только донор-доброволец. В это время любимый внук миллионерши, прогрессивный журналист, собирает материал о жизни «дна»: инкогнито бродяжничает, живет в трущобах, общается с изгоями общества. Новые друзья обещают ему сенсационную информацию, сводят в кабаке с «нужными людьми», те его спаивают и дают подписать какую-то бумагу. Потом бросают в машину и куда-то увозят.

Старуха после операции не нарадуется на вновь открывшийся ей мир света и цветов спектра. Она выписывает чек на тысячу долларов – премию донору. Глаза оказались точно её цвета... Чек доставляют в клинику и вручают её внуку, который проснулся слепым. Врач объясняет, что это – сверх платы за глаза, которые он продал по контракту – вот подпись... Но журналист утверждает, что никаких контрактов не подписывал, и требует прислать адвоката своей бабки. Услышав знаменитую фамилию, хирург приходит в ужас. Он не находит другого выхода, как отравить несчастного слепца...

Пьесу я помнил до подробностей. Спросил автора:

– Вы её потом не дорабатывали? Ведь за эти годы наши представления об Америке расширились...

– О да, и ещё как расширились... наши представления об Америке! Но только Америка с тех пор не изменилась... У меня есть друзья – и дипломаты, и журналисты-международники, и некоторые известные американские драматурги. И вообще... компетентные лица. Так вот: как бы это ни казалось обидным, однако подлинную Америку показали нам не Евтушенко и Вознесенский, а – увы – Горький и Маяковский. Это – из наших. Ну и сами американцы – Драйзер, Синклер, Воннегут... Но я – грешен – всё же хотел, в духе «мир-дружба», как-то подретушировать, что ли... Однако решил прежде послать пьесу, ничего не меняя, американскому писателю, которого очень уважаю. И мистер Чивер, сэр Джон Чивер, ответил мне. Оказывается, «эта история с глазами», как он выразился, ему лично хорошо известна. Она произошла в Чикаго в 1956 году. Он сделал незначительные уточнения, за которые я ему очень признателен – люблю детали! Только он выразил удивление, как в России об этом узнали? Ведь миллионерша тогда не поспешила, чтобы история не попала на страницы прессы. Бумаги уничтожили, хирург куда-то уехал – все шито-крыто... А Чиверу об этом поведал близкий друг, некий чин полиции – с условием, что писатель в течение какого-то срока не использует сюжета.



Мистер Чивер полушутя предположил, что я – сотрудник КГБ. Ничего себе гипотеза? И выразил восхищение осведомлённостью наших спецслужб. Представляете, как я его огорошил, когда поведал, что пьеса написана в конце сороковых годов, задолго до события в Чикаго. Что это – ясновидение?

* * *

В пятьдесят втором году он слово «ясновидение» не употреблял, однако о своих необычных способностях скромно позволял догадываться: «Представляете – иду по улице, вижу этого типа – на другой стороне. Достаяю папиросу, так мечтательно разминаю её пальцами... – а он уж тут как тут: «Вам спичечку?»

Помню, Светка, услышав рассказ о «спичечке», сделала квадратные глаза и восхищённо-зачарованно покрутила головой. А когда, спустя минут десять, во время совсем другого повествования Р. Б. достал «беломорину» и стал машинально её разминать, она сорвалась с места, схватила с печурки коробок и – «Вам спичечку?»

Невиданное дело – Р. Б. был ошарашен! Потом не выдержал, расхохотался. «Ого, – сказал я, – вы смеетесь над собой не в одиночестве?» У него дернулось плечо: «гум-гум». Пауза... Потом: «А вы злой мальчик! И вы, Светлана, злая девочка... И это, наверное, одна из причин, почему я вас обоих очень люблю». «Злых не любят...» – неуверенно заявила Светка. «Еще как любят! – с чувством возразил Р. Б. – Но именно злых, а не злобных. Это – разные вещи. Вот таких злых, как вы – я люблю. И – как я. Вы же заметили – я сам злой!»...

– Вы злой!.. – шепчет дева Верочка.

– Верочка, я же вам сказал – я встретил старого друга. Понимаете? В жизни мужчины встреча со старым другом – чрезвычайно важное событие! Я не хотел бы вас учить, да и чему? Мы отлично провели две недели...

– Я молчу, молчу... Нам скоро сходить...

– Не нам, а мне! Вы поедете дальше, до Феодосии, вечером ваш поезд на Москву. Там вас ждут – мама, отчим, сестра, ваш приятель из соседнего подъезда... Мы иногда вспомним

друг друга. Вы улыбнетесь, а я смахну с ресниц недоброго глаза скупую мужскую слезу!

...А слезу я у него видел. И не одну, и – не скупую...

Среди радостей детства и юности – воскресные утра. И было такое солнечное воскресное утро. И первые воскресные радости при пробуждении: мама весь день дома, бабушка что-нибудь испечет... А выйдя на крыльцо и окатившись солнечным душем, слышишь главный сигнал базарного дня – многоголосый, пронзительный поросячий визг! Кажется, все горожане тащат драгоценные покупки в мешках, а покупки эти ворочаются, бьются, вырываются – и визжат благим матом, перекрывая другие воскресные звуки – патефоны, гармошку, скрип колес и радостные взаимные приветствия.

Как можно не побывать на воскресном базаре? Совсем неважно, что у тебя денег только на пару кедровых шишек или стакан орехов. Но всё это – оживленные голоса и лица, запах дёгтя и конского пота, солома под ногами, столы, уставленные ведрами с ягодами, грибами, корзинами с яйцами, бидонами с молоком и сметаной, бочонками с мёдом и соленьями, тазами с живой рыбой, глиняные и деревянные свистульки, матрёшки, «акробаты», туюски, шайки-лоханки-балейки... – все это вместе с весёлым звоном гранёных стаканов и добродушными матерками у «Голубого Дуная», ржанием лошадей и мычанием коров, громкой рекламой товара и глухим бормотанием пересыпаемой из мешка в ведро картошки, – всё это заряжает душу на весь день особой бодростью и ожиданием чего-то хорошего.

Р. Б. я встретил у молочного ряда. Он покупал сливочное масло – толстую белую аккуратную лепёшку – у такой же толстой, аккуратной, бело-волосой и белозубой эстонки. Пока она заворачивала покупку в тетрадный лист, он, дьявольски шевеля усами, галантно заговаривал с ней по-немецки, но эстонка, густо краснея от белых волос до белого фартука, непонимающе мигала светлыми глазами и повторяла: «Спасипо... На сторофье...» Увидев меня, Р. Б. хитро подмигнул и предложил вместе пройтись по рынку. «А потом я опять загляну в Прибалтику... Однако что это за шум?»



Шум доносился из толпы в центре базара. Конечно, опять продавали медведя – уже в который раз. И цена все снижалась, и жалко было хозяина, и еще жалче медведя, но покупателя все не находилось. Зато зрителей – хоть отбавляй. Умному зверю совали кто конфету, кто леденец, кто морковку. Подвыпивший шоферюга сунул ему в зубы дымящуюся папиросу, а другой «естествоиспытатель» пристроился в очередь с бутылкой водки. Нечаянно втянув табачный дым, медведь заперхал и замотал головой. Р. Б. шагнул к мишке и поднял папиросу. Оглядевшись вокруг, он нашел шофера и воткнул окурочку ему в рот. Потом решительно повернулся к держателю поллитровки, но тот уже ретировался в толпу. Удивительно – народ у нас видавший виды и не любящий вмешательства «расейских», но к действиям Р. Б. отнеслись спокойно, даже не обматерили. А он подсел к медведю, обнял за шею и стал гладить, приговаривая: «Зверюга мой милый, не повезло тебе, друг лохматый... Издеваются, черти нетрезвые... не обижайся, они просто по глупости...»

Медведь сопел и чёрным языком слизывал слезы со щёк Р. Б. Зрители, потоптавшись, разошлись. Бабы, только что подбивавшие мужиков на подвиги, теперь громко ругали своих кавалеров. Хозяин, потянув за ремень, увел медведя с базара. У Р. Б. дергалось плечо, он озирался, как зверь и, кажется, даже угрожающе рычал.

Я потянул его за рукав, он покрутил головой, встряхнулся, провел рукой по лицу, и мы ушли с базара. Пошли к нему пить чай и есть свежий ржаной хлеб с маслом. Только намазав на чёрный ломоть толстенный слой белого, со слезой, эстонского масла, Р. Б., кажется, вспомнил о намечавшейся было прибалтийской экспансии. Мы посмотрели друг на друга и захохотали. А потом был долгий разговор о «зверьках»...

Вообще жители нашего города часто видели на улицах таежных зверей. Ещё в двадцатые годы (я знал об этом из воспоминаний бабушки) здесь останавливался проездом охотник из Иркутска, направлявшийся в Челябинск. Он ехал в санях, запряженных четырьмя волками. На остановках хозяин устраивал концерты – играл на дудке, а волки подвывали на четыре голоса «Посеяла

лебеду на берегу». А в сороковых-пятидесятых я сам не раз видел другой экипаж – тележку, которую тащили три медведя. Правил повозкой старик с перекошенным лицом и сухими ногами. Он был удачливым охотником до встречи с матерью этих троих – пестуна и двух меньших...

Р. Б. внимательно прослушал мои рассказы. Звериные экипажи ему не понравились: «Нельзя мучить животных!» Я спросил его: «Охотник – убийца? Или что-то другое?» Р. Б. даже встал со стула, заходил по своей каморке: «Смотря какой охотник... Но...» Что-то его сильно волновало, он замолчал. Я собрался идти, он вызвался проводить. У нас дома разговор продолжился.

– Вы зацепили ноющий нерв... Охотник – убийца или нет? Смотря для кого! Для буддиста, индуиста даже человек, прихлопнувший комара на лбу – убийца! Но мы – в России, в Сибири... Я мог бы сказать, что если человек охотится ради жизни, своей и близких, он – такой же элемент природы, что и зверь, и он – не убийца. А вот охота как спорт, как развлечение – это убийство. Но я скажу больше. Я считаю, что для защиты животных не грех и убить такого охотника...

– Человека – для спасения зверя? Вы это серьезно?

Р. Б. помолчал, переводя глаза с меня на Светку и обратно, потом закурил и – решил:

– Не будем о том, что само собой разумеется – какого зверя и какого человека... Для меня всё слишком конкретно. Дело в том, что... на мне уже висит... такой грех. Да, я сам несколько месяцев жил охотой... на зайца, косачей, куропаток... На севере Томской области. Сейчас неважно, почему и зачем... Так вот там я подружился с семейством бобров. Чудесная публика эти бобры! И мне пришлось их защищать. Только не спрашивайте, как у студента-филолога, пусть даже недавнего фронтовика, оказался в руках карабин. Я же не спрашивал, откуда взялись немецкие «шмайсеры» у двух человекообразных в кондовой тайге? И почему они из своих «шмайсеров» строчили на голос, не спрашивая – кто? Так вот, ради спасения семейства бобров – а у них уже были маленькие – я продырявил лоб одному из этих бандитов, а второго пришиб,



обезоружил и – отпустил. Автоматы я бросил в речку... Об этом случае знает только мама... а теперь и вы... Но больше всего я боялся, что придется защищать бобров от волков! Пришлось бы в них стрелять, а это – уже самоубийство. Волки, волчки, зверюшки мои... Благородные воины северных лесов!.. Я сам – волк. Верите? – и он вдруг, задрав голову и вытянув кверху подбородок, завыл по-волчьи, зло и тоскливо.

Мы со Светкой переглянулись. Уж нам-то этот звук был знаком хорошо. В первую зиму войны у соседки жили квартиранты-дрессировщики. Клетки с лисами и мелким зверьем размещались в сараях, а волк – крупный и не очень серый, а светло-грязно-желтого цвета – был привязан к одной из берез, разделяющих наши огороды. Днем мы наблюдали за ним через изгородь, он же не обращал на нас внимания, бегал на привязи по протоптанной в снегу тропинке. А ночью волк выл. Это бы жуткий, тоскливый вой. Он проникал сквозь ставни и стены. Мы под него засыпали. Просыпаясь ночью, слышали тот же вой... Р. Б. невольно устроил себе экзамен по волководению – и выдержал его с блеском. Откуда было ему знать, что нам эта гамма с полгода проникала в уши и души? Чтобы так выть...

...А может, он и правда был волком?

Мы его не прерывали и дослушали до заключительной низкой ноты.

* * *

Новая остановка. Филлоксерный пост. Тщательно вытирая ноги о тряпку, политую ядохимикатом, население автобуса пересекло границу двух районов. Р. Б. поддерживал свою деву под руку. Странно! Раньше он был нежно предупредителен с пожилыми женщинами, а молодых девиц беспощадно «уедал». Я долго подбирался к разговору об этом...

– Р. Б... а кому, не считая родных, вы более всего обязаны? Мужчине или женщине?

– Женщине... Вернее, девушке... Девочке!

– Расскажите?..

– Вы любите задевать больные места! Какого дьявола?.. Ха! А вообще кто вы такой? – он посмотрел на меня с искренним удивлением. –

И почему? Варум? Пуркуа? – я вдруг рассказываю вам то, что никому никогда?..

– Не хотите – не рассказывайте... – обиделся я.

– Нет уж, сэр, как же, сэр, вы же меня раскочегарили, и теперь уж, сэр, извольте слушать! Было это в Киеве в сорок третьем году, в августе. Я – в городе по заданию, все шло как надо, но в самом конце работы меня засекали – да поглупому... Не за того приняли, но это неважно. Итак, я бегу, за мной – два немца и полицией. Не стреляют. Хотят взять живым. Бежим! В одном дворе я заскочил с черного хода в дом, бегу по лестнице, считаю этажи, соображаю насчет чердака и крыши... Четвертый – последний. Я люк чердачный поднял – и вдруг вижу, в квартиру дверь приоткрыта... Я – туда, дверь тихо прикрыл. Там – девчонка, лет пятнадцати, воду принесла, ещё коромысло в руке. Я ей: «Гонятся... немцы». А слышу уже – сапоги на лестнице... Она – вдруг, мигом – комод сдвигает с места да – в угол его, чтобы он угол загоразживал. Трельяж сняла, я – прыг за комод и – присел. Она – трельяж на место, слышу – хлесь воду на пол из ведра, из другого – на середину комнаты и – тряпкой – шлёп, шлёп – по всему полу развезла... И всё это – секунд за десять! А эти хамы уже с чердака спустились и в квартиру стучат: «Полиция!» Она открыла: «Вам кого?» Они: «Кто сюда забегал?» – «Никого, заходите, бачьте...» Они побачили и ушли. Меня ловить! Я, когда из-за комода вылез, понял всё – она весь пол залила, но оставила сухой участок у комода. Сразу видно – если бы кто проходил, следы мокрые оставил... Но – за секунды так сообразить и сделать?

Я там до ночи отсиживался. Она со мной не разговаривала. «Сидишь? Сиди!» И вся разговаривала... Комод я потом ставил на место – тяжеленный, даже для меня... А она – худущая, голодная... Так и в чудеса поверишь! А что, разве не чудо?.. И даже имя её не узнал! Ничего не знаю! Ничего! Адрес? Но тогда были немецкие названия... Пытался найти – никаких данных... А лицо её всегда перед глазами. Всегда вижу. А здесь – особенно. Дело в том... Ваша Светлана похожа не неё. Чистый славянский тип. Глаза, волосы – светлое золото. Черты лица, жесты... характер, наверное... Фигура... Светлана, пожалуй, круп-



нее... спортивнее. Ей сейчас пятнадцать? И той было тогда... Ну а дальше? – вдруг резко повернулся он ко мне.

– Что дальше? – не понял я.

– Вы задали мне один вопрос, а на языке у вас вертится ещё один: кто – мужчина или женщина – причинил мне наибольшее зло? Так?

– Ну, так... – я растерянно уставился на Р. Б.

– Так вот – тоже женщина!

– Разве не на войне?

– Причём здесь война? Там были враги и свои – кто кого! Я даже благодарен войне и немцам (не румынам же или итальянцам!) как противникам. Там я по-настоящему узнал, чего я стою.

– Значит, следователь или судья?

– Ну что вы! Это были мужчины, фронтовики... Это их работа, и они сделали её наилучшим для меня образом. Увели из-под «вышки» и «червонца». Какие к ним претензии? Нет, витьязь, то была – фемина! Дама. Любящая меня и уважаемая мной женщина. Она написала на меня донос.

– А сколько ей лет? И где она сейчас?

– Она моих лет. Скорее всего, она в Томске. Вы ведь поедете туда учиться? Можете увидеть её в университете. Перед вашим отъездом я сообщу её фамилию, и вы передадите от меня горячий краснофлотский привет!

– Вы шутите? Представляю, как вы ее ненавидите!..

– Да за что же?

– Она донесла! Оклеветала! Она виновата перед вами...

– Да бросьте вы! Виноват я – не надо было при ней язык распускать. Знал ведь, с кем имею дело!

– Знали, что она доносчица?

– Знал, что она – женщина, эгоистичная, ревнивая, собственница и до тошноты эмансипэ! И что любит меня... Ей показалось, что я ей изменяю, и она решила, что я могу изменить и Родине. Тем более что позволяю себе рассказывать анекдоты о неких личностях... с усами или в пенсне. Вот и донесла. Типичное поведение ревнивой, эгоистичной, эмансипированной женщины – из тех, что курят, пьют водку, ездят на

мотоцикле... и даже иногда пишут стихи. Она – человек долга!

– Нет такого долга – ложные доносы писать!

– Есть долг – разоблачать врагов народа.

– Но вы же не враг!

– Объективно – да. А с её точки зрения – враг, по крайней мере с тех пор, как она поняла, что я не её собственность. И – вообще ничья!

...Теперь, в автобусе, за филоксерным постом, когда я сел рядом с Р. Б., а Верочка пристроилась сзади на освободившееся место, я вспомнил наши разговоры и чуть не спросил о девушке из Киева – не нашел ли её и искал ли вообще... Но – не спросил. В присутствии Верочки это было бы кощунством... И ещё точило сомнение – а не сочинил ли он? Как пьесу? Хотя... В пьесе всё логично, «ружья стреляют», а в этой истории всё как-то не так и никакой экзотики... Не спросил! Но, когда он перечислял города, где побывал за эти годы, я без всяких интонаций уточнил: «А в Киеве?» Он замолчал, дернул плечом, «гум-гум» – и посмотрел на меня. Это был взгляд немолодого, усталого, битого и мятого жизнью человека, страдающего редкой болезнью – неспособностью что-либо забывать... Помнящего абсолютно всё, что с ним было! Помнящего всегда. Он молча, медленно покачал головой, потом, после долгого молчания, добавил словами: «Бессмысленно... Да и ... боюсь чего-то... И – ни к чему. Это всё – там. В том времени. Это – есть, но – там...»

Дева Верочка, дотянувшись, тронула его за плечо, но он не откликнулся. Правда, минутой позже глаза его снова зелено заискрились, усы лихо разъехались, и он заговорил о чём-то смешном. В автобусе облегченно вздохнули.

А может быть, он просто всех девушек сравнивал тогда с юной киевлянкой военных лет? И не прощал им несходства с ней?

Да, он стал мягче... В Планерском, где ему надо было выходить, он ласково помахал Верочке рукой, и пока мы стояли, обмениваясь адресами и прощальными быстрыми фразами, она смотрела в окно автобуса, готовая по первому знаку выскочить и бежать за ним.

Мы стояли на автостанции. Мои жена и сын, попрощавшись с новым знакомцем, ждали меня



у автобуса. Р. Б. громкогласно объявил, что идет сейчас на дачу Волошина, где Мария Степановна, вдова Максимилиана Александровича, позволяет ему свободно рыться в книгах (о, какие там книги!), а потом у него встреча с академиком М. на предмет покупки им, Р. Б., у академика дачи – тысяч так за пятнадцать, и добавил, что мог бы и за двадцать, но не хочет из принципа. Население автобуса по-прежнему внимало ему через открытые окна. Вдруг Р. Б. резко остановил речь и тихо, одному мне слышно, спросил: «А Светлана, конечно, замужем?» – «Да, и давно! Ей ведь...» – «Не надо, не хочу знать – ей пятнадцать. Было – и есть... там. А кто муж? Прекрасно, что моряк! Капитан-лейтенант запаса? Авиаконструктор? Тоже люди... Сын? Великолепно! Передайте ей, что я есть – и долго ещё буду. Адрес? Ни в коем случае, а то вдруг ещё явлюсь в гости... А моряки, даже бывшие, народ ревнивый!»

Потом, подозвав наше чадо, напомнил о своём обещании: «Я же должен предсказать твою профессию... Видится мне, Ян, что будешь ты в чём-то копать – то ли в земле, как археолог, то ли в человеческом нутре или душе, как врач. Вот так. Или – или... Ну, будь!»

И снова ко мне:

«Не будем навязывать сыновьям наши идеалы и профессии! Лично я своего бросил в жизнь, как эскимосы щенка в сугроб: выберется – будет жить! Пусть выбирается... Хотя в главном... О, ваш экипаж трогается! Ну – до встречи, не знаю – где и когда!

И – уже глядя вслед убегающему автобусу, прокричал моему семейству, стоящему в дверях:

– Ян, не бросай археологию! Раечка, я очень удобный гость – не пью вина, особенно водки!.. Это на случай, если вдруг заявлюсь!

* * *

Наверное, не будь этой встречи, галерея Айвазовского все равно поразила бы наше воображение. Когда я стоял перед огромной, единственной на всю стену картиной «Среди волн», где нет на холсте берегов и неба, а только вода, сине-зелёная и еще жёлтая, и голубая, и того

светлого синего цвета, какой украинцы называют блакитным, – и видно, как только что бывшая пеной вода, стекая с гребня, тонкой плёнкой льётся по фронту волны и легкой лужицей переливается по тугому днищу волновой впадины, а под ней – толща, непрозрачная, тёмная толща моря, километры и мегатонны горько-соленой воды, – гидросферы! – и что такое человек в сравнении с этой дикой бушующей мощью? – но уже рядом, в соседних залах, неотрывно от линий и цветов морских баталий и кораблекрушений возник образ Р. Б. вместе со стихами, впервые от него услышанными, о парусах кораблей, шелестящих меж базальтовых скал и жемчужных, и его ранними стихами о пиратах и индейцах на пирогах, и его рассказами – уже неважно, правдивыми или нет, – о Таити, Кейптауне и Сан-Франциско...

Всё-таки правильно, что я не задавал ему вопросов на засыпку – почти не задавал: и так ясно, где правда, а где... нет, я теперь не назову это ложью, даже неправдой не хочу называть эти легкие узоры орнамента вокруг и поверх настоящей правды в его повествованиях. Пусть остаётся все, как было! Мне не нужен другой какой-то Р. Б., известный девам Верочкам, секции драматургии Новокузнецкого отделения Союза советских писателей, однополчанам и солагерникам. Был и есть мой Р. Б., и пусть он таким и остаётся!

В тот день, в Феодосии, я довспоминал всю историю знакомства с Р. Б. В пятьдесят третьем он уехал на Урал, осенью вернулся, пару недель, пока искал съёмную квартиру, жил (точнее, ночевал) у нас.

Если, возвращаясь откуда-то вечером, он заставал у ворот Светку с каким-нибудь обожателем, то потом обязательно передавал ей свои впечатления – кратко и выразительно, типа: «Сразу видно, что футболист – хороший рост, могучий корпус и... маленькая голова». А потом спрашивал сочувственно: «Что-то футболиста вашего не видно?»

Но я в это время был уже участником короткого пятилетнего праздника томской студенческой жизни. Видел и ту даму, что донесла на Р. Б. Солидная, строгая, говорила басом и курила «Казбек». Я передал ей «краснофлотский привет»,



она, оглянувшись быстро, сказала: «Не помню». Спросила мою фамилию и факультет – не знаю, зачем...

Потом были встречи с ним на зимних и летних каникулах, долгие беседы и дискуссии – о технике, зарождающейся кибернетике, генетике, философских системах и категориях... На этих «научных семинарах» аргументы Р. Б. оставили впечатление, что он не вполне разделяет мои ортодоксальные, как у почти всех первокурсников, марксистские взгляды. Он очень сомневался в том, что материя первична, а сознание вторично, и в том, что бытие определяет сознание... Не верил в дружбу народов и светлое будущее человечества... Утверждал, что войны просто необходимы для развития цивилизации...

И никаких Таити и Кейптаунов!

А в августе пятьдесят четвертого вместе с освободившейся матерью он уехал в тогдашний Сталинск. Сделал прощальные подарки: мне – томик писем Флобера, Светке – микроскоп. Этот микроскоп и сейчас стоит в квартире известного в своем городе врача-травматолога Светланы Яковлевны...

* * *

...В тот вечер у синего вокзального буфета он разлил по четырем гранёным стаканам бутылку горькой кориандровой и выпил первым, а потом, уже стоя на подножке вагона, разгладил усы и свистнул – пронзительно, как паровоз, даже проводница заругалась...

Давно уже нет тех студентов, державших стаканы с горьким зельем, а есть в разных точках страны элегантный полковник ГАИ, задумчивый милицкий следователь по особо важным делам и – не слишком удачливый технар, не чуждый также литературе и журналистике.

А Р. Б. остался Р. Б. Я не знаю, где он сейчас. Скорее всего, он купил-таки дачу у академика М. и устроил там свои владения. Наверняка в его окружении местная и приезжая богема, морские романтики и восторженные девы, разнообразных странных людей и подозрительных личности с нестерильными и непрозрачными биографиями.

Как у самого Р. Б.

1973



Владимир Мазаев



Мазаев Владимир Михайлович родился 12 мая 1933 года на Алтае в селе Васильчуки. После окончания Новокузнецкого педагогического института работал в областных газетах Кузбасса, в геологической партии. С 1963 по 1968 год был главным редактором Кемеровского книжного издательства. С 1971 по 1983 годы возглавлял Кемеровскую областную писательскую организацию. Редактировал альманах «Огни Кузбасса» (1966–1986). Первый рассказ был опубликован в газете «Комсомолец Кузбасса» в 1953 году. В 1963 году в Кемеровском книжном издательстве вышел первый сборник его рассказов «Конец Лосинового камня». В 1979 году присуждена премия журнала «Наш современник» за рассказ «Багульник – трава пьяная» из цикла «Три рассказа сибирячки». Ряд произведений переведен на немецкий, венгерский, болгарский, чешский, словацкий языки. По оценкам профессиональных писателей и критиков – один из лучших прозаиков современной России. Заслуженный работник культуры РСФСР. Член Союза писателей России. Живет в Кемерове.

ТРИ РАССКАЗА СИБИРЯЧКИ

Черемуховые холода

Велик ли мой век, а три войны пережила. Но те – мировую и гражданскую – помню смутно, ребенком была, а вот Отечественную и по пережитью лет вспомню – только «ох» и скажу...

Поселок наш Златогорка на озере Оинголь стоял. Озеро Оинголь не то чтобы большое по сибирским понятиям, но воды много держало – на середине дна не доставали. А уж ладное да красивое, я только теперь, из дали лет понимать стала.

Наш берег яром обрывался, из мела весь, а в прослойке красный. На восходе глянешь, ну будто облако легло и зажглось. А поверх – луговина, цветы весной на лугу, как заря. По-за луговиной тайга черневая. И на дальнем берегу тайга, да не везде, а гривами. А меж грив, покатыми – светлые места, покосные.

Только Долгий мыс окидан черемушным кустарником. Он, черемушник-то, и зимой, и осенью особенно – черный стоит, аж угольный, грач залети – и пропал. Но в мае, когда оцветает, он свое берет. Сперва дымок, сзелена как бы, потом – пеной, будто кто ее взбивает.

С ветром – и запах, а когда прибой, то и цвет выплескивает. Сколько цвету! А до мыса, если на гребях идти, час расстоянья, не меньше.

Зато небо – всему голова. Утром выходишь, прежде кверху гляди. Что небо обещает, тому

и быть. И красит всю природу небо тоже, настроение дает. Оно пасмурное, мрачное – и озеро злое, пасмурное. Оно голубое да веселое – и вода в озере бирюзовая да прозрачная. И тайга небом живет, его цветом да отблеском дышит.

В Златогорке нашей до войны еще промхоз обраровался, рыбой да диким мясом, да орехами промышляли. Золотой рудник по договору обеспечивали.

Но главное – рыбой.

Местные старожилы хорошо жили, на окнах – герани да фикусы, чай пить сядут – стаканы с подстаканниками. Да и нам, поселенцам, жаловаться грех. Не в капитале, правда, жили, однако ж достаток нашего дому тоже не обходил.

Павлуша мой в рыбацкой бригаде, а я как бы в помощниках. Но это когда дети позволяли. Их к тому троеросло. Старшенькой Ольке девять лет, Кате – шесть, а младшенькому Мите – три годочка.

Да еще жил с нами свекор, древний уже, летом пимов не снимал. И совсем памятью оскудел. Не помнил даже, как пальцы на руках называются. Бывало, скажет: «Пальцы-то не помню каки. Этот вот прихватный (большой, значит), а энтот-то мезенец штоль? – И сокрушится при этом: – Эха, старость, леший бы се не ел».

В сорок третьем, по весне, я за него чуток ума не решила. Но да лучше по порядку.

И вот взялась эта проклятая война, мужички наши пошли. Скоро поселочек осиротел. Павлушу уже к осени призвали. И сразу на фронт, сразу на первую линию попал.

Провожали мы его, он ребят перецеловал, меня, говорит: «Смотри, Мария, береги ребятишек, сына береги. Все прощу, а за ребятишек – нет». И в грузовик впрыгнул, ни слова больше...

Ночь ли две проревела я, шутка ль в деле: один мал, другой меньше, третий еще меньше. Да еще свекор в придачу, по уму ровня троим, за самим пригляд нужен. Уревелась вся, но сколь реветь – слезы-то не песня. Надо жить.

Пополнили бригаду дедками, подростками, меня звали, не пошла. Бригадная работа – по всему дню, а у меня дети, домашность, куда уж. Решила отойти от всех. Тут я одна, да сама! Договор небольшой подписала, ставные сети мне, тару, все честь по чести.

А лодка у нас была своя, добротна лодка, высмолена, края широки, разливисты, захочешь да не выпадешь. Стала я промышлять единоличным как бы способом. Сетей девять концов выметнула – недалеко, напротив Долгого мысу. Старшенькую с собой посадила, Ольку, поддерживать там что, подать, все подмога.

Поплыли назавтра, одни сетки порожни, в других есть. Две корзины натрясли – сорожки и окуня маленько. Воротились с легкой душой, слава Богу, лиха беда начало.

И пошло-поехало. Уловы не шибко щедры были, но ровные. Две-три тони – и на тебе боценок, а в нем, считай, центнер. Павлуша, не хвальбой будь сказано, увидел бы меня в деле, порадовался: хваткий ему ученик попался!

Однако и осень та первая тихой да робкой выпала, будто заманивала, вихорь ее подыми! Уже октябрь – вот он, трава отзябла, северная утка пошла. Вода в озере остеклела, и небушко голубое до самого окоема. Яснопогодье, словом.

Так-то с яснопогодьем и в зиму ушли.

А зимы у нас глухие, пагубные. Наши бригадные и по льду рыбачат, а я уж в отставке, по дому кручусь. Выбежишь, бывало, к конторе, сводку послушаешь да что люди говорят – и назад. От Павлуши живые весточки идут, пусть и не часто. А получу письмо – подушка по всей ночи сырая. Радоваться бы надо, веселеть. Дак это как в старину: хоть и по любви выходишь, а на свадьбе плачь! Но – помаленьку обманули зиму, однако запасы порастрясли. Да горевали мало, вера была: одолеют наши в сорок втором году.

Лед на озере рухнул – я опять за свое. Снасти починила, лодку подконопатила. Здесь уж мне свекор помог, Савелий Ильич, мастер он был когда-то по лодочной части. И скажи ты, голова забывала, а руки помнили! Вот с весной-то и началась моя енопея, довеку не забыть...

Подымаю раз сетку, она будто с камнями, окуня зеленым-зелено, дьявол ему рад, тому окуню. Трясла я трясла, руки отерпнули. Другую – из воды, а там та же прорва. Третью, четвертую... и крутом окунь, аж рябит, тошно глядеть!

Полдня прохлесталась, руки закровенила, еле дышу. Олька моя на корме сидит, хнычет – есть хочет и околела. А я рыбу в сетях бросить

не могу, закостенеет – со слезами не выдерешь. Ну – управилась, приплыли, солить давай. Дотемна солила, два бочонка полнехоньки и еще себе оставила. Назавтра плывем, поддеваю шестом первую тетиву – под ней живая кипень. Окунь растреклятый! Опять все сети загрузил! А уж одно к одному, ветер посвежел, вздыбил, лодка – ходуном!

Оинголь наш редко веснами без волны живет. Ветра больше – и волны больше. Глянешь – господи! – везде ключье! По бокам ключье, со всех сторон ключье! Кричу Ольке: «Садись, доча, придерживай на ветер сколь можешь, а я трести буду!»

Села она, подгребают, а весло тяжелое, неухватистое для ее рученок-то. И жилочки на шее, как струнки... Не помню как и опорожнила я сетки, под вторую доску натрясла, было не потопли.

Гребусь домой, сама думаю: куда улов определять, вся тара запростана. Бегу в контору, заявляю: «Где приемщик, тара нужна, пусть подвезет». День до вечера – ни тары, ни приемщика. Снова в контору, шуметь начинаю, улов же гибнет. А мне в ответ разъяснение:

– Ты, Мария, не шуми шибко, потому как тарой в первую голову бригадная рыба снабжается.

– Это почему ж, – говорю. – Или мой договор недействительный, или моя рыба не из того же озера?

– А какая рыба-то? Окунь? Дак вот, – говорят, – ты сама трезво прикинь. При нынешней ограниченной таре, поскольку бондарей нет, мобилизованные, кому преобладание? Бригадному сигу и хайрузу (хариусу) или твоему единоличному сору?

Баба я была безоглядная, заденут – все гужи порву!

– Я што, – кричу, – выбираю этот сор? Да с этим окунем маяты, чтоб он сдох, вроде не знаете. Будь мой здесь, вы бы так не разговаривали, а вынь да положь!

Пошумела я, как колокол соборный, побунтовала, душу отвела, а потом стоп: да ведь правильно все, законно, по расчету. Бригада промышлять уходит за десять верст, на ямы, там и бытует. Приемная цена хайруза пять рублей кило, а сига дак аж восемь пятьдесят. Мне на

ямы не под силу, я до Долгого мыса-то и обратно на гребях дойду – руки всю ночь в плечах ниче не слышат. А под мысом – окунь да сорога, но и щука когда-нить. Цена же окуню девяносто копеек, а сороге и того чище – семьдесят. Истинный сор! Какой с того заработок, посчитай, если одна соль шестьдесят копеек кило. Да ведь и то правда – знала я все и прежде, чего ж теперь задним умом бухгалтерию ворошить. Только обидно что. Но да обиды копить – с людьми не жить.

Дальше – больше. Май был, уж зелень выбросило, и вдруг занепогодило – шторма, мокредь снежная, ночью берег аж гудит. Прокрадемся с Олькой под Долгий мыс, там затишек, а обратно – но хоть матушку-репку пой. Повдоль берега, где помельче, – бурлаками. Измокнем все, исхлещемся, я-то взрослый человек, а она что – ребенок, девчонка. Дома плюх на лавочку, Катюша да Митька, как мураши, возле, обувку сдергивают, полущалок развязывают.

Как-то накануне штормило сильно, приплываем, а сетей нету, меня так и подсекло. Стала багром шарить, подцепляю одну. Веретеном перекрученная, в траве да тине, ничего злее не бывает. Выудила остальные, а две так и канули.

Сели с Олькой под берегом, разбираемся. Да только подумать – сеть после такой холеры разобрать. Дешевле выбросить, да где новую взять. И вода, ой вода, как железная, холодная, и сиверко будто с цепи сорвался, засвирепел. У Ольки шубеночка продувная, сгорбилась девка, траву дерет, а трава злая, осочистая. Нет-нет да рыба попадетса, колючки растопырила, выдерешь – наплачешься.

Глянула на ее руки, как гусиные лапки. Брось, говорю, доча, побегай посогрейся, сама управлюсь.

Не управилась, верно, назавтра пришлось... Утром бужу ее, она ни в какую. Я уж и к лодке все стаскала – спит, в одеялко закаталась. Да тут еще Савелий меня раззадорил, забыл корзину на берегу, ее и смыло. Олька, кричу, ты встанешь или тебя скалкой подымать, бессовестную, да вгорячах одеялко с нее дерг!

А она... она лежит в рубашоночке, коленки под себя сгорбатила, сжалась, а в глазах слезы... Личиком дрожит и руки запихивает, как бы прятет.

Оборвалось во мне, беру их разжимаю, а пальчики все в язвинках, в язвинках, и ладошки разъедены, как банные.

Тут надо мной потолок раскололся, огнем по сердцу. Что наделала, господи, господи... Куда гляжу, до чего дитя родное довела, баба безмозгая, нерадивая. Упала на колени перед постелью и зашлась: вспомнила, третьего дня Оля из рук блюдце выронила, а я ее побилла за это. И оттого еще пуще. Ребятишки испугались и тоже в рев.

Пропади, думаю, рыба, девчонку больше не поташу. Да и младшенькие без догляда – страх смотреть, перестыли, осопели. Как зверята голодные, то на подогретом сто раз, то вовсе всухомятку.

Однако же главное нас впереди караулило. Питались мы с этой весны, считай, гольной рыбой. Летом огородишко подсоблял (да робко росло, земля тощая), а зимой что – опять рыба разного звания. И соленая-то, и вяленая, и пареная, а то еще сушили, в ступах толкли, мука получалась.

Вторую зиму мой младшенький замирал. То ниче, веселенький, а то кричит по всей ночи, аж синий весь, наразрыв. Я к нему: Митенька, Митенька, где болит, где вава, покажи ручкой, он только путце того. Напою сушеной медуницей, он вроде утихнет. Значит, с животиком неладно. А потом запримечать стала – он головку плохо держит. Или бежит-бежит да на ровном хлоп, упадет. Тогда я что – в охалку его и к санитарке в пункт. Помяла та, послушала: «Тут, тетка Мария, моего дела нету, тут от питания все, от рациона»...

А войне конца-краю не видно, лютует фашист. И слышим, наподдали ему под Сталинградом, окружили – и в прах! Ну слава тебе, вздохнули мы в одно сердце: и на нашу улицу дождались праздника.

Давот с той поры от Павлуши письма как отрезало. Перегорело во мне все, только и живу детьми, ложусь с маятою, как завтрашний день одолеть. Солнышко припекать стало, я Митю укутаю и несую на пригревочек (ножки уж не ходили). Он сидит жмурится, а сам-то как льдинка весенняя. Господи, думаю, дотянуть бы до чистой воды, до первой зелени, а там уж мы не поддадимся. В апреле, только снег посогнало, я с ребятиш-

ками в тайгу, на болотины и согры – клюкву прошлогоднюю собирать. Отожму сок и пою им Митю.

Да ведь как у нас говорят: пришла беда – открывай ворота. Деда Савелий наш совсем обеспамятел. Иной день ходит здравый, по хозяйству че-то соображает, к ограде досочку прибьет или тятку наострит, или гвоздочки ходит выдирает да прямит – угомону ему нет! А иной... Однажды нету и нету Савелия, куда старого удуло? Под вечер время, на пороге Вера Игнатьева, соседка через три двора, а за ней Савелий. «Принимай, Мария, своего блудного!» – «Как так?» – «А вот так. Спускаюсь с горы, а он у родника сидит, на колодезном срубе. Ты чего, спрашиваю, деда Савелий, тут высиживаешь? А он на тебе: дорогу, говорит, забыл, где дом – не знаю!..» – Но дите и только.

Стану с тех пор отлучаться, ребятишкам наказ: за дедой присматривайте, на шаг со двора не пускайте!

Дней через десять или как (когда уже началась моя третья путина, ох!) возвращаюсь чуть живехонька, а его опять нету. Я на ребятишек грозой: где деда, недоглядели, марш искать! Пошмыгали они по поселку, да по-за огородами, вернулись ни с чем.

А уж сумерки, вызвездило. Вижу, дело худо, подхватила и сама. Все дворы обегала, изругалась на старого. И на озеро, и по горе покричала. И наново по дворам, да ведь никто не видел его тот день. Ах, родимец тебя сломай! Всю ночь глаз с глазом не свела. Чуть обутрело – я снова да ладом, искать заблудшего. Полдня пролетала, пришла без ног, – нету старого.

Тогда я уж что – в контору: человек сгинул!

Собрали стариков, кто шевелится, баб, ребятишек постарше, айда местность круг поселка обшаривать. День шарили, два, всю тайгу окрест огласили – никакого результату. Из сил вымотались, да и у каждого дела, домашность, отступились искать.

Через неделю у самой руки пали: сгинул деда Савелий! Восемь с половиной десятков на свете прожил, мастер слыл в свои годы – на удивление. И охотник, и рыбак, и бондарь. Лучшие в краю лодки – его, Савелия Ильича, руки. Охотничьи избушки-зимники на сто верст по тайге –

им рублены. И вот пропал, ни тебе следочка на земле, как ровно вознесся, ой лихо какое!..

Да ведь и рассказанное – не все.

Как-то вскорости полезла я в сундук с бельем, вижу: вроде не мой порядок. Предметы не так положены. Ребятишки, думаю, похозьяничали, да не должны, небалованные. И как кто меня под руку – толк! Лезу дальше, в уголок, где дедова одежда, его чистое исподнее, а там пусто.

Брякнулась на сундук, сижу, в ум прийти не могу. А потом мне вроде горькое озарение: не потерялся деда Савелий, не заблудился! Сам ушел, своим желаньем, чтобы обузой не быть, лишним ртом. Умереть ушел!..

Уж и не знаю, может, моя тут вина, укорила его когда в сердцах ненароком, так не помню, а все равно душой майся. И такое в голову хлынуло, сердце замозжило. Ушла в дровяник, села там и обжаловала свое горе.

Май сорок третьего стоял с густым небом, с далью. Мимо тропок ветреник зажелтел, под оградою крапиву уже щипнуть можно. Нащипаю крапивки, сварю своим, они не едят, окаянные, хнычут: ожалит!

Сойдешь яром к воде, а по воде черемушный цвет, ровно чешуя, играет. Мартышки уже прилетели (чайка у нас так зовется), галдят, табунятся, пищу делят.

На исходе май, а и под шубейкой знобит. От воды, от высокого небушка холодом так и накатывает. Старики наши об этой поре говорят: то, мол, на севере льды раскалывает. Да мне, молодой, только за весла сесть – самое лучшее согревательное.

Стала я с весной промышлять, иду и ружье с собой в лодку кидаю. Охотник из меня – смех один, сроду по-серьезному не охотилась, а ну гогль беленький или шилохвость вывернет – неуж упущу? Бывает, над самой головой так и свистнут. Мне счас ничем брезговать не след.

Выходила из дому раньше солнышка, на сутемочках, едва брежжит. Пока доплыву – и светло, выбирать сетки можно. На воде тишина, глушь, даже мартышек не слышно. Один звук – под днищем похлопывает. Гребусь так, чтоб наш белый яр по правую руку оставался. Его и в сумерки видать. И не оглядываюсь плыву, уверена – в аккурат на Долгий мыс попаду, привычно уж.

Руки знай работают, а голова в заботах на день. Перво, думаю, как вернусь, грядки край дорыхлить надо. Не то срам: у соседей уже батун на вершок, а у меня трава сорная, все грядки забило. Ребятишки, ох, обувкой вконец обносились, босые выскакивают, цыпки на ногах, пищат. И чирей одолел, ниче не помогает. Ольку в пункт послать, мож втиранье какое дадут. Вчера мукой отоварили, а мука леглая, так рассыпать бы на листе, проветрить. А тут саму черт под руку толкнул: стекло ламповое чистила да раздавила, ума не придам, где взять, а без стекла – копоть, глаза за шитьем да починкой тупеют.

Ко всему еще камень на душе – дед Савелий. Рано-поздно, а Павлуша объявится – вера во мне какая-то смертная жила, – и тогда отписать ему придется. А как писать-то? Ушел, мол, отец и с концом. Как так ушел, куда? Каково такое читать на фронте...

Плыву я, заботы в уме перебираю, рассортировываю. Ни ветра, ни зыби, ходко иду. Небо просветлело, и озеро за ним следом.

Тут возьми я и оглянись, далеко ли до мысу. Но – недалеко, рукой подать, снова гребу, а в глазах какая-то точка, какая-то заковырочка осталась, запомнилась. Что такое, снова обернулась, остро гляжу.

По правую руку наш берег, а по левую – черемуховый мыс, коска песочная. Оинголь будто река – в самую даль, докуда глаза хватают. Гляжу, и вот оно: ровно живое что рябь гонит. Налегла на весла, ближе. То ли конь через озеро плывет, то ли телка, морда над водой стелется.

Постой, сама себе, да откуда тут скотине быть?

И уже различаю: серое, срыжа, уши то торчком, то в лежку. Сохатуха! Меня так всю жаром и обнесло.

Залихорадилась я, завертелась посередь лодки, как ужака на муравьище – туда, сюда. Шутка ли в деле, сохатуха!

Хватаю круче к мысу, ей напересек. А та уже заметила меня тоже, башкой закрутила и быстрой ходу. Я в азарте шубейку с себя, полушалок с себя.

На гребях идти – меня не испугаешь, по часу, бывало, плюхаю без отдыха (оттого и ладони, как наждаки, ребенка погладить боюсь). А тут, что ты будешь делать, отмахала саженой сто и то ли от азарта, то ли от суеты и спешки вижу:

все, зашла, задышка берет, млею. Сама себя костерю – но Мария, но Мария, упустишь случай, больше не жди. Такое раз в жизни и бывает.

Брошу глаза через плечо – вот он носок, а перед носком, знаю, долгая отмель; гляну через другое – вот она сохатуха, морда с холкой в струну, вода за ней аж ключом выбухла, тоже знает, что против носка – отмель, ее спасение.

Слезы закипели во мне – от переживанья сердца, от неудачи. Уперлась я пятками в укосину и из последних силенок, только бы, думаю, поясницу не пересекло. Еще саженой пятьдесят отмахала, это уже на износ; оборачиваюсь, воздух ртом хватаю. А волосы не покрыты, на лицо ливнем, не вижу сохатухи, ниче не вижу (коса у меня с молодости была толстая да длинная – садилась на нее). Волосы отгребаю, глазами по отмели шарю – нету, по берегу – нету. Что за наваждение?

Тут слышу, лодка обо что-то торк! И враз фурчанье – как бы из-под лодки. Оглядываюсь, а это она, голубушка! Лодкой по башке ушибло, она аж курнулась по уши. Вынырнула, ушами стригет, давай кашлять. Сама кашляет, носом фурчит, а сама мордой туда-сюда, туда-сюда, близко так, жутко даже. Никогда в жизни так близко зверя живого не видела.

Оторопела, сижу полоротая, ум отсекло – как быть? Ружье в корме, да и чего им делать, на глубине-то?

А сохатуха и к корме повернет, и к носу – лодку обойти. Я веслами тоже – то вперед загребу, то назад, загораживаю, а для чего, сама, убей, не скажу. Вот такие догонялки устроили.

Вода в озере чистая, проглядная, видать, как она всеми четырьмя ногами шевелит, а шерсть на ней дыбком. Гоняемся, гоняемся – и тут вижу, она морду задирает. Зубы ощерила, засипела, а круп все глубже в воду. Бросила я весла, вскочила. Чего ж это, неуж тонет?!

А она уже зубами воду хватает и на меня глазом косит. А в нем, господи... такой крик, такая мука... И сквозь зубы стоном...

Здесь уж я совсем из здравого рассудка выбыла. Куда робость отлетела! Подгреблась к ней, на край упала, охватила за шею, как бы удерживать. Да мыслимо ли? И уж мелькнуло в отчаянности: да выплывай ты, животина окаянная,

ступай себе, холера с тобой, век тебя не видела и не надо, только выплывай.

Держусь за нее, обнимаю, а по ней дрожь, руками чую. И дух, как от мокрой скотинки. Лодка с края на край – ходуном, того и гляди вместе курнемся. И уж вконец огрузла она, ну никакого спасу; ладони мои по шерсти потекли-потекли...

И вдруг – откуда что! Как она морду свою горбатую вскинет да ударит! Лодка краем черпанула, а я в корму снопом.

Поднимаюсь, в висках бубенцы, а сохатуха аж до плеч из воды высигивает, да раз за разом, кипень стоит. Знать, задними ногами дна достала, отмели!

Копытом – по лодке, отщепина так и полетела! Лодка моя заболталась на волнах и – каруселью, а я сижу ни жива ни мертва, локоть щупаю, отсушила, падая.

Зверюга скачет, хрипит, донная муть за ней ключом, и уже берег вот он. А когда всеми четырьмя днахватила, тут и пошла!

Все во мне разом схлынуло, куда что. Отрезвела; уходит сохатуха, уходит!

Не стану говорить, что я детишек своих вспомнила, нужду свою, разруху. Не было этого. Вроде никаких, ну никаких мыслей не было, а один голос души: чего ж ты, баба, скисла, чего медлишь!

Выдергиваю из-под себя ружье (аккурат на него локтем упала), подымаю, мушка прыгает, разбегается. Сохачью голову ловлю, за ухом верное место, это я знаю: Савелий Ильич, покойничек, много раз про охоту рассказывал.

И ведь мыслимое ли дело. Сызмальства в Бога не веровала, иконки в доме не держали, а здесь целюсь и губами шепчу: «Господи, не дай промахнуться, Господи, помоги...»

И тут на тебе! Вот так в створе – сохатуха, берег с откосом, выше черемушник стеной. И вижу в момент, краем глаза (как бы и не я вижу!), выскакивает из кустов, из черемушника, теленок-сеголеточек. От надо же! Выскочил и бежит. Бежит-бежит прискоком, аж ушки встрепываются. К матери бежит! Из себя такой рыжий, лобастенький, а копытца, как стеклышки.

Оторопела я, охнула. Не вижу телка, света не вижу, за что мне еще это наказание! Сжала душу в горошину, окаменела.

А он ровно почуял что, замер с разбежки, стоит-привскакивает, носом-бирюлькой фукает, торопит!

Выстрелила я...

Сохатуха башкой мотнула – и из воды, только песок ошметьями! Перебежала берег, мимо телка – и на откосок.

Промахнулась, Мария, промазала!

...А сохатуха впрыгнула на откосок, под самые кусты, впрыгнула и стала как врытая; стояла-стояла да и повалилась тут.

...Не перескажу, как доплыла я до поселка, спеклось во мне все. На подмогу особо уговаривать не надо было. Старики и бабы аж замолились на меня: как сумела да как осилила?

Вернулась с людьми на Долгий мыс к полдню. Сохатуха под черемушником, как была, а телка нету. Нету телка! Думаю: слава тебе, Господи!

Взялись мужики разделявать, а он – вот он, из кустов голову просунул и глядит...

Ушла я к лодке, знобко мне стало что-то; легла ничком и лежала, пока не погрузились.

И ведь кусочка того мяса я сама не съела – не могла, хоть ты что.

...Среди лета уже, каким-то случаем, отыскался наш родименький, наш Савелий Ильич. Лежал он в одной из своих промысловых избушек-зимников (нашел же дорогу!), весь в чистом, как щепочка высветил, и свеча в головах обгорелая.

Жив останусь – свидимся

Случилось это после третьей лихой зимы, в сорок четвертом. Как-то память не держит: ли в марте, ли в апреле. Цыган уж шубу продал! С крыш снега посогнало, в полдень пригреет – над избами, над дровяниками воздух ходит, воспаренье. Капель гудит! Среди дня хоть раздевайся. Зато к ночи такой трескун завернет... Митька мой за день пимишки выбродит, испорутает, в сенцах под порогом забудет, утром пимы – как колотушки!

Позвали меня раз в контору, с обозом на Рудник идти. Работа очередная, и для меня при моей ораве – нож вострый, дак ведь не откажись, куда!.. Но – посидели, обговорили, возвращаюсь, а так свечерело уж!

Подхожу, а в заулке к нам, под изгородью, ничком кто-то, скорчился. Подумалось сперва: ребяташки мои балуются, в прятки в такую поздноту играют, ну задам им «прятки».

Подхожу, приглядываюсь – и аж обмерла вся. Варька, Игнатьевой Веры дочка, в засольном цехе учетчицей, соседи мы через три двора! К жердине привалилась, обнялась, коленочками в снег и вроде памятью отошла. У меня аж душа спеклась.

– Варька, – зову, хватаюсь за нее, – ты чего?.. Да ты чего, Варька? А она глаза сожмурила, дышит и ни звуку. Подхватила ее, веду к себе. Ребятишек моих черти с квасом съели, где-то летают, в окнах темь. На топчан уложила, полушалок раздернула, катанки с нее долой – коленочки-то, чую, примерзли. Лампу зажгла, а она без кровинки в лице, чего с девкой стряслось? Шубейку на ней расстегиваю.

Расстегиваю шубейку-то, а петли в талье тугопретуго, внатяг. Мне сперва даже ни в ум. Расстегнула, легонько так по животу ладошкой... Господи, Господи, да ты девка никак...

Шлепнулась я рядом на топчан, одуматься не могу.

– Варька, вихорь тебя подыми! Да с ума ли ты?.. Как угораздило?

Отворачивается, молчит, губы морщит.

А я сглупа думаю: но в самом деле – как? С какого ветру? У нас вроде и мужиков способных не осталось. И еще про себя задним умом рассуждаю: то-то я стала примечать последнее время. Заглянешь к ним по-соседски, а на ней, Варьке, – ли шубейка эта, ли фуфайка бабкина разлетаистая. И у нас, прибежит за чем, ни в какую не раздевалась, так куклой и сидела. Опять я к ней:

– Варь, слышь-ка, может, фельшерицу позвать? Она даже испугалась, мотнула головой: нет! Ладно, нет – так нет.

– На котором уже? – спрашиваю.

– Вроде на седьмом, – шепчет, а сама оглядывается беспокойно, нету никого в доме?

– Ох, «вроде»! – качаю над девчонкой головой. – На кой леший засупонила так? Омороком, гляди, ушибло... Мать хоть знает?

А мать у нее, Игнатьева Вера, бригадирша, женщина деловая, строгая. Всю зиму, считай, – на лове, на дальней тоне. Раз-два в месяц домой наезжает, Варьку с бабушкой больной проведать да в баньке погреться. Молчала она, молчала, утерлась, говорит:

– Никто не знает... Теть Мария, я к тебе зачем шла? Услыхала – ты с обозом на Рудник наладилась. У меня на Руднике тетка родная живет. Молю тебя – отвези к ней. Одной-то да пешком мне ни за что не докарабкаться.

– Но удумала, но удумала! – говорю. – Рассуди сама, мать с озера вернется – как я перед ней? Чего врать буду?

– Скажешь, погостить уехала.

– Батюшки, какие нынче гости? Кто поверит? А с работой как? А бабку на кого?

– С работой не знаю, как-нибудь. Все равно из меня теперь работник-то... А за бабушкой – Ольку твою упрошу или вон Настеньку, они уже девчонки самостоятельные. И всего-то – сварить раз на дню и на улку проводить. До мамы всего ничего осталось, мож неделя какая.

Варька губы закривила, глазами морг-морг.

– А если я здесь соберусь, позору-славы на весь поселок, и мать меня изведет. А тетка у меня хорошая, в рудоуправлении работает, она за меня заступится. Поживу у нее до срока... А здесь – хоть в прорубь головой.

Думаю: но, девка, душа ты горькая, расклинила ты свою жизнь до самой сердцевиночки.

– Ладно, – соглашаюсь, раз решила, тому и быть. Завтра в ночь выежжаем, как прихватит (днем дорога уже не держала). Говорю: строго у нас начет попутчиков, кони и без того замороженные, но да чего теперь, зайцем поедешь. Стой возле осокоря, на выезде, я на задней связке буду. Да оденься потеплее, петли, глупая, чуток расшей, поняла?

Она с топчана сползает, на колени бух.

– Ой, тетя Мария, чего не понять, все поняла, все сделаю, буду где сказала. Ведь счастье – ты едешь, другой-то никто, может, и разговаривать не стал бы, да я к другому кому и пойти бы не посмела.

Какое уж тут, про себя думаю, счастье. Глажу девчонку по волосам, успокаиваю. Какое уж тут, прости господи, счастье...

Восемь саней обозу составилось. Рыба в рогожных кулях. Полтораста где-то пудов. Последний зимний вылов. Весь – было постановлено – в фонд обороны. Нас, возниц, четверо. По две упряжки на каждого. Такая вышла арифметика.

На передовом коне – Ипполит Федосеич. С тех пор как больного с печки сняли, на председателя поставили, стал ходить важный, живот клином. Обозы на Рудник самолично возглавлял. Потом Ганька, подросток четырнадцати лет, и еще – Пермякова Степанида, сорок ей было тогда? Баба здоровуца, кули эти на складе перекидывала, малым чем мужику уступала... Мы каждый раз в черед с ней попадали. Хваткая она в дороге. И воз подможет вытолкнуть, коня перепрячь. Как, бывало, возьмется за подпругу – конь на ногах шатается!

Загрузились назавтра, отъехали со склада поздно, на самую полночь, как небо прояснилось. Провожали нас кладовщик дед Иван, конюх Брюхов и бухгалтерша Анна Филипповна. Эта все к Ипполиту с порученьями да наказаньями: то не забудь, другое, будто не он председатель, а она. Ладно, я вчера не дала оплошки, Варьку за поселок выслала. Тут бы ей, в складском дворе – прямой заворот!

Сквозь весь двор шли: Филипповна папирисой пыхтела, дед Иван ключами тряс, Брюхов – тот дальше всех деревяшкой по насту побряхтывал, уж шибко за коней своих переживал. Отстали провожальщики! Я потихоньку сдернула куль, на вторые сани перекинула, три пуда куль, считай – Варькин вес.

Осокорь зачернел-замаячил, поравнялись, Варька из-за осокоря, как совка ночная, шмыг в сани. Узелочек при ней. Пала рядом, притиснулась, сопит, будто гору перебежала. Никто не видел – но и ладно, у всякого плута свой ращот! Едем, молчим, таимся. А в низинках туманом накатывает.

Ох уж эта рудничная дорожка! Сперва по нашей Каменушке все петельки развяжет, все кривуны обойдет, а потом перевалка через Косую Гриву. А Казачью одолеешь – тут и рукой подать.

Внизу Кия-река, леспромхоз Малая Алчедатка. Минуешь поселок – и по реке, поймой, километров двадцать пять, и вот он тебе Рудник.

Но это легко сказать, а попробуй с нашей гужевой техникой одолей. Последний раз я февралем ходила, аккурат под день Красной армии, на переметельных местах вешек прутяных не отыщешь, не то что. А перевалки, прахом их подхвати! Пластаешься, пластаешься, ну – выдрался на угор. У коней аж кровь с норок. Вниз – другая напасть: воза враскат, хомуты – с ушей, упряжь рвет-кособочит, ох лихо!

Да то средь зимы, в снега, в морозы клящие, а нынче колея крепкая, наторенная, только бы не отпустило. Варька в рукавички свои кошачьи носом зарылась и тишком-молчком. Я тоже – думы бабьи свои разматываю. Грех сказать – всех наших наличных мужиков по пальцам одной руки перебрала, нет, ни который не лепится!.. Ах, Варька, Варька...

Где чуть в горку, я с саней. Варька зашевелится – я ей: сиди не колготись, весу-то в тебе... Еще, думаю, Ипполит оглянется – скандалу не оберешься. Знаю, скандалу и без того не миновать, да уж лучше не в дороге.

Опять же взять нашего Ипполит Федосеича. Как он с нами войну сдюжил?

В годах и здоровьем никуда (по молодости – грыжу с надсады заработал). Дак ведь: податлив был! Но правду признаться, чуть чего – в крик, в шум, в мать-перемать! Распетушится петухом, разбегаются. Ругается наш Ипполитушка – как песни играет. А прокричится, проругается – веревки из него вей. Только, бывало, напослед потрясет кулаком и скажет с сердцем, в досаде: «От эли бы ты была мужуком!..» Зато нынче я как понимаю: оттого и сдюжил, что податлив был. Твердый-то – давно бы с копытук, сломался.

Каменушка в сторону отпала, дорога на Косую Гриву. Перевалили Косую, особо и упираться не пришлось. А вот перед второй перевалкой, через Казачью, за которой леспромхоз, – неустойка вышла. Стал наш обоз, как уперся, стоим, голоса впереди. Побежала я узнать. Там все наши топчутся: Ипполит, Степанида, Ганька. А ночь выдалась лунная, как на зерка-

ле, – все видно. Наст блестит, натеки по склону, ельник топорщится. И дорога вверх по ельнику, гляжу – что такое? В крошеве, в глызах льда, выворотнях. Мамай воевал!

Ипполит наш, тулуп нараспах, с бичом в руке, вверх по извозу ушагал. Вернулся, сопит, по глызе в сердцах хлесь! хлесь!

– Курвов таких надо забивать в дым! – сказал. – Што с дорогой сделали, што сделали!

– Да кто? Чего? – в толк не возьмем.

– Кто! Кто! Диверсанты! Хуже. Оккупанты! Трактористы лесхозовские! Чума из тайги нанесла. Днем размесили, а счас спекло. Искуричили. Весь косогор! Изухабили!.. Эта ж воза порвем, коней ухайдакаем – как пить дать.

– Не поворачивать же!

– Еще чего! – Тулуп с себя, на воз швыркком. – Ну, девья, помалу за мной, помалу. Коням отдышку давай, горячку не пори. А ты (к Ганьке) поостерегись, не подлазь шибко, чтоб нечаяно возом не стерло. Ну – помалу...

Бегу назад, Варьке объясняю: дорога тракторами порушена, пеша в гору придется. Та – мне: «Ой, и ладно, я хоть посогреюсь».

Потянулись мы по этой порушенной дороге в гору.

Бывало, осенью, перед ледоставом, снегом озеро обуранил, сала нагонит, заторосит, и тут замороз. Лед – дыбком. Дорога санная по озеру – мука мученическая. Воза с сеном опрокидывает. Вот и здесь. Всего ничего протащились – хлесь! Сани мои наперекосяк, кули с саней кувырком. Тпру, холера! Взялась кули ворочать, ворочаю, коня ругаю, себя костерю, с трактористов-диверсантов заодно душу вынаю. Варька рядом суетится, помочь норовит.

– Отойди, говорю, глупая, не хватайся. Да не хватайся, холера тебя!.. Вон глянь, бежит сюда кто-то, схоронись.

Степанида сверху подходит.

– Чего у тебя, давай подмогну.

– Сама управлюсь.

– Давай-давай.

Выправили с ней сани, кули уторкали, она уходить было да как ойкнет:

– Ой, кто это там?

– Где? – будто мне невдомек.

– Да взади, взади. За тем конем. Человек нито?
– Варька это Игнатъева, – бормочу. – На Рудник со мной попросилась.

– Варька? Чего ей?

– Не знаю, тетку проведать ли чего. Степанида головой закутила.

– Но Марья, но Марья, рысковая ты баба. Ведь постановление было... Ладно, твое личное дело. С конями токо полегше, у Ганьки вон один уж охромел.

Сказала – и к своим возам. Тронулись и мы с Варькой. Продернулись еще с полгоры, передний мой все – стал и ни в какую. Сбросила я рукавицу, руку на холку ему, холка потная да горячая, жилки так и трепещут. Господи, думаю, упадет – не подынешь. Бичика даже в руках не держу, под кули упрятала, осердится бичика – вовсе с места не собьешь. Одна надежда на сознательность. Уговариваю: отдохни, наберись. Косит глазом, ушами прядет, понимает. Постоял он, постоял, вздохнул – ну будто человек, – сапнул – и ходу. И пошел, и пошел. И пошел! Ах ты, умница. А за ним и второй... Убились, пока наверх выбрались.

Стали, стоим отдыхаемся. Варька тут как прискочит: «А где мой узелок?» Какой узелок? Нет узелка. Посеяли! Чуть не плачет, побежала, нельзя ей без узелка. А луна уже на сходе, и морок круг луны, мгла. Не отыщет девка узелка! Стою жду. Подходит Ипполит:

– Чего стоишь, воза не растрясла? Ганька вон, раззява, два куля подрал. Коней с перепоту застудишь. Мы трогаем, долго тут не чикайся.

Я ему: «Поежайте, я тут по своему делу, нагоню».

Ладно, ушел. Нету Варьки, ой нету! Я на спину коню – свой тулуп, на второго – какую-то рванинку. И впрямь бы не застудить. А сама вниз, за Варькой следом.

Сбежала дотуда, где нас опрокинуло, приглядываюсь. Сидит моя Варька на глызе, узелок свой к животу прижимает. Нашелся, слава тебе...

– Чего ты, Варь? Чего рассиживаешь-то?

– Не знаю, – отвечает, а в голосе испуг. – Я счас, я маленько... Ноги чего-то осеклись.

Присела я рядом, а плечико у нее сквозь шубейку и сквозь чего-то еще там поддетое –

как шильце востренькое. Но ровно я Ольку свою двенадцатилетнюю обнимаю. Ох, Варька, ну какому стервецу слаборукому ты понадобилась, баб рази мало?

– Посиди, посиди, – говорю, – оклемайся. Куда лететь было так, из-за узелка... Он-то, ну который... про это знает?

– Про чего, тетя Мария?

– Про чего, про чего. Не понимаешь будто – про чего.

– Нет, – бормочет, отворачивается, – откудава же?..

– Да оттудова, глупая, неразумная! Чего ж он?.. Глаза его бесстыжие. Или вы уж не встречаетесь?

Шевельнула она плечиком, отстранилась и как в рот воды. Ну – молчи.

Посидели. Поднялись, побрела она, свята душа на костылях, хром-хром. Я узелок отняла, саму под локоть. Кони услышали нас, запереступали, зафукали. Боялась – а вот уйдут? Нет, не ушли, умницы. Разбросила я тулуп, заставила Варьку прилечь, тулупом и прикрыла.

Кони застоялись, резво пошли.

Вот и Малая Алчедатка зачернела. Живого голоса не слышать, скотина не ревет, собака не гавкнет, все спит, все вымерло. Проехали Алчедатку. Дорога в Кию упала, но – скоро своих нагоним. А тут ветер-тягун вдоль поймы, вдоль льда, ой, дух в груди перехватывает. Не успеваю коням носы обтирать. И сама – топеребежкой, товаздяпки, щеки живьем сдирает. Варька зашевелилась, под тулупом засуежилась, слышу – окликает.

– Чего ты, Варь, замерзла?

А у нее шаль сбилась на лицо, разгребает она, разгребает.

– Ты лежи, лежи, – говорю, – если не замерзла. Тут сплошь равнина, колея наежжена...

А она разгребла, шепчет губами:

– Больно мне...

Ногу, может, подвернула, когда за узелком бежала, ли как уж?

– Да где больно-то? – спрашиваю: мне сразу-то не в голову! Она молчала, молчала – после:

– Всю больно, тетя Мария, всюю изрывает... Меня как обухом. Ох, господи, всюю!

– Ниче, Варь, ниче, – утешаю, – так бывает, потерпи, отпустит. Вот я сдвину куль, а ты вытяни ноги. Ноги-то вытяни, ляг попросторней. Давай-ка шаль тебе поправлю.

Да где наши-то, холера их! Не сбились бы кони с пути после Алчедатки, не плутаем ли! Да нет, вот же – на левую руку берег, скалки знакомые проступают – Мотькины Щеки у нас зовутся, – небо-то уж на востоке выалело. Коней придержу, послушаю впереди – нет, никого впереди не слышать. А мороз на рассвет так и завинчивает.

Бреду за санями, и чего делать – убей, не знаю. Кони тащатся, укатились за ночь, морды обындевели, как в сметане, ледяные пробки в носсах. Думаю: если до рудника обойдется, потерпится – дак все равно живьем девку заморожу. И уж в мыслях примериваюсь на крайнее: воза разгрузить, рыбу бросить и легкими санями, с одной Варькой – вперед аллюром, пока духу достанет.

По берегу Мотькины Щеки раздвинулись, ложок затуманил, дорога в ложок. Пригляделась, а внизу обоз чернеется, наши стоят, родненькие, от тягуна в ложок попрятались. Костерочек прям посреди дороги посверкивает. Дожидаются, окаянные!

Летит навстречу Ипполитушка, тулупом землю метет. И не доходя начинает свои кудрявые песни играть: «Где тебя чума занесла! Все жданки съели! Околеваем тут, как собаки подзаборные! Перемать! Хоть коней, слава Богу, не погробила!...» И пошел-поехал, как по писаному...

– Да живы твои кони, чего им станется, – огрызаюсь, сама думаю: счас главная канонада начнется, держись, Марья.

– А вот не говори! – кричит. – Не говори! У Ганьки начисто охромел, оттого и стоим, а ты думала!.. Постановили – по кулю на всех разбросить.

– Не получится такая раскладка, Ипполит Федосеич.

– Почему не получится? Ты, Марья, гляди мне! Жалеть! Всякому своих жалко. – Подошел, охлапывает морды коням, а уж так развиднелось. – Да твои пока ниче глядят. Ниче, ниче, ниче, вон какие орлы.

Охлапывает, упряжь походя трогает и тут вдруг: под тулупом! Шевелится кто-то! Ажио в столбняк его!

– Кто тут? Чего?.. Откудава?

Ну, я – делать нечего – объясняю. Варька, мол, дочка Веры Игнатъевой, бригадирши нашей, попросилась на Рудник в больницу.

– Варька Игнатъева? В больницу? У нас што, своего пункта нету? Кто разрешил?!

– Ты погоди, не разорься. Я же говорю: хворая она...

– Хворая?! – взвился Ипполит. – Выежжали – никакой не было! Вчера еще утром возле конторы вертелась, што-то хвори в ей не наблюдалось. Коней ухайдакали, страшно глядеть! Аж удила запенились! Кто разрешил самовольство, спрашиваю?.. Ты у меня, Мария, ответишь. Вы у меня обое ответите, по закону военного время! А ну вылазь с-под тулупа! Вот бичом задницу опояшу – моментом выздоровеешь!

К саням подскочил и уж за тулуп было схватил – сдернуть. Кинулась я, отпихнула (меня ведь тоже только раззадорь!), кричу:

– Ты чего, председатель, ополоумел? Гляди! – И сама тулуп откинула. А у Варьки уж губы жаром обнесло и глаза, как в яме.

Сел он на обводину саней, бичом скрученным по голенищу хлесь! хлесь!

– От эли бы ты была мужуком, я б тебе сказал пару ласковых. – Сплюнул в сердцах, после – поостыл малость, спрашивает: – Ладно, замнем для ясности. Что за хворь-то ее обуяла?

Тут и Степанида подошла, и Ганька раскрывши рот стоит. Да вижу, делать нечего, маскировка моя прахом пошла, говорю:

– В положенье она, Варька-то.

Ипполит мой Федосеич, бедный, прям стал в пень!

– Што-о?!

– А то самое, что слышишь. Я, конечно, виноватая, дак с меня спрос после. А сейчас девку спасать от беды надо, в болях уж она. Разгрузите мне одного коня, тогда я, может, ее успею.

Ипполит – руками за голову, прямо-таки в стон:

– Куда разгрузить? Посередь пути? Шутка в деле, шешнадцать пудов сига и хайруза на отбор! Фонд обороны! Пока обернемся – тут растащут все, расфулюганют. Кто ответ держать будет?

– Давайте Ганьку оставим. Его-то воз тоже облегчать надо.

– Как же! Останется!

– Ганя, – говорю, – останешься, покараулишь? Ганька носом зашмыгал, глаза сбывчил на сторуону.

– Не-а, боязно мне тут.

– Да кого бояться-то. Вон уж развиднелось почти. Разве собака промхозовская прибежит, дак ты ее палкой. Я вот тебе – свой мешочек с провиантом, будешь костерок палить, чай варить будешь.

– А как вы в ночь не воротитесь?

– Да куда мы денемся, шальной.

Молчит Ганька, сопит, глызу примороженную обпинывает. Степанида, смотрю, подошла к нему, приобняла – и тихо:

– Ганечка, родненький, золотко, или не мужик ты, ведь помрет Варька... Сопел-сопел, надувался, потом:

– Пускай мне Ипполит Федосеич кресало свое даст. А то костер загаснет, а у меня распалить нечем.

Слава тебе, уговорился!

Ипполитушка, председатель наш ругливый, податливый, сидел-сидел горбатился, после махнул и сказал, да кручинно так:

– Мне с вами, девья, по всему, две стратегии впереди маячат: иль на подсудимую скамью, иль в самашедшую палату. Чума с вами, разгрузайте моего передового, он покрепше других будет.

Соскребла я со всего обозу всю соломку, какая отыскалась, все рванинки, все рогожки, укрыла Варьку, с боков обтыкала – и дуй не стой! Конь с легкими санками бодро пошел, машисто, хоть одерживай. Выскочили из ложка – дорога снова в коренной берег, не успела вожжи разобрать, как следует усесться, а наших позади и не видать.

Проехали сколько-то, заглядываю под тулуп, а у Варьки шаль опять на лицо, дышать не дает. Подсовываю под щеку, поправляю, а щека – ладонью чую – мокрая.

– Ты чего – плачешь?

И заплакала, в голос заплакала моя Варька!

– Теперь-то плакать чего? – говорю. – Чего плакать-то? Вишь, как едем. Весело! Вон, кажись, и подвесной мост виднеется. Минуем его,

а там и делов-то! Ты только не замерзай, шевелись, чувствуй себя. Дай закрою хорошенько.

– Нет, тетя Мария, не закрывай, чего-то страшно мне, я лучше глядеть буду. – Глядела она, глядела да и забормотала: – Я что тебе хочу... Ты зря о нем плохо. Не знает он ничего, и не виноват он вовсе...

Господи, о ком я плохо? Кто не виноват? Неуж девка заговариваться стала?

– Лежи, лежи, – говорю. – Ничего, теперь дотянем. Она затихла, глаза сожмурила – и вдруг:

– Теть Мария, я помру?

– Что ты, дурочка, разве от этого помирают. Нас бы уж не было. Доктора рудничные счас за тебя примутся, только держись. Они небось по этой работе наскучились.

А она свое:

– ...помру, а ты будешь думать, мамка тоже... все будут... – Помолчала, потом: – Помнишь, прошлым летом, под осень уже, двое к тебе попросились, один больной...

– Двое-то? Как не помнить, помню.

И только она проговорила: «В прошлом году, мол, двое...» – тут-то меня в момент, голову мою несдогадливую и озарило!

Прошлым летом, верно...

Сижу как-то за починкой, а уж темь на дворе, и с утра моросно. Стучатся. Кого, думаю, несет? Отворяю: двое. Один вроде старик, а второй молоденький, лет восемнадцать. Мокрехеньки оба, у старого аж с бороды ручьем. Говорит:

– Приисковые мы, хозяйка, не пустишь до утра, напарник мой вот занемог что-то.

– Да уж входите, куда вас...

Обсушились они, чаю попили. А которого я за старика приняла, как сел проть лампы – ему и сорока пяти не оказалось: дак сезон не брился!

Наутро встаем, а парнишка – его Володькой звали – на полу на ряднинке, разметался весь, лоб как печка. День проходит, другой – никакого облегчения. Старший заперезживал: «Хозяйка, мне дальше тут никак нельзя, позволь Володьку тебе оставить. Нам послезавтра на призыве быть. Кабы в дезертиры не зачислили».

Думаю: чего ж, куда такого, пусть остается.

Лежит неделю, десять дней, фельдшерица прибежит, како-то втиранье даст, а парень все пластом.

У меня избенка – одна горенка да запечная загородка. И повертелась эти десять дней! Тут на свою-то ораву рук не хватает. Но ладно как дома, а как на озере? Пришлось Варьке Игнатьевой кланяться, а на ней без того бабка. Да Варька – девка золотая, безотказная. Бегала она к нам, присматривала, да тоже – много ли набегашь, когда и в цеху работа. Раз говорит:

– Теть Мария, ну чего мы эдак хворого человека мучаем, давай уж к нам. Дом у нас, считай, пустой, и мне сподручней: где за одним пригляд, там и за двумя.

– Ой, Варенька, спасибо!

Скачу днями к Игнатьевым, курник состряпала своему больному, смотрю – Володька на приступочке сидит, глаза внутрь укатили, как старичок на солнышко жмурится, ожил бедолага! Недели через две, или как, зашел попрощаться (и Варька с ним рядом). Помню, сказал: жив останусь – свидимся. И Варьку так за плечико привлек, она аж засветилась. Я тому значения не придала: благодарность человек выказывает! С тем и отбыл...

– Варь, а Варь, – спрашиваю осторожно. – Он-то, Володька, тебе пишет?

Она губы покусала-покусала, заморщилась, шепчет:

– Одно с дороги было.

– Одно и все?

– Одно, теть Мария. В узелке вон со мной лежит.

– Так у тебя что, и адреса его нету?

Катнула она молчком головой: нету, значит. Ах ты, господи...

– Я, говорит, напросилась с тобой еще и потому, что на Руднике Володины отец-мать живут. Думаю: может, у них есть.

Ой, девка, святая душа, может, и есть, может, и есть...

Но – доехали мы на раннем солнышке, она уж подпослед голоса не давала. Там санитарки с носилками, прямо с тулупом – на носилки, унесли... Унесли мою Варьку! Я столбняком посреди двора стою. Коня взнуздала, соломки бросила, а он не соломку, а снег хватает. Вышла санитарка, тулуп в руках:

– Заберите.

– Да жива ли хоть? – кидаюсь к ней.

– Жива, жива, одежда есть ли какая, документы, давайте. Я к саням, узелок ее распустила, там бумажки в платочек завернуты: нашла письмо, угольничек потертый, прочитала обратную фамилию – Кравчук. Узелок санитарке протягиваю. Тут, мол, бельишко ее, гребень, справки какие-нито, денег двадцать пять рублей, две рыбки...

Где дом Кравчуков, мне возле рудоуправления двое мальчишек сразу показали: белые ставенки и труба побеленная – далеко видать! Сам рудник-то в подошве горы, в сограх, а улицы, а дворы – на косогоры вздыбились. А на Кравчуков двор, как на ласткино гнездо, и смотреть-то голову заломя! Как тут гололедом ходят не убиваются? Пока закарбалась, сопрела, как паренка. Стучу, никакого отклика. Толкнула дверь, не заперто. У печи женщина, в ведре замешивает, платок клетчатый козырьком, пожилая из себя. Радио на стенке играет. Поздоровалась я, говорю:

– Вы меня не знаете, со Златогорки я... Она мешалку отставила, руки об фартук.

– Ох те, я и не слышу, и не бачу, как вошла-то. Ну-ко, я радиво, погоди, выткну.

Говорит да интересно так, вроде с напевкой, и слова по-хохляцки выворачивает, мне и не передать.

– Прошлым летом, говорю, Володя ваш, как с прииска шел на призыв да захворал, у меня в семье десять дней оставался.

Она:

– Да ненаглядка ты моя, сынок нам про то сказывал! Да спасибочки вам, добрая вы женщина. Сымай шубу, садись, я вот варенца глечек из печи выну, снидать будэмо. Старика разбужу, с ночи он... Правду сказать, молчун он у нас, слова не докупишься.

А из-за шторки кряхтенье:

– Не сплю, Остаповна, зараз я.

– Ой выйди, Степану, тут гостья, про Володеньку мы...

Вышел Степан, рубаху застегивает, под рубахой цепка блестит. В вере, значит. Сел, бумажку ногтем рвет. Бритый такой, в усах, а лицо худое, оспенное. И вправду молчун: сел, сколько сидел, только «доброго вам здоровьица» и вымолвил.

Я к главному хочу приступить, что, мол, там – Володя, где теперь, чего пишет?

Остаповна как раз рогачом из печи глечек вынимала. Отставила рогач, села на лавку, завсхлипывала:

– Да одна-единственна весточка и была. Еще ж з пути, з эшелону.

– И больше никаких известий?

– Ох да ненаглядка моя, нияких. Тому, считай, пять мисяцев нияких. – Поднялась, достает за зеркалом угольничек, точь-в-точь как у Варьки в узелке.

– Я вже Степана к военкому засылала, у военкома усе один ответ: сведений не имеется... Мобудь, на особом заданьи?

А Степан – ни слова, только слушает да сигаркой, пфу, пфу. Я киваю и про своего Пашу рассказываю. Полгода тоже не было весточки, чего не передумала, а потом – письмо. И у вас так же будет, вот увидите. Остаповна глаза отерла:

– Да спасибочки на добром слове. Совсем хлопчик он у нас, поздно мы его народили, це так життя наша окаянная сложилась...

Степан на это плечами зашевелил, она про жизнь и осеклась. Выпила я кружку варенца, спасибо, стала прощаться. Остаповна опять в слезы... Ну – попрощались. Я адрес свой оставила, мол, случится от Володи весточка, сообщите, очень прошу, ждать буду. Степан, гляжу, следом, ноги в пимы, за мной на улицу – проводить. Вышли, он оглянулся так на дверь – и мне:

– Слушайте, ходемте сюды!

И сам поворачивает к пристройкам, к сараюшкам во дворе.

Пошла за ним, а ума не приберу – зачем. Он впереди молчком, пимами в галошах шоркшорк, лопатки под рубахой взгорбил – но ровно коршун, когда глядит, где бы цыпушку сплеха унести.

Я аж обробела – иду. От надо же!

Заводит он меня в потемки, в горесь банную захолоделую, оконце низенькое блестит. В баньке мы! Дверь притворил, боком оборачивается, сел. И гляжу, сел – и цепку из пазухи вытягивает... Вытягивает-то он цепку, а возле крестика на цепке – гаманочек кожаный. Такие я прежде у золотых старателей видела. Развязывает гаманочек, а руками не владеет, трясутся руки-то,

пальцы-то! Да господи... Развязал, протягивает мне, все молчком, все молчком! Гляжу – бумажка серенькая, трубочкой свернута. Я к оконцу ближе. Расправила трубочку, развернула в листочек...

Прочитала – и стою, как под громом!..

Стук за спиной! Оборачиваюсь, а Степан сидит и, господи, затылком об стену! об стену! об стену!.. Лицо черное, страшное, и кадык в горле прыгает. И слезы по щекам, по морщинам, в усы.

Дак вот как мужики-молчуны плачут, вот как они плачут, каменные...

И здесь я, в холодной баньке сидючи, не сдержалась и в утешение – или как уж там вышло, не знаю – Степану про Варьку с Володей, про их ребеночка нечаянного как есть все и рассказала...

Родила Варька мальчишку, совсем слабенького да хиленького, думали – не жилец. Дак нет, выжил, выходился, месяцев пять на соске висел (у матери молока-то не хватало), такой сбитень стал, на удивленье.

Багүльник – трава пьяная

Так я тебе скажу: что баба, что кошка – живучие. Бабу бей, бей, на другое место перетащи – оживела! Пересилили мы тяжкие года, в нитку вытянулись, а главную заповедь исполнили, детишек сберегли, не растеряли, ни единого во всем поселочке.

И вот он, желанье сердца нашего – май! Отпраздновали мы Победу, отликовали. Женщины наши, пьяненькие, попели песни на головах, друг у дружки на плече выплакались, а утром похмелились слезами и опять в лямку. Через какое-то время, под вечер случилось, слышу – соседская девочка Настенька за калиткой голосит, как с печи упала:

– Теть Мария! Теть Мария! Беги в совет, телеграмма! Я так и присела.

– Какая еще телеграмма, господи?!

– А я почему знаю! Анна Филипповна велела мне рысью!

– Чего ж не принесла?

– Дак телеграмма же! Расписываться надо!

Подхватила я – и со двора. Бегу и обмираю. Сроду телеграмм боялась. Аж душа спекается: неуж с Пашей что? Последнее письмо в апреле было, перед самой Победой, из госпиталя. Мол, лежу на выздоровлении, а как, чего – ни словечка. Все бы ладно, да не его рука. С той поры опять ни слуху ни духу.

А тут на вот тебе – телеграмма!

Суеверная стала я за войну, спасу нет. Как-то долго от Паши не было. Бог знает как долго, с полгода поди. Почтальонка все мимо да мимо. А раз стою, руки так пальцами сцепила, идет почтальонка и еще издали письмо кажет: от Паши, жив родименький! С того и впало в сердце: сцепить руки – это мне к жданной вести.

И вот бегу в контору – ой, баба с глупинкой! – и одна заноза в голове: как зайду – не забыть руки сцепить, не забыть руки сцепить!

Не помню даже – было солнце, не было, прибежала. Анна Филипповна за столом. Дымом пытит, на косточках перещелкивает. Она у нас характерная была, самосад курила, нервы осаживала, на ней совет держался. Протягивает листочек, так вот по концам запечатанный, а я не беру. В задышке стою вся, руки сцеплены. Взробела окончательно!

«Рвите, – говорю, – читайте».

А она, смотрю, улыбается. Чего, вроде, рвать, чего читать-перечитывать – и так знаю. Сама, поди, по телефону из района принимала, сама заклеивала! «Встречай четырнадцатого, поезд пятьсот-веселый. Твой Павел». Она, роденькая моя, повторяет, а у меня в ушах только: встречай... твой Павел. Встречай... твой Павел.

И тут подскочила я: а сегодня-то какое? «Тринадцатое с утра было», – отвечает. «Выходит, завтра?! Господи, если по-доброму, мне затемно выежжать надо. Брички-то есть незапростанные?» – «Когда они были у нас незапростанные! – Анна Филипповна мне: – Да ты лети на конный, к Брюхову, тебе выделят. Такой случай! А чуть чего, от меня, скажи. Да ну! И без того дадут. Он что, Брюхов, – без соображенья?»

И верно – дали. Брюхов слова впроть не сказал, только постучал деревяшкой об пол в расуждении. А когда уж помогал запрячь, так сказал: – Поздравляю, Мария. Павел, кажись, у нас девятый будет?

Подъехала я к себе. Ребятишки мои уже вповал спят. Ну ладно.

Была у меня в запасе горстка муки, расшерудила печь, постряпалась на скору руку. И только за окном стало зариться, бужу большенькую, Ольку. Она у меня в пятый уже пошла, считай, невеста. Подымайся, доча, отца встречать едем! Она спросонок тычется, не знаю, поняла ли, нет. Я тем временем Катю с Митенькой в охапку и на бричку, они, холеры, хоть бы стрепенулись! Укрыла, в соломку утискала всех троих – поехали, таборяне! До станции Итатской сорок километров с чем-то. Сперва повдоль берега Оинголя, по таежке, а потом на крутой свороток – и по березовым колкам, по колкам, на тракт. А уж по-за трактом – поля. Согровый низинный лес вперхлестку с пашенными гривами. И уж до самой железной дороги глазу схватиться не за что.

Едем-трусим, на тракт выбрались. Солнышко всплыло, подводды навстречу, редко-редко бортовая обгонит, пыль взобьет. А пыль тяжелая, росная – ведренный день будет. Спит моя дивизия, только головенки по соломке катаются!

Ну – приехали. Показалась станция, поселок большой, дома, паровозы гукают, угаром запахло. Подъеждаем, а там, насупротив вокзала, пустырек. Весь, ну как есть весь подводами заставленный. И народу – как мураша. Чистая ярмарка! Раным-рано, часов шесть, а гляди ты!

По правую руку палисадик из ранетки. Привязала коня за столбец, бужу Ольку: встань, доча, присмотри, я сбегая поужнаю.

Торкнулась в одно оконце, другое – где там! Идет в красной фуражке, я к нему: «Когда пятьсот-веселый?».

– Это какой? С западного?

– Ну да, оттуда, от Новосибирска.

– С западного неизвестно. На то и пятьсот-веселый да еще с западного! – это красная фуражка уже на ходу мне.

Чтоб те стрелило, думаю. Никто ниче не знает, вот порядочки.

Вдруг шум, гром – залетает на станцию состав. В брезенте весь, и парнишки на платформах, солдатики. Да все молодые, загорелые, гимнастерки как в щелоче выбеленные. А состав без остановки – и на проход. За ним вскорости другой, и тоже только вихорь следом. И туда же, на восток. Что за оказия такая, война-то вроде в другой стороне, да и та кончилась. Вернулась я к своим. Олька, дежурная моя, спит, я сена коню труснула – и тоже под бочок к ребятишкам.

Лежу, а кругом народ гвалтится, разговоры, смех. По разговорам, демобилизованный состав ждут. Кто-то на гармошке играет да какие-то забавные присказульки поет. Бабы тут, мужики. Больше баб, конечно. Ребятишек – хоть метлой заметай, так и шмыгают, рады суете.

Дрема меня не знаю как одолела. Лежала-лежала и сбредила: будто сижу дома на приступочке, нитки на клубок сматываю. А другой конец Павлуша держит. Он держит, а нитка возьми и порвись. Я свяжу только, а она опять. Смотрю на Павлушу, а у него лица нету. Я как закричу и очнулась тут.

Лежу, глупый сон этот на сердце переживаю. И не во сне уже, а вьяве хочу увидеть Павлушино лицо – и нет. Не получается. Плывет в глазах. Забыла!

Тут гвалт, суета, закричали: демобилизованный подходит! Кинулись все к вокзалу, к линии, и я не усидела. Ребятишек поукрывала – и за всеми следом. Думаю: а ну знакомого кого встречу. Да и так любопытно – фронтовички возвращаются, победители, родные наши. Хоть глазком глянуть, на людское счастье порадоваться. И еще мысль пала в голову: а вдруг и Павлуша тут. Ну – пересел там по пути или как, бывают же случаи.

Поезд показался, паровоз с красной опояской. Потом вагоны разные. Сперва пассажирские, пять или сколько там, а подпослед простые теплушки. И везде – в дверях, окнах – лица, лица, лица! И все пожилые солдаты-то, в годах. Молодых и не видать. Не видать молодых-то! Старшего возраста, словом. Думаю: отвели войну родимые, живые вернулись!

Стоим вдоль линии, скучились и не дышим, господа. Каждому своего увидеть! Вагоны тихо так идут-идут. Тишина по толпе – мертвую, мне аж озноб по телу.

А невдалеке женщина, в платочке цветастеньком, кофта обшивочками – крестьянка обличьем, колхозница. Мальчонка возле, большенький уже. И вот как она стрепенется, скричит: «Ваня! Ванюша-а!» – и сквозь людскую кипень к вагону.

Тут и прорвало. Что началось! Крики, плач, слезы. Гармошка было где-то вскинулась – сплюснули гармошку! Я тоже стою и вот-вот зареву. Ах, бабоньки, бабоньки, страдалицы вы и счастливицы. Праздник, день-то какой! Ой, да что тут было! На гвардейце одном сразу три женщины повисли и ни в какую (одна в годах, а те молодые). Он шагу не может, аж скраснел весь. А вокруг еще четвертая бегаёт, девчонка, за юбки тех дергает: «Папка, я счас, папка, я счас...» Смех и грех да и только.

Прошел состав, вернулась я, ребятишки сидят в соломе, как галчата, сужатся: где мы очутились? А Олька: «Где папка-то?» – «Едет еще, говорю, наш папка, скоро приедет, ждать будем».

Пососкакивали они, запрыгали, у Митьки глаза наростопырку, диковинкой ему все. Я сразу наказ: от брочки никуда! Гляньте, какая беда народу, позаплутаете, а туг линия, паровозы, транспорт кругом, не наводите меня на нервы!

Прилегла сама, а уж не лежится. Смотрю, женщина мимо, две чекушки в руках. Я возьми и спроси: «Дают где или как?...» Ой, да знать бы – дак лучше и не спрашивать, и не видеть чекушек этих!.. Ну, спросила. Она мне: «Да тут, в коммерческом, вон на горочке, выбросили».

Думаю: ага, ради такого случая не слетать ли мне? Раз-два, зарысила молодая да заполошная. Отыскала магазин, в самом деле дают.

Заняла – стою. И гляжу, финики выносят, а кто еще горбушу. Ну, рыба нам своя в глазах настряла. Думаю: возьму ребятишкам фиников, какое-никакое – лакомство.

Больше часу стою, и обуяло меня беспокойство: а ну как поезд пришел, а я тут за чекушкой перетаптываюсь. И всех, кто от станции, пытаю,

как там пятьсот-веселый с западного? Нет, не слышать вроде.

Говорят люди «нет», а все равно беспокойно. И стоять невмочь, и очередь бросить жалко, вот такую себе раскоряку устроила.

Но достояла, взяла – и чекушку несчастную, и фиников детишкам кило. Все денежки фуганула! А-а, думаю... Теперь вдвоем – заработаем!

Бегу обратно с горки – чуть не впереворотки. Солнце уже на макушке, жварит почему зря.

Прибежала, а поезда нет как нет... Да и ладно бы нет... Девчонки ко мне, хнычут: Митька потерялся! Мы, мол, искали-переискали...

Думаю: ох, дите это половину веку мне убавит. Черт на примусе, не ребенок, наказывала же: никуда!

Покидала я свои покупки в бричку, провались они пропастью, – и сперва в палисадик. Под деревцами тенечек, люди и стоят, и лежат в ожидании. Спрашиваю про мальчишку, не видел кто? Нет, не видели. Я вокзал обскакала. Ну, где еще? Ударилась на станцию по путям. На какие-то склады натакалась, постовой там, автоматом заляскал – чуть не заарестовал, тьфу!

Вернулась, пот с меня ключом. И не знаю, куда еще бежать, где блудную коровенку искать. Может, в поселок удрал, в улицы, за мной следом да и заплутал там. Надо лететь в поселок.

И только успела подумать – вот оно тебе извещение: пятьсот-веселый на подходе...

Тут-то и завилась я в веревочку!

Села вскричала: ой, что же нам, девки, делать-то, рази разорваться. Ли за мальчонкой, ли отца, нашего папку долгожданного встречать?

Да ведь и в самом деле, доведись до любого, запричитает поди!

– Вот чего, говорю, Олька, оставайся, а мы с Катюшей на перрон. – У самой сердце так и замозжило: а ну-к Павлуша инвалидом возвращается (сон проклятуший!), выйдет с вагона, а помочь некому. Что он подумает?.. Олька уперлась и ни в какую: «Я тоже встречать хочу!» – Нет, говорю, сиди, смотри Митеньку, вдруг прибежит, а нас никого».

«Тогда, – говорит Олька, – я его отлуплю!» – «Ой, ладно уж, говорю, отлупи, только не шибко, может, мальчишка и не виноватый».

Выскочили мы на перрон с Катюшей, и вот он тебе, пятьсот-веселый, пыхтит-подкатывает. Глянула – батюшки! В вагонах битком, на площадках и того пуще. Всякого обличья – гражданские, военные. А кто из оторвиголов – и на крышу угнезвился. В самом деле, веселый, веселее некуда...

Повалили из вагонов, притиснули нас к заборчику, да ладно у самого выхода, всех видать. Подняла я девчонку на руки, стоим выглядываем. И как увижу в военном – сердце так и рухнет! А поближе – нет, не он. И особо гляжу, которые на костылях. Втемяшила себе: раз из госпиталю, значит, на костылях или с пустым рукавом (в письме-то недаром чужая рука).

А Катюшка все канючит: «Мамк, я его признаю?» – «Признаешь, доча, почему не признавать, ты только смотри востренько». – «А он нас?» – «И он нас, говорю, признает, у него наша карточка есть».

– «А вот тебя он не признает», – это она мне вдруг. – «Почему же, доча?» – «А ты плачешь и некрасивая, а на карточке ты красивая, веселая». – «Ой, правда, доча, умничка моя, дай я тебя опущу да вытрюсь».

И стоим мы с ней, как две забытых сиротинушки, пассажиров уже никого, остались только, которым дальше.

Стоим, а издали так, с того конца, прямит на нас в защитном кителе. За плечами вещмешок, в правой – чемоданчишко да на другой шинелка перекинута. Прямо на нас так и целит.

Задрожало во мне все. И не признаю еще глазами, а в каждой моей жилочке крик: он это!

Подошел, чемоданчик с шинелкой с рук выронил и обнял нас – меня и Катеньку разом.

Обнял он нас, колючий наш папаня, а меня, глупую, лихорадит: господи, с чего давечь сбредила, будто лицо его в памяти позабылось. Да никогда... Ни в какую жизнь... Умирала бы, а каждую его кровинку помнила бы, с собой уносила...

Встретили, идем. Катюшка чемоданчик у отца перехватила, тащит как путевая (кряхтит, а не отдает), я шинелку несусь. Павлуша что-то спрашивает, я что-то в ответ – впадал, нет ли, и не соображу. Я, главное, бричку свою выглядываю,

и уж бричку вижу, Ольку возле, а Митеньки нет. От беда так беда..

Но а дальше... Ох, дальше такой оборот вышел, такой оборот – только руками развести. Митенька уже взрослый стал, домом жил, а мы все его, как соберемся, так подзуживаем: а ну-к расскажи, как ты папаню с фронта стретил!..

Ладно, подошли. Олька увидала, как кинется отцу на шею, расцеловал он ее и уже заоглядывался: где же сын-то?

– Да здесь где-то мотается, – бормочу, – сейчас същем.

А солнышек кругом, спасу нет. В палисадике, вижу, тенечек свободный. Говорю: «Павлуша, ты с дороги усталый, в тенечке посиди, мы его същем». Беру охапку соломы с брички и под ранеткой трушу (там же ни травиночки!). А у самой голос рвется... уж не владею собой...

Труснула я соломы, расклонила и как-то так глаза вверх спрокинула... Как-то так вверх глаза спрокинула, а на ранете, меж веток, пяточка шевелится.

Батюшки-светы!

Я в сторонку чуть, где прогляднее, и вот он – весь тут, сыночек наш непутевый. На сучочке сидит, голову на развилочку приклонил, ручонки сцепил и спит. Спит, разъязви его, мальчишечку, только губенка отдувается! Упала я тут на соломку – смеюсь и плачу: «Гляди, отец, где твой сынок тебя встречает!»

Павлуша влез остороженько на дерево, сонного на плечо – и вниз, а внизу уж я приняла. Он проснулся, луп-луп, ничего не сообразит, почему смех. И как задаст реву.

Получилось-то как? Увидал мальчишка ягоду и влез, а та зеленцом еще. Ну – поел не поел, тут слышит – ищут его девчонки. И вздумал, поганец такой, в прятки поиграться. Сидел-сидел, ждал-пождал, когда сыщут, да и заснул не дождавшись...

Выехали со станции далеко уже за полдень. Девчонки к отцу лепятся. Большенькая, Олька, правда, как бы стесняется, то за руку подержит, то бочком прислонится. Митенька дичился сперва – совсем папку забыл, – а потом тоже размяк, разбаловался даже. Стянул с отца пилотку, медаль себе перестегнул, запрыгал на бричке, при-

шлось приструнить. А уж Катенька-лизунья – та на отце так висом и висела.

Едем, а солнце палит, зной. Павлуша китель расстегнул, смотрю я: схудал-то как, родимый. Ключицы хоть руками бери. Да ведь не в гостях был – в госпитале, а в госпиталях этих не шибко-то растолстеешь.

И все хочу спросить, да все робею: куда раненный был. Ноги-руки целые, голова, а письма сам не мог. Однако решилась, спросила: куда, мол, раненный? А он ребятишек чуть отстранил, приобнял меня за плечо и: «Ты, Мария, спроси лучше, куда не ранен...» Сказал так, а я щекой прижалась к руке его и уж больше ничего спрашивать не стала.

Солнце в закат – мы к Оинголю свернули. Въехали на крутик, бережок высокий, Павлуша заволновался, говорит: «Останови, хочу на озеро поглядеть. Четыре года во сне только видел».

Соскочил он, а я думаю: ага! Коня в сторону – и на покосную поляну, к стожку. Ребятишкам говорю: «Все равно домой засветло не успеем, собирайте плавник по берегу, костер распалим, ночевать тут будем!». Уж они запрыгали, заверещали, а я смеюсь, дурчусь вместе с ними, сама себя не узнаю.

Распрягла, спутала коня, пустила пастись. И сама за ужин. Ребятишки вопят: купаться, купаться! Пускай и папка с нами искупается!

Да бегите, махнула, окупнитесь, хоть пыль с мордах смоете.

Ведерко над огнем наладила, вышла на бережок, села. А мои внизу бултыхаются, визг, брызги, на отца верхом! Митенька-то голышом, Катюша в рейтузиках, а Олька – та в рубашонке, ну как же, ей уже стеснительно.

А я на Павлушу смотрю. Ой, родненький! Смотрю – через всю грудь белая борозда, а на ноге вдавлинка, как кто гвоздем ткнул да и осталось. А на спине так с блюдце вдолбина.

Искупались они, я ребят возле костерка усадила. Пожевали лепешек, огурцами похрумкали. Отец американску колбасну консерву вынул – так давай сюда! Чаем с душианкой напоила. А теперь, говорю, вот ваш кулек фиников, марш в бричку – спать. Мало соломы, сенца надергайте, не то к утру наготове околеете.

Остались мы вдвоем у костра, я чекушку достаю, протягиваю:

– Ну что, муженек долгожданный, за возвращенье?

А он посмотрел как-то... Так как-то посмотрел, говорит:

– Неплохо бы, Мария, но мне нельзя.

– Да эт как так нельзя?

– Вот так. Выписывали, сказали: забудь.

– Дак какое это питье? Глаза тока запорошить.

Я вот сроду не пила, ты знаешь, и на май победный едва пригубила, а и то сейчас бы... Вон Фомихин Антон вернулся вовсе без ноги и глаз выстрелен, а так забудырявает, ой да ну – и ниче. А у тебя руки-ноги, слава Богу, целы, схудал, правда, на больничных рационах, но ведь дома теперь, в семье, быстренько в тело войдешь, наберешься... За встречу, Павлуша...

Ой да и правильно наша Анна Филипповна все, бывало, подковыривает: «У тебя, говорит, Марья, язык как молотильная палка. Молотит и молотит». К чему я, в самом-то деле, про Фомихина завернула, вроде как раззадорила.

Подсел Павлуша ко мне, обнял, приласкал.

– Так и быть, жена, за встречу давай. Ну их, этих врачей. За встречу грех не выпить. Одну наркомовску приму.

Поужинали, разговариваем, да больше я. Павлуша только выспрашивает: чего мы тут да как?

И уж звезды заяснили, ночь. Кузнечики стрекочут, конь невдали фырчит, хрумает. Холодом с озера. Ушли мы под стожок...

А за стожком – там уже некое, вроде сухой болотинки. Болотника вся-вся, ну вся багульником оцвела. Цвет густой, белый с розова. И пахучий-пахучий, спасу нет, какой пахучий. Особо после ведренного дня, после зною. Походи по нему – пьяный сделаешься. Павлуша забеспокоился, спрашивает:

– Чем это так пахнет?

– Дак багульником, – говорю. – Забыл?

– Ага, забыл.

Я руку ему под нательную рубашку просунула – и сразу на шрам натакалась.

«Больно?» – шепчу. «Нет, – тоже шепотом, – наоборот, кожа как чужая, ниче не слышит». – «А тут?» – «И тут тоже...».

...Ой да исцеловала я ему раны, изласкала его, изластила. Все мои ночи бессонные, безмужные, все слезы невыплаканные от меня отлетели. Не знаю как – сон примаая, уснула. И вдруг – будто кто льду под бок. Павлуши рядом нету! А уж небо слиняло, зоречки рассеяло, пичуги впересвист, утро.

Вскочила на ноги, озираюсь. Берег и дорога вдоль берега, и покос – все чисто, проглядно, а за стожком нашим, по болотинке, туман-ползун. И гляжу: Павлуша – о Господи! – по туману тому уходит. Okликнула, а он – без вниманья. Кинулась за ним, бегу, а никакой то не туман – багульников цвет...

Догнала, остановила, а он так на меня... Ну как сквозь стекло. И с лица смененный. Я страх испугалась! Обнимкой его, обнимкой, хочу повернуть, а никак:

– Павлуша, чего ты, родимый, куда, идем обратно...

А он, как мои слова не к нему, отстранил меня, а после вдруг спрашивает – да жутко так:

– Где Хряпунов?

Рухнуло сердце у меня.

– Какой Хряпунов? Никакого Хряпунова тут нету. Это я, жена твоя – Мария. Идем, роденький.

А он как окостенел, свое:

– Хряпунова ко мне!

Ой да лихо! Не могу с ним совладать. Нету здесь Хряпунова, твержу. Детки наши, никого больше. Идем к ним, к детям. Олька там, Катюша, Митенька, все спят. Идем проведаем.

И вот как я ему про детей затростила – Олька, Катюшка, сынок Митенька – он обмяк вроде, а я силком его, силком, чуть не таской – и назад к месту.

Уложила, он лег, сама пала рядом, дышу, раскосмаченная вся. Он глаза закрыл, забылся. Жалость распламенила душу мне, повалилась я, обхватила ему голову, прижала к себе...

Прижала голову, затылок прижала, он... он как дернется от меня да прискочит, ровно его проводом ударило!

Сел, а сам: то землей возьметса, то весь как стенка. Скребнул по мне рукой, оттолкнул, а на мне рубашка была миткалевая – так на ремки и пошла! Он на четвереньках, ползет круг стожка,

за стожок, ну как бы от меня. Ползет и стоном стонет. И головой мотает... И уполз.

Кинулась я, обежала стожок. И обмерла вся!.. Он на земле, а его бьет. Всподыма бьет, всподыма! Под ним кострига, бодылья покосные, он по ним и грудью, и лицом... и лицом...

Подхватила голову его на колени себе, держу, крепко держу, аж руки отерпнули. Бился-бился, струной напряживался, а после стал притихаать. Притих, обмяк, в поту лоб весь. А ото лба через висок ссадинка. Припала я к ней губами.

Осторожненько волосы ему на затылке подняла... Подняла-то я волосы, а там пролысинка, с монетку величиной. А вместо кожи – пластиночка серебряная серебрится.

...Уснул он головой на моих коленях. Укрыла его и сама легла.

И уж пробудило меня окончательно солнце, щеку подожгло. Как-то я так пробудилась, хорошо, тьхонько-тьхонько, будто поплавочком всплыла... Глазами туда-сюда – ни Павлуши около, ни ребятишек в бричке! Да тут голоса вдалеке, с соседней луговинки. Смеются, слышу, перекликаются. И Павлушин голос тоже слышу.

Ой, да сроду поздно так не просыпалась!

Привстал на локоть, гляжу. Возвращаются они, скачут все вчетвером, голосишки наперебой.

Аж зажмурилась я. Родные мои, счастье-то вы мое выстраданное. Отец девчонок то одну закружит, то другую, они вижат, довольнехоньки. А Митенька впереди, как мячик, в кулачке что-то, издали кричит:

– Мамк! Ты спишь да спишь, а мы с папкой жука поймали – рогастова, щекотится!

И Павлуша, Павлуша-то мой... китель нараспашку и лицом такой светлый, улыбается. С добрым утром, с веселым днем!

Господи, или приснилось мне ночное, сбредилось?

Подходит он, а по глазам видать – не помнит ничего! Я скорехонько кофту на себя, лоскутки от рубашки запрятываю. Но и ладно, но и хорошо. И я ниче не помню, да и не было ниче. Истинно что приснилось.

Гляжу на него, родного, тоже улыбаюсь. Вот только вижу, через висок ссадинка, которую, знать, я так и не зацеловала...

ТҮОНЕЛЬСКИЙ ЛЕБЕДЬ

ПОВЕСТЬ

Тропа, рассекая поле надвое, убегала через холм. Рожь, ещё в прозелень, плавно, царственно покачивалась по сторонам тропы. От нее веяло отстоявшейся, корневой прохладой – так густы и затенены были посевы. Иные стебли вымахали в рост, но колосья еще не хотели сникать, склоняться, торчали тугими стрелами – значит, рожь еще росла, гнала из земли силу.

Только взойдя на холм, Савин мог свободно, без помех, оглядеться на все стороны.

Несмотря на раздолье, открывшееся его глазам, привыкшим к мрачности тайги и вздыбленности гор, прежде всего поразило его могучее это и звенящее-безмолвное, отрешённое от остального мира, поле ржи.

По лоснящемуся матово-зелёному разливу скользили, текли, разглаживались тёмные прогибы – там, где рожь мягко клонило ветром. Истаяв на закругленности холма, возникали снова, налитые густой серебристо-мерцающей тенью, сливались, расходились в завораживающем колдовском ритме.

Это гуляла по хлебам вихреница.

Савин опустил чемодан, снял белую курортного покроя кепочку, обмахнул разгоряченное ходьбой лицо. Вот это да-а!.. Стихия!

Боками своими поле упиралось в хвойные лесополосы, а там, куда вела тропа, его ограничивала жирно-зелёная пойма ручья. За ручьём рос таволжник, ещё дальше вздымались стогами старые сгорбленные берёзы. Меж них проглядывали квадраты крыш, косые углы садов-огородов.

По всему, это и была деревенька Сайлапка, куда держал путь Савин.

У начальника партии Алексея Савина семейная жизнь не задалась. Жена его, медик по специальности, жила в Кузнецке, в двухкомнатной квартире, ордер на которую с великими трудами

он получил еще в те времена, когда возглавлял угольную партию в пригороде этого самого Кузнецка. Позже партию ликвидировали, и он очутился здесь, в хмурых горах Кузнецкого Алатау, на разведке железной руды.

Жена не смогла (по здоровью) поехать с ним, а сыну требовалась школа, которой тут, в таёжном поселке, не было. Да и расстаться с обжитой, благоустроенной квартирой сразу – не хватило духу. Но если уж говорить до конца, то духу не хватило и после. Алексей изредка наезжал домой, испытывая при этом только радость встречи с Димкой, сыном четырнадцати лет. С женой у него давно уже были равные, даже слишком равные для живущих в разлуке супругов, отношения.

Сперва это только раздражало его, потом стало расстраивать, тяжело угнетать. У него испортились контакты с подчиненными, он стал покривлять, всплывать по всякому поводу.

Стала мучить бессонница, долгое и зыбкое – на грани сна и яви – лежание с закрытыми глазами, когда тишина гулко бревенчатого дома давила на виски, и он, обессилив от нее, протягивал руку, включал транзистор, постоянно настроенный на «Маяк».

Тихо выплывала мелодия – песни ли, симфонического концерта, – и глыбу тишины разламывало, рассеивало, легким дымком вливался сон; но не сон-отдых, а сон-видение, сон-чувствование, основу которого, самую его фантазмагорическую глубину составляла звучащая музыка.

Причудливая трансформация того, что бормотала волна, стала заменять ему сновидения.

Самой мелодии он не слышал и не запоминал, её не было, она сразу, должно быть, превращалась в атмосферу сна, растворялась в нём, точно кристаллик купороса в тёплой воде. Вдруг наплывала радость – ни с чего, ниоткуда, звенела таёжным ручьем, сияла глазами сына Димки, пела рокотом бурового снаряда, грызущего земную твердь. А то неожиданно что-то тяжкое обволакивало сердце, проникало до кончиков пальцев, дышать нечем. В одну из таких минут, не выдержав, он невероятным усилием открыл глаза. Бешено колотилось сердце, из транзистора тихо, горестно звучал сибелиусовский «Туонельский лебедь»...

Самое же необъяснимое, что радость, и боль, и тоска, и ощущение собственной вины неизвестно за что, и масса других чувств накатывали в таком чистом, незамутнённом виде и оттого были так пронзительны, как никогда – в его реальной повседневной жизни.

Его друг и коллега, главный инженер партии Шевчук, однажды в минуту откровенности сказал:

– Знаешь что, Алексей... как бы это проще выразиться?.. По-моему, ты потерял равновесие.

– Я что, цирковая балерина? – буркнул Савин: лезть в душу друг к другу у них было не принято.

– Не балерина, – согласился Шевчук.

– Тогда что такое по-твоему «равновесие»?

– Это... Ну это, наверное, когда в человеке нарушается баланс производственного и личного... – засмеялся Шевчук своему экспромтом придуманному необходимому определению.

– Ты находишь, я действительно его потерял, этот баланс?

– Нахожу. И не только я... Короче – тебе надо его восстанавливать.

– Каким же образом прикажешь?

– Это можно сделать по крайней мере двумя путями. – Шевчук чуть промолчал, как бы припоминая эти самые пути. – Ну, скажем, активно приобщиться к женскому обществу. Или...

– Или?.. – повторил Савин, натянуто улыбнувшись.

– Или пожить где-нибудь в деревенской тиши. В абсолютной. На молоке и шанежках. Как ты на это смотришь?

– На что именно? – Рассмеялся вдруг Савин такому житейски простому рецепту друга. – На женское общество или на молоко и шанежки?

– Видишь ли... Настоящий мужчина женское общество находит себе сам. Я же могу предложить лишь второе. – Шевчук давно, должно быть, уже обдумал этот разговор и потому говорил сейчас уверенно, с деловой обстоятельностью. – У меня на Алтае сестра живет. Старшая. Она, правда, уже в годах, шестьдесят пять стукнуло. Живет одна, добрейшая женщина. Полиной зовут. Сад у нее, огород. Места там, скажу тебе, сказочные. Редкий по нынешним временам

уголок. Ленточные боры, пруд агромаднейший, караси, «шшурята», как Полина говорит. Поезжай, а? Я напишу. Сам бы с тобой, но ведь нам враз нельзя... Ну?

– Ты знаешь, – сказал с расстановкой Савин, – в твоей сомнительной идее есть зерно. Никогда не бывал в алтайской деревне. Все как-то сверху пролетаешь.

– Вот и отлично, – обрадовался Шевчук, настроивший себя на долгий уговор. – Но туда лучше в июле.

Разговор состоялся в конце мая, а во второй половине июля Савин сидел уже в вагоне поезда, мчащегося через Кузнецкую задымлённую котловину, всецело отрешенный от дел и слегка обеспокоенный перспективой непривычного отдыха.

И еще – тяжело, угнетающе отдавалась в душе встреча с женой. Савин хотел взять с собой сына, с которым деревенская жизнь была бы просто прекрасна, – почему легко и принял предложение Шевчука. Тогда же о своем желании он написал жене. Но приехав вчера в город и зайдя домой, узнал: Димка неделю как в турлагере. Жена сказала: «Там у них режим, питание, а в деревне твоей что? Другого ничего не мог придумать? Кто вас там кормить будет, стирать на вас? Это ты привык в своей тайге из консервной банки есть, в мешке спать. Но ребёнок-то!..»

Такой обиды Савин простить жене не мог.

Всё оказалось именно так, как обещал Шевчук. И тихая, в садах-огородах, заросшая ромашкой деревенька в тридцать-сорок дворов в алтайском предгорье, и в полутора километрах сосновый бор, и пруд, и на равнинной стороне белые от выветрившегося суглинка курганы, по-местному «бугры», и дуплистые в тяжёлых, обвисших кронах ивы вдоль ручья, будто только что сошедшие с картин Венецианова.

Полина проявила такое гостеприимство, так искренне была рада гостю, сослуживцу и другу ее брата, что Савин первое время чувствовал себя неловко: боялся лишний раз что-то попросить, чтоб не обременять заботами и без того хлопотливую женщину.

Дом делился на большую и малую «половины». Большая, вся сплошь застланная полови-

ками из попонки, называлась горницей, а малая – избой. Спать Савину предстояло на малой половине, в избе, состоящей из кухни и комнатки-боковушки, за дощатой стенкой.

В первое утро Савин встал рано – не спалось, вышел тихонько по скрипящим половицам из дому.

В полуста шагах, на взгорке, возвышалась сложенная из камня и чисто побелённая часовенка. С четырех сторон – по скамеечке, а жестяную кровлю венчал крестик. Когда-то часовенка была поставлена при выезде, но потом деревянная подвинулась и часовенка оказалась посреди улицы – этакий игрушечный теремок без окон и дверей.

Савин прошёл, сел на влажную от росы скамеечку. Солнце, вяло пульсируя в мареве тумана, оторвалось от зубчатого горизонта, окрасило в розовое белую рубашку Савина, стену часовенки за ним. Из калитки соседнего двора вышла женщина в прозрачной косынке. Проходя по тропе мимо Савина, бросив на него быстрый взгляд, поздоровалась. Он тоже поздоровался, посмотрел вслед, и ему вдруг стало легко и просто, и предчувствие того, что ему здесь будет хорошо, покойно, сразу охватило его.

Вечером они с хозяйкой ужинали в большой половине.

Прямо на чистой клеенке лежали мокрые перья лука, выдернутого вместе с головками, румяная горка редиски, шершавые тугие огурчики, стручки сахарного гороха, в глубокой миске – вспотевшие от соли ломти редьки.

Для Савина, действительно привыкшего в тайге к консервам и концентратам, вся эта нехитрая – прямо с грядки – еда была как открытие. Он не удержался и помаленьку перепробовал всё. В завершение ели горячую картошку, залитую яйцами, и запивали холодным, из погребка, молоком.

В дверь постучали. Заглянула соседка, та, что поздоровалась утром с Савиным. Увидела – ужинают, сказала, не переступая порога:

– Александровна, выдь на момент, дело у меня.

– Фаина, да заходи! – крикнула хозяйка.

– Нет-нет, – раздалось за дверью, – я по делу, выдь сюда сама.

– У нее дети есть? – спросил Савин.

– Есть, а как же! – сказала хозяйка, поднимаясь из-за стола.

– Так угостите апельсинами.

На столе среди овощей стояла тарелка с апельсинами, купленными Савиным в городе, при пересадке.

– Да не примет она, знаю ее, – отмахнулась было та.

– А вы угостите, угостите.

Полина Александровна, покачив в сомнении головой, выбрала два апельсина поровнее, вышла. Вскоре вернулась, сказала удивленно:

– Вы смотрите, а ведь приняла. Спасибо велела передать. Бывало, и не уговоришь на гостинчик-то. Характерная в этом, просто куда! Сынок у нее днями приезжает из области. Пятнадцать лет парнишке. В училище по технике учится. Дак приходила – постряпать наладилась, а дрожжи все.

– У вас здесь что за работы, сельхозартель.

– Не, какая артель – фабрика.

– Фабрика? – удивился Савин. – Да где она тут?

– А вон туда, за горушкой. Как в конец пройдёшь да направо, дак трубу железну видать и постройку. Вы-то сюда как, напрямки, небось, шли?

– По тропке, горкой, через рожь, как с автобуса сошёл, – подтвердил Савин.

– Верно. А большой дорогой, вкруговую, дак и мимо фабричного посёлочка.

– Что же там производят?

– А всяку бяку, – засмеялась хозяйка. – Рядни-ну ткут, мешки шьют, воровину крутят – тару производят, словом. Да вот взять Фаину, она на фабрике-то и работает.

– А муж её?

– Муж объелся груш, – сказала сухо Полина. – Одна она, уже лет семь тому. Стыд сказать, грех утаить: напился пьяный, непутёвый, да с мотоцикла брызнулся, в больнице помер. Теперь одна горемычит. Да и правду сказать, сколько у нас тут работающих-то, – пальцев хватит. А то подряд пенсионеры, одинокие ли.

– Я детишек на улице много видел, – сказал Савин.

– Да то внучата всё, из города, привозные. Летом-то у нас тут весело. А зимой так уж тихо, так тихо – уши закладывает.

С первых же дней у Савина само собой как-то установился несложный распорядок. Утром шел он к ручью, умывался, завтракал, потом – в бор. Хозяйка снабдила прутяным кузовком и ножиком! Ручка ножа обмотана красной лентой – чтоб легче отыскать в траве, если выронишь. Но грибов попадалось мало, не сезон. Зато всю цвела и вызревала земляника. Часть бора составляли старые сосны, к ним примыкали посадки. Земляника росла и в старой части, и в молодых посадках, даже там, куда едва просвечивало солнце. Ягода была водянистой, расплющивалась на пальцах, и Савин, собирая, то и дело отплевывал её в рот.

Возвращался он с полупустым кузовком – десяток ломких сыроежек да пара стаканов земляники, однако прелесть прогулок по бору от этого нисколько не омрачалась. Он в своей жизни, слава Богу, походил по алатауской тайге, с хаосом бурелома, грубой травой выше роста, болотными даже на склонах мочажинами, изматывающим до отупения гнусом, с напряженностью каждого шага – и этот почти парковый лес радовал крепкими тропами в любые концы, нагретым запахом хвои и раздавленной земляники.

Старею, что ли, думал, усмехаясь, Савин, потому что иных симптомов возраста, кроме ощущения удовольствия от ходьбы по ровным и чистым лесным тропинкам, не испытывал.

Вечерами приглянулось сидеть под часоventкой. Сидел, наблюдал жизнь улицы. И это тоже оказалось приятным для души занятием.

Изредка проходили деревенские, иные с косой на плече или граблями, или с корзиной в руке. Катились с треском на мотоцикле, но тоже – из коляски торчали вилы, грабли, громыхали привязанные ведра, бидоны. Мотоцикл, как заметил Савин, был здесь главным средством личного транспорта. На нем возили всё, что требовалось в сельском быту, как прежде – на лошади: вязанки сушняка из лесу, свежескошенную траву, пиломатериалы, бочонки, камень-плитняк для

строительства, а случалось – и подпитых крепко гостей; детишек же набивалось в коляску по пяти штук.

Савин приметил девочку лет одиннадцати – тоненькую, беловолосую. Каждый вечер, на самом закате, проходила она в луга и возвращалась уже по сумеркам. Она единственная, кажется, не носила ничего в руках. Ходила как бы праздно. Куда ходила? Савин не замечал, чтобы с ней кто заговаривал или она обращалась к кому. В ее простеньком с короткими бровками лице не было ничего примечательного, разве что улыбка.

Однажды девочка прошла совсем близко. Савин увидел её глаза – и ему стало не по себе. Девочка глядела сквозь него, а улыбка ее, ничем видимым не вызванная, была словно приморожена к уголкам губ. И еще показалось: маленькая, с гладко льющимися на спину волосами голова ее подрагивала. Одета она была всегда в одно и то же – длинное цветастое платье, сшитое грубо, обвисяющее в плечах и узеньких бёдрах.

Савин поинтересовался у хозяйки: что за странная девочка ходит мимо них за деревню?

Полина нахмурилась и почему-то с неохотой объяснила: девочка эта как бы инвалидка, глухонемая по рождению. Живут вдвоем с матерью, на другом краю. А зовут Олёнка.

– Чего же она ходит за деревню да еще к черу?

– Представленья не имею. Походит-походит по лугам, да и вернётся. Не расспросишь её, не спытаешь... Да ведь с недавних пор у нее это – хождение-то. А так – зимой в городе, в специальной школе занимается. На лето – к матери: по дому там помочь, по огороду. – Хозяйка помолчала, сокрушенно добавила: – Но теперь, видно, и в этом не помощница. И в школу, боимся, не вернётся нынче, не примут...

– Почему же? – спросил Савин, чувствуя, что Полина умалчивает что-то, недоговаривает.

– Да заметил, наверное, не во всём уме она.

– Разве раньше другая была?

– Ох, другая. Другая! Проворная, огнём всё делала. Токо что не пела... А тут – недели четыре уж тому или сколь...

Полина убирала со стола посуду, уносила на кухню (день был после ужина), а при этих не-

договорённых словах вдруг села на табурет, сложила в коленях руки – заговорила:

– Горе – оно по горю идёт. В доме-то у них постоялец жил, с весны, считай, что с самой. Мост тут недалеко, через речку, фабрике приписанный. Да вот – они мост чинили-ремонтировали. Шабашники, по-другому сказать. Ну, завершили мост. Постоялец, такой из себя чернявый, похотливый, уезжать собрался. И подбил девчонку, Олёнку-то, проводить его до автобуса. Та спроста – и согласись, и побежи. А как шли тропой через поле, он – цоп её и в рожь... Сорвал с неё всё до самого стыда.

Тут на случай двое женщин наших возвращались. Услыхали шум, возню какую-то, заглянули в рожь... Ну – спугнули паразита, он бросил и – ходу. Подняли девку, а она растерзанная вся, трясётся и в испуге шагу не может, валится. Привели домой. Отлежала в горячке неделю, а встала – и вишь ты... Как бы не во всём уме. По дому уж ничего не делает, за что ни возьмётся – то расколотит, то себя повредит... А через рожь – даже среди дня теперь не ходит, даже с матерью. Повела ее тут днями мать в райбольницу, докторам показать. Увидала девка оржаное это поле, стала как вкопанная, затряслась – и в слёзы. И ни в какую! Верите-нет, пришлось матери кружной дорогой ее вести, по большаку...

Раза два после этого, задержавшись в бору, Савин встречал глухонемую девочку на луговых чистых проселках.

Однажды под самый закат он пошёл за ней, держась в отдалении, делая вид, что им по пути. В пыльных местах отпечатывались ее слабые босые следы. Грибников и ягодников и в бору, и на лугах попадалось обычно много, поэтому идущий вслед Савин с корзиночкой не должен был вызвать у девочки тревоги. Однако она заметила, заглядывалась и, уйдя за очередной поворот, вдруг присела.

Белая голова ее исчезла в придорожных цветах, в бурьяне.

Савин, огорченный, уже жалея о своем легкомысленном поступке, миновал поворот, но Олёнки тут не было. То есть не было нигде – ни на лугу, ни по дороге. Савин даже растерялся. Вот, кажется, то место, где она отбежала и при-

села, несколько травинок помято, сломана по-
лынная веточка – сама Олёнка будто растаяла
в розовом текучем воздухе заката.

«Ну дела», – засмеялся Савин и повернул лу-
гом к деревне.

Назавтра как ни в чём не бывало она снова
прошла мимо часовенки – замкнутая в своей не-
моте и уже чем-то для него загадочная. Нелепое
платье, торчащие косточки ключиц. Маленькая
скорбящая душа, безропотно ищущая уедине-
ния.

День был знойный, ветренный. Белые и кру-
глые, быстрые, как ядра, облачка летели в го-
рячей синеве к горизонту. Савин возвращался
в деревню с лёгкой корзиночкой. В ушах ещё
шумели сосны, а лицо и плечи калил солнечный
ветер, сушил кожу, продолжавшую хранить при-
косновение влажного грибного духа. Голову он
повязал рубашкой, шёл поймой ручья, сплошь
испестрённой прокосными полянами.

На одной из полянок двое – женщина и
мальчишка-подросток – вершили стог. Мальчиш-
ка в плещущей на плечах рубашке-распашонке
топтался на стогу, а женщина внизу подавала.
Ветер рвал поднятое на вилах сено, выдувал
из-под ног мальчишки целые охапки, сносил
на кошенину. По всему было видать – дело
у этих двоих подвигается не шибко.

Савин узнал в женщине соседку Фаину. Она
была в тугой белой косынке, повязанной у горла,
цветном сарафане, плотно обдуваемом ветром.
Нанизав на вилы пласт сена, Фаина упирала
длинным черенком в землю, крепким мужским
движением вздергивала навильник над головой,
несла к стогу.

Мальчишка на стогу был, без сомнения, ее
приехавший на каникулы сын.

– Ну-ка, – сказал Савин, ставя наземь корзи-
ночку и решительно беря из рук Фаины вилы.
Гладкое дерево было горячим, точно живым, –
то ли от солнца, то ли от Фаиных ладоней.

– Ой, Алексей Георгиевич, – сказала Фаина,
тяжело дыша, уморённо улыбаясь, – да вам-то
к чему? Отдыхайте уж, не для того приехали.

– Ничего! Такая работа отдыху не помеха...
А помощничек – сын ваш?

– Сынок, Серёжа.

– А ну, Серега, держи! – Савин рванул с земли
грузный ворох, но порыв ветра притиснул его к
стогу, и он, напрягая силы, с трудом подтолкнул
ворох к вершине стога. Добрая половина сена
разлетелась.

Мальчишка засмеялся. Его длинные по моде
волосы полоскались вокруг лица.

– Вы, дядя, лучше меньше берите, но плот-
нее, – подал он сверху совет.

– Учтём замечание, держи еще!

Савин в самом деле вскоре приновился –
и к ветру, и к длинным неухватистым без при-
вычки вилам. Наколов плотнее навильник,
рывком поднимал и, поймав равновесие, как
это делала Фаина, длинным скольльзящим толч-
ком кидал к вершине стога. Скоро ему стало
по-настоящему жарко. Рубашка, которой была
обмотана голова, развязалась, отлетела с ветром.
Мелкая, как порох, травяная труха липла к раз-
горячённому телу, забивалась в волосы.

– Давай, Серега, разворачивайся! – подзадо-
ривал он мальчишку, втягиваясь в давно не ис-
пытываемый азарт вольной и напряжённой му-
скульной работы. Тот зайцем прыгал по стогу,
подминая сено, довольный, что монотонное,
скучное дело, которым они занимались с мате-
рью, превратилось вдруг в весёлую почти что
игру.

На тропу кромкой поляны вышла из кустар-
ника пожилая женщина с корзиной и грибной
палочкой-рогулькой в руках. Краем глаза Савин
видел, как женщина заинтересованно остано-
вилась, долго и откровенно смотрела в их сторо-
ну. Фаина поначалу только усмехалась, потом
не выдержала, опершись на грабли, вызывающе
крикнула:

– Чего, Федосьевна? Раздумываешь – помочь
или как?

Женщина махнула рогулькой по траве, отозва-
лась бойкой скороговоркой:

– Да у тебя, Фая, и без того, гляжу, в помош-
никах нехватки нет. Нет нехватки-то! Ишь каки
споры! – И повернувшись, пошла дальше, будто
дело сделала.

– Ну всё, – сказала Фаина вполголоса, – понес-
ла сорока на хвосте...

Часа за два стог был завершён. Солнце уже свалилось к макушкам черемушника. Фаина напоследок обдёрнула стог граблями.

Они все втроём отошли к ручью умыться. Ручей был мелководный, илистый, но Серега все равно забрался в него, мутил воду, гоготал, дурачился, и Савин, глядя на него (ему нравился этот патлатый парнишка), вдруг больно подумал о своем сыне. Как бы прекрасно было здесь Димке и насколько душевно спокойней жилось тут ему, Савину, если бы вышло так, как он задумывал. Нет, всё-таки надо было настоять на своём – съездить в турлагерь, забрать сына. Ведь теряет он его, теряет...

Дня через три вечером – было как раз воскресенье – Фаина пригласила Полину и Савина на семейный ужин, в честь приезда сына, по соседски.

Дом у Фаины старый, но сруб еще крепкий на вид, с резными завитками чёрных выкрошившихся наличников. Время и отсутствие мужской руки наложили свой отпечаток и на пристройки: скособочилось крыльцо, качнулся на столбах навес-сушило, осыпалась на баньке труба; стайка и сеновал глядели щелями, в них стремительно влетали ласточки. Только летняя печурка посреди двора светила свежепобелёнными боками, уставив в небо радужный от перекалки столбик трубы.

В саду под яблонями-полукультурками с тугими зелеными яблочками был выставлен стол, скамейки. На белой слежавшейся в сгибах скатёрке между тарелками и чашками – с овощным салатом, холодцом, консервированной рыбой в томатном соусе, с домашней выпечкой – поблескивали бутылка водки и графин настойки розового цвета.

С Фаиной жила мать – болезненная, преклонных лет женщина, которая большую часть времени лежала на кровати, задыхаясь от астмы. Её тоже вывели к столу, вынесли кресло, и она, дыша, сложила на коленях тёмные от пигмента руки.

Савину поручили командовать застольем, и он, налив из бутылки женщинам и себе, взялся за графин, предварительно взглянув на Фаину. Та кивнула.

– За твои успехи, Серёга, – сказал он. – За твою специальность сварщика. Верная специальность! Получишь права – приезжай ко мне в партию, нам сварщики во как нужны.

Женщинам тост понравился, они закивали одобрительно. Сергей, смущенный вниманием, покраснел; и оттого, должно быть, с излишней лихостью выпил настойку, так что мать ахнула.

– Ах ты, чертёнок, научился там, гляди мне!

– Чего тут учиться-то! – небрежным баском проговорил Серега. – Сиропная вода.

– Я тебе покажу – сиропная вода! Заболтал чё-ко! – вскинулась Фаина, но ни в голосе её, ни во взгляде не было суровости, а только одна едва прикрытая внешней строгостью материнская доброта.

Серега схватил горсть пирожков с тарелки, вскочил из-за стола.

– Ладно, мам, я подрапал!

– Куда, поешь хоть!

– Не-е, уже поел, меня ждут.

– погоди, кто ждет-то?

– Да Витька с Геркой Паршины.

– Они, холеры, тоже здесь?

– Ага, здесь! – со двора уже крикнул Сергей.

– Это называется приехал домой, – сказала Фаина и отставила чуть отпитую стопку.

– А ты что, девка, хотела? – ответила ей Полина.

– Они твои и ты им нужна, пока ты их растишь, пока на коленях у тебя, а соскочили – и всё, прыснули в разные стороны... – Это наша жизнь вся в детях, а ихняя – бознать где.

– Их жизнь будет в их детях, – мягко и примиряюще сказал Савин и почувствовал на себе беглый, ускользнувший сразу Фаинин взгляд.

Потом женщины заговорили о своем: о сенокосе, о продавщице Анфисе, которая «всё исподтиха, всё исподтиха норовит», о порядках в клубе, где «опять наго кино казали, тьфу!», о зачистивших по тракту туристах, «которые по видам ездют», о том, что после небывало морозной зимы яблоньки болеют, а иные и сгибли.

Дышала в своем деревянном кресле бабулька. Она ничего не ела, не пила, от всего отказывалась слабым движением головы, сидела, посверкивала из глубины сморщенного личика глазами младенческого влажного цвета. Под-

несла к груди руки, тут же уронила, и Фаина, угадав, встала, потуже завязала ей платок. О чём она думала? Какие такие мысли посещали ее, какие желания бродили в ней, кроме желания избавиться от страданий болезни, терзающих её плоское беспомощное тело, укрытое тёмными обвислыми одеждами? Тело, которому уже «и от трав не легчело, и от врачей не легче». Она наверняка и родилась здесь, в этом на крепком окладе доме, и умрёт в нём. Руки её, недвижно лежащие на коленях, хранят огромный житейский опыт. Но сейчас они, руки эти, не могут завязать платка. В чем же мудрость природы, которая так жестоко истощила её тело, но сохранила её сознание, её дух?

Вскоре она устала – от сидения в кресле, от садовых густых запахов и шума листвы над головой, и её снова увели в дом – беспомощного, всё понимающего ребёнка.

Она кого-то сильно напомнила Савину, но так отдалённо, что он «не схватил».

Сумерки стали заливать сад, ветер утих, с улицы послышался шум, сытые вздохи бредущего домой стада. Нанесло запахом дорожной пыли, молока. Фаина забеспокоилась, вскинулась было из-за стола, но Полина чуть не силой усадила на место: сама встречу, сиди-ка отдыхай.

Она привычно распахнула воротца, с куском взятого со стола хлеба проводила корову под навес, говоря ей что-то ласковое. Вскоре оттуда послышалось позванивание о подойник тугих струй. Потом она с бело пенящимся подойником прошла в дом, да так и не вернулась в сад.

А Савин и Фаина продолжали сидеть за столом друг против друга в сумеречно притихшем воздухе.

Фаина рассказывала свою родословную. Прадед Викул, житель Вятской губернии, приехал сюда, в эти края, еще задолго до Первой мировой, по только что проложенной сибирской чугунке. Привёз с собой молодую жену шестнадцати лет да ящик с плотничьим инструментом.

Поразили их, вечных безземельцев, простор и воля здешних мест, манера сибиряков мерить землю не палкой-саженью, а на глазок – «от тово колка до тэй балочки», дешёвизна продуктов и размеренное, несуетливое житьё их земляков-

вятичей, обосновавшихся здесь много раньше.

«А страшшали, в Сибире люди в шерсте!» – смеялись переселенцы-вятичи.

Викул, мастеровой мужик, нанялся в артель и два лета рубил чужие дома (рубахи сгорали от пота), пока не скопил денег на свой собственный. Вот этот самый, в котором теперь живут Фаина с матерью. Прадед Викул заложил прочные корни, родив пять сыновей. Все они жили здесь, рядом, подпирая друг друга, обрастая домами, хозяйством и новыми молодыми предприимчивыми мужиками, но времена пошли на крутой заворот.

Прошумели над миром грозные события, задев Викуловы корни крепко, как матерья ось за пень. Одних взяла военная мобилизация, других увела из дому злая сила, третьи в поветрие вымерли, четвёртых выманил город. А такие, как Фаинин муж, расстались с жизнью по собственной оплошке.

Тонкая ниточка некогда мощного Викулова корня теперь держится на Серёге, который, не ведая о том, весело осваивает профессию сварщика и будущую свою жену вряд ли приведёт в этот ещё прочный с виду дом...

Солнце давно пало за горизонт, яблоневые ветки и черёмушковые в саду углы и щели сеновала залило чернотой, но Савин хорошо различал Фаиново лицо, его правильный, чистый овал, затушёванные мерцанием неба глаза, губы. Что-то от древнерусских иконописных картин, лишённых приземляющих подробностей, было в лице женщины, неторопливо рассказывающей историю своего рода.

Ей сорок и, как понял Савин, на счастливое замужество рассчитывать особенно не приходилось. Но у неё был сын, и она жила теперь сыном. Он вспомнил, как впервые увидел её, когда она прошла мимо, поздоровавшись с ним, незнакомцем, сдержанным наклоном головы, и её прозрачная косынка в лучах солнца плавилась, точно корона. Бог ты мой, да она в молодости была красавицей, подумал вдруг Савин, ощущая в душе лёгкое волнение от своего открытия.

И вот же – несмотря на работу на тарной фабрике (громоздкий ткущий мешковину станок, посконная пыль, грохотанье), каждодневные без дня пропуска, зимой и летом, обязанности по

дому и хозяйству, уходу за матерью – несмотря на вдовью жизнь, она не опустилась как женщина, сохранила стройной фигуру, прямой и доброжелательный взгляд, не озлобилась и не ожесточилась. Какой, должно быть, прекрасной женой она была мужу, так нелепо убившему себя и приговорившему тем самым её к одиночеству.

Подумав это, Савин поморщился. Он поймал себя на том, что судит человека, которого в глаза не видел.

Оказывается, ему эгоистично, предательски не хотелось сейчас, чтобы даже в прошлом рядом с Фаиной стоял такой же прекрасный, как она сама, человек – не пьяница, не забулдыга, а жертва обстоятельств. Точно это могло умалить его собственные достоинства.

Выйдя из тёмного, уже в лунном свете сада во двор и прощаясь у калитки, он взял её руку в свою. Рука в кисти была маленькой и тяжёлой, будто гольш-камешек, безвольной. И ему вдруг, размягчённому атмосферой этого вечера, садовым застольем, мыслями о ее семилетней безмужней жизни, чувственные трудности которой он по своему мужскому незнанию преувеличивал, захотелось поцеловать эту руку. Он никогда прежде не целовал женщинам рук. Вместо того чтобы поклониться, потянул её ладонь к себе, тут же ощутил грубую свою неловкость.

С неловкостью в душе и как бы даже на губах, сохранивших тёплую шершавость ее пальцев, он и ушел, оставив ее за калиткой – молчаливую, будто окаменевшую от его стыдных в своей половинчатости прикосновений.

В доме было темно, Полина спала, слышалось из-за двери, как она шумно пыхала через губы.

Скрипучими половицами Савин прокрался в свои закуток. Спать не хотелось. Неловкость от прощания с Фаиной ушла, но какое-то беспокойство, неудовлетворённость собой остались. Он толкнул створки окна, присел на подоконник; пахнуло в лицо нагретой землёй, зеленью.

Слабо чернела на пепельном без звёзд небе искривлённая макушка сосны. Невидимый сверчок тянул сквозь ночную тишину серебряную кудельку своей песни. Где же он пристроился? Должно быть, в оконном наличнике... Савин заволновался. Ребенком жил он какое-то время

в деревне, и таинственное тиликанье сверчка было одним из самых стойких впечатлений тех лет. Ему ни разу не удалось отыскать его.

Сверчок так и остался трепетной загадкой детства. Неужто он в самом деле такой, каким нарисовали его в учебнике – неуклюжее насекомое с бессмысленно растопыренными усами, а не веселый крепенький кузнечик, каким он всегда виделся мальчишескому воображению?

Нет, сон решительно не шел. Савин перекинул ноги через подоконник, спрыгнул и зашагал по проулку в сторону ручья – со странным ощущением беспокойства. Тропка привела к неширокой запруде, здесь ближайшие дворы брали на полив воду, вымачивали бочки, полоскали бельё. Сюда Савин приходил утрами умываться.

Вода по деревянному желобу катилась, падала с бутылочным бульканьем. От мостков густо и сладковато пахло прелью.

Луна, вся в прожилках, висела над прозрачностью лугов и деревни, сдвигая тусклые тени, выпячивая блеском те предметы, которые днем незаметны, – ведро на банной трубе, целлофановую шапочку укрытого от дождей стога, хищный, вдоль изгороди, мучнисто-белый язык леды.

Он постоял немного, узнавая и не узнавая окружающее. И ручей, и мостки, и грифельные завесы ив, и такие же грифельные, только с лунным блеском твёрдые листья кувшинок – всё было прежним, уже много раз виденным, и в то же время совершенно другим – таинственным и отстранённым...

...Перешагнув жёлоб, он ушёл на луговой берег, долго брёл жёсткой кошениной, бурьянными травами. Впереди текуче-серебристо проступила косая линия холма, знакомо рассеянного надвое тропой. Тишину пробил скрип коростеля.

И вдруг Савин остановился, охваченный лёгким смутением: руку его клюнул тяжёлый ржаной колос...

Вернулся он через мост, долго шёл, внутренне успокаиваясь, по пустынной без огней улице. Показался островерхий кубик часовенки. В груди колотнулось. Подумал почти весело: вот они, биотоки! Под часовенкой на скамейке сидела

Фаина. Лицо и плечи, укутанные светлым платком, были в тени, а колени обливал лунный свет.

– Вам, гляжу, тоже что-то не спится, – сказал он. Фаина вздохнула, шевельнулась.

– Серёжки до сих пор нету. Весь сон отлетел... Где его холера носит – в поздноту такую?

– Ничего, прибежит, – проговорил Савин, садясь рядом, вглядываясь в её затенённое лицо. Фаина снова вздохнула:

– Начисто в этом своем городе от дома отбился.

– Ничего, – повторил Савин. – Где он сейчас должен быть-то?

– Кто их знает. Может, у фабричного клуба, а может, на поселочке, там у них тоже точок завёлся... С хулиганьем бы не стакнулся...

– Прибежит, никуда не денется, парень серьёзный. Кому тут хулиганить?

– Ой, Алексей Георгич, скажете тоже – кому. Этого добра нынче везде хватает. Вон что с нашей Олёнкой сделали.

– Он же не один, с друзьями, кажется.

– Паршины-то? Это тоже из тех, из отпетых, на которых ни креста ни пояса. Ладно матери удалось их в пэтэу затолкать. Может, там им окорот дадут... А вам-то отчего не спится? – спросила она после паузы.

– Сам не знаю... – усмехнулся Савин, в душе его что-то дрогнуло, и ему вдруг захотелось пожаловаться. – Да это у меня частенько... работа сумасшедшая, дёрганая, и вообще...

– Я тоже, – сказала Фаина, – когда еще мой жив был и мама на ногах, мы два раза в Россию в отпуск мотались. Сама, бывало, отдыхаю, а сама нервничаю: по дому, по работе... Чего же один-то отдыхаете, без семьи?

– Сына хотел взять, не получилось.

– У вас сын? И большой?

– Если бы привез, с вашим Серёгой друзья были б – в седьмой переступил.

– А почему не получилось?

– На турбазе он. Сами понимаете, там у них режим, питание... Но я так думаю – отвыкает он от меня.

– А жена что ж?

– У жены свой график отпусков, с моим не совпадает. Да и вообще – она с сыном в городе живёт, а я в тайге. Договориться бывает трудновато.

– Как же так можно – врозь жить?

– Можно, Фаина, можно...

– Вот уж в жизнь не поверю. Новая мода, что ли? Сказано ведь: врозь хоть брось... Это у меня подружка была, не разлей вода. Соседями жили, на дню два раза сбегались, наговориться не могли. Уехала с мужем, через пять лет телеграмма: еду в гости, встречай. Ну, думаю, встретимся – ночи напролет болтать будем, не наговоримся – шутка ли, пять лет. А приехала, сели – и говорить не о чем. У каждого давно свое, другое – и интересы, и знакомые.

Она рассказывала, а сама то и дело поглядывала вдоль улицы, конец которой растворялся в лунной неподвижной мгле.

– Знаете что, – сказал Савин, – давайте пройдем навстречу, всё равно не спим.

– Ой, давайте, – с готовностью откликнулась Фаина, и Савин понял, в каком она всё это время пребывала беспокойстве. – Я уж сама хотела, да боюсь.

Она встала первой, выходя из тени, натягивая на плечи платок.

Дома по обоим порядкам и громоздкие от ночной зелени дворы возвышались грубо и молчаливо, точно насыпи. И снова, как недавно возле запруды, на него накатило двойственное ощущение неузнаваемости и тайны. И лёгкие шаги женщины рядом были иного мира, иных ощущений, чистых и незамутнённых, может быть, тех самых, которыми так бесконтрольно и ласково тревожит и убаюкивает его бессонными часами транзисторная волна...

Пройдя улицу, за последними дворами они свернули по дороге вправо, поднялись на отлогий взгорок.

Размыто на фоне подсвеченного неба прорисовывалась фабричная труба, чернели постройки. Фаина остановилась, стала прислушиваться, сдержанно дыша.

– Да у клуба уже и огня нету, – проговорила она дрогнувшим голосом. – И в посёлочке все тихо, никого не слышать и не видеть... И у Паршиных, давечь проходили, в окнах темно...

Они повертели назад, к дому.

– А другой дорогой пройти не мог? Есть тут другая? – спросил Савин. Тревога, охватившая

Фаину, стала передаваться и ему. Чёрт знает этих мальчишек, что у них на уме.

– Есть тропка, по-за садами-огородами. Только там ее нынче перепахали. Днем-то пойдешь – напрыгаешься, а уж ночью...

– Но ведь Серега мог не знать, если нынче перепахали.

– Правда, правда... – пробормотала Фаина. Она с готовностью ухватилась за эту слабую ниточку и теперь шла, всё ускоряя шаг, часто при этом оступаясь. Один раз оступилась очень сильно, – должно быть, каблук подвернулся на выбоине, – так что Савин едва успел поддерживать. По ее нервно-напряжённому телу, срывающемуся дыханию он понял, она даже не заметила его поддержки. А возможно, забыла о нём вообще.

Миновали часовенку, вот и Фаинин дом. Она вошла, почти вбежала, брякнув калиткой, затопала по крыльцу, исчезла в квадрате сенных дверей. Савин остался во дворе. Он подумал: наверное, и жена в городе так же за Димку трясётся-переживает, когда он вечером забегается, я ведь ничего этого не вижу...

Луна, задёрнувшись облачком, померкла. Темнеть и тишина. Шумно вздохнула под навесом корова. Где-то в немыслимой вышине, ещё выше вобравшего лунный свет облачка, замигала красная точка, и следом длинно пророкотало.

Показалась Фаина. Села на ступеньку, сгорбилась, платок сполз с плеча, прошептала:

– Нету... Кровать как есть пустая...

– Тогда вот что, – сказал Савин, делаясь сразу инициативным, предприимчивым, если к тому диктовала обстановка, – идёмте к этим, к Паршиным, сейчас же.

– Это ещё зачем?

– Может, у них ночевать остался?

– У Паршиных? Никогда такого не случалось. Чего ему у них... – Фаина вдруг всхлипнула, прижала к лицу ладонь. – У них изба-то ни пройти, ни повернуться. Сами, как все сбегаются, на полу спят повалкой.

Фаинины неожиданные слезы, вид ее несчастной сгорбленной фигуры расстроили Савина, он замолчал. Нестерпимо захотелось курить, хотя он бросил это дело два года назад, в ряду других мер против бессонницы. Он что угодно, казалось, отдал бы сейчас, чтобы помочь этой

женщине, о существовании которой не знал еще неделю назад. Был уверен: с мальчишкой ничего серьезного не случилось, завился, шалопай, куда-нибудь со старыми друзьями и про мать забыл.

Присев ступенькой ниже, возле ее ног, он сказал уже без большой уверенности:

– Ну... если в доме тесно, они могли на сеновале. Есть у них сеновал, у Паршиных-то?

Фаина уронила от лица руки, повернулась к Савину, но тут же вскочила на ноги, торопливо и молча пошла к постройкам. Раздался стук и скрип приставной лесенки. Громким прерывающимся шепотом Фаина позвала в пустоту:

– Серёжа... Серёженька, ты здесь?.. – Ей никто не ответил, и она замерла, стоя на верхней перекладине, прислушиваясь. – Ох, ничё не слышу, в ушах колотит... Дайте спички! – Она обернулась к Савину, который тоже подошёл и стоял внизу, под шаткой лесенкой, на всякий случай покрепче придавив её обеими руками.

– У меня нету, – сказал он.

– Да вон печурка, пошарьте, там должны быть! Вон они лежат, на загнуточке.

Савин вернулся к белеющей посреди двора печке, поискал ладонью. Коробок свалился на землю, загремев.

– Ах, поскорее! – нетерпеливо подогнала она.

Он протянул коробок. Фаина зажгла спичку, подняв ее высоко над головой – выхватились косые свесы крыши, чёрная под ней глубина. Платок скользнул с плеча, упал под лестницу. Она чиркнула вторую и держала, не столько вглядываясь, сколько вслушиваясь, – до тех пор, пока не обожгло пальцы.

– Господи... – приглушенно вскрикнула она и, опустившись на несколько перекладин, присев бочком, сунула палец в рот. Голова ее оказалась на уровне головы стоящего на земле Савина.

– Что? – спросил он тревожно.

Фаина тихо засмеялась, стала дуть на палец.

– От и дура же, от дура... Он же говорил, будет на сеновале спать. А мне – совсем из ума... Спит без задних ног, чертёнок, аж прихрапывает, с головой в сено закатался. Когда он мимо меня пробежал?

– Наверное, мы ещё в саду сидели, – сказал Савин, чувствуя, как с души уходит напряжённость

и тихая радость Фаины словно переливается в него, становясь его радостью... А ведь пять минут назад она плакала, и он так был расстроен её слезами, что готов ради неё был на что угодно. Ну – дела...

Их лица были близко, совсем рядом.

– Вот видите, я же говорил...

– Да он у меня парнишка неизбалованный. Я зимой к нему ездила, проведовала, в училище заходила. Мастер им доволен: хваткий, говорит. И как ещё? Да, говорит: целенаправленный. И ребята по комнате подобрались ловкие, один даже вьетнамец... Ну а как стакнётся с этими Паршиными, ругливыми да вороватыми, я сама не своя...

Савин поднял с земли платок, протянул Фаине.

– Спасибо... Ой, а который уже час?

Савин поднёс руку к самым глазам, но ничего не увидел, кроме взблеска циферблатного стеклышка.

– Не видать. Часа два, наверное.

– Дайте-ка мне, у меня глаза как у кошки.

– То-то вы спички на печи увидели.

– Ну – про спички-то я, скажем, знаю, они всегда там лежат. А вон видите – крылечная балясинка, которая справа. Там бабочка сидит, мотылёк – видите?

Он не видел не только какого-то там мотылька, но и самой «балясинки».

– Да ну, вы меня разыгрываете, – сказал он.

– Не верите? А вот сходите гляньте.

Усмехаясь, Савин пошел к крыльцу, взгляделся. В самом деле, на кругло обточенном столбике сидел белым смутным треугольничком мотылёк... Ну – дела... Он ухватил его щепотью за бархатистое, жирное от пыльцы крыло и понёс трепыхающегося к Фаине.

– Вам можно в цирке выступать, – засмеялся он.

– А то ж... а чего? Там, говорят, неплохо плотят... Ой, а всё же – сколько на ваших? Мне в пять подыматься...

Теперь она взяла его руку своими крепкими пальцами, наклонилась с лестничной перекладины, коснувшись дыханием виска, Савин стиснул ее голову ладонями. Преодолевая слабое сопротивление, повернул к себе, прижался губами к ее тёплым заветренным губам. Фаина, медлен-

но перехватывая его руку повыше часов, отняла губы, ткнулась лицом в его напрягшееся плечо, тут же отстранилась, прошептала:

– Зря вы это, ой зря...

Савин от ее шепота задохнулся. Пальцы все глубже тонули, проникали в её теплые, туго зачесанные, густые на затылке волосы.

На озерцо это Савин вышел, когда ему хотелось вернуться не поймой ручья, – выкошенной, оголённой по самую тропинку, – а полевым, крепким, но всегда безлюдным летником.

Вдоль летника тянулись пёстрые полосы разноцветья – белой строгой ромашки, розовато-белого тысячелистника, жёлтых копеечек пижмы, массы других, неизвестных ему цветов. Здесь когда-то была пахота, теперь поле бугрилось кочками. Островки бурьяна, грубой, жилистой травы делали поле непригодным для косыбы и выпасов – безжизненным и сиротливым.

Вытянувшееся подковой озерцо лежало как раз на стыке сорного поля и сосновых посадок. Боровой берег был отлог, сух, и Савин, выходя сюда, не отказывал себе в удовольствии посидеть с устатку на бережку, перед тем как повернуть к Сайлапке.

Здесь же, под крайними сосенками, горбился сложенный из пожелтевших веток навес, – должно быть, рыбаки оставили.

Он сел под навес, прислонившись к столбику. Неизвестно, как защищало это сооружение от дождя, ибо сквозь него просвечивали кусочки неба, но от солнца – вполне, оно в последние дни жгло немилосердно. Савин прожил здесь уже больше десяти дней – и только однажды прошумел короткий дождь. Даже в бору, в самых его затенённых уголках витала сушь. Концы брючин у него постоянно делались зеленовато-седыми – от густой, накопившейся на мхах и травах сосновой пыльцы.

Чистая, не тронутая ни единой морщинкой вода умиротворяла, успокаивала взгляд, приносила прохладу. Вобрав в себя перевернутые застывшие отражения берегов, она создавала иллюзию твёрдой поверхности. Припадали косо к воде, к своим двойникам, ярко-зелёные лезвия резунца. Только изредка, если со дна выскакивал пузырек или суетливая стрелка, приняв отраже-

ние травинки за её продолжение, шлёпалась об воду, иллюзия разрушалась, но ненадолго.

Озеро ему нравилось. Этому лесному тихому водоему недоставало какой-нибудь простенькой тайны: лягушки с золотой короной, или русалочки ростом с куклу, или, на худой конец, старой замшелой щуки, с инвентарным номером царева двора на жабрах...

Столбик, подпиривший шалаш, был шершавым и прохладным, приятно охлаждал спину. Он собрался было подтянуть ближе корзинку, чтобы полакомиться ягодой, как справа зашуршало, зацокало. Он повернул голову.

На ствол соседней сосны вскочил бурундучок. Но не побежал выше, а перевернулся вниз головой, уставившись на Савина. Щёки его с меховыми бакенбардами были раздуты.

Целую минуту они рассматривали друг друга. Сосна была облита солнцем, и задранный бурундучий хвостик просвечивался насквозь. Продолжая висеть вниз головой, бурундук подёргал щеками и выплюнул кожурку. Вскоре щёки его опустели. Он повисел еще немного, беспокойно задёргался. Попробовал почесаться – не получилось: срывался. Тогда бурундучок не выдержал, сел на колодине и, уже не обращая внимания на Савина, стал быстро, яростно чесаться. Извини, брат, говорил он, тебе хорошо сидеть, тебя блохи, должно быть, мало кусают, а тут покоя нет от проклятых.

Савин рассмеялся – зверька ветром сдуло. Ну что ж, весело подумал он, будем считать, что этот блохастый бурундук – тоже тайна. Наверное, на большую тайну озеро не тянет...

В это утро он впервые встал поздно. За окном звенели мальчишеские голоса. Чей-то пронзительный альт настырно верещал: «Ага, это не его мяч, а он захоботил!.. Ага, это не его мяч, а он захоботил!..»

Савин планировал починить входную ступеньку и перевесить в сенях дверь, болтавшуюся на сломанной петле, но решил: сделает завтра. Он взял на себя обязанность наполнять по утрам водой из ручья железную бочку в огороде. Вечером хозяйка поливала из этой бочки гряды. Отложив ремонт, бочку он все же заполнил, быстро собрался, вышел из дому.

Посреди улицы мальчишки гоняли футбол, вздымая кедами белую пыль. Среди них был и Серега. Он выглядел в этой компании самым старшим, но азартом и спорами не уступал никому. Гулко кричали под ударами мяча штакетины палисадника.

Под часовенкой на скамеечке сидела бабулька. Темный платок, тёмная в оборках блуза, тёмная до пят сморщенная юбка. Савин сразу и не узнал её – Фаина мать. Никогда прежде не сидела она здесь, разве только на своём крыльечке, и то вечерами, когда возвращалась с работы Фаина. Должно быть, вывел её сюда и посадил Серега. Астматическое дыхание колыхало её сторбленную спину.

Бабулька смотрела на него с детской пристальностью. Он поздоровался проходя, взгляд её прямо-таки упирался ему в лицо – что она хотела на нём прочесть? А может, не узнала. Может, вообще не видела его. Однако когда он миновал часовенку, у него аж меж лопаток замлело – так хотелось оглянуться, проверить, глядит ли. И он не утерпел, оглянулся: старая – глядела.

Ощущение было не из приятных.

И она сейчас ещё настойчивее, чем вчера, напомнила собой кого-то, но снова так отдалённо, что память не могла ухватить, проскальзывала.

Утренний поздний сон не снял усталости бессонной ночи, да и одинокие прогулки по бору стали слегка тяготить. Даже прямые крепкие тропы, которые в первые дни сами стелились под ноги, сейчас не вызывали ничего, кроме утомления своим однообразием и почти парковой чистотой.

Словом, что-то было всё не то.

Савин забрался в шалаш, лёг головой ко входу и с наслаждением вытянулся. Впервые за дни отъезда остро подумалось: как там дома? И, лёжа в прохладе шалаша, он непроизвольно для себя отдался во власть дум – о делах в партии, о работе, о том, что Шевчук что-то не спешит с телеграммой. Может, завал? Мысли потекли в привычном русле производственных дел, и сама логика их течения была желанна и успокоительна, как бывает желанно и успокоительно для профессионального шофера пере-

сесть с пассажирского праздного места за руль идущего по сложной дороге автомобиля.

Да, подумал он тут же с усмешкой к самому себе, покоя нет в работе, но покоя нет и вне её, проклятой...

Восемьдесят восьмая скважина, которую они с великой тщательностью и надеждами забурили в конце апреля, была далеко не из рядовых. Эпицентр аномалии дали геофизики и клялись на всех уровнях, что, если буровики не промажут, рудное тело в несколько десятков миллионов тонн – у них в кармане.

У геофизиков были основания делать оговорку насчет меткости. Начальник геологического отдела – мужик злой в работе и острый на язык – однажды назвал савинских буровиков «мастерами клюшки», слишком много они в последнее время дали искривлённых скважин. Хотя всем было известно: район их работ в Алатау – один из сложнейших. Буровые снаряды отклонялись, и две скважины действительно нарисовались на кальке в виде хоккейной клюшки.

Последние две или три ночи Савин спал глубоко, крепко, будто проваливался. Утреннее зоревое пробуждение в тишине деревенского дома наполняло его всякий раз столь острой телесной радостью, что он даже слегка робел при этом: да возможно ли такое? Транзистор в изголовье уже много дней молчал. Как-то вечером Савин машинально протянул к нему руку и вдруг подумал суеверно: к чёрту, не сглазить бы.

...Уснул он незаметно, а проснулся освежённым, точно выкупанным, с той же знакомой ему телесной радостью.

В боровой стороне тихо и розово-сумеречно, и он в первую минуту не может сообразить: вечер или уже ранее утро? Отгоняя остатки сна, подползает к выходу; опершись о столбик плечом, осматривается.

По озерку шевелятся, дрожат, завиваясь, слабые вихорки тумана; западный край неба по ту сторону облит багрово-огненной зарёй. И краски зари настолько чисты, полны внутреннего собственного огня, что на открытых берегах светло, как днём, тревожно. Никогда прежде не видел он таких чистых красок.

...Савин не заметил, откуда она появилась, точно со дна озера вынырнула. Он наклонился над корзинкой, набирая горсть земляники, и в этот, кажется, момент она вышла на берег.

Низко горящее небо высвечивало султаны вздыбленных трав. Наверное, она пришла сюда по летнику, потом свернула в эти сорные травы и по ним, по мелкому таволжничку спустилась к воде. Была она всё в том же обвисящем платье, на ногах литые резиновые, с короткими голенищами сапожки, – прежде Савин этих сапожек на ней не видел.

Она шла вдоль берега, и беленькая, как молоко, голова её то гасла, попадая в тень, то начинала слабо светиться нимбом, когда затылка её касалась заря.

В этом месте озерцо совсем узкое. Савин мог бы посильнее размахнуться и перебросить шишкой. Он хорошо видел Олёнкино лицо. Оно снова, как в первый раз, поразило его. Только теперь по-иному. Своим осмысленным, живым выражением, живыми изгибами пухлого маленького рта, шепчущего слова.

Что она шептала, немая, какие слова, кому? А может быть, это шуршала под сапожками резунец-трава, ложась в тропку?..

На пути встала куртинка пожелтевшего камыша. Золотисто-ржавые метёлки на тонких трубчатых стеблях кивали, касаясь друг друга, хотя воздух был недвижим. Она замедлила шаги. И вдруг лицо ее исказилось. Девочка заплакала. Савин изо всех сил всматривался в берега. Они были пустынные. Увиделось ей что-то в камыше? Уж не ржаное ли поле напомнили ей кивающие без ветра высокие метёлки! Она отступила к воде, намереваясь, вероятно, обойти камышовую куртинку водой. Савин хотел было крикнуть, предупредить – туда нельзя, там глубоко, вязко, но вовремя спохватился: ведь глухая!

Девочка ступила сапожком на круглый лист кувшинки. Лист даже не дрогнул, только слегка вогнулся.

Из-за боязни за девочку, которой он не сможет помочь со своего берега, если что случится, Савина охватило тяжелейшее душевное напряжение, по своей пронзительности и остроте схожее с той остротой, какую он переживал лишь в своих фантазмагорических радиоснах...

Плечо заломила боль от впившегося сучка. Он чуть отстранился, опершись на локоть. Боль прекратилась. Что за мистика? Она что, совсем бестелесная? Или кувшинки не на водной поверхности? Но вот и листья кончились, потянулась чистая, чёрная от глубины вода. Девочка шла, словно по глади катка, и ноги ее погружались в береговой туман. Савин заворожённо слышал, как голенища просторных сапожек шлёпали по голым икрам. Откуда сапожки, она же всегда, помнится, босиком ходила?

Озерцо дальше делало кривун, и вот уже бело-головая скрылась за кривуном...

Савин вытер со лба выступивший вдруг пот, испуганно огляделся. Да уж не придумалось ли ему всё это? Он провел ладонью по столбику, нашарил сучок, машинально обломил. Оглядел берег напротив. След примятой жирной травы ясно прослеживался вдоль берега, пока не обрывался в том месте, где девочка ступила на кувшинку...

Ну дела...

Да может, и не озерцо это, и не вода вовсе, а высохший до каменной твердости чёрный ил, так искусно имитирующий воду?..

Зло смеясь в душе над собой, над своими нелепыми догадками, он всё же подобрал с земли сосновую шишку, кинул. Шишка шлёпнулась и поплыла, пустив рябь круглых разбегающихся волн. Крайние растения закачались. Выскочило со дна несколько пузырьков болотного газа.

Озерцо будто лукаво подмигнуло Савину: ты хотел тайны – так получай её.

Когда он – потрясённый, обескураженный – выбрался из-под навеса, вышел на полевую дорогу, ощущения радости от недавнего крепкого сна не было. А может, и самого сна не было. А может, и вообще ничего не было! Уж не туман ли, молочной лентой затянувший бережок, сыграл с ним шутку. Куда подевалась девчонка? Не осталась же она в бору, уже окутанном дымом сумерек...

В поле и на пустынной дороге лежал на всем тревожный, багровый отсвет пожара. Отчетливо вырисовывались по угасающему горизонту силуэты старинных бугров, точно спины молящихся язычников.

Подойдя к дому, Савин увидел возле колодца Полину с ведрами и коромыслом. Она усилием крутила отяжеленный бадейкой вороток.

– Наконец-то! – воскликнула она. – Уж хотели в розыски подавать. Заплутал?

– Да нет, просто загулялся.

Перехватив рукоятку, Савин стал помогать. Спросил между прочим, не видела ли она – не возвращалась с полей Олёнка?

– Олёнка-то? Дак как же, прошла.

– Прошла? И давно?

– Да как сказать... Мы тут у часовенки сидели с Федосьевой, корову стречали. С час, а может, и более как.

– Вы не ошиблись, в самом деле прошла?

– Вот чудной! Я еще обновку её похвалила, а она закивала мне, заулыбалась – поняла, значит.

– Какую... обновку? – Савин едва при этом не поставил наполненную бадейку мимо сруба.

– Ой, осторожно! Какую! Пулусапожки ей мать третьего дни купила, в район ездила. Дак она теперь из них прям не вылазит... Корзинка-то у вас, гляжу, опять пустая, – засмеялась хозяйка.

– Пустая!

– Ну, на грибы-то нынче никто не горазд, а вот ягоды вчера, клубениги, Федосьевна хвасталась, подойник притащила.

– И где это?

– А у нашей клубениги одна родина – бугры.

– Бугры? Надо будет сходить, – проговорил без особой уверенности Савин, берясь за ведро. Весть об Олёнке сильно смутила его, озадачила.

– Сходите, сходите, если ходкие, – поощрила хозяйка. – Да вот коромысло, чего ж в руках-то?

– Не умею я на коромысле, лучше так.

– Только погода вроде рушится, – сказала Полина.

– Весь день сёдни мглило, напаривало.

– Считаете, дождь будет?

– Ой, надо бы. Надо! Третью неделю жары стоит. Горит всё, выгаривает. Колодец и тот начисто обмелел. То, бывало, опустишь, а на вороте еще пять не то шесть витков останется. А счас так прямо вся цепь туда.

Разговаривая, они пошли медленно к дому. Савин с ведрами чуть впереди, а за ним хозяйка, неся корзинку и пустое коромысло.

Когда проходили мимо соседского двора, в тёмном с вечерними ртутными отблесками окне мелькнуло лицо – Фаина? И тотчас мягко, непривычно сдвоило сердце. Напомнило ему ночь, их объятую тревогой прогулку к фабричному посёлочку, тихую, ставшую его радостью, радость Фаины, склонившейся к нему с лестничной перекладины, хмельное тепло ее волос. Напомнило ему и ласковую неподатливость этой женщины, ее необидный, обезоруживающий шепот: «Не сердитесь...»

Вечер в природе отбыл ровный, сумрачно-мглистый, и ночь предстояла, по всему, тёплая, безветренная – вливалась в раскрытое окно зудом обеспокоенного комарья, травяной духотой, сушью.

Квадратик неба в окне энергично помаргивал звёздочкой, настойчиво обещал в погоде желанную перемену.

Савин долго сидел на подоконнике, не зажигая огня.

По соседству брякнула кольцом калитка, веселый Серёгин голос произнес в вязкой тишине:

– Это я, мам, ты чё не спишь-то?

Фаина что-то ответила – коротко, ласково-сдержанно; скрипнула сенной дверью, ушла в дом.

«Вот кому без боязни прослыть сумасшедшим!.. Рассказал про виденное сегодня на озере (или пригрезившееся?!), про заворожившую меня горестную девочку Олёнку да и про свои фантазмагорические бессонницы заодно, – думал Савин, лёжа в ожидании сна и глядя на мигающую, точно грозившую погаснуть звезду. – И Она, может быть, – та самая Женщина, которая нужна мне, которая двумя бесхитростными словами, а то и просто прикосновением ладоней к моему лбу успокоила бы и разворожила...»

Чёрный невидимый горизонт тяжело, низко вспухал зарницами, отблесками далёкой в своем безмолвии грозы.

Сна не было.

Савин протянул руку, включил транзистор – на очень слабый звук. Должно быть, ни деревенская благодатная тишина, ни молоко и шанежки, справедливо обещанные Шевчуком, ни боровые одинокие прогулки – не избавили его от этого наркотика.

Весь следующий день он пробыл дома, провалялся в своей боковушке – никуда не пошёл. Даже Полина встревожилась: не заболел часом? Нет, не заболел, просто решил побездельничать, книжку почитать, тем более – на дворе такая парилка... Полина вроде удовлетворилась его объяснением, но, когда наступило время обеда, принесла ему еду прямо к постели, и он, чувствуя себя в самом деле совершенно здоровым, пережил минуту неловкости.

Уже вслед ей, когда она направилась к дверям, спросил:

– Почта у вас хорошо работает? Ну – газеты там разносит, письма – вовремя? Не маринует?

– Да не жалуемся. Почтальоншу, Нину нашу, мы лет двенадцать знаем. Ежель уж когда прихворнёт... Дак вчера еще алименты мне принесила, значит – бегают.

– А... от кого алименты?

– От детей. От кого же еще? – просто сказала хозяйка.

– Они сами что, по доброй воле не помогали?

– Как же не помогали, помогали, грех жаловаться.

– Тогда чего ж?

Хозяйка вздохнула:

– Дак они как-то говорят: «Мама, посылать тебе помощь самим, добровольно, у нас не всегда получается: то денег нет, то забудешь. А ты подай на алименты, и с нас будут высчитывать». Я и подала. С дочек, их у меня двое, немножко получаю, с сына тоже, мне и хватает, много ли мне надо?.. А то, никак, гляжу, письма ждёте? – перевела она разговор в прежнее русло.

– Нет, телеграммы.

– Телеграммы? А на чью фамилию?

– На вашу, Полина. С указанием, что для меня, Савина.

– Тогда не беспокойтесь, Нина доставит как надо, да я ей, увижу, подскажу.

И хозяйка вышла.

...Книжку эту с разломаченной обложкой нашёл он на этажерке в большой половине, среди старых учебников, по которым учились еще дети Полины, сейчас имеющие уже своих детей. Зошенко, «Возвращенная молодость», издание тридцать третьего года. Первых страниц недоставало, но, бегло перелистав, он кое-что из со-

держания ухватил: ага, что-то о недугах великих людей. Усмехнулся: это мне подходит. И унес книжку к себе.

Бросил он читать оттого, что в комнате внезапно потемнело. Что такое? Отложив книгу, вышел на крыльцо.

Закатная сторона неба, вся от края до края, по-верх крыш и огородов была заволочена чёрно-фиолетовой мглой. Верхняя половина, клубясь бахромой отёков, стремительно приближалась – сразу по всему горизонту. По улице, во дворах царила весёло-тревожная суматоха – схватывали со шнуров в охапки бельё, загоняли ребятишек, стучали ставнями, возбуждённо перекликались.

Ударил первый шквальный порыв – вздыбил пыль, завернул листву на левую сторону, отчего деревья и кусты враз побелели. В соседском дворе с треском упал вместе с шестом скворечник. Пахнуло холодом, и надо всем повис напряженно нарастающий гул проводов и бешено кипящей зелени. «Хорошо, что не пошел на бугры», – подумал Савин.

– Алексей Георгиевич! – позвала суетившаяся по двору хозяйка – загоняла в стайку перепуганных кур. – У вас окно не заперто, мигом расхлобыстнёт!

Савин вернулся в комнату, закрыл на задвижку створки, в которые уже редко, гулко поклёвывали первые капли, снова лёг. Электричество в доме погасло.

Уснул он под непрерывное обвальное грохотание грома, под шум потоков и яростный взблеск молний сквозь крепко зажмуренные глаза.

Была глубокая ночь, когда его разбудила Полина.

Она стояла над ним с керосиновой лампой в руке, с лицом растерянным и испуганным одновременно – или так казалось оттого, что бросала тени дрожащая в руке лампа? Что-то говорила ему, он не мог понять.

Наконец до него дошло: пропала Олёнка!

Что значит – пропала? Каким образом? Когда?

– Да господи, никто ничо не знает, ушла в луга под вечер и не вернулась. Мать бегают по двору, в окна колотится, молит искать пойти.

Плачет: «Грозой, видно, девчонку прибило...» Вот и к нам постучалась...

– Она что, задолго до грозы ушла?

– До грозы, до грозы.

– И никто не вернул, не остановил?

– Да не знаю, никто, кому было? Гроза-то вихорем налетела.

– Сейчас оденусь, – сказал Савин.

Когда он вышел в большую половину, хозяйка уже тащила деловито из кладовой охапку старой одежды, обуви и, вывалив всё среди пола, сказала:

– Выбирайте, чего поглянется. Керзовы стариковские, еще крепкие, брезентовка. Счас и Фаина прибежит.

– Фаина? – не понял он.

– Да как же! С ней и пойдёте. Одному, что ль? Вы же мест не знаете, а впотьмах заплутать – проще простого.

Савин взял из вороха пару сморщенных кирзовых сапог, стал примерять.

– Старика моего покойного обувка, – повторила хозяйка. – Да вы с портянкой, с портянкой. А то ноги враз обобьёте. Не шибко велики?

– Немножко, но ничего, не выпадут... Вот фонарик бы какой заваливший, – проговорил Савин, косясь на угольно-чёрные, в мокром блеске лампового огня, окна.

– Фонарик-то? Есть, в комодке где-то валяется, – откликнулась хозяйка. – Сын был, оставил.

Он уже стоял у порога в топырившемся, с грубыми слежавшимися складками дождевике, в вылинявшей кепке-восьмиклинке, сапогах-бахилах, шевеля плечами, свыкаясь с неуклюжей надёжностью этого одеяния, когда торопливо вошла Фаина. Дешёвенький плащик из плёнки, плотный в талии, посверкивал каплями дождинок.

– Здравствуйте, – сказала она, и затенённый взгляд её, скользнув по савинской растопыренной фигуре, только на миг задержался на его лице. – Там уже все собрались, идёмте.

Из тёмного, без признаков звёзд неба время от времени сеял мелкий, остаточный дождь. Пахло землёй, сыростью крыш и зелени. Сама гроза ушла уже так далеко, расползлась по окрестным небесам, что вспышки её не высвечивали даже

горизонта – узкими клинками гасли в низком расплыве туч.

Командовал высокого роста мужчина, судя по голосу – молодой, излишне нервозный, какой-то дальний родственник, шофер тарной фабрики. Видимо, мать Олёнки сбегала в поселок, подняла с постели и его. Массивный электрический фонарь в его руке часто мигал, бросая суетливое кольцо света на грязную, в лужах, затоптанную полянку возле Олёнкиного дома, на ноги и фигуры людей, на вертящуюся тут же мокрую собачонку – как бы подчеркивал бестолковость его распоряжений. Ему возражали, он грубо, запальчиво вступал в спор. Никак, видать, не мог чётко и безапелляционно распределить по маршрутам полтора десятка людей.

– В сторону могилки идут Егоршины и Митька Сушняк с ними, – выкрикивал он. – Митька, ты тут?

– Мы же в сторону тракта, сам назначил, – возразил из темноты женский голос.

– В сторону тракта? Туда троим делать нечего. Тогда идите на бугры или от моста на Толстую Гриву, где полевая дойка...

В ответ разноголосо зашумели:

– Куда нам идти-то, в конце концов?

– Зачем на Толстую? Это же к чертям на кулички!

– А затем! Может, она на дойку вышла!

– А к могилкам кто?

– Не вопите, – нервничал в ответ родственник. – Слушать надо, а они вопят. Митька, ты тут?

– Да здесь я, здесь!

– По-моему, он с вечера не проспался, баламошится, – шепнул Савин, которого стала злить эта бестолковость.

– А он хоть выпивши, хоть нет – всё одно дурак. Нашли тоже кому бригадирство доверить, – тихо сказала Фаина. – В прошлом году дядька у него помер, послали его гроб заказывать, он поехал, а мерку забыл, так сам в гроб ложился.

«Значит, не такой уж он и дурак», – усмехнулся Савин.

– Тогда на Толстую Гриву я сам! И со мной... – бригадирствующий родственник махнул вокруг себя фонарем, высветил Фаину, закончил: – ...и со мной Кропотова Фаина.

– Вот ещё, – сказала Фаина, загораживаясь ладонью, – мы с ним пойдём, с этим человеком. В луга, по летникам пройдем, на посадки заглянем.

Родственник подошел ближе, бесцеремонно светя при этом Савину в лицо.

– Кто такой?.. А-а... Это тот самый, дачный! Слышали, слышали. Приехал коло женщин вращаться. Но-но... Что ж, Фаина Степановна, желаю... Учтите, в той стороне копёшек много, не заблудитесь до утра там...

– Убери свет, – сказал Савин, подавляя сильное желание выпнуть у того из руки фонарь. Знал по опыту: такие уважают только грубую силу. Он не видел лица, лишь расплывчатое пятно, но ему казалось: такие именно лица он встречал среди бичей, которые, лишившись городской прописки, шли к нему в партию просить работу – плохо пробритый кадык, похмельные отёки, настоюще-весёлые с наглинкой глаза.

Они сразу же решительно ушли от продолжавшей гомонить, препираться толпы – в сырую, чавкающую темень.

Минут десять шагали молча, стараясь держаться травяной обочины, где не так плыла под ногами земля. Савин смутно видел Фаину фигуру, слышал дыхание – то рядом, то позади себя. Он вдруг подумал, что второй раз за короткое время идёт рядом с этой женщиной по глубокой ночи. И снова – с общим, объединяющим чувством тревоги в душе, но теперь уже – за чужую им обоим девочку, Олёнку.

То ли глаза стали привыкать к темноте, то ли небо, истончаясь облаками, приподнялось и посветлело, но Савин уже хорошо видел ближние контуры просёлка. Просёлок уходил, размываясь в ночи, и был чёрен и таинствен, как тоннель. Ничего хорошего не могла обещать такая дорога.

– Как думаете, – придержав шаг, нарушил молчание Савин, – могла она в бору заблудиться?

– Вряд ли... – Фаина тоже остановилась, стала поправлять сапог. – В бор она сроду не ходила, только по лугам, только по открытому.

– Я однажды на озерке ее видел. Вечером, после заката, уж сумерки были, – осторожно проговорил Савин, оглядываясь на Фаину. Большого он сказать почему-то не решился.

– На озерке? Странно, это, считай, в бору. Вы, наверное, обознались. Не ходила Олёнка ни через бор, ни через ржаное поле – это все у нас знают.

Савин помолчал минуту.

– Я не загнал вас? Мне-то такая ходьба в привычку.

– Ничего, я тоже ходить умею. Носок вот сбился, – Фаина выпрямилась. – Отыскалась бы девка только, идёмте.

– Что же могло случиться?

– Да что? Всякое. Испугалась грозы, вымокла, влезла в стог погреться да заснула.

– Если так, слава Богу, – сказал Савин. – Давайте заглядывать в стога. Я что-то не заметил, много их по эту сторону ручья наставлено?

– А вон один уже виднеется.

– Где?

– Да вот же, идём за мной.

Она свернула на луг, шагов через сто в самом деле замаячила округлая масса и сразу в ноздри ударил густой и терпкий дух подмокшего сена.

Савин с фонариком обошёл вокруг. Прошуршала какая-то мышка, а с вершины стога сорвалась крылатая тень, разочарованно гукнула, растворилась во тьме.

– Фу ты! – выдохнула Фаина. – Напугала до смерти.

– Сова, что ли?

– Она, холера.

Так они обошли луговую сторону ручья, с десятком неогороженных стогов, копёшек, с двумя или тремя березовыми колками, прошли вдоль кромки смутно сереющего бора. Они едва не свалились в старую силосную яму, заполненную водой. Вернее, Савин, шедший чуть впереди, свалился-таки. Потеряв под ногой опору, он упал на локоть и стал сползать по глинистому откосу. Пальцы его ухватились за какие-то скользкие бодылья, а нога, с хлюпаньем погрузившись в воду, нащупала бугорок, уперлась.

– Не ушиблись? – тихим от испуга голосом спросила Фаина, опустившись на корточки, всматриваясь, как он, чертыхаясь, выбирается из ямы.

Савин ответил, что нет, только вот измазался как чёрт, да сапог наглотался воды.

– Переобуться надо, вернемся к копёшкам, – решительно сказала она.

Из мягкой пахучей глубины Фаина быстро и сноровисто выдернула несколько охапок, бросила на землю. Он сел. Пока выжимал портянку, носок, мокрую до колена штанину, она пучком сена вытерла изнутри насухо сапог, протянула ему.

– Сядьте-ка, передохнём минутку, – сказал он. Она молча, покорно опустилась рядом с ним, скрипя плащиком. Охапка сена была мала, и сидеть пришлось тесно, бок о бок. Ветер мелкими всплесками скользил по их разгоряченным ходьбой лицам, мрачно сипел в ветвях невидимого отсюда сосняка.

– Глухо-то как, – проговорила Фаина. – Останься я сейчас одна, я бы, кажется, померла со страху, правда... Вам не понять.

– Это почему же?

– Потому что вы мужчина. А мы... а я так устроена, что всё во мне... все мои чувства приспособлены прежде всего к защите. Ведь боязнь – тоже защита.

– Очень устала? – спросил Савин.

– Да что вы! Совсем нет.

Он приобнял её за плечо, и она притихла, склонившись к нему, к жёсткому рукаву его дождевика.

В небесной прогалинке мигнула звезда. Выйдя снова на вязкий проселок, они повернули в Сайлапку в надежде, что другим, может быть, повезло больше. Но нет: все другие тоже вернулись ни с чем – Олёнка будто канула.

Они зашли в дом, слабо светивший одним окошком.

Лампа, подвешенная на гвозде, вбитом в оконный наличник, бледно выбеливала стол, низкие стены, лица людей. Электричество погасло, вероятно, по всей Сайлапке. Об Олёнкиной матери Савин всегда думал почему-то как о старухе. По крайней мере, она ему представлялась пожилой женщиной, обязательно маленькой и хрупкой, которую несчастье дочери – единственного ее ребёнка – сделало старухой. Но вот она сидит за столом, под самой лампой, шаль скатилась на плечи, и Савин с удивлением видит, что это до-

вольно молодая женщина, круглолицая, с крепко упершейся в столешницу грудью. А ямки на щеках и светлая пышная коса вокруг головы делали ее, пожалуй, даже миловидной. Он пытался найти в ней простенькие черты Олёнкиного лица – не нашел, разве что волосы, их молочно-белый цвет.

Люди заходили, выходили, переговаривались, а она сидела и тихо, монотонно выла – Савин сразу даже не понял, откуда этот тонкий, однообразный звук. Одна из женщин пыталась ее успокаивать, что-то шептала, склонившись. Та, на секунду умолкнув, тут же снова старательно принималась за своё, уставившись взглядом в пространство.

Этот её вой можно было принять за притворство, если бы не глаза. В их тёмном, неподвижно-лихорадочном блеске стояло неподдельное материнское горе.

...Догадка эта пришла к нему с болью, как озарение, и он, еще боясь верить в нее – слишком была неожиданной, чтобы оказаться правдой, – ухватил Фаину за локоть, потянул к выходу. Кто-то заметил его резкий, бесцеремонный жест, на них оглянулись. Но Савин уже переступил порог в тёмные сенки, увлекая за собой Фаину. Она удивлённо, но безропотно, с неосознаваемой радостью, чувствуя его силу и его волю, шла за ним.

– Я, кажется, знаю где... – бормотал он. – Я, кажется, знаю...

Выйдя из Сайлапки, на этот раз с другого конца, они перешли мост, глухо отдававшийся бревенчатым сырым настилом. Журчала, скатываясь под бережок, струйка дождевой воды.

Под ногами зашуршал дроблёный гравий тракта. Они вскоре спустились с насыпи на левую суглинистую тропу. Савин время от времени включал фонарик, подсвечивал тропу, после чего темнота становилась ещё гуще, непроглядней.

Но восточный край неба уже слабо, трепетно линиял, и верхний контур холма, к которому они шли – Фаина покорно, а Савин со всё крепнущей уверенностью в своем предположении, – проступал как зыбкая граница между тьмой земли и полутьмой неба.

Савин вдруг поскользнулся и придержал рукой ткнувшуюся в него Фаину:

– Стойте-ка!

От холма, как бы стекая с него и заполняя все слышимое пространство ночи, доносился низкий позванивающий шелест. Словно струились, текли сухие песчинки по бумажному листу.

Это жило, шелестело по вольным склонам холма ржаное поле, счастливо устоявшее под буревой обвальной грозой.

Савин направил лучик под ноги. Старые борозды-межи на краю поля, по которым еще недавно мчался бушующий поток, завалены корнями растений, сорванной листвой, мешаниной травы и ила, щёткой сломанных колосьев. Всё это выхлестнулось на тропу, вздыбило ее, сровняло с развороченной межой.

– Теперь глядим внимательней, – сказал Савин и, обойдя застывшую лаву грязи и травяного хлама, зашагал рожью вдоль края, по которому прошелся первый, самый губительный порыв.

Весь этот край был всё-таки смят, раздавлен, щетинился надломами стеблей.

– Ой, что это? – приглушенно воскликнула сзади Фаина, и Савин, с трудом выдирая вязнущие ноги, торопливо вернулся, подсветив то, над чем она склонилась: залипший глубоко в землю – торчал лишь раструб грязного голенища – маленький резиновый сапожок.

Зрение у Фаины было действительно «кошачье».

– Алексей Георгиевич, миленький... что же такое... делается, – шептала со сбивчивым дыханием Фаина, пытаясь выдернуть из грязи сапожок. – Она этого чёртова поля... и среди дня-то боялась...

– Оставь, идём, – требовательно сказал Савин и перевёл луч фонарика вдаль.

В глубине поля, насколько хватало луча, рожь стояла сильно, в рост, выпрямленная долгожданным живительным дождём. Они прошли совсем немного, как в колышущемся слабо массиве обозначился примятый, со сломанными колосьями след. Они пошли по нему, сразу же погрузившись до плеч в шелест и шуршание, в сладковато-восковой влажный запах хлебов. След мотался из стороны в сторону, фатально клонясь в глубь ржаного массива.

...Олёнка лежала ничком, щека на вытянутую руку, другая, грязная до локтя, неловко подвернута. Исхлестанное понизу платье облепило ее узенькие бёдра, плечи, спину с выпятившимися сквозь ткань позвонками.

– Господи... – выдохнула Фаина.

Савин отдал ей фонарик, быстро снял дождевик, раскинул рядом, приминая упругие колосья. Перенёс Олёнку на дождевик, поднял на руки.

– Да жива ли хоть? – снова ахнула Фаина, заходя со стороны, скользя пятном фонарика по Олёнкиным исцарапанным коленям, запрокинутому в грязных разводах лицу, на котором, казалось, еще стыла гримаса ужаса и отчаяния. Волосы ее бело серебрились, повиснув полотенцем.

– Помоги-ка укутать, волосы подбери, жива вроде, обморок, – проговорил Савин.

Фаина приподняла волосы в комок, затолкала девочке под щеку, под плечо, но вскоре они опять высыпались. Фаина так и пошла неловко сбоку, время от времени подбирая и комкая их влажную тяжесть.

Грудью, руками Савин почувствовал Олёнкино тепло, а когда они выбрались с поля на тропу, все тело её стала сотрясать крупная дрожь и она тихонько замычала ему под мышку, – или стонала в беспомощности, или так по-своему плакала, приходя в себя.

И он подумал вдруг: как мелки и преходящи наши собственные неурядицы, наши неудачи и бессонницы – по сравнению с Олёнкиной вечной бедой...

Он не видел в ногах тропы и от этого испытывал страшное напряжение. Сапоги то и дело скользили, под кепкой загорячела голова. Еще не дошли до моста, за которым начинались первые дворы, а плечи его одеревенели, и кисти рук готовы были произвольно разжаться.

Вот и мост. Восток уж брезжил вовсю, хотя не было еще и четырех. Опершись о краешек перил, он сказал, тяжело дыша, Фаине:

– Беги-ка за подмогой, боюсь не донесу, выроню...

Вскоре, с усилием расцепив руки, он передал Олёнку подбежавшему суетливо «родственнику», лица которого так и не рассмотрел, опустился на брус моста.

Подошла, села рядом Фаина, она тоже тяжело дышала.

Позванивала в сваях вода. Фаина дотронулась до него, он подумал было: сказать что-то хочет, но она ничего не сказала. Минуты две длились в обоюдном молчании. Но это было молчание людей, объединенных только что пережитым, которое для обоих было, может быть, даже счастливым.

– Алексей Георгиевич, миленький, как догадался-то? – Фаина скользнула ладонью по его вспухшей венами, шелушащейся подсохшей грязью кисти.

Савин снял кепку, подставляя разгоряченную голову тянущей прохладе.

– А мне видение было, – усмехнулся он, вспомнив озерцо, золотистые в косых лучах метёлки камыша, так напоминающие ржаные, шалаш, свой провальный сон, в котором с такой жесточайшей реальностью слились, перепутались тревожившие его явь и домысел.

Только вот сапожки смущали, сапожки!.. По высвеченной стороне неба, как по экрану, проплыла, горбясь от усилий, ворона. Оба проследили за ней взглядом.

– Увозюкались мы как чушки, – вздохнула Фаина и, коснувшись виском его плеча, добавила: – Я с вечера стирку в баньке затевала, там, должно, тёплая вода осталась, идем сполоснемся. А то баба Поля такого домой не пустит...

В баньке, пропитанной горьковатой смесью запахов березового листа, камня, древесного дыма, они провели остаток ночи и час раннего зоревое утро.

В крохотное оконце, составленное из кусочков стекла, крался тихий янтарный свет. Когда Савин, срываясь в усталую полудрёму, переставал вдруг ощущать рядом Фаину, он испуганно открывал глаза, и та склонялась над ним, тревожа его ознобом скользящих по коже волос, и он слышал ее шёпот: «...ночью вот шагаю за тобой, а сама думаю: я вот и дороги знаю лучше, и куда идти, и вижу в темноте дальше... а все равно за тобой идти было покойно как-то, радостно...»

Мир сузился, и остался от него только матово-янтарный квадратик в бревенчатой стене, неумолимо от минуты к минуте становясь всё чётче, всё светлей.



Курганы тянулись ломаной цепью вдоль черты горизонта, и было их видеть отсюда, с макушки самого высокого кургана, штук тридцать, а может, сорок. Вода и ветер, копыта кочевых стад и конницы азиатских завоевателей, заступы грабителей-«бугровщиков» за тьму лет сровняли большинство из них до едва угадываемых взгорбков. Но несколько курганов-богатырей продолжали возвышаться там и тут круто выпуклыми холмами, и время, казалось, потеряло над ними власть.

За окаменелый суглинок вершин, обдуваемых ветром, держались лишь редкие камни, клочки овечьей травки да жесткие, проволочные стебли цветка бессмертника.

Всё это: и простор северной стороны, где граница земли и неба ломалась, текла в мареве нагретого воздуха, и блеск снежных вершин каменной гряды юга, алтайских «белков», и бледно-сиреневые цветы бессмертника под ногами, и сушащий дыхание запах полыни – увидел сейчас, ощутил, почувствовал Савин, сидя на вершине кургана, под упругим и ровным, какой бывает только в степных равнинах, ветром.

И он пожалел, что пришел сюда в первый раз. И так получается теперь, что – в последний.

В кармане – телеграмма. Шевчук скупо сообщал: восемьдесят восьмая на отметке пятьсот десять вошла в руду, пройдены первые метры. Поздравлял с успехом.

Он понимал: успех успехом, но самое сложное начинается именно теперь.

Надо возвращаться.

И еще взволновала – да так и оставила в болезненном, точно легкая температура, волнении – мысль о встрече с Димкой, который, пожалуй, вернулся из лагеря. А ведь совсем недавно столь недлительную разлуку с сыном переносил он довольно сдержанно, почти спокойно.

Оставалось – сказать о своём решении Фаине.

Он уже заранее предугадывал слова, которые она скажет, – выходило чётко знает как трогательно-жалостливо, сентиментально. А вдруг не дай бог слезы, тогда что? Подлое воображение! Вспомнился некстати «родственник», набивавшийся в ту грозовую ночь идти в паре с Фаиной, его развязные намеки. Теперь Савин почти

уверен: между ними прежде что-то было. Не могло не быть! Мысль выключилась мелкая, он наморщился.

Он морщился, страдал, колебался, ему уже заранее становилось тягостно на душе. Однако он весь еще до краёв, как этот горизонт маревом, был наполнен ею. В ушах его до сих пор звучал её горячий, полусонный, вырвавшийся при последнем расставании шёпот-вздых: «Бог мой, какое счастливое тело...»

На крыльце, прислонившись к балясинке, сидела на табурете Фаина мать, шевеля закатанными внутрь впалого рта губами. Её младенческого цвета глаза прямо, не мигая, смотрели на Савина. Так кого же, чёрт побери, они ему напоминают? Он спросил, дома ли Фаина. Не дождавшись ответа, шагнул с досадой на ступеньку мимо старой, как та торопливо-недовольно пробормотала:

– Нету Файки, нету дома, ушла куда-сь...

Савин на выходе из калитки столкнулся с Серёгой. Тот был в чистой рубашке, непривычно тихий, сосредоточенный. Они поздоровались.

– Вот, Серёга, – сказал Савин, – уезжаю, попрощаться заходил, а вас нету.

– А мы уже знаем. Счастливо вам. Я тоже на той неделе сваливаю.

– Да тебе-то чего «сваливать». Отдыхал бы в родном доме, смотри, какая кругом красота.

– Не-а, у меня практика.

– Практика? Ну, тогда – конечно. Дело серьёзное.

В руке Серёга держал маленькое детское ведёрко с торчащей из него малярной кистью.

– Что это ты красить в новой рубахе собрался?

– Да так... – замялся мальчишка, почувствовав в вопросе усмешку.

– Куда мама-то ушла, не знаешь?

Серёга покачал в руке ведёрко, ответил после паузы:

– На могилках она.

– На могилках?.. А... чего?

– Так папкина годовщина сегодня.

Савин растерянно переступил с ноги на ногу, тронул мальчишку за плечо.

– Извини, брат, не знал...



...Событие было давним, за многие годы память не возвращала к нему, пожалуй, ни разу. А тут вдруг высветилось из дали лет, крепко цапнуло сердце.

Теперь он вспомнил.

Пробиваясь к участку разведочных работ в глубь Кузнецкого Алатау, они вынуждены были отсыпать дорогу по сильно заболоченной пойме реки. Достаточные залежи гравия нашлись на окраине полузаброшенного кержачьего посёлочка. Здесь был вскрыт карьер, и под самую зиму началась разработка.

В зоне карьера оказался (стоял на отшибе) дранью крытый домишко. В нём жила одинокая, преклонных лет кержачка. Переселиться в одно из пустующих строений она отказалась. Вскоре двор ее, обойденный с двух сторон разработками, остался как бы на полуострове. Чтобы сходить к реке по воду, она опускала с обрыва лестничку. Дальнейшее упрямство старой кержачки грозило остановкой работ. Тогда Савин нанял бригаду плотников, и они в несколько дней срубили домик – на другом конце посёлка.

Савин сам пришел к ней, чтобы проводить в новые «хоромы», и поразился ветхости и запущенности её жилища. За что здесь было держаться? Однако та – снова отказалась! На все доводы Савина, раздраженного и сбитого с толку её упрямством, она причитала: «Маленько не надо кричать... маленько не надо», твердила, что «сыскон веку» живёт тут и хочет дожить дни здесь, под этой крышей. Спрашивала наивно: «Рази мало по реке гравеля?»

Наступили холода. Гравий в забое смерзся, пришлось применить взрывчатку. Бабкина избёшка ходила ходуном. Силы были явно неравны. С одной стороны – мощная техника, график работ, напор молодости, а с другой – потерявшая, по всему, здравый смысл одинокая кержачка. При особо сильном взрыве несколько камней ударили в избу, высадили стекло. Только после этого бабка (смеялись савинские парни) выкинула флаг, сдалась. Они помогли перенести её убогий скарб. Сама она тащилась сзади, смигивая слезу, прижимая к груди чёрную от времени доску с едва различимым ликом Николы Угодника.

Назавтра геологи заметили бредущую обратно к карьере кержачку. Её остановили – взрыв-

ник снова заряжал шпуры. В руке несла она кастрюлю об одной ручке, а в другой – святую доску. Стала объяснять: иконка, мол, ночью пала с гвоздя – святой не хочет нового дому, она взялась вернуть его на место, а еще и набрать извести, там оставалось немного – печь-то на новом месте до того уж страмная, голая...

Савин понял: хитрует старушня насчёт извести и святого, хочет вернуться в свою нору, тогда ее оттуда уж ничем не достанешь. Он тут же дал команду – ликвидировать осточертевшую избу. Бульдозерист, лихой парень, сделал это сноровисто и с большим удовольствием.

На глазах старой кержачки рухнула избёшка с обрыва, эффектно брызгая гнильем, дымя снегом и сухой золой чердака.

В эти-то минуты Савин и перехватил её взгляд, упёршийся ему в переносицу. Он даже слегка опешил при этом. Такими глазами, наверное, будут смотреть на антихриста, подумал он.

Потрясенная столь мгновенной гибелью своего векового гнезда, бабка выронила в снег кастрюлю, выронила Николу, поволоклась назад.

Только через неделю или две кто-то обратил внимание: из засыпанного порошей нового бревенчатого жилья не идёт дым, нету от двери следов.

Нашли ее лежащей на топчане, одетой в чистое, со сложенными на груди руками – как и должно лежать упокоившемуся христианину.

Эта странно так скончавшаяся кержачка уже через месяц-другой ушла в тень памяти, заслонённая более важными событиями. И как будто бы – навсегда. Лишь некоторое время оставался жить весёлой присказкой в устах записных остряков её наивный вопрос: «Рази мало по реке гравеля?» И напомнила вдруг о себе глазами Фаиныной больной матери. Он подумал: что между ними общего?..

Необъяснимая всё-таки, предательская штука – память человеческая...

Обросший поблеклыми в зное берёзами взгорок посреди поля напоминает пышный оазис, маня тишиной зелени, прохладой.

Матовые облака листвы кое-где пробиты черными, обугленными клиньями елей. Только на подходе становится заметно ограждение из

провисших жердин, за ним – частокол оградок, кресты и пирамидки вперемежку. Взблеснёт стеклянная банка с осыпавшимся букетом, трепыхнётся под порывом ветра выгоревшая лента.

Фаина сидит на низко врытой скамеечке, локтями в колени. Перебирает какие-то никлые стельки. Косынка из тёмной гладкой ткани, прошитой блёстками, лежит, соскользнув, на опущенных плечах.

Остановившись в отдалении, воровато скрытый зеленью, Савин всматривается в её склонённое, с тенью от трепещущей листвы лицо.

Он ожидал – и боялся – увидеть выражение скорби, смятенности чувств, может, даже безысходности, словом, – нечто соответствующее моменту. Однако ничего подобного. Затенённое лицо её покойно и чуть устало, сосредоточенно. Как лицо человека, присевшего отдохнуть в одиночестве.

И он – с облегчением и одновременно предчувствием какой-то потери – понимает: не будет слёз, ни всего того, что он себе малодушно рисовал. Она знает о его отъезде, не торопится, потому что уже простилась с ним.

И ещё он понимает: лучшее, что он мог бы сейчас сделать, – это подойти и, склонившись, поцеловать ей руку.

Грозовая аномалия

ПОВЕСТЬ

Рядом с парадной дверью в наше Управление дыбится прислонённая к стене глыба самородной меди; она живописна, эта глыба, покрыта, как старая икона, зелёнкой окислов, изрыта вязью раковин и трещин – следами жестоких внутриземных катаклизмов.

Редкий самородок этот – весом более трёх тонн – оставляет внушительное впечатление. Его непременно хочется потрогать руками. Мальчишки взбираются на него верхом, отчего края самородка даже залоснились.

По вечерам в огнях автомобилей глыба вспыхивает матово-жёлтыми змейками, дрожит крыльями теней, становится похожа на панцирь какой-нибудь рептилии, какого-нибудь таинственного бронтозавра.

Но я при взгляде на трёхтонную глыбу усмехаюсь. Вспоминаю при этом моего однокашника по институту Броньку Афузова. Это его поисковый отряд обнаружил на Катыне медь. Найдённый самородок с помпой привезён был в город и выставлен на всеобщее обозрение. Однако Катынское месторождение, выдав десятка два таких самородков, внезапно выклинилось, иссякло. Страсти утихли. А глыба так и осталась загадочно блеснуть под восхищенными взглядами прохожих. Приехав однажды в Управление, Бронька мрачно изрёк: «Ишь, собаки, всё моё месторождение выставили!»

Медь Броньки вошла у нас в поговорку. Когда в нашем кругу кто-нибудь пытался выдать желаемое за действительное, его дружно обрывали: «Э, понёс Бронькину медь!»

Поднимаясь по ступенькам парадного входа и косясь на самородок, я подумал: а хорошо бы встретиться с Бронькой, полюбоваться на его утиную физиономию, выпить и потрепаться от души – последний раз мы виделись прошлой осенью. Я приезжал в город с отчётом, а он вызван был из тайги радиограммой: у него умерла дочка – сразу после рождения, он даже не успел увидеть её. Броньке явно не везло в жизни. Мы тогда на пятнадцать минут зашли в управленческий буфет, сели за столик. Бронька отхлебнул из стакана, сказал, помаргивая маленькими глазками:

– Ты, наверное, подбираешь слова утешения, а я, ей-богу, спокоен. Ну как пенёк. У неё даже имени ещё не было. Но, может, я психически неполноценный? А, Толька?.. Чего молчишь? – И через минуту сказал, шевеля бровями и отворачиваясь: – Вот Наташку жалко. Меня даже не пустили к ней, а завтра улетать.

Я толкнул высокую, стеклянную сверкающую дверь. В коридорах Управления сквозь окна пробивались дымчатые столбы солнца. Булькали по-лягушиному батареи отопления. Дорожка из цветного релина вспучивалась, и, чтобы не запнуться, надо было глядеть себе под ноги.

– А, дьявол тебя бодай! – крикнул вдруг кто-то в самое лицо, так что я вздрогнул. – На ловца и зверь бежит!

Передо мной стоял, расставив ноги, Вовка Канончик, собственной персоной – отглаженный костюм, стоптанные штиблеты, под тугим воротничком рубашки чернел клинышек модного галстука.

Мы потискались малость друг друга. Вовка схватил меня за локоть, потащил в какую-то дверь, бормоча:

– Ты послан мне самой судьбой, садись сюда, за этот стол, читай. Да читай въедливо – с гневом и пристрастием, понял, таёжная крыса? – Хлопнул по растрёпанной пачке отпечатанных на машинке листов, испуганно посмотрел на меня: вдруг откажусь?

Я только что вылез из газика, усталый, как ездовая собака (добирались всю ночь), был в рабочей куртке и свитере, к тому же небрит. И зашёл в управление только для того, чтобы узнать причину вызова. Резон был решительно отказать – железный я, в самом деле, что ли? – но, взглянув на уже обидчиво собранные толстые Вовкины губы, только спросил обреченным голосом:

– Что за макулатура?

– Моя работа по Канымскому острогу, – скромно сказал Вовка, ощупывая и поправляя воротничок.

– А где горит?

– Там! – Вовка крутанул пальцем в потолок. – Начальство требует срочно, прямо-таки с рогастиной подступает. А тут машинистки резину потянули, поцапался уже со старшей. – Наклоняясь ко мне и ставя локти на стол, он подёргал манжеты рубашки, блеснули потрясающим цветом запонки. – Новенькая машинисточка появилась, ничего себе – представляешь: тут вот столько, тут совсем наоборот, мордашка, и вообще...

Знал я за Вовкой слабость: неудержимое желание приболтнуть там, где дела его безнадежны. Поэтому я пропустил мимо ушей его последнее замечание, спросил:

– Зачем дёрнули меня – не знаешь?

– Знаю, но по слухам. Послезавтра – большая говорильня, востребовали всех, кто хоть день рылся на Канымском хребте.

– Значит, и Бронька Афузов будет?

– Вероятно.

Я взглянул на Вовку более благосклонно.

– Что тут стряслось?

– Опять же по слухам: хотят ставить тяжёлую разведку на железо...

– Не забивай мне баки! Если потребовали твои материалы, ты, наверное, в курсе.

– Нынче мало быть в курсе, – сказал Вовка значительным тоном, – надо ещё знать – куда курс...

– Сам придумал?

Вовка рассмеялся:

– Только что озарило!

– Ну ладно. – Я расстегнул куртку, подёргал на груди свитер: становилось жарко. – Как твоя ртуть? Не забросил ещё?

Вовкино лицо поскучнело.

– Темна вода во облацех, Толик.

– А определеннее?

– Так нетути её, определённости, – сказал Вовка расстроено. – Сижу все в той же позиции... Да ты читай, – спохватился он, – мы еще отведем душу, читай, а я поброжу по коридорам. Попереживаю.

Вовка почтительно вышел; я, вздохнув, потянул к себе первую страницу.

Съемка по Большому Каныму, которой Вовка занимался последнее время, была, честно говоря, не мёд. Глухие высокогорные места, сплошной ковер дёрна, отсутствие обнажений, сырая, набитая гнусом тайга, суровые продолжительные зимы. Многие брались за этот район, но, побив и поломав голову, под всякими предлогами отступали.

Вовка не отступил.

Только мы, его друзья, знали, вернее, догадывались, какая сила удерживает его здесь.

Еще студентом, будучи на полевой практике, Вовка нашёл на южных отрогах весьма слабые следы киновари – ртутной руды. Фактов у него было мало, почти никаких, но все равно отчет по практике он тогда нацарапал довольно решительный и толковый.

После окончания института он снова вернулся сюда и добился-таки постановки поисковых работ на ртуть, в границах Канымского листа. Он возглавил поисковый отряд и весь летний сезон мордовался в этом районе – и безрезультатно. Приказом по геологоуправлению работы

ртутного отряда были прекращены как бесперспективные. Вовка вынужден был заняться рутинной съёмкой.

Нынче он завершил и эту работу, и ему – я понимал, ох, как я его понимал! – предстояло покинуть район Каньма. Тем самым надолго, если не навсегда, проститься со своей студенческой мечтой...

Прочитал я Вовкину работу не отрываясь и, как прежде бывало, подивился и позавидовал его ясному и трезвому уму. Я позвал Вовку из коридора. Похвалу он выслушал невозмутимо, в лице его даже проступила лёгкая скорбь. Потом я сделал несколько замечаний. Вовка расцвёл при этом, точно не критику выслушивал, а слова благодарности.

Удивительная Вовкина самокритичность проявилась и в другом: уже в машинописном тексте он изъял из рукописи несколько страниц. Заметил я это только потому, что нумерация – должно быть, в спешке – не была выправлена.

Я ткнул его в это место, Вовка чуть смутился (даже сейчас, спустя три года, я вспоминаю: точно, смутился!), однако, тут же исправляя страницы, хохотнул и бросил несколько туманно:

– Не уверен – не обгоняй!

Что-то не нравилось мне в Вовкином поведении. Он был возбуждён, в его голосе то и дело прорывались нотки какой-то весёлой, что ли, нервозности.

Впрочем, сейчас, когда пишутся эти строки, я смотрю на всё через грань уже совершившихся событий и невольно вижу то, чего, может быть, и не было в действительности. Мне неловко – видит бог! – от моей запоздалой проницательности. Я хотел бы изложить всю историю холодно и бесстрастно. Однако холодность и бесстрашность – достоинство судей. Я же ни в коем случае не хочу быть судьей. Этого еще не хватало!

Так что если моя объективность будет давать осечку, – прошу помнить: я живой человек.

Когда я уже уходил по коридору, Вовка крикнул вслед:

– Толик, самое главное забыл: собираемся послезавтра у тебя!

Я приостановился. Что собираемся у меня – понятно. Я один из нашего круга в городе с отдельной квартирой. Но почему послезавтра?

– Во-первых, – пояснил Вовка, – послезавтра совещание, где мы сбежимся, а во-вторых... – он на секунду замялся, – во-вторых, приезжает моя Алиска.

Я кивнул, соглашаясь.

Была середина марта. В тайге, откуда я только что приехал, еще лежала снежная целина, ночами дверь так примораживало к порогу, что приходилось скалывать топором, а здесь, на солнечной стороне улиц, уже дымились сухие пятячки асфальта, по ним сновали голуби, оставляя мокрые крестики следов.

Прохожие шли, распахнув плащи, наслаждаясь солнечным теплом.

Всё было обыденно и привычно, и я, смешавшись с толпой, снова почувствовал себя горожанином, снял шапку. Тело мое, уставшее от тёплой одежды и тяжёлой обуви, исходило томительным зудом, и предвкушение горячей ванны было столь велико, что я не выдержал, прибавил шагу.

Несколько лет назад, окончив институт, покинул я этот город, в котором родился, но до сих пор от города не отвык и, когда я в редкие наезды прохожу по знакомым улицам, мне становится легко и празднично. И если прохожий спрашивает меня, как пройти туда-то и туда-то, я с удовольствием объясняю. Наивная гордость при этом распирает мою грудь: во мне всё еще видят горожанина.

Взбегая на четвертый этаж, загодя нащупываю в карманах ключи, обливаясь потом, нетерпеливо отмыкаю дверь. Вхожу в прихожую, сдерживаю дыхание и уже чувствую – моих нет. Ветка, жена моя, наверное, в школе, а Данилка – в садике.

Не раздеваясь, сажусь на стульчик (на нем обустраивается Данилка), прислоняюсь спиной к стене. В квартире тихо, за стеной играет радио; выходящая, капает вода. Я сижу минуту-другую в сумрачной прохладе прихожей.

Глаза мои скользят с предмета на предмет – вяло, умиротворённо.

Под тумбочкой, у самой стенки, красные рукавички с дыркой на большом пальце («Данилка! Не смей грызть рукавичку!»). Лежат аккуратно,

непохоже, что завалились случайно. Конечно же, это Данилкина работа. Не хотел надевать и спрятал!

Да, это мой Данилка и моя Ветка; и это мой дом, в котором я бываю так редко.

Я далеко не сентиментален, но сейчас по-настоящему растроган и сижу, сгорбившись, на стульчике, почти физически ощущая, как входит в меня мир моего дома.

Именно – мир моего дома, думаю я, и эти слова сейчас не кажутся мне высокими, я даже произношу их вслух, но голос мой в отстоявшейся тиши комнат звучит до странности неуместно. Будто я бросил в водную гладь нечаянный камушек, и тот мгновенно сломал отраженные в ней предметы.

Снимаю рубашку, нахожу чистое полотенце, включаю воду. Пока ванна заполняется, я босой брожу по комнатам, подошвы липнут к полу, ноги мои криво, текуче отражаются в полированных боках мебели; трогаю корешки книг, стучу ногтем по фарфоровому носу балеринки, ложусь на разостланную среди пола медвежью шкуру.

Надо мной тяжело нависает великолепная, вся в льдистых подвесках, многорожковая люстра. Бумажный самолётик-стрела застрял в развилке рожков, и я, глядя на люстру, начинаю вдруг тихо ощущать, как гаснет во мне умиротворённость, уступая место трезвой действительности.

Взгляд мой скользит по комнате, но ощущения покоя во мне уже нет. Все это – и блестящая люстра, и широкий, набитый стеклом сервант, и скатанные в рулоны ковры по углам, и поблескивающая по стенам художественная чеканка, и шкура, на которой я возлежу, и сама квартира, наконец, – всё это не моё, не наше с Веткой приобретение.

Есть у нас хорошие знакомые – муж и жена Дергачёвы, оба геологи, классные специалисты. В позапрошлом году уехали по контракту во Вьетнам и, зная, как мыкаемся мы по частным углам, поручили нам свою квартиру. Первое время мы радовались, точно дети; три года, отпущенные нам, казались бесконечными.

Но однажды, войдя в квартиру, я застал такую картину: сидят мои Данилка и Ветка и ревут в два голоса. Оказалось, Данилка, заигравшись,

проехал экскаватором по блестящей крышке какого-то там секретера. Ветка в сердцах отшлёпала его и тут же сама ударилась в слезы. Тут же скатала все ковры, в кладовой нашла чехол от пианино и всю доступную мальчишке полировку укрыла ватманом и газетами. Данилка со свойственным его возрасту темпераментом лез во все щели. Жизнь среди чужой полированной мебели стала и для него, и для Ветки сущим мучением.

Я приподнялся, сел, сильно потер лицо, под ладонями заскрипела щетина. Тотчас же до моих ушей донеслось, как в ванной призывно гремит, скрежещет вода...

Уснул я на тахте. Засыпая, я мычал от наслаждения, слыша, как твёрдая свежая простыня стучит кожу.

Проспал я бесконечно долго, и пробуждение было мгновенным – отчего-то мягко ударило сердце. На краешке тахты сидела Ветка – в пальто, в косынке, завязанной у горла.

Холодок поцелуя дрожал в уголке моих губ.

Я просунул ладони под ее густые тёплые пряди.

Комната уже тлела сумерками, и Веткино лицо, обращённое в сторону окна, слабо светилось.

– Надолго? – спросила она.

– Дня на три, не больше.

– Нет бы сказать: не меньше!

– Да, не меньше.

– Даже не предупредил, жулик.

– Только вчера эрдэ пришла, – сказал я.

Ветка сдёрнула одной рукой косынку, прижалась ко мне, вздохнула:

– За Данилкой надо. Кто ходит, может, ты?

– Конечно, – сказал я.

– Тогда я мигом в магазин. У меня же в доме ничегошеньки.

Спустя два дня, вечером, мы принимали гостей.

Первыми пришли Афузовы. Бронислав в блестящем реглане с поясом, кепке-конфедератке походил на представителя преуспевающей польской фирмы. В этом одеянии я его видел впервые. На Наташе – короткая меховая шубейка и здорово молодивший ее красный капор грубой вязки. Несчастные роды и болезнь оставили

свой след. Наташа осунулась, в лице ее сохранялась еще нездоровая бледность.

Шумно ввалилась чета Канончиков – Вовка и Алиса.

Я и Бронька Афузов женились, как нам казалось, с опозданием – аж после института. Студентами мы не были даже знакомы со своими будущими женами. Алиса же училась вместе с нами и с Вовкой, на том же факультете. По окончании четвертого курса мы гуляли на их студенческой свадьбе, а после распределения все четверо оказались в одном геологическом управлении, хотя и в разных экспедициях.

Вовка еще в студенческие годы стал грузноват, тяжёл, занимался классической борьбой, Алиса – узкоплечая, стройная, с тонкими чертами лица, на лоб ей падало крыло льняных волос – рядом с мужем выглядела подростком. Мы так и звали эту пару: лиса Алиса и кот Базилио.

Когда они вошли, я стоял в прихожей и предупреждал загробным голосом:

– Обувь скидывать! Окурки об мебель не гасить! Книг не воровать!

Алиса, поцеловав меня в щёчку и с треском расчесывая перед зеркалом короткие густые волосы, кокетливо вопрошала:

– А на пьянине можно побренчать?

– Да, можно, только мысленно!

Вскоре жены удалились на кухню – обмениваться новостями и заодно помочь моей Ветке приготовить на стол. А мы – Бронька, Канончик и я – быстренько опрокинули по стопке, расселись в разных углах комнаты и вдруг замолчали.

Бронислав курил, сосредоточенно пуская кольца, пытаюсь попасть кольцом в кольцо. Канончик, щурясь, рассматривал на стенах чеканку. Я, нечаянно усевшись на россыпь Данилкиных гуттаперчевых солдатиков, выгребал их теперь из-под себя и не спеша выстраивал на подлокотнике кресла.

Я знал, о чем сейчас думает Бронька; думал, что знаю, о чем думает Вовка Канончик. Часа четыре назад закончилось совещание, и поводов для размышлений, особенно для нас с Бронькой, было более чем достаточно.

Председательствовал на совещании главный геолог Управления. Это был рыхлый, уже в годах мужчина; седина пучками как-то пробива-

лась в его густой рыжей шевелюре. Несмотря на рыхлость, главный был довольно подвижен. Руководя совещанием, он почти не сидел за столом, его пятнистая крупная голова мелькала в разных концах кабинета. Задав вопрос, он почти вплотную подходил к отвечающему и слушал, глядя тому в переносицу. Следовал новый вопрос – и главный катился в противоположный угол. Для участников совещания было довольно утомительно вертеть головой, но главного уважали, мирились с его странностью, – да и что за начальство, если без странностей, особенно в геологии.

Сначала главный коротко и сухо сказал о важности Канымского железорудного месторождения. Коль подтвердится его промышленное значение, это будет самая близкая сырьевая база для Сибирского завода. Потом он попросил высказаться всех собравшихся. Как и при обсуждении всякого сложного вопроса, столкнулись самые противоречивые мнения. По рукам ходили геофизические карты Большого Каныма, разрисованные густыми струнами изолиний...

В общем, я совсем не хочу углубляться в техническую сторону дела. И заговорил я о совещании только с одной целью: рассказать, как держал себя на нем Вовка Канончик.

Уже в конце второго часа распалившихся дебатов главный геолог вдруг пристально поглядел в нашу с Вовкой сторону, сказал:

– Канончик, я прочитал ваш отчет... Может быть, я невнимателен, но я не нашел в нём ваших соображений о природе Канымской аномалии.

Вовка сидел чуть впереди меня, он неторопливо поднялся и довольно-таки спокойным голосом ответил, что стоявшее перед ним задание такого вопроса не содержало.

– Ваше задание, насколько я помню, не содержало и вопроса о так называемой ртути. – Главный уже передвигался по кабинету в нашу сторону, голос его креп. – Но вы о ней, как всегда, не умолчали!

Вовка – находчивый, дьявол! – бровью не повел и тут же отпасовал:

– При следующем чтении, Андрей Максимович, вы можете это место пропустить – как всегда.

– О! – главный даже приостановился. – Люблю злые ответы, они взбадривают. Но мы несколько отвлеклись. Всё же я надеюсь – у вас сложилось свое мнение по этой аномалии?

– Разумеется.

– И вы можете его высказать – хотя бы устно?

– Разумеется! – Вовка был весь – воплощение корректности.

– О! – снова сказал главный, склонив к плечу свою пятнисто-рыжую шевелюру. – Прекрасно, я весь внимание.

– Я добросовестно слушал выступления своих коллег, которых я уважаю как специалистов, – сказал Вовка. – Но я уже как-то говорил и буду повторять впредь. Ответ, сопровождаемый словечком «предположительно», – не ответ, а уход от ответа. Нам хочется невинности соблудности и капитал приобрести! – Вовка энергично ударил ладонью по спинке стоявшего впереди стула. – Чтобы сказать: мое мнение – руда есть. И подтвердить фактурно. Или наоборот: руды нет. И тоже привести подтверждение. Ведь третьего в нашем деле не дано! Уверен, будь так – мы бы не толкли воду в ступе...

– Прекрасно, – перебил главный, – ваша теория категоричности любопытна. Проиллюстрируйте ее, пожалуйста. Целесообразно ставить на Канyme тяжёлую разведку на железо – нет?

Вовка стоял ко мне спиной, я не видел его лица, его глаз и очень сожалел об этом. Вернее – я жалею об этом сейчас. Опять же сейчас! Тогда, кажется, я просто слушал Вовку и потихонечку гордился им – знай наших!

– Да или нет? – повторил главный.

– Так Андрей Максимович! – Вовка неожиданно рассмеялся. – Как говорили древние, не пихай под гору – которое катится!

– Простите! – главный упёрся взглядом в Вовкину переносицу. – Простите, не понял!

– Я к тому, что давайте обратимся к геофизическим материалам. Сгустки изолиний бьют по глазам. Ей-богу, но взгляните, Андрей Максимович, на пики аномалий в восточной части листа – это же поистине бюст Лоллобриджида...

– Гм! – оторопело сказал главный. Присутствующие оживлённо задвигались. Вовка, не смущаясь, переждал весёлый шумок, продолжал:

– Кто-нибудь может вразумительно объяснить иное – немагнетитовое – происхождение аномалии? Нет? Так в чём же дело? Неужели мы, имея такие геофизические данные, сможем спокойно спать?..

Ну и так далее, и тому подобное. Выступал Вовка одним из последних, и так получилось, что слово его оказалось как бы решающим.

После совещания главный попросил меня и Бронислава Афузова задержаться. И здесь только стал я потихоньку догадываться, для чего, собственно, вызвали меня. Догадка моя тут же подтвердилась.

Я получил предложение возглавить организуемую вновь поисково-разведочную партию. Старшим геологом партии был назначен Бронислав Афузов.

Пусть меня простит сегодня Бронислав, но в ту минуту я покривил душой. Было намерение, но у меня не повернулся язык – в присутствии Броньки отклонить его кандидатуру и предложить Вовку Канончика. Я недоумевал, почему руководители управления прошли мимо Канончика, когда речь шла о Канyme, на котором он собаку съел. Мне даже стало обидно за друга. Потом я решил: верно, Вовкину светлую голову берегут для более важных дел, и успокоился.

...Так мы сидели втроем и молчали, и на подлокотниках моего кресла шеренгами стояли солдатики; я машинально стал пересчитывать их, и в этот момент Вовка сказал:

– Когда у меня появится собственная квартира, я не буду развешивать по стенам столько художественного железа. У меня будет японский принцип: на одну стену – одна картинка, но зато какая!

Бронька широко развел руки, показывая:

– Такая?

– Вот они, ценители искусства! – Вовка вздохнул огорчённо. – Ты в своем лесу такими жёстками дрова меряй. Я любитель миниатюры. Он снова мечтательно сощурился. – И заведу запасник. Дважды в одну и ту же квартиру вы не придёте.

– Спасибо, – сказал Бронька, – утешил.

– На здоровье. Я же сказал: заведу запасник. И буду регулярно менять экспозицию. Это единственный путь убежать от стандарта планировки.

– А мебель сделаешь на колёсиках, – подсказал Бронька. – С моторчиком.

Вовка снисходительно улыбнулся.

– Нет, я отмечаю этот примитивный путь. Мебели у нас с Алиской не будет. То есть она будет, конечно, но только в самом зачаточном количестве.

– Одна единица на одну комнату, – снова поддакнул Бронька, методично выдувая к потолку кольца.

– Странно, но ты прав, – согласился Вовка. – Именно единица на единицу. Долой деспотизм вещей! А то взгляните на эту люстру – под ней жить боязно. Это не люстра над тобой висит, а строгий выговор с занесением.

– А украшать свою квартиру детьми ты тоже будешь по японскому принципу? – поддержал этот трёп и я, удивляясь, что ребята, оказывается, совсем не думают о том, о чем думал я.

– О да! Одна ребёнок-единица на квартиру – это щас так модно.

Вошла Алиса в передничке, услышав последние слова про моду, хлопнула в ладоши.

– Мальчики, мальчики, моду не трогайте, это наша тема. Что вы рассиживаете, как на приёме? Где стол, где скатерть, а ну, мигом! Толик, – обратилась она ко мне почтительно, – хрусталём, – она ткнула пальцем в горку, – можно попользоваться?

– Можно, – сказал я, – только одноразово.

– Ну, разумеется, кто же вторично пользуется осколками!

– Язва ты, Алисанька, – сказал я, – займёй чужое, потом распоряжайся.

Наконец все было готово, и мы рассредоточились за столом, на котором среди нашей ширпотребовской посуды сверкали чужие хрустальные рюмки и высилась роскошная хрустальная чаша, приспособленная под салатницу.

Мы подняли рюмки. Вовка торжественно сказал:

– Не ради того, чтобы напиться, а того ради, чтобы не забыть, как это делается!

Вовка не поднял тоста за наши назначения не потому, что мы с Бронькой еще ничего не сказали своим женам (пусть они узнают всё завтра, сегодня обойдемся без лишних волнений), а потому, что мы в нашей компании вообще воздерживались от провозглашения серьезных тостов. Это был наш скромный вклад в борьбу с фальшью застольных деклараций. Чаще всего говорили какую-нибудь чепуху, вроде той, которую только что изрёк Вовка, или ничего не говорили.

Жёны наши в застолье не контролировали нас и не одёргивали: тебе хватит, оставь, как ты домой пойдешь. Жёны наши были умницами, они хорошо знали своих мужей. И еще лучше знали: если хочешь возвращаться из гостей трезвым, лучше не ходи туда вовсе. Мы, мужчины, высоко ценили дух демократизма и личной свободы за столом и старались этим не злоупотреблять.

Старая компания наша болтала и шутила за столом, дурачилась, рассказывала анекдоты и тут же, посмеявшись, забывала их, а я глядел на всех с растроганностью хмельного человека и думал: хорошие вы ребята, остряки несчастные, и девчонки у нас подобрались на все сто, страшно представить, что могли быть не они, а другие.

Вот напротив меня сидит Наташа, мелкими глотками попивает вино, не отрывая бокала от губ. Она раскраснелась, бледности как не бывало, и если кто-то особенно удачно острит, она смеётся, стукнув о бокал зубами.

И улыбка её, и серые глубокие глаза – воплощенные доброты. Доброты и какой-то материнской, что ли, снисходительности к нам, ее друзьям и друзьям её мужа. Она младше и моей Ветки, и Алисы, но смерть ребёнка словно приподняла ее над нами.

Когда Бронька впервые пришёл с Наташей к нам, я, откровенно говоря, не очень ему позавидовал. Ну, девушка как девушка, всё на месте, впрочем, губки могли быть не такими надутыми и росточка не мешало бы прибавить. Да и тугая причёска, натянувшая виски, больше бы подошла строгому и тонкому личику, нежели ее округлым щекам с крохотными улыбчивыми вороночками, точно вдавленными острием карандаша. Хотя я тогда уже имел для себя вывод: за классическими формами красоты чаще всего

кроется душевная схема (этот глубокомысленный вывод я дарю всем, кто моложе меня)...

Рядом с Бронькой Наташа выглядела его сестрой, хотя в их внешности не было ничего схожего. Если не считать полноты, которая начала преследовать Наташу и которая уже подбиралась к крепкому и костистому Броньке. Впрочем, говорят, все любящие супруги со временем становятся похожи друг на друга. Бронька стал со вкусом одеваться, причём, мне кажется, незаметно для себя – в этом я усматривал Наташкино влияние. Уж я-то, слава богу, знал Броньку-студента, не видевшего разницы между однобортным костюмом и двубортным.

Ах, Наташка, Наташка, какой ты молодец, что нашла моего друга Броньку. Смотри, даже его утиный нос стал ему к лицу. Люблю я вас обоих, черти, но никогда, конечно, не скажу. Ибо, как однажды изрек Вовка, высказанная любовь – это бремя, если её не разделили.

На свою Ветку я, как тайный любовник, гляжу незаметно, украдкой. Любоваться в компании своей женой – это уж такой сантимент, дальше некуда. Для жены не подходит слово «красивая». Все-таки в этом слове есть холодок. И легкая отчужденность. Пусть красивыми будут чужие жёны, для своей мы отыщем словечко потеплее: любимая...

Чёрт возьми, я давно сижу и не пригубляю рюмки, а сентиментальность так и прёт из меня, и душа тает как воск, с чего бы это? А тут еще Вовка – сел за пианино и забарабанил что-то невразумительное, но все равно трогательное, маэстро несчастный.

Ветка сидит ко мне бочком. Жёлтые свободные волосы закругленными концами легли на плечо, сквозь пряди видна мочка уха с блестящим камешком. Никто не знает, как мягки эти волосы и какой неповторимый вкус остается от них на губах.

Что за ерунда? Я сижу не двигаясь, а в руке моей вдруг оказывается слегка наполненная рюмка. С удивлением смотрю на нее. И тут же обнаруживаю – рядом со мной – Алиса, привалившись ко мне горячим плечиком. Смеется, довольная, что так ловко вложила рюмку в мою руку.

– Ау, Толик, лапочка, где ты?

В самом деле, что со мной нынче? Я торопливо заглываю рюмку, крепко зажмуриваюсь. Потом оборачиваюсь к Алисе. Она пристально смотрит мне в глаза.

– Ага, тебя гнетёт бремя нового назначения.

– Гнетёт, – говорю я. – Вовка проболтался?

– Толик, разве ты забыл, что я тоже имею какое-то отношение к системе геологии?

– Ну Лисанька, – говорю я в тон ей, укоризненно. – Ты же была в нетях, а вопрос о назначениях решался только сегодня. Неувязочка получается.

Алиса ложится щекой на мое плечо, вздыхает:

– Пора бы тебе знать, лапочка: такие стратегические вопросы никогда не решаются сегодня, они решаются далеко-о вчера.

Алиса в нашем маленьком дружеском кругу выступает как разрушительница многих традиционных условностей. Она может, когда ей вздумается, обнять любого из нас, повиснуть на шее, поцеловать; или просто, как вот сейчас, потереться мордашкой о твое плечо. Мы все к этому привыкли – а почему бы и нет? – и жёны наши смирились тоже, зная, что в их отсутствие Алиса себе ничего подобного не позволяет. Вовка сперва дулся, а потом махнул рукой: Алискина непосредственность доконала и его.

– Ну чего молчишь? – толкает она меня под бок. – Пригласил в гости – и молчит. Скажи ещё что-нибудь. Можно не обязательно умное.

Я наклоняюсь к ней и произношу проникновенным шёпотом:

– А жена его Алиса – замечательная крыса.

Алиса смеётся:

– Девочки, мальчики, – кричит она и хлопает в ладоши. – А Толик щас объяснился мне в любви! Обалденно!

– Причём стихами, – поддакиваю я.

Никто нас не слушает, гремит радиола, верхний свет приглушен, все танцуют. Ветка с Брониславом, Наташа – с Канончиком. Канончик, как всегда, демонстрирует класс; он без пиджака, в широких манжетах рубашки яростно сверкают запонки.

Все-таки он безнадежно толстеет, мой друг, и грациозность его подобна грациозности троллейбуса на поворотах. И слегка выпирающий плафончик живота тоже ни к чему в его двадцать

девять. Как он ухитрился нагулять его в полевых маршрутах – уму непостижимо.

Когда, при каких обстоятельствах я с ним познакомился? Ага, припоминаю. Мы только что сдали экзамены в Томский политехнический и едва успели перейти из категории абитуриентов в студенты, как весь наш курс был отправлен в колхоз, на уборку картошки.

Погода стояла сухая, солнечная, работать в поле было удовольствие. Нам была придана картофелекопалка. Хотя и не ахти какая, но всё же то была техника. Целый день ходили мы вслед за громыхающим агрегатом, подбирая клубни, а к вечеру агрегат сломался. Тракторист полазил, позаглядывал, махнул безнадежно рукой, отцепился и уехал. Делать нечего – мы взялись за лопаты.

Вовка Канончик (я еще не знал тогда его имени) за лопату браться не стал; он попросил руководителя разрешить ему наладить вышедшую из строя технику.

– Валяй, если сможешь, – согласился тот, рассудив, что потеря одной рабсилы ничего не значит, зато если мы снова обретём агрегат – выигрыш налицо.

С этого и началось. Все утром с кряхтением за лопаты и корзины, Вовка – за картофелекопалку. Два дня он вдумчиво изучал поломку. Его тугой, обтянутый джинсами зад торчал то на копалке, то из-под копалки. Следующие два дня его совсем не было в поле – пропадал в колхозной кузнице, отковывал сломанный кронштейн. Потом прилаживал кронштейн к месту: от одиноко стоящей на поле копалки весь день несло звяканье железа о железо.

Утром последнего дня Вовка прикатил из деревни на тракторе. Тракторист подцепил копалку, и та снова задрезжала, пошла, посыпала за собой вырытую и отсеянную картошку.

И хотя все мы от ручной копки умотались до предела, а с исправленной техникой прошли всего несколько последних соток, день этот стал днем триумфа первокурсника Владимира Канончика.

Тогда же я спросил, откуда он знает устройство картофелекопалки.

– А почему ты решил, что я знаю? – засмеялся Канончик. – Я это чудо техники впервые вижу.

– И взялся ремонтировать?

На что он небрежно так:

– Не боги горшки обжигают!

Закончив уборку, мы вышли к тракту ждать автобусов, но автобусы за нами почему-то не пришли. Стало смеркаться, все заволновались. Перспектива опять ночевать на полу тесного колхозного клуба никого не прельщала. Кто-то предложил идти пешком. До города по тракту было около двадцати километров, и многие, особенно девчата, заколебались. Руководитель сказал тогда: если идти, то всем, если оставаться – тоже всем, но разброда он не допустит. Время шло, а единодушия среди полутора сотен студентов не наступало. Руководитель нервничал.

Тогда вышел Вовка Канончик и заявил: он знает отсюда тропу. Если пойти по тропе, то можно срезать большую петлю тракта, километров на семь, то есть на целую треть. Это и решило исход разногласия – тринадцать километров уже мало кого страшили.

Было темно, часов девять вечера, когда все полтора человека, вытянувшись гуськом, доверчиво двинулись за Канончиком, уже нажившим себе авторитет на ремонте картофелекопалки.

Я шагал следом за Вовкой. Сначала мы действительно шли по тропе, потом тропы не стало, под ногами зашуршала стерня. Но Вовка шел уверенно, и нам ничего не оставалось, как следовать за ним.

Помню, спустились в глубокий овраг, поднялись по обратному склону, свернули вправо, вдоль оврага... Вдруг впереди мелькнули автомобильные фары, и вскоре мы ступили на тракт.

Вовка остановился и, пропуская мимо девушек и ребят, говорил подбадривающе:

– Теперь до города раз плюнуть!

В этот момент выглянула из-за облаков луна. Канончик стоял на обочине в позе военачальника, а мимо него текло войско, выведенное им по меньшей мере из окружения. Эпическая картина!

– Слушай, – спросил я его, когда мы пропустили всех, пошли дальше последними, – ты что, бывал в здешних местах? Откуда тебе знакома эта тропа?

– Мне? – удивился Вовка. – Да я по ней первый раз шёл.

– Но она в самом деле короче? – не унимался я.

– Вряд ли. По-моему, даже длиннее! – рассмеялся Вовка. – А что идти было тяжелее, чем по дороге, так и козе понятно. Да и не тропа это вовсе. Я же шёл наугад, боялся только отклониться далеко от тракта и, не дай бог, заплутать.

Я смотрел на него во все глаза.

– Выходит, ты всех обманул?

– Это как считать, – усмехнулся Канончик. – Какая стояла задача? Чтобы пошли все! Я добился этого? Добился! Остальное не имеет особого значения.

Было Вовке тогда, как и мне, восемнадцать...

Мы вышаркиваем какой-то умопомрачительно медленный танец. Алиса прижимается ко мне, чуть подчернённые ресницы ее вздрагивают. Даже я чувствую ее горячее тугое тело, и меня это, конечно, волнует.

И она чутко улавливает мое волнение, посмеивается, как торжествующе и иронически посмеивалась однажды, когда...

Тут я хочу сознаться.

Есть у нас с Алисой одна общая тайна. Для людей семейных и положительных, каковыми, безусловно, были мы, она, эта тайна, незначительна, даже ничтожна. Не стоит выеденного яйца. И всё же в иные моменты, в такие, например, как сейчас, я вспоминаю о ней и тут же по глазам Алисы вижу: она тоже!

Приехав как-то из тайги, я по обыкновению открыл своим ключом квартиру и еще с порога услышал – в ванной комнате шумит вода. Дверь в ванную была приоткрыта (при мне Ветка всегда запирается). Ага, не ждала, с удовлетворением подумал я и, разувшись, тихо пошёл к приоткрытой двери в предвкушении весёлой, с бурным протестом сцены.

В ванной под душем стояла Алиса, отфыркиваясь и оглаживая ладонями грудь, плечи. Она стояла вполоборота и тотчас увидела меня. Улыбка, предназначенная Ветке, еще сияла на моем лице – представляю, каким оно было дурацким!

– Откуда ты, прелестное дитя? – произнесла наконец Алиса тихо, вызывающе, продол-

жая оглаживать свое блестящее в струях воды стройное тело.

– Из лесу, вестимо... – выдавил и я первое попавшееся. – Ветка-то где?

– В магазин пошла.

– Давно?

– Да. К сожалению.

– Чего-чего? – слегка опешил я. – К чьему сожалению?

– К нашему общему, разве не так, лапа? – улыбнувшись, отчеканила она и замедленным, ленивым жестом растянула перед собой прозрачную шторку.

Вскоре вернулась из магазина Ветка. Мы втроем сидели за столом, пили чай, и Алиса, с полотенечным тюрбаном на голове, поглядывала в мою сторону, посмеивалась, а я ужасно злился: на себя, на Алису – за эту ее ироническую усмешку, на Ветку – за то, что не вовремя ушла из дому, забыв предупредить Алиску. Хотя знала, что я приезжаю...

Музыка умолкает, женщины берутся за хлопоты вокруг стола, обновляют его, а мы – нам жарко! – устремляемся на балкон, предварительно с треском отодрав заклеенную на зиму дверь.

Балкон завален хламом – ломаной мебелью, мешками, цветочными ящиками. Расчищаем себе местечко, облакачиваемся о барьер тесно, плечо в плечо.

Вечерний воздух свеж, даже морозен, приятно охлаждает лицо, грудь, щекочет в горле. Вспыхивает и гаснет на автоматическом реле световая реклама, блики ее масляно дрожат на асфальте. Внизу, прямо под нами, шаркают подошвы, стучат каблучки, слышен смех – рядом молодежное кафе, это оттуда.

Наискосок через улицу пятиэтажный дом с въездной аркой. Облицовочная плитка напоминает кольчугу. Две чугунные пушки на каменных лафетах охраняют один из парадных входов. Здесь краеведческий музей.

Я с детских лет знаю историю этих экзотических пушек.

С довоенных времён стояли они на стенах Кузнецкой крепости, до сих пор возвышающейся над междуречьем Томи и Кондомы. В первый грозный год Отечественной войны, когда наш

металлургический завод стал ощущать нехватку сырья, кто-то распорядился снять пушки и отправить на переплавку. Некоторое время платформа с пушками – их было десятка полтора – стояла в тупике железнодорожной станции, рядом с нашим домом. Потом кто-то спохватился и принял мужественное решение – старинные пушки не переплавлять (в то суровое время это было действительно мужественное решение), резонно заключив, что история наша не кончается.

Чугунно-тяжёлые туши пролежали под насыпью до конца войны, обросли бурьяном. Лежали они и несколько послевоенных лет – не до них было. Когда однажды мы, мальчишки, зарядили одну из пушек порохом, забили кирпичом и выстрелили, перепугав железнодорожный персонал и перепугавшись сами, о пушках вспомнили и увезли куда-то. Вскоре две из них я увидел у дверей городского музея. Стволы их на всякий случай были заклинены.

Но это не вся их история, особенно для меня. Одному из моих друзей детства, Шурке Багринцеву, страстному патриоту родного края, закономерно ставшему историком, пришла мысль: пушки не были привезены из России, а отлиты здесь, на месте, из металла, выплавленного кузнецкими татарами (так в дореволюционные времена звали шорцев). Он даже добился лабораторных анализов, которые якобы подтвердили его версию. Я уехал в институт и потерял Шурку Багринцева из виду.

Свой первый самостоятельный полевой сезон я провел в Горной Шории, в бассейне реки Мрассу. В маршруте я наткнулся на остатки какого-то старого очага. Каменные развалины, пропитанная древесным углем почва, тяжёлые лепёшки шлака – я как-то сразу решил: древняя плавильная печь. Смутило меня только то обстоятельство, что если это печь, почему она на таком расстоянии от реки, в глухом, малодоступном месте.

Я вспомнил о Шурке – его эта находка наверняка осчастливила бы. Я поставил на карте крестик. У меня мелькнула мысль: встречу Шурку – подарю ему карту. Может быть, сей крестик станет началом его учёной диссертации, чем чёрт не шутит.

Всё это я бегло рассказал своим друзьям, стоя на балконе, откуда были прекрасно видны пушки – наглядная иллюстрация моего рассказа.

Внизу шумела молодежь, из дверей кафе вырывалась музыка. Мне показалось, Бронька и Вовка Канончик больше прислушиваются к голосам внизу, где в пятнах света то появляются, то исчезают нарядные длинноногие девушки, чем к моему малосвязному рассказу. Я умолк, и тут Канончик вдруг сказал:

– Толик, извини, но ты меня умиляешь. Какой великолепный жест – подарок крестика для исторической диссертации!

– То есть? – не понял я.

– Если бы твоя находка случилась не в первый год самостоятельной работы, я бы завтра же поставил вопрос о твоей профессиональной непригодности.

– Ого! – сказал я, не понимая, всерьез он или так зло шутит.

– Не ого, а точно. Ну ты пойми истину. Разыщет твой Шурик по твоему крестикку эту самую плавильную печь. Напишет прекрасную диссертацию, в которой докажет, что еще триста лет назад воеводы Кузнецкой крепости лили для себя пушки из металла, который выплавляли аборигены. Это будет еще одна прекрасная, но никому не нужная диссертация.

– Прекрасное не может быть ненужным, – буркнул я.

– Может, Толик, может. А вот то, что ты нашёл печь, но глянул на нее не глазами геолога, а глазами прекраснородушного краеведа, – это, извини, выше моего понимания... Кстати, печь в глубине тайги – это скорее всего укрытие от сборщиков ясака, читал где-то.

– Ладно, – отмахнулся я, – знаю, что ты имеешь в виду. Раз есть печь, значит, должна быть руда.

– Именно. Не думаешь же, что аборигены возили руду на тачках с Алтая.

– Не думаю, – сказал я. – Но, во-первых, это случилось в конце полевого сезона, а во-вторых, о печи я упомянул в своем отчете...

– Который спокойно почивает на полках архива управления, – язвительно закончил мою тираду Канончик.

– Может, почивает, а может – нет. Ты же знаешь, в бассейне Мрассу сейчас найдено несколько рудопроявлений магнетита.

– Но не тобой же!

– Какая разница, – сказал я. – Дело сделано, а это главное.

– Чепуха! – зло сказал Канончик. – Или ты меня разыгрываешь, или в самом деле протак. Можешь меня обвинять в чем угодно, но в нашем деле не мечтать о первооткрывательстве – значит публично признаваться в своей посредственности и серости.

– Благодарю, – уже не сдерживая обиды сказал я. – В нашей системе, да и в других, работают тысячи, а открытия делают единицы. Что же, всем этим тысячам якобы серых и посредственных – застрелиться?

– Нет, не надо стреляться, – сказал снисходительно Канончик. – Вот ты, я считаю, только из чувства ложной скромности не стал в ряды единиц. И ведь не только себе сделал хуже, но и делу. Если бы ты проявил инициативу, магнетит, возможно, найден был бы в бассейне Мрассу на несколько лет раньше. Глядишь – и государство в выигрыше, и ты на коне.

– Ребята, ребята, – Бронька Афузов, стоявший между нами, не выдержал: у одного его уха бубнил я, у другого – Канончик. – Зачем эти скучные идейные разногласия? О роли личности в истории мы еще в школе проходили.

– Проходили, да не прошли, – оборвал Канончик и снова ко мне: – Твой друг детства, который историк, свихнулся, наверное, пока узнал происхождение вот этих мортир. Лучше бы он направил энергию на то, чтобы узнать имя человека, спасшего в войну их от мартенов. Человек остался безымянным, а он, если разобраться, сделал в историю края вклад больший, чем все твои кандидаты краеведческих наук вместе взятые.

Я подумал вдруг о Вовкиной потерянной ртуты, но у меня хватило здравого смысла промолчать. Все-таки то был случай более высокого порядка, чем моя пресловутая печь с не найденным по моей неопытности выходом магнетита. И потом: Вовка сделал всё, что было в его силах; исчерпал все сто процентов своих возможностей.

И подковырнуть его сейчас, поймать на слове было бы, ей-богу, свинство.

Вовка между тем размитинговался не на шутку. Он уже говорил не более не менее, как о счастье, обращаясь при этом к Броньке. И так громогласно, что внизу останавливались, задирая головы, прохожие.

– Самое идеальное счастье, – вещал Вовка, – складывается из сугубо земных предметов, как то: любимая женщина, увлекательная работа, возможность видеть вот так иногда ваши физиономии, благоустроенное жилье – что там ещё?

– Исправный холодильник, – подсказал Бронька.

– Да, и исправный холодильник. По форме, правда, вульгарно, а по существу тоже правильно. Тебе, лесной бродяга, разве понять...

– Послушай, Вовка, – перебил его Бронислав и оглянулся на балконную дверь, понизил голос: – Промеж нами, конечно, скажи: ты изменял своей жене?

Но Канончик был не из тех, кого можно смутить неожиданностью вопроса. Он усмехнулся:

– Я изменю жене при одном условии: если встречу женщину лучше ее.

– Неужели до сих пор не встретил?

– Почему же? Встретил.

– Ну и что? – Бронька с преувеличенным интересом сунулся к нему поближе.

– А ничего, – сказал Вовка. – У нее как раз муж оказался лучше меня.

Мы все трое рассмеялись. Я подумал: все-таки умница Вовка, хотя во всех его предыдущих рассуждениях мне что-то активно не нравилось. Именно «что-то», чего я не мог уловить.

В последних днях мая летели мы вертолетным десантом на один из гольцов Канымского отрога.

От Кузнецка было меньше часа лету, но я успел задремать, и лётчики разбудили меня, чтобы выхватить место высадки.

На куполе облюбованного нами гольца ещё лежал снег, как, впрочем, и на всех других. Он был, по всей видимости, не глубок, но садиться в него было всё равно рискованно. Лётчики подвесили машину, и мы сначала выпихнули в двери груз, потом попрыгали в снег сами и лежали

не поднимаясь до тех пор, пока «Ми-4», грохоча и прижимая нас воздушной струёй к снегу, не взмыл вверх.

Вместе со мной высадились шестеро рабочих. Из пары лыж мы соорудили нарты и, сложив на них тяжёлый груз – бензопилу, рацию, плотницкие скобы, канистры, палатки, кинув на плечи рюкзаки, стали спускаться вниз, в распадок.

Снег вскоре кончился, последние сотни метров мы шлёпали по какой-то болотистой каше, тащили нарты по острым свалам камня, сдирая с лыж стружку, и остановились у слияния двух ручьёв, заросших бородастым пихтачом и берёзами.

Здесь было место будущего поселка, и здесь нам, семерым, предстояло соорудить посадочную площадку и расчистить подходы к ней.

Погода была пасмурная, промозглая. Того и гляди хлестанёт дождь со снегом. Рабочие не мешкая принялись за палаточное жильё, а я отошёл на берег ручья.

С высоты, когда мы облетывали территорию, горы не казались такими крутыми, а распадок не казался таким глубоким. Теперь же, снизу, распадок наш напоминал длинное широкое ущелье со слегка развёрнутыми бортами.

Прямо напротив, через ручей, вздымался склон гольца Заповедного. Он уходил под углом градусов сорок пять, не меньше, и закрывал полнеба. На одной из нагорных террас его, на высоте почти полутора тысяч метров над уровнем моря, нам предстояло монтировать первые вышки.

В двух-трех местах редкая шуба пихтача была до самой подошвы словно прокошена гигантской косой. Следы снежных весенних лавин. Это было совсем худо. Коварная лавина может в один прекрасный день перекрыть ручей, и посёлок поплывёт.

Но в остальном место для посёлка было сносное: в клинышке между двумя ручьями разрослась куртина пихтача и рябинника. Я никогда не видел таких высоких рябин. Конкурируя с пихтами, рябины тянулись вверх, тонкие и ровные, как радиоантенны. И только на самой макушке выкидывали спасительный зонт ветвей, уже взывшихся зелёным дымком листвы.

Несмотря на паводок, вода в ручье была прозрачной, гулко шумела, серебряно горбилась в каменном ложе. Я прошёл чуть выше и по

упавшему через ручей дереву перебрался на другой берег.

В тени пихт сквозь сырую хвою просунулись зеленые тычки высокогорного папоротника. В этих тычках уже покоились туго скрученные в спираль, готовые к активной жизни листья. Ещё день-два – тычки лопнут, спирали листьев раскрутятся: и папоротник, как в сказке, за одну ночь вырастет на полметра, а то и выше. Удивительно изобретательна природа!

Я ходил по площадке будущего поселка, трогал ладонью глянцевиные прохладные стволы рябин и уже мысленно намечал: здесь встанут жилые дома; здесь, ближе к ручью, мехмастерская, а тут, на пригорке, контора партии или школа. У нас будут семейные, и школа (начальная, конечно) потребуются непременно.

Неужели, подумал вдруг я, здесь, в этом диком распадке, куда даже шорские охотники вряд ли забирались, скоро будут бегать дети, ночами засияет электричество, загудят дизеля и запахнет свежеепечённым хлебом?

В предыдущую свою партию, работавшую по фосфоритам, я пришёл, как говорится, на готовенькое. Посёлок стоял и жил, работа двигалась, и на приёмку дел у меня ушли всего сутки-двое. И хотя многое мне в посёлке не нравилось – даже общественный туалет был поставлен без учёта розы ветров! – я уже ничего не мог принципиально изменить.

Здесь же, на Канyme, я начинал с абсолютно нуля. Передо мной был чистый лист, и как заполню его я, таким он и останется на долгие годы, а может быть, навсегда. Пихты и ели, эти прибежища гнуса, спилим и выкорчует, а молодые березы и рябины оставим, пусть украшают поселок.

Я даже немного взволновался, присел на кочку, закурил. Как-никак я первый ступил на эту площадку.

А что, в самом деле? Чем чёрт не шутит, пока бог спит. Разведаю промышленные запасы, будет рудник, руда во как нужна Сибирскому заводу. А там глядишь – и город. Здесь будет город заложен! И заложил его я, Анатолий Михайлович Овчинников, скромный молодой человек, каких тысячи. Впрочем, нет, тут же поправился я. Конечно, не тысячи, значительно меньше. Всякому

ли в тридцать лет доверяют такую ответственную партию, как Канымская? С нами на первую высадку напрашивался лететь фоторепортер местной газеты, а я отказал, мотивируя тем, что нам дорог каждый килограмм груза. Зря отказал!

Признаюсь, никогда не страдал я излишком самолюбия. Но сейчас, сидя в гордом одиночестве на моховой кочке и глядя на растянувшийся подо мной глухой затаёженный распадок, жадно куря, я дал волю этому сладостному, кружащему голову чувству.

Мне уже не сиделось на месте, хотелось вскочить, бежать в палаточную нашу деревню, схватить пилу и, чувствуя в плечах радостную дрожь ее мотора, самому валить эти сырые, в бородах лишайника, дряхлые пихты (и непременно сохранять стройные рябинки!), корчевать взрывчаткой пни, расчищать плацдарм для посёлка. Моего посёлка!

В эти минуты для меня не существовало преград, которых бы я не смог преодолеть. Как жаль, нет сейчас рядом со мной моей Ветки, нет Броньки Афузова (оставшегося в городе в качестве нашего толкача), нет тихой болезненной Наташки, нет язвительного умницы Канончика, и Алисы – его экзальтированной жёнушки – тоже нет. Я бы сейчас не постеснялся при них произнести торжественный тост даже за себя, вернее – за нас с Брониславом, кинувшихся очертя голову в это никому не ясное до конца предприятие, каковым является всякая тяжёлая разведка.

Святое неведение молодости! Благодаря тебе сделаны величайшие технические открытия, исследованы земли, созданы шедевры искусства. Если бы я хоть в смутных видениях представлял, что ждёт меня, мой посёлок и всю налаживаемую мной здесь разведку, я бы по крайней мере не сидел так долго на сырой кочке, обуреваемый честолюбивыми сладостными мыслями...

Со мной была полевая сумка. Я вынул планшет-двухкилометровку, сориентировал на местности, стал на глазок прикидывать возможные трассы дорог к месторождению, мосты через ручьи, лавинозаградительные стенки. Мне не терпелось хотя бы грубо определить объемы предстоящих работ.

Но многое с моей кочки заслонялось деревьями, и я решил подняться повыше.

Я шёл, мало-помалу остывая от того будоражащего и пьянящего чувства, которое только что бушевало в моей груди. Под сапогами хрустели тычки папоротника. То и дело приходилось перелезать через завалы деревьев, где от гниющего корья пахло скипидаром и густо висели бледные, спирохетические корешки неведомых мне трав. Пихты стали редеть, появились каменные проплешины с красными пятнами накипного лишайника.

На самом пригорке росли низенькие, угнетенные высокогорьем елочки, а вся земля усыпана синими лапками кандыка, желтыми свечечками медвежьей пучки. Представляю, какое разливется буйство цветущих трав здесь в середине короткого лета!

Я сел на выступ кварцитовой плиты и, оглядывая окрестности, стал не спеша доставать из сумки планшет.

Глаза мои еще скользили машинально по открывшейся панораме: острым макушкам пихт, по каменным языкам курумника, ухотившим к заснеженным вершинам, по серебристой ленте не слышимого отсюда ручья, – а мной уже овладевало странное ощущение, как бы перед неизвестной, но неумолимо приближающейся бедой.

Что-то я видел минуту назад, но настолько неправдоподобное, что глазам не поверил, посчитав за игру природы. Я вскочил, уронив планшет, огляделся. Что я видел?!

Стояли ёлочки, одни тесно, другие поврозь. Мелконькие, в рост человека. В ветвях порскнула птичка с белыми щеками – тревожно чиликала. Косо дыбились, словно выломанные челюсти, коренные выходы кварцита.

Я отступил несколько шагов, снова всмотрелся. Нет, не отсюда, я здесь не проходил. Отошёл правее, где, притоптаны моими сапогами, продолжали вздрагивать, распрямляясь, какие-то стебельки.

Продвигаясь вправо, я уже вспомнил, что я такое видел, и тяжело, обречённо пошел к ёлочкам.

В глубине их, на совершенно ровном месте возвышалась надмогильная пирамидка. Снизу была она придавлена камнями, а сверху ее венчала звездочка.

Пирамидка – с железными грубыми швами, и звёздочка тоже из железа и приварена чуть косо. Щедро разлившаяся ржавчина на фоне красных лишайников делала пирамидку едва различимой.

Ни надписи, ни какого-либо знака – столько лет прошло, что может тут сохраниться?

Я оцепенело стоял над безымянной могилкой. Кто и когда похоронен здесь? Почему никто мне об этом не рассказал? Я знакомился со всеми архивными материалами по Кануму, но про этот случай – нигде ни слова. Судя по пирамидке и звёздочке, определённно одно: здесь похоронен изыскатель.

Сквозь наваленные камни проросла ёлочка. Дереву, несмотря на маленький росточек, от роду лет тридцать. Значит, трагический случай (что трагический – без сомнений) произошёл еще в довоенные годы. Тогда не было вертолётов, а самолету здесь негде приземлиться. Значит, пирамидку везли на выюке. Сначала похоронили, а потом, возможно уже на следующий полевой сезон, вернулись сюда с этим грубоватым, но долговечным памятником...

К концу третьего дня посадочная площадка – обставленный белыми флажками бревенчатый помост в два наката – была готова, расчищены от леса подходы. И на четвёртый день мы приняли первую машину.

С этого дня, если позволяла погода, вертолёт громыхал беспрерывно. Прибывали люди и грузы, вокруг аэродрома росли штабеля бочек, мешков, ящиков. Высились бухты троса, связки кроватей-раскладушек, между ними тюки со спецовками, гирлянды нанизанных на проволоку топоров – и прочее, и прочее. Летчики ругались, требовали разгрузить подальше, но подальше было или болото, или свалы камней. А до сухого и ровного места таскать некому, да и долго, а простаивать летчики не желали.

Палаточная деревня наша уже не умещалась на этом берегу, мы бросили через ручей временный мостик и стали заселять территорию поселка.

Весь световой день разносился по распадку стрекот пил, дымились костры, трещали и ухали падающие деревья, тюкали топоры.

Картина, если посмотреть со стороны, грандиозная, глаз радует. Я ел на ходу, пил прямо из ручья, потому что дойти до палатки некогда, подписывал и читал радиogramмы, там, где меня находил радист. Работа была на износ, но я чувствовал себя бодро и деятельно, потому что реально ощущал результаты нашего труда.

К нам через тайгу пробилась два трактора, таща цугом сани. На санях стояли пилорама, дизель для электростанции и токарный станок для механической мастерской. Следом пришли бульдозер и гусеничный тягач военного образца.

Это уже было кое-что. Мы задыхались без тягловой силы и транспорта. Теперь дела пошли веселее.

Канымское лето короткое: два месяца. По прямой мы были в каких-нибудь ста пятидесяти километрах от Кузнецка, но сказывалось высокогорье. Кровь из носу – к сентябрю мы должны иметь как минимум два десятка жилых домов, контору, магазин, пекарню, склад взрывчатых материалов, дизельную электростанцию.

В управлении, когда шла еще вёрстка наших планов, я выговорил условие: год не требовать от меня буровых и горных работ – с тем чтобы я, не распыляя сил, употребил его на строительство поселка, подъездных путей к месторождению, высоковольтных линий.

Моя партия первая получила право приступать к разведке лишь после того, как будет создана база. Этому способствовали не столько мой авторитет и моё красноречие, сколько то обстоятельство, что по сложности природных условий не было в системе управления партии, равной нашей.

Наконец прилетел Бронислав Афузов.

Прилетел он под вечер, последним рейсом, и я, упреждённый его радиogramмой, сделал попытку сервировать гостевой стол: отварил картошки, пожарил сковородку хариусов, пойманных нашими рыбаками в местном ручье, распечатал консервы. Недалеко за палаткой нарвал черемши и поставил в банку на манер букета. За бачком с питьевой водой пряталась стыдливо бутылка водки, ибо то и дело заглядывали посторонние.

Жил я в шатровой просторной палатке один; палатка эта была для меня одновременно и рабочим кабинетом, где я по утрам проводил раскомандировки, и частично складом материальных ценностей: связок рукавиц-верхонок, ведер, сухих батареек.

Бронислав привёз письмо от Ветки, с Данилкиными понизу каракулями, к письму в придачу – три пары носков, сетку лимонов и толстый журнал со стихами Леонида Мартынова. Письмо я пробежал глазами, не сходя с места, расстроганно улыбнулся каракулям, журнал кинул на кровать – люблю читать стихи наедине и под настроение; лимоны выгрузил на стол.

Тут же из Бронькиной скороговорки узнал, что Наташа передавала мне привет, Алиса Канончик велела поцеловать меня в носик, а Вовка предупреждал (по секрету от жен, конечно), что к нам направляются две юные биологини из Новосибирской академии наук. И чтобы мы тут не разевали рта, лесные пеньки.

Потом мы сидели с ним за столом, лицо в лицо, молчали и улыбались друг другу одними глазами.

Я был рад Броньке ещё и потому, что с его приездом с меня сваливалась часть производственных забот.

На деловой основе я схожусь с людьми легко и быстро. В партии меня окружали надёжные товарищи – и старше по возрасту, и младше по служебному положению, которых я уважал и которые уважали меня. Но не было среди них такого, с кем бы я мог вот так вот сесть и помолчать. А я убеждён – хороший друг тот, с которым хорошо молчитесь.

– Ну, давай, будем, – наконец сказал я.

– Давай, чтоб ее черти взяли, – сказал Бронька, и мы выпили и оба враз захрустели сочной черемшой из букета.

– Наташа как, здорова? – спросил я.

– Вполне, – сдержанно ответил Бронислав, и сдержанность эта показалась мне настораживающей.

– Нет, я в самом деле спрашиваю.

– Вот пристал! – Бронька вдруг рассмеялся, но глаза его при этом, я заметил, не смеялись. – Говорю же, всё путём. Ну, ещё по пять капель!

Потом я спросил: каким общественно полезным трудом занимается Владимир Канончик, к чему прикладывает свои недюжинные силы?

– Такое впечатление, – сказал Бронька жуя, – что его недюжинным силам подыскивают двухтумбовый стол в управлении.

В голосе друга послышалось лёгкое осуждение. Я возразил:

– Ну, Вовка – мозговой трест, ему там быть – рано или поздно.

– Поздно он обязательно там будет. – Бронислав помолчал, тщательно освобождая от костей рыбе брюшко. – Дело в том, что ему подыскивают, а он отказывается. Только что отказался от стола заместителя Бубнова. Однотумбовый стол! Или он на загранкомандировку виды имеет? У него не разберёшь.

– Да нет, какая загранка, – убежденно сказал я. – Он бы с нами поделился.

– Он только тем и занимается последнее время, что делится: одну часть говорит, а другую себе оставляет.

– Да что с тобой, старина? – удивленно воскликнул я. – Или ты что-нибудь знаешь?

– Нет, – сказал Бронислав, – слава труду, не знаю. Давай лучше ещё по капле...

У меня не хватало специалистов: не было старшего механика (а уже надо монтировать станцию), не было электрика, участкового геолога, знающего нормировщика. Я искал человека, знакомого со скальными работами, короче – дорожника. Я, наконец, работал без старшего инженера партии; серьёзные, опытные инженеры ко мне не шли, потому что работа адовая, а бытовые условия на уровне полевых; а несерьёзных и неопытных я сам не хотел.

Пока не начались геологические работы, должность старшего инженера взялся исполнять Бронислав. Основным объектом его стала дорога – от посёлка на месторождение. Он имел полное право отказаться – его ли это дело, но он не отказался, и у меня гора свалилась с плеч.

Мы намечали пробить дорогу до зимы, с тем чтобы, когда весной начнёт сходить снег, сразу забросить на террасу буровое оборудование и монтировать вышки. В дорожную бригаду были

включены два взрывника, бульдозерист и пятеро подсобных рабочих.

Одновременно другая бригада тянула на гору высоковольтную электролинию.

Эти работы отвлекали у партии немного сил, и я радовался в душе, что строительство поселка укладывается в запланированные сроки, то есть до выпадения снега.

Несмотря на мой опыт работы в тайге (правда, очень относительный), в значительной мере оптимист во мне брал верх над пессимистом. Я знал одно: при организации крупного дела, связанного с участием коллектива разношерстных, вчера еще не знавших друг друга людей, всякого рода накладки, неувязки и промахи, вызванные и объективными обстоятельствами, и складом человеческих характеров, естественны и закономерны.

Привыкнуть ко всему этому нельзя, а вот не дать себе зарыться в них, уметь выкарабкаться, держа перед собой главную цель и вдохновляясь ею, – это качество для руководителя, по-моему, просто необходимо.

Каным для меня в этом смысле не стал исключением. Сначала потянулись мелкие неприятности: исчез из пекарни весь запас дрожжей; приехали семьи двух рабочих (несмотря на мой категорический приказ не вызывать семьи, пока не построим жильё); расплавились подшипники тракторного двигателя; упал со сруба пьяный плотник; прибыла в партию смазливая фельдшерица, взявшаяся за врачевание моих молодых в основном с помощью собственного темперамента...

А однажды прибежал парнишка из бригады, монтировавшей в посёлке воздушную электросеть. В одном пролёте провода легли на рябину, бригадир интересуется: как быть?

Считая вопрос об эстетическом виде посёлка исключительно принципиальным, я тут же пошёл вслед за парнишкой и набросился на виновных:

– О чём вы, дьявол подери, думали, когда столбы намечали?

Бригадир – грузный и рябой, с маленькими умными глазами – почесал под кепкой висок:

– Мы думали о столбах.

Этот убийственно простой ответ поставил меня в тупик: в самом деле: о чём же еще? Я плюнул и в сердцах махнул: что теперь – рубите. Не перекапывать же линию!

Потом начались вещи куда более серьезные.

Но здесь мне хочется рассказать об одном замечательном природном явлении Каныма. А именно: о летних грозах. И кое о чём другом.

Я и раньше слышал, что грозы над Большим Канымом разражаются необыкновенные, лихие, ни с чем не сравнимые. Но одно дело слышать о них, другое – увидеть и почувствовать самому; да, и лихие, и необыкновенные, и грандиозные – с точки зрения любителя экзотики и острых ощущений. С точки же зрения хозяйственника и материально ответственного лица, каковым, прежде всего, являюсь я, – просто разнужданные.

Нейтральной погоды – тихой пасмурности, глухих облачных разливов, сухой среднерусской хмури – здесь летом нет. Такое если и бывает, то лишь в качестве переходного периода. Одно из двух: или сияет маленькое, высокое, крепкое, как перекалённый орех, солнце, или бушует стихия – яростная, но, как и всякая ярость, непродолжительная.

Вершина кряжа похожа на укрытое одеялом колено. Сверху овальная гладкость, а книзу – складки, складки. И чем ниже, тем складки бесформенней и грубей.

От посёлка виден только гребень ближайшего отрога – полутундра, серо-зелёные массивы стланика, выветренные клыки коренных пород. Вершина высовывается над гребнем бледным и несолидным куполом. Такое впечатление, что стоит гребню встряхнуться, и куполок, как горошина, скатится в складки. Но это обман перспективы – до «куполка» добрых пять километров.

Над куполом сперва с дрожанием сгущается воздух; прозрачный дымок вытекает откуда-то из-за горы и, как кольцо Сатурна, вяло опоясывает купол. Кольцо толстеет и сползает вниз, исчезает с глаз, и вершина снова чиста, и светит солнце; но в небе уже преобладает пепельный цвет, и на все вокруг падает тень. Именно не набегаёт, а падает – сразу, со всех сторон.

Из-за полутундрового гребня неожиданно близко и потому угрожающе выплывает раздёрганная по всему горизонту туча. Верхняя её кромка заворачивается, заворачивается против движения – так иногда в кино крутятся наоборот колеса. Но там оптический обман, а здесь все реально, зримо и потому впечатляет.

Туча – если можно назвать тучей шевелящийся клубок – не плывёт, а скатывается по отрогу и одновременно пухнет вверх, тмит небо. В её недрах пляшут белые, точно блеск эмали, сполохи.

И вот уже сечёт крупный дождь или град, но такой редкий, что можно считать каждую градину.

Уже темно; небо начинает покряхтывать, будто тяжёлый, перегруженный воз. И вдруг вы видите в окно или в прорезь палатки, как слева, справа, спереди в землю и во что попало – дерево, строение, камень, тракторную трубу – впиваются белые змеиные язычки. Грома нет, а только треск и яростное свечение, молнии не успевают разветвляться, бьют тупо, коротко – земля рядом.

Вы с трепетом ощущаете, как наэлектризовываются ваши волосы и вы сами превращаетесь в лейденскую банку.

Тут я забегу вперед, в следующее лето, когда уже бурились вышки, и люди на горном участке жили в металлических, покрашенных алюминием вагончиках. На вышках выбивало фазы, сгорали трансформаторы, сами по себе звонили телефоны. При этом из аппаратов, как из буржуйки в ветреный день, сыпались искры. Редко такая гроза обходилась без пожаров.

Это была не гора, а какой-то адский конденсатор.

– Что вы хотите, – говорили знатоки, – земля нашпигована железом.

Мы отпраздновали первые новоселья: были сданы контора, магазин, пекарня, склад взрывчатых материалов и пять жилых рубленых домов. Один дом пришлось сразу же отдать двум контрабандой прибывшим семьям (не жить же с детьми в палатках), во втором устроили столовую; а остальные три дома были приспособлены под временные общежития.

Бронислав со своей шумной, грохочущей на всю округу бригадой уже пробил полукиломе-

тровый косогор щебёночного грунта, преодолел каменную осыпь и первую скальную выемку; впереди оставались еще три выемки и затяжной серпантин с многократным пересечением валунника.

Приходил он в конце дня усталый, покусанный оводами и обожженный солнцем, сразу лез в ручей, рычал там и ухал. Мы ужинали и немногословно обменивались новостями; Бронислав подтрунивал над своей новой специальностью, говорил, что, когда его турнут из геологов, он напрямик пойдет в дорожники, а вот куда пойду я? И вообще строительство – это вещь, сразу видны результаты. А геология что такое? – сплошная хиромантия и гадание на кофейной гуще.

У него еще хватало энергии разрубить пару чурбаков на дрова, побаловаться с подаренным мне щенком, которого мы назвали Канымчиком. Потом он заваливался на раскладушку и брал в руки книгу.

А я снова уходил в контору – составлять ведомости, сметы, писать заявки, – словом, как кидал мне вслед Бронислав, «думать, как жить дальше».

Но была у меня еще работа, о ней не знал никто, даже Бронислав. И не работа, а так, лёгкое хобби, забава, приятное времяпрепровождение.

Оставшись один, я вынимал из стола пачку цветных карандашей, карту-схему поселка и погружался в мир, так сказать, грез.

Я сочинял генеральный план моего поселка, сообразуясь с собственным вкусом и собственным опытом. Исходной идеей плана было – вписаться в природу! Распадок наш уже не казался мне таким узким, похожим на ущелье с развернутыми бортами. А два сливающихся ручья (почти речки!) виделись уже не помехой, а украшением центральной части плана. Специальными значками были отмечены все сохранённые березы и рябины (ох, дались мне эти рябины!), могила неизвестного изыскателя и крупный, с железнодорожную цистерну, валун, назначения которому я еще не придумал.

Трудился я над планом увлечённо, как молодой стихотворец над первой тетрадкой стихов, и только предельная усталость заставляла меня бросать карандаши и идти спать.

В один прекрасный день с неба спустился не кто иной, как сам Владимир Канончик.

Его я увидел вечером, когда пришёл с террасы, где сформированный второй строительный отряд пробивал дорогу через курумники. Было еще светло. Вовка стоял возле соседней палатки, с топором в руках, рядом высилась куча поленьев.

После его эксклюзивной информации к нам в самом деле прибыли две биологини, с охранной грамотой Академии наук, и поселились рядом со мной. Сейчас одна из них, в спортивном, туго облегающем чёрном костюме – этакая грациозная пантера на фоне оранжевой палатки – старательно складывала дрова поленницей, хотя в этом было мало смысла, не на зиму же!

Вовка воткнул топор, подошёл – пузичко вперед, до ушей улыбка. Как всегда, верхняя половина его костюма выглядела безупречно – рубашка, галстук, в широких манжетах янтарные запонки.

Мы коротко потискались друг друга.

– Хваток! – сказал я, кивнув в сторону оранжевой палатки. – Не ожидал.

– Помочь слабому – долг всякого здорового и праздного мужчины, – скромно пояснил Вовка.

– В гости? – Я ткнул его кулаком в живот.

– Ага; а что? Не примешь?

– Ладно, потолкуем, дай сполоснуться. – Я сдёрнул со шнура полотенце и тут только увидел при входе чемодан, а рядом – зелёный рюкзак, огромный, как метеорологическая гондола.

– Гм, с таким багажом ездить по гостям просто неприлично, – заметил я. – Если, разумеется, в нем не коньяк... В командировку?

– Вроде этого. Размяться.

– Жаль, Броньки нет, на террасе днюет и но-чует.

Я направился к ручью. Вовка с сопением прыгал сзади с валуна на валун, словно играл в классы.

– Ты действительно засиделся, – сказал я, отдуваясь, ощущая, как вместе с пылью и потом ледяная скрипучая вода смывает усталость и зуд комариных укусов, – святая минута!

Вовка поднял обеими руками камень и, хохоча, обрушил его в воду – брызги полетели на оба берега. Я с интересом посмотрел на него:

– Вовик, может, ты бы лучше и мне дров на-рубил?

Он с рычанием схватил меня, взвалил на плечо и потащил к палатке. Семьдесят два килограмма моего скромного, но живого веса; накопил силу, дьявол!

– Никакого почтения к чину, – сдавленно шипел я, даже не пытаясь вырваться. – Учти, не от-мечу командировку!

За столом с насоро собранным ужином (в не-объятном рюкзаке нашлась, разумеется, и бу-тылка коньяка) Вовка, вдруг посерьёзнев, при-знался: приехал он не в командировку и тем бо-лее не в гости, а работать.

Я никак не мог взять в толк, о какой работе идет речь: он, по всем слухам, был уже моим, хотя и косвенным, начальником – занимал долж-ность в Управлении.

– Ко мне в партию? – продолжал я тарачить-ся на него. – Кончай, Вовик, не держи меня долго в дураках. Отдел кадров для итээр твоего ранга – в городе, в Управлении. Сие тебе извест-но не хуже меня.

– А ты – без рангов, возьми в участковые.

Он улыбнулся; улыбка получилась какой-то кисло-напряжённой. Словно он пошутил и уви-дел: шутка не к месту.

– Участковым геологом? – переспросил я.

– Да, старина.

Я понял – это серьезно – и замолчал. Ждал, что Вовка выскажется до конца.

– В общем, – сказал он, – я законфликтовал. – Еще зимой дал главному согласие сесть на от-дел, а потом – в кусты. Сам понимаешь, рано мне за конторский стол. Попросился в твою партию. Он меня и слушать не стал, выпер из кабинета. Я кинул заявление, чтоб подчистую...

И после этого объяснения мне кое-что остава-лось неясным, однако пытаться Вовку дальше мне не захотелось. Разговор двух друзей переходил – мне почувствовалось – в разговор начальника с подчинённым. Как это выразился Бронислав? Одну половину говорит, а другую себе оставля-ет? Похоже...

– Послушай, – осенило вдруг меня, мою слег-ка хмельную голову. – Может, у тебя с Алиской что? Ты и рванул куда подале. Это шас модно.

Вовка рассмеялся:

– Ну ты даёшь! У меня с Алиской? Скажу больше: отыщется тут хоть дохленькая комнатёнка, Алиска готова сюда завтра же.

Вовка посмотрел на меня со значительностью, вылез из-за стола, молча стал расшнуровывать рюкзак. Долго вытаскивал из его недр что-то громоздкое – сыпались на пол носки, рукавицы, свитера.

Оказалось: деревянное – донышко углом – корытце. Старательский лоток! Показал и тут же запихнул обратно.

Он вернулся к столу. Я смотрел на него – на его слегка курчавую лобастую голову, на крупное лицо с буграми надбровий, как он неторопливо, тщательно жуёт, – думал: вот это Вовик, вот это характер! Какая тут, к чёрту, загранка, какой двухтумбовый стол! Как мы были мелки с Бронькой и наивны в своих размышлениях о Канончике. Друзья, называется, пуд соли съели!

– Ну вот, начальник, теперь ты знаешь всё, – произнёс наконец Вовка. Будто я только что выслушал его длинную исповедь, а не пять минут абсолютного молчания. – Я буду вкалывать, как все. Ты на этот счет можешь быть спокоен. Но остальное время – моё. У меня одна просьба, как к другу: не мешай мне. Честно говоря, Алиску я оставил в слезах, но Алиска меня понимает. Ты не догадываешься, как это важно, когда понимают.

Лицо его дрогнуло, он стал торопливо закуривать.

– Стационарная партия на Канyme – как подарок судьбы. Не воспользоваться им – значит жалеть потом всю жизнь. И мое жеребячье поведение у ручья... Ты можешь понять...

Я сказал:

– Если честно, Вова, всё это пахнет донкихотством, но твоя убеждённость... Старина, я снимаю шляпу.

Вовка поморщился:

– Ладно тебе, шляпу снимает! – буркнул он. – Хватит, проехали. И вообще хватит об этом.

Он растолок в баночке окурков, прищурился на остаток коньяка:

– А не пригласить ли нам в гости эту девочку? Не зря же я топором махал. Она как – в смысле коммуникабельности?

Я рассмеялся.

Нет, подумал я, в этом парне есть жизненная сила. Дай бог, чтобы она не была потрачена на поиски перпетуум-мобиле.

Дорожникам оставалось пересечь последний язык каменного свала, а там около километра земляной выемки – и вот она, нагорная терраса. Зелёные валуны диабазы, угловатые, как надолбы, взрывники крошили накладными зарядами.

Над Канымом от утра до вечера гроыхала канонада.

В августе ночи стали холодными, температура до нуля, палатки уже не спасали. На террасе, на месте будущего горного участка, мы поставили домик и телефонизировали его. В нём ночевали строители. Там же обосновались мои геологи, возглавляемые Брониславом. Я освободил его наконец от дороги, и он взялся за своё прямое дело – готовить проект на бурение. В домике на террасе поселился и Вовка Канончик.

К сентябрю плотники срубили баню, десять двухквартирных домов, школу. Однако звонку в нашей школе не суждено было прозвучать. Не имея твердых перспектив на жильё, почти никто не рискнул везти сюда детей. Школа была отдана под общежитие. Людей – и Управление, и экспедиция – присылали много, но многие и уезжали, особенно специалисты. Это были, как правило, люди уже в годах, семейные. Для них вопрос жилья и бытовых удобств решал всё. Зима уже нависала над Канымом, а мы план жилого строительства едва выполнили наполовину.

Но случались у нас и маленькие праздники. Помню, когда впервые застучали дизели станции и по всему поселку вспыхнул свет! Загорелись лампы и на уличных столбах – у конторы, над крыльцом магазина, на самой станции, стоявшей у ручья. По темной ленте ручья заискрились золотые змейки.

Я отошел в сторону от станции, от столпившихся людей, огляделся и почувствовал: волнуясь, чёрт меня дерит!

Вскоре мы отправляли наверх первый тракторный поезд, гружённый буровым оборудованием. Событие это тоже вылилось в маленькое торже-

ство. Правда, отсутствовали внешние атрибуты праздничного – ни речей, ни оркестра.

Праздник звучал в нас самих. Это было видно потому, как весело и шумно, с шутками втаскивали на сани станок, как хлопали по спине смущенного вниманием тракториста, как дружно по обычаю расселись кто на что сумел. Точно не трактору, а всем нам предстояло отправиться в тяжёлый путь на террасу.

А еще позже, в конце октября, когда на террасе уже всюду мёл снег, мы собрались в тепляке первой смонтированной вышки – на первую забурку. Сменный мастер взялся за рычаги гидроразведения, станок сдержанно загудел, штанга со снарядами пошла вниз и, легко пройдя наносы, упёрлась в коренную породу. Станок задрожал, завыл, штанга, бешено вращаясь, заблестела эмульсией – разведка Канымской аномалии началась.

Здесь же в тепляке был и Вовка Канончик. Он стоял, запахнувшись в полушубок, серьезно, даже с каким-то детским интересом смотрел на всё происходящее.

Во вторую или третью еще субботу пребывания на террасе Вовки Канончика мне позвонил Бронислав:

– Начальник, выслушай меня. Канончик опять вчера умотал в двухдневное странствие. А погода – взгляни какая.

Я посмотрел в окно: сеял мелкий дождь.

– Ты беспокоишься о его здоровье? – спросил я.

– Я беспокоюсь о его жизни, – сказал Бронислав. – Он уходит один чёрт знает куда. Заломать ногу на курумах по такой погоде – раз плюнуть. И вообще я не имею права разрешать одиночные маршруты.

– Ты же знаешь, он уходит на южный отрог.

– Отрог большой. Если что случится, ты мне подскажешь, где его искать?

Бронислав на том конце провода укоризненно помолчал.

– Ну лады, – сказал я; беспокойство друга мне показалось вполне обоснованным. – Как вернётся, пусть скатится в посёлок, я поговорю.

И когда Вовка пришёл ко мне в контору, заметно осунувшийся, с обветренными скулами,

я сразу без обиняков высказал ему наши с Бронькой опасения.

– Ты не можешь запретить мне использовать свободное время, как я хочу, – хмуро проговорил он, выслушав меня.

– Речь не о запрете. Мы должны знать твоё местонахождение. В конце концов, это наше право.

Вовка, помедлив, вытащил из полевой сумки карту, развернул передо мной. Я узнал знакомые контуры южного отрога. Нижняя часть листа – довольно незначительная – была аккуратно заштрихована пикетажным карандашом. Этакое растопыренные ёлочки, нанизанные на хвостики ручьёв и речек.

– Неужели всё нынче? – удивился я.

– Нет, конечно. Вот мои еще студенческие маршруты, – ткнул он пальцем в одну из ёлочек. – Это – работа летнего отряда, хороший кусок. Тут последние результаты, то есть прошлогодние. А нынешние – вот она, гусиная лапочка.

Она была удручающе мала, эта лапочка, и Вовка, перехватив мой взгляд, сказал:

– Только не смотри на меня, как на больного. Я вполне здоров. И даже здоровее, чем ты думаешь. – Он провёл ладонью по карте, разглаживая сгибы, пальцы его подрагивали. – До зимы мне надо пройти все притоки Чернявой, по её правому борту. Это, как видишь, совсем рядом. Дни сейчас будут короткие – и маршруты короткие. А с весны... – он опять уловил в моих глазах сочувствующую усмешку (видно, ему показалось, что я усмехнулся) и оборвал себя: – Словом, ты понял принцип, я тебе оставлю дубликат карты. Будешь отмечать параллельно со мной...

Первая скважина, пройденная до проектной отметки пятьсот метров, руды не показала, хотя пересекала жилу бурого граната, её верного спутника. Вторая, третья и четвертая в этой сетке также прошли мимо рудных полей.

Было огорчительно, однако не настолько, чтобы делать какие-то определённые выводы. Шла своего рода пристрелка, и мы уповали на будущее.

Только пятая или шестая скважина подсекла долгожданную руду. Едва я успел отправить наверх это оптимистическое известие, как руда исчезла. Опустившись на три с половиной метра

по пласту, буровой снаряд уперся снова в диоритовую крепчайшую породу.

Потом наши буровые бригады, продвинувшись почти до восточной границы террасы, еще несколько раз прокалывали рудные тела. Но они тут же, через считанные метры, выклинивались, оставляя нас в досадном недоумении.

Огорчительной была не столько малая мощность тел (честно говоря, смехотворно малая) и даже не их скорая выклинка. Хуже было то, что эти мелкие блуждающие тельца, так называемые линзы, оказывались там, где мы их не ожидали. Наше предположение: руда на отметке ста пятидесяти метров (именно там рисуется эпицентр аномалии), а руда выскакивает на пятистах или даже глубже. Это не давало никакой закономерной картины, не подходило ни под какую классическую теорию залегания железных руд.

Геологи мои, мои оракулы-теоретики во главе с Афузовым, не успевали разводить руками. В который уже раз перелопачивали они геофизические данные и данные, полученные в свое время горными работами – шурфами и канавами. Руда рисовалась на разрезах близко к поверхности, под самые наносы, – и рисовалась почти всюду по площади. Факт сей не столько обнадеживал, сколько настораживал: в горной местности, где в геологические эпохи происходили сдвиги и смещения, закономерней было ожидать не сплошные рудные поля, а их куски, но куски вполне приличные, в миллионы тонн.

Мы же ловили всё время какие-то хвостики от ящериц.

К Новому году удалось смонтировать шесть вышек. Было пройдено скважинами в общей сложности пять тысяч метров. Благодаря слабой пересеченности террасы и сравнительно пологим склонам вышки удавалось передвигать без демонтажа копров. Это давало заметную экономию времени, и наш план буровых выполнялся без особых нарушений.

И вскоре лёд тронулся.

Во второй половине декабря дальняя вышка, пристроившаяся почти под самым гребнем хребта, на глубине ста с небольшим метров вошла в руду (и тоже неожиданно для моих оракулов) и шла по ней все оставшиеся дни старого года.

Восемь метров... двенадцать... четырнадцать... двадцать два!

Бронислав чувствовал себя именинником, губы его то и дело расплывались в чуть сдерживаемой улыбке. Но когда его начинали поздравлять, он отмахивался – и вполне резонно: успех единичный и ясности общей картины аномалии не даёт. Поживём – увидим. Бронька крепко помнил свою самородную медь!

– Тридцать пять... сорок пять... – летели из-под хребта веселые рапорты.

Это был уже не хвостик от ящерицы, а, пожалуй, сама ящерица. О таком новогоднем подарке мы могли только мечтать.

До Нового года оставалось три дня.

Вырваться в город всем троим не было никакой надежды, и я предложил Вовке и Брониславу позвать наших жен сюда, в посёлок, и устроить встречу Нового года здесь.

К этому времени я уже обитал в бревенчатом доме, в одной его половинке. Эту половину составляли комната и кухня с кирпичной печкой. Стояли самодельный стол, тумбочка с приёмником и три кровати – моя, Вовкина и Бронислава. Когда они спускались по делам в посёлок, то ночевали здесь, у меня. Так что фактически это была наша общая квартира.

Мы рассудили так: для нашего холостяцкого жилья квартира была что надо – тепла, добротна, однако с точки зрения приёма гостей имела изъян: была оштукатурена, но не побелена – руки никак не доходили.

Мы объявили аврал.

– Только молитесь на погоду! – предупредил я.

– Лбы расшибем! – заверили меня друзья и враз, наперегонки помчались на склад за известью.

Аврал получился что надо! По духу своему, по весёлой атмосфере – с шутками, с подначкой – напомнил мне он наши студенческие времена. Я раскочегарил печь, стало жарко, мы разделись до плавок, известь летела со щёток дождём, утробно гоготали из комнаты мои расходившиеся друзья.

– А, козлы горные, застоялись, – злорадствовал я, танцуя у печи и ворячая палкой в кипящем

ведре наши рубахи, – стирка была вторым пунктом нашего аврала.

– Молчи, руководящий стручок, – отвечал Вовка, оскаливая свою заляпанную физию. – Радист наемни жаловался: эрдэ, говорит, идёт под грифом «служебная», а в ней сплошные «целую» да «обнимаю», злоупотребляешь, начальник!

Вероятно, мы крепко молились. Тридцать первого декабря, в день прилёта наших жен, погода стояла ясная, с легким морозцем, солнечная. В снежном вихре, поднятом приземлившимся вертолетом, вспыхнула на мгновение радуга.

Первой выскочила из машины Алиска, кинулась ко мне на шею (я стоял всех ближе), мех ее воротника защекотал мне лицо, потом в дверном проёме показалась розовая шапочка Наташи. Наташа спрыгнула и приняла на руки моего Данилку; следом спустилась по подвешенной лестничке Ветка, прикрываясь от солнца рукавичкой.

С аэродрома мы шли по узкой глубокой тропинке гуськом. Канымчик лалял позади, барахтаясь в рыхлом снегу в попытке обогнать нас. Женщины вертели головами, обозревая наши суровые окрестности, отчего моя Ветка, оступившись, ткнулась рукавичками в снег. Этот незначительный факт вызвал всеобщее ликование и массу острот.

Я шёл последним, нёс на руках Данилку. Парень был укутан, как полярник, блестели одни глаза. Он пыхтел и шевелился, в надежде обрести самостоятельность. От этого живого шевеления сына на руках у меня горячо жгло горло. Когда мы вышли на протоптанную улицу поселка, я поставил Данилку на ноги, и он побежал-покатился, растопырив ручонки, – расталкивая всех. Рядом радостно прыгал, заразившись нашим настроением, Канымчик.

Я приотстал. Ветка оглянулась, пристально посмотрела на меня: на ее розовевших щеках дрожала улыбка. Она поняла моё состояние.

Попадавшие нам навстречу останавливались, поздравляли с наступающим. Соседи выходили на крыльцо, здоровались. Все знали, что к нам прилетели жёны, и всем хотелось непременно взглянуть на них.

Часов в восемь вечера мы перетащили одну кровать на кухню и, уложив Данилку, сели

в комнате за давно приготовленный праздничный стол.

А ровно в полночь, когда включенное на всю мощь радио провозгласило наступление Нового года по нашему часовому поясу, мы, тепло одевшись, с шумом и гвалтом повалили на улицу.

Посёлок сиял зажжёнными окнами. В морозном воздухе фонари возле конторы и на площадке перед мехцехом висели, как шары-одуванчики.

Свет наших окошек слабо выбеливал стоявшую в углу двора ель, похожую на заснеженный стог сена, – так она была широка и разлаписта. Мы обтоптали вокруг снег и, взявшись за руки, заплясали дурашливым хороводом.

Но вскоре все запыхались, хоровод расстроился. Воспользовавшись моментом, я вытащил из-под полушубка бутылку шампанского и выстрелил. Вместе с пробкой фонтаном выхлестнуло половину содержимого – вино нагрелось за пазухой. Меня громко единодушно осудили, и я, чтобы как-то реабилитироваться, объявил: вторая бутылка находится на ёлке, только нужен смельчак, чтобы её достать!

Ничего, разумеется, на ёлке не было, но женщины поверили и потребовали смельчака. И тотчас же вызвался Вовка. С пыхтением и кряканьем полез он на ель. Снизу летели подбадривающие крики. Вовка уже вскарабкался метра на три, но вдруг оскользнулся и под треск ветви рухнул в сугроб.

Он выбрался из снега – женщины заверещали от восторга: в руке Вовка держал бутылку шампанского!

– Ну, Канончик, – смеялся и я, – ну и ухо!

Бронислав, видя, какую славу среди женского коллектива приобрёл Вовка, изъявил тоже желание достать с елки шампанское. Но все закричали, что фокусы не повторяются, повалили Броньку в снег и просто вытащили у него бутылку из-за пазухи.

Когда возвращались в дом, Ветка задержала меня в сенях, прижалась разгорячённой на морозе щекой к моему лицу.

– Какие молодцы, что вызвали нас. Девчата просто без ума, довольны.

– А ты? – спросил я.

В сенях было сумрачно, отчего Веткины глаза казались большими и глубокими. Я сдёрнул с ее руки варежку с накатанными на шерсти ледышками, прижал к губам пахнущую снежной влагой ладонь.

– Соскучились мы с Данилкой, – прошептала она. – Скоро вы тут школу постройте?

– Теперь скоро. К будущему году обязательно.

– И совсем не приезжаешь, жулик. – Дыхание ее тёплыми толчками касалось моих губ.

– Теперь буду, – пообещал я. – Дергачёвы из Вьетнама что пишут?

– Да! Забыла тебе сказать. Они продлили контракт на два года, так что радуйся.

Известие было в самом деле из приятных, но я, придав голосу уверенности, сказал:

– Через два года нам их квартира уже не понадобится. Заимеем свою.

Двери изнутри дома со стуком распахнулись, в глаза ударил электрический свет.

– Ага! – вкрадчиво-торжествующим голосом сказала Алиска. – Они здесь, голубчики, обнимаются, а мы там в коллективе хоть пропадай, да?

Потом мужская половина нашей компании стала решать проблему ночлега – для этого мы вышли на улицу покурить. Решили так. Поскольку Данилка уже спал на кухне, нам с Веткой предоставить кухню: так сказать, отдельный номер. А комнату перегородить посередине брезентовым пологом, который имелся в кладовой, – и все дела!

Жены приняли наш вариант со смущением, но и с пониманием сложившейся обстановки.

Когда наконец все уgomонились, был погашен свет и все улеглись, затихли, Вовка вдруг в тишине засмеялся, встал и прибавил в транзисторе звуку.

Мелодии праздничного концерта густо заполнили дом. Мы с Веткой в нашей персональной кухоньке вели себя как молодожены, то коротко засыпали, то враз просыпались и говорили шепотом.

– Что ты со мной делаешь, Овчинников, – переведа дыхание, тихо смеялась Ветка. – Ты совсем тут, в своей тайге, одичал...

– Ага, – счастливо, успокоенно соглашался я, зарываясь губами в мягкий ворох ее волос.

А мелодии продолжали звучать, хотя были уже другие; казалось, ими навсегда пропитан весь этот бревенчатый тесный дом.

Стекло нашего кухонного окна заискрилось, оранжево-белый квадрат света прыгнул на пол, скользнул по нашим лицам и, взметнувшись по стене к потолку, погас. Минуту еще в глазах дрожали оранжевые круги.

Кто-то в посёлке салютовал Новому году осветительной ракетой.

– Скорее бы вы с жильём здесь, – вздохнула Ветка, – а то девчонки наши совсем приуныли – сколько можно одним. Особенно Алиска... Хотя, – добавила Ветка, помолчав, – я бы на вашем месте дала жильё сначала Афузovým.

– Почему?

– Ты знаешь, – Ветка вздохнула опять и уютно ткнулась мне в шею. – С Наташкой последнее время творится что-то неладное. Вбила себе в голову, что у нее больше не будет ребёнка...

– Понятно, – сказал я. – Но вот у Канончиков совсем никаких попыток, и Алиска ничего, не расстраивается.

– Канончики – тут дело особое.

– Особое?

– Ладно, – прошептала она, помедлив. – Спи, много будешь такого знать, скоро состаришься.

Я хотел было обидеться, но не успел: как-то вдруг и незаметно уснул.

Январь нового года, который начался, вернее – продолжился для горного цеха таким успехом, закончился тоже с успехом: подхребетная вышка подарила нам восемьдесят пять метров руды.

Мы считали январский успех началом нашей победы на Каныме. А это было началом нашего поражения.

Заложенные рядом вышки одна за другой, с удручающим однообразием стали приносить отрицательные результаты.

Мы сгустили сетку – мимо, мимо!

Каротажные приборы фиксировали в скважинах бешеные магнитные поля, это сбивало с толку больше, чем отсутствие рудных тел.

Подхребетная руда угрожающе вырисовывалась на кальке в виде одинокой линзы, поставленной на ребро и проколотой буровым снарядом сверху вниз.

– Недолго музыка играла, – недолго фраер танцевал, – изрёк по этому поводу с горькой усмешкой Бронислав.

На террасе продолжалось отбуривание проектных глубин, а нам уже приходилось обращать свои тоскующие взоры к следующему участку – Заповедному.

Заповедный был недалеко от террасы, всего в нескольких километрах, между ними кар – этакая сплюснутая с боков, засыпанная валунами гигантская воронка. Для техники абсолютно непроходима. Круглая дорога виделась только по руслу ручья. Мы начали по ручью выборочно скальные работы. С тем чтобы сразу после весеннего паводка начать пробивать саму дорогу. А пока напрямую через кар потянули высоковольтную линию.

Вовка Канончик возобновил поисковые маршруты на южном отроге. После возвращения он всякий раз звонил мне. Я аккуратно наносил на карту очередной штришок.

Пришлось заночевать мне на горном участке как раз в день его возвращения. К тому времени на террасе вместо деревянного домика уже стояли металлические жилые вагончики на полозьях – шесть штук, целый поезд.

Вовка приходил из маршрута поздно, по темноте. Не дождавшись его, я уснул на чьей-то свободной кровати. Меня разбудил Бронислав.

– Толя, встань-ка.

– Что случилось? – встревожился я.

– Ничего особенного. Просто что-то увидишь, подымись. – Бронислав хмуро подёргал бровями – признак явной расстроенности.

Мы вышли на воздух. В окне соседнего вагончика свет. Мы подошли, заглянули. Канончик в майке с прилипшими ко лбу волосами сидел поперек кровати. Перед ним на табурете стояло ведро с водой. Руки по локти опущены в ведро. Вода слегка дымила, Вовка не замечал нас. Губы его кривились от боли. Меня поразила сгорбленная его фигура, его жесты. Как он вынимал время от времени руки из горячей воды, как смотрел на них, шевеля распухшими в суставах пальцами.

Это был незнакомый мне Вовка – усталый, больной, растерянный.

– Давно он так? – спросил я.

– Последнее время почти всегда, – ответил Бронислав.

Всё было предельно ясно. Бесконечная промывка старательским лотком шлихов в ледяной горной воде не прошла Вовке даром: он нажил себе жестокий ревматизм суставов.

Я поколебался: заходить? Не заходить? Всё же решил – надо зайти. Кивнул Брониславу, и мы толкнули дверь.

Стояла уже полночь. Вовка никак не ожидал, что к нему войдут, тем более – мы с Бронькой. Он продолжал сидеть как сидел. Только мгновенное выражение растерянности на лице сменилось выражением сосредоточенности. Точно мы застали его за проведением спиритического сеанса. «Переигрываешь, артист, – подумал я. – Если бы не видели тебя минуту назад!»

Поздоровались, присели. На электроплите шумел чайник, из которого Вовка, по-видимому, доливал горячую воду. Лоб его, виски блестели от пара, кутившегося над ведром.

– Помогает? – спросил я.

– Как рукой снимает, – в тон мне ответил Вовка и пошевелил в воде кистями.

– Добавить горяченького?

Вовка быстро исподлобья взглянул на меня, усмехнулся.

– Спасибо. Выпить хотите?

Что ни толкуй, были в Вовкином характере завидные качества!

– Ага, здесь еще и нарушают сухой закон, – сказал я и посмотрел значительно на Бронислава (в крохотный магазинчик на горном участке спиртное не завозилось).

– Только в честь начальства, – быстро проговорил Вовка. – Броня, загляни под стол, за дальней ножкой. – Он вынул из ведра руки, красные, с набухшими венами, стал оборачивать полотенцами. – Ты вроде уже спал, начальник, я заглядывал.

– А мне вещей сон приснился: будто одного цветущего мужчину перевели на инвалидность, я и вскочил.

– Вещие сны – предрассудок, – сказал Вовка. – Это во-первых. А во-вторых...

– Брось умничать, – не выдержал я. – Во-первых, во-вторых... Лучше скажи, когда ты прекратишь угроблять себя? Но я прежде хочу...

Бронислав протянул нам чуть наполненные стаканы. Вовка вытащил руку из полотенца, взял свой, но пальцы не удержали – стакан выскользнул, прямо в ведро с водой.

Вовка в смущении вытер с лица брызги.

– ...прежде хочу напомнить тебе, – закончил я, – время открывателей-одиночек миновало...

– И в геологии нынче господствует коллективный разум, – подсказал Вовка.

– Да, если тебе угодно.

– Прекрасная иллюстрация этого твоего тезиса – наша разведка аномалии, – усмехнулся Вовка. В его усмешке мне увиделось обидное.

– Иллюстрация чего? – переспросил я.

– Того, что коллективный разум может рождать коллективную глупость.

Забывшись, он стал покачивать обмотанные руки, словно убаюкивая их. Должно быть, боль не отпускала.

Мы с Брониславом переглянулись.

– Неудача может постигнуть всякую разведку, иначе бы она не называлась разведкой, – настаивательно подал голос Бронька.

– Ты про свою медь, что ли? – Вовка повернулся к нему. – Когда меня постигнет то же самое, я вспомню эту утешительную формулу.

Я спросил:

– Ты уверен в нашей неудаче?

– Ишь чего захотел! – Вовкины толстые губы раздвинулись в улыбке. Он встал с кровати, заходил туда-сюда по тесному вагончику. – Вы замечаете, братцы? Когда сильно к чему-то стремишься, а оно не даётся, становишься немного суеверным.

– Да, замечаю. Вот сейчас мне сильно хочется смазать тебе по шее, аж рука чешется.

Вовка приостановился возле меня, склонив голову.

– Юпитер, ты сердишься...

– Сержусь? – вспыхнул я, – Да я взбешён! Может и существует твоя идиотская ртуть по южному отрогу, допускаю, но выискивать ее в одиночку со старательским лотком можно годы, десятилетия. Это же по площади два государства Люксембург и княжество Монако в придачу, как пишут газеты. И ведь никаких сопутствующих признаков, которые бы помогли набрести на

след. Минерал без спутников. Одиночка! Пока не возьмешь в руки живым. Но ты возьми!

– И возьму, – сказал Вовка.

– Чем? – встрял Бронислав. – Ты уже стакана с водкой взять не можешь...

Канончик сел на кровать, уткнулся лбом в обмотанные полотенцами руки. В какие-то мгновения мне показалось: плачет. Но когда он поднял лицо, оно было спокойно. Насколько может спокойно быть лицо человека, у которого от боли разламывает суставы.

– Я же ничего не требую от вас. Даже больничного – сказал он. – Правда, я работаю в партии не на полную силу. Но я и приехал сюда потому, что здесь вы.

Вовкина фраза насчет коллективной глупости, сказанная в запале, была не из самых умных. Но почему-то запомнилась мне. Может быть, потому, что здорово задела меня. Я понимал – Вовка свихнулся на своей ртути. Но чтобы настолько...

Человек, о котором я теперь хочу рассказать, в судьбе партии никакой роли не сыграл. Но к нашей истории он имеет некоторое отношение. Звали его Иван Матвеевич Храпов.

Это был лесник, в центр вековых нетронутых владений которого мы вторглись со своей грохочущей и всесокрушающей техникой.

Внешне дед Храпов, как стали звать мы его, выглядел впечатляюще: короткая, растопыренная на щеках борода, ясные и живые для его почтенного возраста глаза, почти двухметровый рост. Летом носил он громадные яловые с отворотами сапоги, от которых стонали половицы в нашей конторе, а зимой – высокие, выше колен, сибирские катанки.

В первый раз прибыл он к нам через месяц после нашей десантной высадки. Был преисполнен важности своей инспекторской миссии, и мне пришлось целый день сопровождать его по территории и давать объяснения бесчисленным мелким нарушениям во вверенном ему хозяйстве, как любил выражаться дед Храпов.

У строгого деда были две слабости, и мы их вскоре засекли. Он предпочитал уважительное к себе отношение (вернее – к своей должности), а слегка подвыпивши, любил делиться

фактами своей «извилистой биографии» (тоже его выражение).

Однако особых извилин его биографии нам познать не удалось, – все свои семь десятков дед Храпов прожил безвыездно в здешних краях... Он знал тайгу, но знал ее по-дилетантски, как, впрочем, большинство встреченных мной таёжных жителей, чьи знания диктуются сугубо утилитарным к ней отношением. Он, к примеру, знал, что еловая щепочка, прибитая к стене, изгибается к непогоде. Но почему это происходит – объяснить не мог. Или вместе с мудрой историей медвежьих спячек он мог на полном серьёзе выдать легенду о гибели на пороге некоего золотопромышленника, утопившего «шесть пудов золота», – легенду, живущую на всякой порожистой сибирской реке.

Обычно происходило так. Проинспектировав наш участок и обнаружив, конечно, незаконные порубки («потравы»), дед Храпов садился в моём кабинете и, наморщив лоб, начинал шуршать бланками штрафных актов. Все, кто был в кабинете, на момент почтительно затихали. Любое замечание деда вызывало наше мгновенное согласие, раскаяние в содеянном. Причём усиленно подчёркивались мудрость и своевременность этих замечаний. Дед сначала подозрительно косился, потом всё же размякал и, сделав устное внушение, прятал в папку так и не заполненные бланки.

К этому моменту у меня на столе лежала записка радиста, извещавшего, что вертолет с таким-то грузом вышел к нам и будет через столько-то минут.

Когда грозная папка окончательно захлопывалась, я требовал в кабинет радиста и, демонстративно глядя на часы, говорил строго:

– Вызвать вертолет для Ивана Матвеича через э... столько-то минут. Ясно?

– Ясно! – отвечал радист.

Потом я провожал Ивана Матвеича к вертолётной площадке, и старик, грохоча броднями, уходил, слегка придавленный вниманием, оказанным стражу лесного хозяйства. Если же вертолет задерживался, мы уводили деда в столовую, и он, «откушав», начинал свои бесконечные истории. Когда наконец приходила эрдэ, меня изве-

щали запиской, и вся сцена с «персональным» вызовом вертолета повторялась – слово в слово.

Поскольку вертолёт задерживался довольно часто, то историй я наслушался бесконечное множество. А некоторые знал наизусть.

И вот однажды – случилось это уже на второй наш год – дед Храпов поведал о том, как его покойный отец мыл золото в отрогах Каныма. Короче – был старателем. Ничего в его рассказе оригинального не было, но, разумеется, фигурировали «фартовые» находки, бутылки, наполненные «тараканами» – мелким самородным золотом – заваленные в шурфах старатели-одиночки и прочее такое. Я слушал вполуха, время от времени кивая и поддакивая. Но вдруг одна фраза деда насторожила меня, и я переспросил:

– Как вы сказали? Что мешало мыть?

– Да говорю – золотишко неважноецкое, а железняку и кровавику – как грязи, – пояснил дед Храпов, польщенный моим вниманием. – Он тяжёлый, кровавик-то, почти как золото. Попробуй отмой, отдели. Отец умирал и то вспоминал: ух, говорил, б...ский лемент, скоко крови с меня попил.

– Где ваш отец старательствовал? – Я затаил дыхание.

– Да вот по Каныму, говорю же.

– А конкретней. Ну – район, речка.

– Эва чего захотел, Михалыч! – пробормотал он. – Ежли отец и говорил – дак я шут его помню! В те поры мальчишкой был.

– Ну хотя бы: по ту сторону отрога или по эту? – допытывался я.

– Как вроде там, – сказал дед, уронив вдумчиво голову и добавил: – А може и здесь... Нет, не пытай, – махнул он рукой. – Ничо не помню, а врать не горазд.

Я заволновался. Дело в том, что кровавиком старатели называют киноварь, ргутную руду. Яркие-красные знаки этого минерала (с большим удельным весом) оседают на дне промывочного лотка, засоряя шлиховое золото.

Никакие мои наводящие вопросы успеха не имели. Тогда я достал карту, оставленную мне Канончиком, развернул перед дедом. Он долго и добросовестно тарачил в нее глаза, шевелил губами, читая названия; наконец взмолился:

– Да едрит твою, в глазах рябит! А почто замарано много?

– Вы не на замаранное гладите, а вот тут, где еще чистое, – уговаривал я.

Дед даже вспотел от напряжения: в топографии он явно был не силён.

– Кривулин-то, кривулин! – бормотал он, шурша по карте бородой. Потом искоса глянул на недопитую бутылку, взмолился: – Михалыч, душа-человек! Сколько годов прошло! Плесни ты мне еще малость и отпусти душу на покаяние – вызывай верхолёт! На кой ляд тебе это золото спонадобилось?

Я стал объяснить, что меня не золото интересует, а этот самый кровавик. И почему именно. Иван Матвеевич внимательно слушал.

– Эва чё, – сказал он. – Я сам-то не видел, врать не горазд, а помню с чего? Уж шибко отец этот лемент костерил.

Глядя на мое откровенно расстроенное лицо, Иван Матвеевич сказал:

– Ладно, шут тебя, может – вот что. Брат у меня в Александровке живёт, старшой. Восемь десятков с лишком, однако на ногу еще хлёсток, побегивает. Может, свидимся как – поспрошаю.

«Знаем мы вашего брата, – подумал я. – Ждать дело дохлое. Сегодня “побегивает”, а завтра...» Я вышел и тут же дал команду: позвонить на горный участок, пусть разыщут Канончика и срочно отправят вниз, в поселок. Я подчеркнул: срочно! А Ивана Матвеича заставил повествовать, как он в молодости сплавлял по реке дом, – был у него такой геройский эпизод...

Когда появился Вовка, я в пяти словах объяснил ему суть дела. И добавил:

– Лети сейчас с Иваном Матвеичем и любыми путями добираться до посёлка Александровка. Иван Матвеич расскажет. Думаю, трёх дней хватит.

Вовка во второй этот наш летний сезон крепко сдал. Брюшко уже не выпирало плафончиком. Лицо, обожжённое частым употреблением диметила, шелушилось, глаза потемнели и ввалились, – должно быть, он здорово недосыпал.

Выслушав меня, он заметно оживился, а когда мы выходили, шли через коридор, положил руку мне на плечо и слегка сжал.

– Спасибо, Толик.

– Кушай на здоровье, – фыркнул я.

Потом я стоял и долго глядел, как уходил вверх по распадку вертолёт. Вечернее солнце светило косыми розовыми лучами. Над сливающейся с фоном тайги зелёной машиной висел сверкающий нимб. Потом и он пропал.

Ах, какая шла в Вовкины руки удача!

Вернулся Канончик только через неделю – задержала дорога. Брата Ивана Матвеича он разыскал, но того, чего добивался от него Канончик, тот рассказать не смог: тоже не помнил. Однако он подтвердил, что да, кровавик в старательском лотке отца встречался. Он даже назвал два золотиносных ключа, но именно те ли были ключи, утверждать с уверенностью не хотел.

– И еще он назвал речку Чернявую, – сказал Вовка. Я взглянул на него.

– Все же назвал?

– Да, – Вовка вздохнул. – Но дело в том, что Чернявую я уже отшлиховал, правда, по редкой сетке. Один-два знака на шлих – обычное дело. И я не встретил там ни единой старательской закопушки, ни единого отвала. Хотя в других местах шурфы попадались. Но ты знаешь, – Вовкины глаза заблестели, – несмотря ни на что, я чертовски доволен. Это же первое реальное подтверждение моей догадки! Если не считать моих собственных, еще студенческих находок.

– Может, стоит вернуться на Чернявую? – под-сказал я.

– Не знаю, надо посоображать. Вернуться никогда не поздно. – Вовка провел ладонью по заросшему недельной щетиной подбородку, по шелушащимся скулам, сказал внезапно дрогнувшим голосом: – Выдыхаюсь я, старина. Физически выдыхаюсь. В прошлом маршруте ушиб ногу, так себе, пустяк – ушиб-то. Веришь, от этого пустяка в паху шишка вздулась, еле докарабкался... Так что ты планшет за мной отмечай аккуратно... – добавил он вдруг и растерянно улыбнулся. – На всякий пожарный... знаешь...

Я смотрел на друга, и у меня царапало горло: Вовка Канончик жаловался. Хоть и тихо, и мне одному, но всё равно – было тяжело. А намёк на тщательный контроль его походов – тут было о чём задуматься. Если с ним что случится, ни

Брониславу, ни мне, начальнику партии, допустившему самовольные маршруты чёрт знает с какими целями, головы не сносить.

Остановить Вовку можно было только административным приказом по партии.

Я поделился своими сомнениями с Брониславом. Тот выслушал меня и проговорил с решительностью, которой я не ожидал:

– Надо запретить. Есть же какой-то человеческий предел. Погляди, на кого он стал похож? Я не наказаний боюсь, ты ведь понимаешь.

Я возразил:

– Но это значит – прослыть его врагом на всю жизнь.

– Лучше слыть врагом друга, чем быть другом покойника, – ответил Бронислав, и брови его задвигались, как всегда, когда он сильно расстраивался.

Я тут же сел и, сжав зубы, написал приказ, запрещающий участковому геологу Владимиру Канончику длительные одиночные маршруты. Прежде чем поставить свой крючок, решил всё же вызвать Канончика и дать прочесть. Так сказать, ознакомиться и расписаться.

Вовка прочитал приказ с застывшим непроницаемым лицом. Только кадык его дёрнулся, когда Вовка, дочитав, сухо сплотнул.

– Дай бумаги, – с короткой хрипотцой потребовал он.

Я пожал плечами, передвинул по столу пачку.

Он взял лист и молча, кривя углы рта, написал несколько строк. Протянул мне. Это было заявление об увольнении по собственному желанию.

– Я поставлю свою частную палатку рядом с вагончиками. Надеюсь, меня не турнут? – спросил он, и в глазах его вспыхнули откровенный вызов и презрение.

«Форменное идиотство», – подумал я уже в полной расстроенности.

Перегнувшись через стол, выдернул из-под его руки приказ и, не произнося слова, сложил листок вдвое, разорвал. Клочки смял и бросил позади себя в корзину.

Вовка молча пронюхивал за моими действиями, не взглянув на меня, забрал свое заявление – тоже порвал.

Молчание затягивалось. Мы были в кабинете одни.

– Упрямый дурак, – сказал я.

Вовка поднял голову, взял у меня со стола пачку сигарет и долго выщипывал сигаретину. Искривлённые ревматизмом пальцы не слушались. Он перехватил взгляд, и глаза его стали беспомощными. Вовка тяжело, грубо выругался.

В это лето в партию приехала Алиса, стала работать в лаборатории. Комната, в которой они поселились с Вовкой, предназначалась сперва Афuzовым. Однако Наташа, пожив в поселке две недели, вынуждена была уехать – с головными болями, с плохим общим самочувствием. Ей требовались постоянные врачебные консультации, а здесь их, разумеется, взять негде. Бронька вернулся в нашу общую холостяцкую квартиру, а освободившуюся комнату заняли Канончики.

Сам Канончик редко спускался в посёлок – походы на южный отрог отнимали у него всё свободное время. Алиса, смеясь, называла себя соломенной вдовой.

Дома наши стояли в одном порядке, почти по соседству, и лаборатория от конторы отстояла в двухстах шагах, но виделись мы не часто. В конторе я появлялся только утром и ненадолго, остальное время пропадал то на строящейся дороге, то на вышках – и домой возвращался поздно, по сумеркам.

Как-то Алиса встретила меня посреди улицы, взяла под руку, проговорила кокетливо-обиженным тоном:

– Толик, лапа, забежал бы когда обтемнеет, развлек бедную вдовушку. А заодно и плитку наладил, вторую неделю всухомятку питаюсь, кошмар.

– Печку бы затопила.

– Так дров нету.

– Нарубила бы.

– Так некому.

– Бедная. И пожалеть-то тебя некому.

– Вот на этот счет ошибаешься. – Алиса вызывающе прищурилась. – Желающих пожалеть сколько угодно.

– Лисанька, некрасиво.

– А заставлять молодую и почти одинокую женщину уговаривать себя – красиво?

– Тоже нет, прости... Ну ладно, – сдался я, – хоть предлог банальный, приду. Я по тебе соскучился, почти одинокий мужчина.

– Правда? – спросила она, и с такой искренностью, что я невольно стушевался. Надо же! Отчего стушевался?

Волосы она перекрасила в мягкий медно-фиолетовый цвет, он шёл ей, и я не преминул сказать об этом.

– Ой, Толик, спасибо. – Она трогала ладонью причёску, глаза ее засияли. – Первый комплимент за тутошнее житьё, с ума сойти.

– Первый ли? – усомнился я.

– Считала! Скажи ещё что-нибудь приятное, у тебя получается.

– Вечером, Лисанька, вечером, – засмеялся я. – Ценность вечернего комплимента гораздо выше. Только учти, я приду с работы поздно, чтобы накормила ужином.

– Ты моя пре-елость, – пропела Алиса радостно. – Поцеловала бы, да жаль – губы накрашены!

За окнами сгущалась темнота, когда я на тягаче въезжал в посёлок; вечерние сумерки уже укрыли распадок, электрические огни посёлка зеленовато фосфоресцировали, предвещая ночную грозу. Небо было непроницаемо тяжёлым, в невидимой глубине его мягко, настойчиво погромыхивало.

– Быть грозе! – сказал я, войдя к Алисе.

Теперь я сидел у неё, передо мной на опрокинутом ящике громоздились детали разобранной электроплитки. В честь моего посещения топила печь, что-то вкусно шипело и булькало. Алиса в домашнем халатике, ярко-цветном, изящном и туфельках бегала от стола к печке, готовилась поразить меня каким-то своим кулинарным шедевром.

Мне, честно признаться, осточертело мое одинокое холостяцкое жильё. И теперь я с удовольствием пребывал здесь, в чистоте и уюте, наведённом женской рукой, деловито копался в железках. Я был голоден, а от печи так раздражающе вкусно пахло! Время от времени я недовольно ворчал: мол, неприлично томить гостя, сколько можно, не пора бы – и всякое такое.

Потом мы сидели за столом, дымилась тарелка с круглыми котлетами, начинёнными зелёным

луком, – забыл, как это называется, – и другая, с жаренной кубиками картошкой. Бил в ноздри потрясающий запах сухого укропа.

– Ну, Лисавета, – бормотал я набитым ртом, – ну, женщина!

Алиса ела маленькими кусочками, посмеивалась.

– Это в тебе говорит брюхо. Ты пока помолчи.

– Хорошо, молчу. Но знай: к таким котлетам тебе нужен приличный муж. К примеру, как я. Ценитель.

– Кошмарное предложение, стоит его обдумать.

– Бросай ты своего толстого фаната. Безвылазно прозябать на горе, когда тут котлеты!

Алиса рассмеялась.

– Он значительно потоньшел.

За окнами полыхнула белая вспышка, с сухим треском рассыпался гром, ударил ветер. Алиса поднялась закрыть форточку, и когда снова села, на лице её не было улыбки.

– Толя, боюсь я за Канончика. Я просто боюсь за него.

Я вопросительно помолчал, перестав жевать.

– Ночами стонет, стал злой, раздражительный, просто ужас какой-то. – Она подняла на меня взгляд. – Ему помочь надо.

– Как?

– Не знаю.

– Вот видишь. – Я заскреб вилкой по тарелке. Разговор этот значительно умерил мой аппетит. – Почему бы тебе не отговорить его от авантюры? Умный парень, а...

– Что ты, лапа. Стольким пожертвовать и теперь отказаться! Нет, если он отступит, я его первая презираю.

– Он же гробит себя.

– Вот я и твержу: помоги. Ты же начальник партии. Как сам говоришь: бог, и царь, и кривой Миколка. Освободи его от забот на террасе. Ведь половину времени он тратит на переходы. Они изматывают его. Два года без отпусков и выходных. Это же кошмар собачий.

Я выпил компот, прошелся по комнате. Пересел на раскладушку у стены.

– Пойми, не могу я этого сделать. Работа станет.

Алиса стучала посудой, убирая со стола.

– Вы же друзья, – сказала. Потом подошла, села рядом, вытирая полотенцем руки; заглянула мне в лицо.

Я курил и молчал, Алиса сидела – притихшая, будто провинившаяся школьница, сощипывала с халатика на плотно сомкнутых, чуть оголённых коленях пушинки. Лампочка над нами замигала-замигала и медленно, как под реостатом, погасла.

– Дьявольщина! Что там у них стряслось? Свечка есть?

– Гроза же, – вздохнула Алиса. – Посидим так, это ненадолго.

Из темноты стали проступать очертания комнаты. За окнами беспрерывно вспыхивало; мерцающе вспыхивали вслед флаконы на тумбочке, ртутно играл, светился гранью забытый стакан на столе. Под Алисой проскрипела раскладушка – мы сидели рядом, почти вплотную.

– Ты-то почему так уверена? – спросил я.

По моей руке мягко скользнула ее теплая рука:

– Мужчина, Толенька, должен быть дерзок и удачлив. Иначе ему незачем рождаться мужчиной.

«Узнаю Канончиковы интонации», – подумал я. Ладонь её на моей руке мне мешала. Но я не мог ей этого сказать. И даже убрать руку не мог, не хотел. Что-то во мне растормозилось, расслабилось.

Алиса явно нарушала ею же самой установленные правила.

Вдоль оконных переплётов весело потёк радужный блеск – начался дождь. Алиса всё теснее прижималась ко мне.

– Лисанька, ты думаешь, я железный? – спросил я напряжённо-ласково.

– Вот уж совсем не думаю! – Она тихо засмеялась. – Ты деревянный... А помнишь, – перешла она вдруг на шёпот, тёплыми толчками ожёгший мне ухо, – я как-то купалась у вас, а ты влетел. Вот тогда ты показался мне железным. До чего глупая у тебя физиономия была – кошмар. Признайся, я тебе нравилась, а?

Я бы мог сказать «да, очень, чертовски» – и был бы недалёк от истины. Только зачем ей сейчас истина? Вместо ответа я приобнял ее за плечи, и она легко, откровенно прикоснулась ко мне грудью.

Гром рокотал без перерыва, как заведенный, дребезжало на посудной полке стекло, в окнах трепетно пульсировал свет молний. Такое было ощущение: мы с ней нырнули и едем по длинному и зыбкому, завораживающему тоннелю. Волосы наши, соприкасаясь, издавали быстрое сухое потрескивание.

– Я, кажется, сойду сейчас с ума, – шепнула Алиса одними губами у самых моих губ. – Хочешь, я сойду с ума?..

Теплота ее тела, мое долгое одиночество – как зыбка, и сладостна, и предательски быстротечна оказалась спровоцированная ими ласка! Стук сброшенных на пол тупфелек, тонкий скачущий звон отлетевшей шпильки...

Я был оглушён.

– Не осуждай... пойми... Толенька... мальчик мой... я никогда... господи... – Голос Алисы мучительно рвался, сторал на губах.

Потом она зарыдала, затихла, даже дыхания не было слышно, будто умерла.

И я, ошеломленный, вдруг «прозрел», подумав, что месяцами не находящая выхода греховная чувственность ее – ещё одна «тихая» жертва на алтарь мужниного успеха. И Вовка Канончик, живя с ней много лет, знал, конечно, это, не мог не знать...

Вторая наша осень на Большом Канyme застала нас уже на участке Заповедном. Терраса была отбурена на всех проектных точках. Промышленных руд она не дала. Буровые бригады одна за другой перебирались на участок Заповедный. Дорога в обход карового провала, по руслу ручья, была пробита только начерно. Однако мы, не мешкая, ринулись по ней, боясь скорого подъема воды.

Над ручьём стоял вой тракторных моторов. Сани под грузом ломались, не выдерживая чудовищных перекосов дороги.

Последний гусеничный поезд шёл по вздувшимся бродам, через оползни жидких наносов. Вперемежку с дождевой промозглостью сыпал снег.

В ту осень снег вообще начал падать рано, с последних дней августа. Ночью падал, приминная трава, а днем испарялся.

Пёстро-белые шапочки на макушках гольцов с каждой неделей спускались всё ниже.

Тот памятный звонок раздался рано утром, у меня дома, я ещё спал. Звонил сверху, с участка Заповедного, Бронислав.

– Послушай, Анатолий, – сказал он, и по тому, как он назвал меня по имени, а не дружески-ироничным «начальником», я понял: что-то стряслось. – Ты понимаешь, Вовка не вернулся.

– Когда он ушел? – спросил я и зачем-то посмотрел на часы: было начало седьмого.

– Пять дней назад, в прошлую пятницу.

– Пять дней? – С меня мигом слетели остатки сна. – И ты звонишь только сейчас?!

– Да ты погоди, – остановил он. – Условились мы на четыре дня. Он должен был вернуться вчера. Я же обязан тебя предупредить...

«Что ж, – со злой ожесточенностью подумал я. – Когда-нибудь это должно было случиться».

– Ты думаешь, что-то серьёзное? – спросил я.

– Завтра не нарисуетя – надо принимать меры, – проговорил уклончиво Бронислав и помолчал. – Не знаю, как у вас там, а здесь снег по колено. И уже третий день гуляет озимок.

Я был зол на Канончика. И не только за то, что своими бессмысленными поисками он держит всех нас в постоянном напряжении. Особенно Бронислава, который с ним рядом и который за него отвечает в первую голову. Самым серьёзным образом он разозлил меня в тот день, когда последний раз спускался в посёлок – помыться в бане, погреть свой ревматизм.

Вовка напился. Напился как свинья, что с ним случилось впервые, устроил истерику. Соседа, пришедшего его успокоить, он выгнал. Алиса, перепуганная, в слезах, прибежала за мной: – Господи, лежит пьяный, лягается!

Когда я вошёл к нему, Вовка навзничь лежал на разворошённой постели, бледное потное лицо запрокинуто.

– Кто тут ещё, все вон! – бормотнул он и скрипнул зубами.

– Хорош! – Я сел рядом, потряс его за плечо. Он наконец узнал меня.

– Начальник, – натужно всхлипнул он, пытаясь подняться и сесть. – Толик... старина...

– Лежи, лежи; с чего набрался?

Он покорно лёг: пребывал, видать, после истерики в трансе; рука его вяло комкала простыню.

– Всё, старина, Толик. Уползаю с ковра. Проиграл по очкам...

– Ты о чем? – спросил я.

Вовка уставился на меня, глаза вразбежку.

– Проклятые места... ни х... здесь не будет. Хоть сдохни. Крест на всё, крест!.. Выдохся.

– Алиса, – позвал я. – Сделай-ка нам чаю, да покрепче.

– В ж... чай, – сказал Вовка неожиданно трезвым голосом. – Я же сказал: ни хрена! Дохлые, гнилые места. Руды нет. Хоть взорви всю эту систему.

– Так ты по случаю нашей неудачи?

– И нашей, и вашей... Всё закономерно. Нету здесь руды, Толик. Бронькина медь. – Он замолк, отвернулся к стене и вдруг с силой рванул простыню. – И не было! – крикнул он в стену, и лицо его будто раздвоилось в гримасе, он заплакал.

Я понял: делать мне здесь нечего. Вовке сейчас не требуется ничего, кроме крепкого сна.

– Давай на эту тему, если хочешь, потолкуем завтра.

Вовка поймал меня за колено, привалился грузным расслабленным телом, всхлипнул:

– Прости меня, Толик, старина. Перед тобой... Только перед тобой...

Алиса стояла в сторонке с испуганными остановившимися глазами. О чем он? Мне вдруг стало противно в нём всё: его потное в гримасах лицо, трясущиеся толстые губы, сосульки волос вдоль ушей – да Вовка ли это Канончик, чёрт меня побери совсем!

...Наутро он ушёл на гору, даже не заглянув ко мне. Только переслал записку: «Старина, если можешь, извини за вчерашнее. Помню смутно, рассказала Алиска, но все равно мерзко на душе. Нервишки расслабли. Больше не будет. Возвращаюсь на правый борт Чернявой, чтоб она сдохла. Канончик».

Весь этот день после утреннего Бронькиного звонка я проторчал безвыездно в посёлке: хотелось быть поближе к телефону. Однако Вовка так и не «нарисовался».

На рассвете следующего дня, расстроенный самыми мрачными предположениями, я пошел

пешком на участок Заповедный – брода на дороге стали уже непроезжими.

Я шёл по тропе вдоль высоковольтной линии, через нагорную террасу – этот плоский кусочек осенней тундры. Мох и камни, и рощицы тёмно-зелёного стланика были слегка присыпаны порошей. Округлая вершина Каньма, всегда напоминавшая мне укрытое одеялом колено, мрачно посвечивала в светлеющем небе.

Пустыня и тишина; безмолвие и враждебность космоса.

Площадки, где стояли вышки, угадывались по перепаханной гусеницами щебенистой земле, по разбросанному хламу. Смятые бочки, обрывки тросов, груды консервных банок, какие-то железные кожухи, трубы, тряпьё – безрадостные следы временной торопливой работы. А вон длинный шест с белой, расплосованной ветром тряпкой – визуальный знак вертолётной временной площадки. Сиротливый знак! Капитулянтский знак! Я, точно отставший солдат, шел по этому безмолвному растерзанному полю, где мы и не отступили, и не выиграли боя.

На Заповедном меня уже ждали и были готовы в путь.

Вышли мы на поиски втроём – Бронислав Афузов, буровой мастер Тудегешев с собакой и я. Мы долго решали – на лыжах идти или без. Снег здесь в самом деле лежал по колено, однако лишь в низинных затишных местах. На открытом же продуваемом пространстве, на возвышенностях и гривах – по щиколотку, а кое-где и вовсе голо.

Резон был отправиться на лыжах – легче и быстрее. Однако Тудегешев, охотник и знаток тайги, рассудил иначе. У Канончика лыж-то нету, значит, он будет выбирать малоснежные гольцовые места. Если мы пойдем на лыжах, вероятность разминуться с ним возрастёт.

И мы отправились пешим ходом, взяв лишь пару лыж на плечо. На случай, если понадобится соорудить нарты.

До бассейна реки Чернявой от участка Заповедного по карте двенадцать километров. Значительная доля их падала на перевал под характерным названием Потогонный. Мы поднялись по заболоченным изволокам Потогонного часа за два – мокрые, как мыши, и я подумал:

а ведь Вовка ходил здесь постоянно. И гнилая тропа эта – преимущественно им натоптана. Представляю, какие столбы гнуса зависают здесь над всем живым в летние душные дни!

С вершины перевала открылась даль – пестрые от снега гольцы, залитые черневой тайгой низины, уныло-неоглядная хмарь горизонта. Я поглядел в бинокль: зубцы пихт по гривам, перепутанные ленты ручьев, каменные оползни, лохмато-серый кочкарник – удручающие подробности таежной предзимней панорамы. Где здесь искать человека? Можно пройти в тридцати шагах от него, припорошенного снегом, и не заметить. Я растерянно опустил бинокль.

Я уже страшно жалел, что не проявил в свое время твердости. Тысячу раз прав Бронька Афузов: лучше прослыть врагом друга, чем быть другом покойника.

Тудегешев выстрелил из карабина в воздух. Мы стояли на седловине перевала, и даже эхо не вернулось к нам ни малейшим отзвуком – словно в океан кануло.

Мы начали медленный спуск.

Что ни говори, а витала над Вовкой Канончиком птица удачи!

Осталась в стороне перевальная тропа, мы пересекли каменную осыпь и по мелколесью, на границе тундры и тайги, редким зарослям пихтача взяли направление к истокам Чернявой.

Не прошли мы и трёх километров, – призывно-настойчиво залаяла убежавшая далеко вперёд собака. Где трусцой, где быстрым шагом, оскользаясь по травяным оледенелым кочкам, мы ринулись на лай.

Под разлапистой пихточкой, привалившись спиной к стволу, сидел человек. Грязная коробящаяся штормовка на локтях продрана. Спрятав руки в рукава и уткнувшись лицом в подогнутые колени, он спал.

Собака, стоя в отдалении, лаяла на него. И в знак того, что человек ей знаком, помахивала хвостом. Рядом чуть дымился давно погасший костёр.

Мы тормозили Вовку за плечи, кричали над самым ухом, приподымали голову. Он снова сонно ронял ее на руки.

Тогда мы расстелили наши спальные мешки и свалили на них Вовку: пусть поспит в нормальном положении, подождём. А сами взялись разжигать костёр, кипятить чай.

Я всмотрелся в лицо спящего. Почерневшие с пузырьками от простуды губы скорбно сжаты. От крепко зажмуренных глаз в щетину усов и щёк тянулись две грязные бороздки. Ночным ли холодом выжаты были слёзы, или нечеловеческой усталостью, или просто отчаянием одиночки, застигнутого в тайге непогодой?

Из свитера, запасных портянок, рукавиц я скрутил подушку, подsunул Вовке под голову.

И только тут, собирая для костра хворост, мы заметили в стороне рюкзак. Тот самый зелёный десантный рюкзак, с которым Канончик впервые прилетел ко мне в посёлок. Теперь рюкзак был уже не зелен, а грязно-сер и тяжёл необыкновенно. Я распустил шнуровку. Взял в руки лежавший сверху угловато обломанный камень. Он был кроваво-красного цвета, с белыми блёстками – крохотными капельками самородной ртути.

Я отковырнул ногтем несколько крошек и растёр в ладонях: словно кровь из ладоней выступила.

И вправду – кровавик...

Рюкзак стоял на нескольких связанных пихтовых лапах. По заснеженному мху, по хвое тянулся след волока. У Вовки уже не было сил нести на плечах, но и бросить он не решился: закружили предзимние снегопады...

...Он брёл по Чернявой, кромкой поймы, как вдруг провалился в яму. Оказалось – тщательно укрытый горбылями и замаскированный дёрном старательский шурф. Дерево прогнило и не держало Канончика.

Он сильно ушиб колено и испугался: в таких наглухо закупоренных выработках скапливается нередко газ. Торопливо нашарил спички, зажгёт. Спички горели ярким ровным пламенем, – значит, всё в порядке.

Тогда он внимательно осмотрелся.

От основания шурфа уходил в сторону горизонтальный ход-рассечка. Уходил, вероятно, в борт реки, в коренной берег. Подсвечивая спичками, Вовка полез в рассечку. Убедился: крепле-

ние сделано мастерски. Вот и забой. Валяются ржавая лопата с короткой рукоятью, кайла, железная старательская щётка, несколько свечных огарков. Он зажгёт огарок. Гребешком стоят коренные известняки. Выметены, выскоблены до чиста, до пылинки. Значит, золотишко было.

Вовка снял с плеч рюкзак, вытряхнул пожитки, набил его песком и пополз к выходу. Цепляясь за прогнившие венцы крепи, выбрался наверх. Тут же на берегу промыл два лотка и трясущимися от пережитого напряжения пальцами разложил на бумаге пробы. Взял в руку лупу. Среди чёрной кашицы магнетита тускло заиграли пылинки золота.

Он всматривался и боялся верить глазам: чёткой весёлой дорожкой раскладывались в лупе красные знаки киновари. Он насчитал больше ста знаков и сбился. Важнее всего, что среди них попадались совершенно неокатанные, милые угловатые песчинки.

Ему сразу стало жарко. Таких проб с кровавиком у него еще не было.

Тогда он соорудил лестницу, то есть опустил в шурф пихту с крепкими, коротко обрубленными сучьями. Старательским обушком стал яростно крушить забой. Работать приходилось сидя, а то и лёжа, согнувшись в три погибели, не хватало воздуха. Он выкарабкивался на поверхность, отдыхивался и снова заползал в рассечку, брался за гладкую, как кость, рукоять обушка.

Истекли четыре отпущенные ему дня. Надо было возвращаться.

Выбравшись однажды из шурфа, он был ослеплён: весь берег, крутые склоны сопки, деревья вокруг припорошены снегом. Даже гора извлечённой им породы напоминала свежий сугроб. Только речка в полусотне шагов дегтярно-черна, да вдоль ледяных заберегов темнела строчка только что пробежавшего зверька, – вероятно, выдры...

Он понял: если сейчас уйдёт, вернуться сюда ни при каких обстоятельствах нынче уже не сможет.

Время от времени он толк на камне извлекаемую породу, промывал порошок и с жадностью, с больно бьющимся от бешеной усталости и переживаемой надежды сердцем убеждался: есть киноварь, здесь она, родимая, никуда не делась.

Когда он уходил с Чернявой, шатаясь под тяжестью рюкзака, был снегопад – с вихревым суматошным ветром, ржавым скрипом деревьев, внезапными сумерками среди дня. Несколько раз по глазам ударила молочно-белая вспышка – он не понял сразу, что такое. Но тут же мягко, отрывисто загромыхало небо. Вовка, поражённый, остановился.

Шла редкая даже по этим местам снежная гроза.

И Канончик, смеявшийся над приметами и предсказаниями, начисто лишённый суеверия, воспринял это удивительное явление природы как предзнаменование своего выстраданного успеха.

С рюкзаком добытых образцов Канончик с первым же рейсом улетел в город, в Управление. Лабораторные анализы показали высокое содержание минерала.

Сам он в наш посёлок уже не вернулся.

Уехала и Алиса, оставив мне на попечение кое-какие громоздкие вещи, в том числе и вьючный, окованный алюминиевым уголком ящик, набитый литературой.

Месяца через два я был по делам в Управлении. Там я узнал: создается поисково-разведочная ртутная партия. Район работ: Каным, речка Чернявая. Начальником утверждён Владимир Канончик – без пяти минут первооткрыватель ртутного месторождения со всеми вытекающими отсюда приятными последствиями. Что ж, всё закономерно...

Я разыскал Вовку и от души поздравил его.

А мы добросовестно продолжали отбуривать участок Заповедный – второй и последний в проекте, наши сводки по выполнению буровых работ выглядели удовлетворительно, зарплату мы получали вовремя. Зимняя дорога действовала исправно, если не считать бесконечных заносов и снежных лавин, особенно участившихся к концу зимы.

Всё катилось своим чередом.

Но это была внешняя, так сказать, сугубо производственная сторона дела.

Другая же – характеризовалась полным отсутствием на буровых скважинах руды. Точнее –

руда выскакивала, но она продолжала выскакивать такими мелкими и разрозненными телами, что о промышленном их освоении не могло быть и речи.

Среди наших оракулов-теоретиков, среди «железников», начались разногласия. Всерьёз заговорили об ошибочности прежнего взгляда на природу Канымской магнитной аномалии...

Постоянные наши неудачи, большие и малые, всегда напряжённое чувство ответственности, связанное с бесконечными отлучками Канончика, привели к тому, что Бронислав Афузов заболел нервной экземой.

Он теперь сидел на горе почти невылазно, редко и неохотно спускался вниз, в посёлок. Я никак не мог отправить его в город подлечиться, он всё отнекивался, откладывал на потом. У него воспалилась кожа рук и одной стороны лица и шея, и его, конечно, не радовало предстать в таком виде перед Наташкой. И он тянул резину, надеясь, должно быть, что всё скоро пройдёт само по себе.

С самой ранней весны в стороне от нас, высоко в небе, затарахтели вертолёты, державшие курс на южные отроги, в бассейн реки Чернявой. Судя по их интенсивности, дела у Канончика разворачивались всерьёз и с солидным размахом.

Вместе с тем наши полётные лимиты были резко сокращены. Почувствовали мы ущемление и по другим снабженческим позициям. Становилось ясно: экспедиция наша, в чьё подчинение была передана новая, Чернявская партия, по одежке протягивала ножки. Перспектива ртути, упавшая с неба, была слишком заманчива. Она представляла единственную реальную возможность хоть как-то компенсировать Канымскую нашу неудачу – и материально, и в престиже.

Вскоре мне удалось побывать у Канончика, в его палаточной деревне, в среднем течении Чернявой. Я познакомился с проектом работ по разведке киновари. Проект был безупречен: логически чётко, аргументирован и опирался на отличное знание геологии района. Явно ощущалась талантливая Вовкина рука.

Я понимал, он ждёт от меня оценки, может быть, даже похвалы – и вполне заслуженной!

Но я, каюсь, промолчал. Хотя мне было нелегко. Он, верно, решил: во мне зашевелилось чувство зависти. Чувство, которое далеко не во всех жизненных обстоятельствах выглядит симпатичным...

Однако дело было в другом, совсем в другом...

В середине лета – третьего нашего лета на Канyme – я получил эрдэ за подписью Канончика. Смысл радиопослания был короток и ясен: жди в гости!

Прилетел он специальным рейсом, на маленьком, санитарного типа «Ми-1». Одно это само по себе уже выглядело впечатляюще. Я понимал: для частных гостевых визитов спецрейсов не дают, значит, Канончик прибыл с какими-то иными целями и задачами. И прибыл не один, а с супругой, то есть с Алисой, – ну прямо тебе премьер банановой державы.

На Вовке была синяя прорабская куртка, тщательно отглаженная, светлая рубашка и строгий тёмный галстук. Стиль интеллигентного руководителя среднего звена с демократическим уклоном. Он обнял и стиснул меня так, что во мне что-то пискнуло, да и по глазам его и физиономии видно было – рад мне и не хочет скрывать этого.

Алиса в розовом просторном плащике не подбежала, как обычно, а степенно подплыла, предупредив: «Не обнимай меня, нельзя». Оставила поцелуй где-то возле моего уха. Она прикоснулась ко мне, я почувствовал ее тугий округлый живот.

– Лисанька, что я вижу, – не удержался я, окидывая ее взглядом, – ужели?

– Фу, бессовестный, вытаращился. – Она хлопнула меня по руке. – Никогда не видел женщин в интересе?

– Тебя – нет.

– Представь себе, решилась. Уродливо, правда?

– Что ты, – сказал я, – тебе идет.

Алиса снисходительно улыбнулась.

– Хотела бы я видеть женщину, которой это идет!

Она была молодцом. Она держалась со мной так, будто между нами не стояла та грозная, ошеломившая нас ночь.

Пришли ко мне домой. Я показал Алисе, где лежат продукты, облёк ее всеми полномочиями, и она занялась столом. А мы с Вовкой отправились на обход посёлка – таково было его первое и непереносимое желание.

Мы спускались с крыльца, я спросил:

– Ты что, не видел посёлка, что ли?

– Видел, но другими глазами, – уклончиво сказал Вовка и взял меня под руку. Этот покровительственный жест насторожил меня.

– Значит, ты уже завел сменные глаза?

– Ладно, можешь считать, что я прибыл с официальной миссией. Я выжидающе молчал.

– Сколько тебе осталось добуривать по проекту?

Я ответил.

– Выходит, к зиме начнёшь сворачиваться?

– Может, начну. А может, и нет.

– Начнёшь, начнёшь, – уверенно сказал Вовка.

Мы как раз проходили мимо общежития, длинное бревенчатое строение которого когда-то предназначалось под школу.

– Ух, капитальный домина, – сказал Вовка приценивающимся тоном. – Квадратов двести, а?

– Да ты что, в конце концов, – не выдержал я, – покупать поселок приехал?

– Зачем покупать, – весело возразил тот. – Мы же в одной системе. С баланса на баланс – и все дела.

– Поселок?!

– Не весь, конечно. А кое-что. Наиболее мне подходящее. Например, этот вместительный сарай.

– Сам ты сарай, – я приостановился. – Это уже решено?

– На высшем уровне, старина. Скоро директиву получишь. – Вовка настойчиво потянул меня вперед. – Да ты что надулся? Радоваться должен, что не пропадает добро. А представь: не развернись работы на Чернявой, ты бы вообще бросил посёлок медведям. А так мы его раскатаем и по зимнику, через Заповедный, вывезем. Дёшево и сердито.

Все было правильно, всё логично. Возражать такому разумному решению мог разве только идиот. Я не был, надеюсь, идиотом, но Вовкина весть подействовала на меня самым удручающим образом.

Экскурсия наша длилась часа полтора.

По жилому порядку мы поднялись к самому верхнему краю посёлка и незаметно как-то очутились перед памятником неизвестному изыскателю. За могилкой мы ухаживали, она была обложена дерном и обведена каменной оградкой. Сам обелиск и звездочка подновлялись краской.

– А это ты тоже раскатаешь и перевезёшь? – спросил я и сам вдруг почувствовал в своих словах раздражение и плохо скрытую издёвку.

Вовка нахмурился.

– Перевезём, – сказал он и прикоснулся ладонью к обелиску. Он не заметил ни моей издёвки, ни моего дурного настроения. – Тут уж, в глуши, не оставим. И не только перевезём, но и постараемся узнать имя этого человека.

И по тому, как он прикоснулся к памятнику, и по тому, как сказал – твёрдо, без тени рисовки, с убежденностью, – было ясно: и перевезёт, и узнает.

Мы спустились вниз и повернули к конторе. Вовке потребовалось посмотреть кое-какие документы.

На крыльце конторы, а вернее – сквозь него, сквозь ступени, росла рябина. Плотники, ставя сруб, сохранили её по моему настоянию. За три года ствол залоснился – кто проведет рукой, кто обопрётся плечом. Рябина примелькалась, её уже не замечали. Видел её сотни раз и Канончик – и тоже не замечал. Однако сейчас, взойдя на крыльцо, он вдруг остановился и стукнул кулаком по рябиновому стволу.

– Толик, объясни: зачем здесь это? Лбы расшибать?

Я был еще под впечатлением нашей невесёлой экскурсии, неожиданный возрос застал меня в растерянности.

Пробормотав что-то насчет красоты и эстетики, я добавил: обойди в конце концов, и твой лоб останется цел.

– Но зачем я должен обходить? Крыльцо для человека, для удобства ходьбы. Я иду, а тут нате вам – столб торчит! Если я встречу эту рябину в скверике или в роще, пожалуйста – обойду. Там её законное место. И даже полюбуюсь ею. Погляди-ка, на ней даже неприличное слово нацарапано.

– Вот уж в этом дерево не виновато, – зло сказал я.

– Возможно. Но вот с ролью воспитателя эстетики, которую ты на неё возложил, твоя явно не справилась.

Шагая по длинному коридору, Вовка продолжал:

– Ты давно бывал в старом районе города? Помнишь первый перекрёсток от моста? Так вот – на этом перекрёстке поставили плакат: соблюдайте правила движения! Может, видел? Огромный, аж до третьих этажей, на бетонных столбах. А шофера едут и матерятся: плакат полперекрёстка закрывает! Из-за него, говорят, уже авария была. А поставлен-то он с самыми лучшими намерениями...

Канончик сел к моему столу, а я пошёл в бухгалтерию за документами. Там я позвонил на гору Броньке Афузову. Сказал ему, что здесь пребывает с визитом – и довольно симптоматичным – Владимир Канончик. Не изъявил бы желание Бронислав спуститься?

– Он не один? – спросил Бронька.

– С ним Алиса.

Трубка коротко засопела. Бронька явно заколебался, и я знал почему.

– Брось ты, – сказал я, – красна ты девица, что ли? Сядешь к ней здоровым профилем... Там без тебя пока обойдутся?

– Да обойтись-то обойдутся...

– Ну вот и добро, скатывайся колбаской, ждём.

Когда я минут через десять вернулся в кабинет, Канончик стоял, наклонившись над столом, растопырив руки, придерживая скручивавшиеся края ватмана.

– Что сие значит, Толик? – спросил он.

Я глянул – и меня окатило жаром. Это был мой план благоустройства поселка, рисованный некогда с таким вдохновением цветными карандашами. Я уже почти два года не прикасался к нему – не до того стало.

– Где взял? – Я довольно бесцеремонно дернул ватман из-под его рук.

– Да вот, на голову свалился, – Вовка несколько растерянно кивнул на шкаф, заваленный сверху бумажными рулонами. Однако ватмана не выпускал.

– Дай сюда!

– Нет, ты погоди! Мне лично очень даже весьма интересно и любопытно. Главное – топография страшно знакома...

Вовка валял дурака, он прекрасно разобрался, что именно свалилось ему на голову.

– Только условные знаки мне непонятны. К примеру, этот значок, похожий на сосиску, которую заглывает сарделька. Шифровка, да?..

Пузатым значком этим на палочке я обозначал, конечно же, рябинки...

Я выхватил злосчастный лист, кое-как скрутил его, стал забрасывать на шкаф, рулон все время скатывался. Тогда я попытался запихнуть его между стеной и шкафом. Лицо мое калила краска. Надо же было такому случиться, чтобы тайна, хранимая мною от всех, абсолютно от всех, случайно открылась именно Канончику. Человеку, перед которым мне сейчас меньше всего хотелось раскрываться.

– Фу-ты, ну-ты! – сказал Вовка. – Авторское самолюбие, я понимаю...

– Заткнись, рациональное зерно! Не то я за себя не ручаюсь, – зарычал я, не зная, куда деть идиотский рулон: за шкафом он тоже не помещался.

– Сэр, вы забываете мой разряд! – Вовка, набывчившись, принял позу борца, вышедшего на ковёр. – Не угодно ли двойной нельсон с переводом в туше?

Ну что с ним, собакой, можно было поделаться! Я размахнулся и стукнул его рулоном по башке: бом!

Мы посмотрели друг другу в глаза и... рассмеялись.

Домой вернулись под вечер. Бронислав Афузов уже был здесь, сидел на раскладушке, перелистывая старые журналы. Щека его была перевязана, а шея закрыта толстым воротником свитера.

– Зубы болят? – спросил я сочувствующе.

– Ага, замучили, проклятые, – подыграл мне Бронька, криво улыбувшись.

– Счас мы их вылечим по первому разряду, – здороваясь с ним, сказал Вовка радостно. – Молодец, что спустился.

На столе царски дымились сковорода с памятными мне уже котлетами и картошкой кубиками,

пахло луком, и мокро поблёскивали только что вынутые из ледяного ручья бутылки с отмокшими этикетками.

Вовка был доволен результатами экскурсии. Потирая плотоядно руки, он остановился перед столом. В полном лице его проступило умиление.

– О Офелия! – пропел он, глядя на еду. – Помяни меня в своих молитвах! – И скороговорочной прозой добавил, обращаясь к нам: – Братцы-рудознатцы, а не сесть ли за стол нам? Поскольку вечер наш и ночь наша, а вертолет завтра в двенадцать. Значит, еще и полдня наши. Давненько я не имел такой прорвы времени. – Он с грохотом потащил под себя стул. – Всё, отседова только под белы руки! Хозяин, дьявол тебя бодай, не томи душу!

Мы трое выпили. Алиса только пригубила. Я ковырнул котлету, начиненную зелёным луком, и изобразил приятное удивление:

– А ничего продукт. Есть можно!

Алиса стрельнула на меня смеющимися глазами, а Вовка фыркнул:

– Прimitивная конспирация! Думаешь, я не знаю, как ты трескал тут Алискины зразы, когда я загибался на горе.

Я едва не поперхнулся и в упор посмотрел на Алису.

– Это правда?

– Что ты, лапа! – Алиса засмеялась. – Просто чувство ревности на голодный желудок делает его иногда телепатом.

«Ну семейка!»

Оправившись от минутной растерянности, я почувствовал себя вдруг раскованным, наклонился к Алисе. Поскольку фартучка кухонного в доме не водилось, Алиса перевязала себя полотенцем, и теперь живот ее выпирал довольно рельефно.

– На аэродроме ты сказала, что решила, – тихо проговорил я. – Выходит, восемь лет, которые вы живёте, вы, как это сказать... выжидали?

– Чего выжидали-то? – не поняла, переспросила Алиса.

– Но, скажем так: благоприятного жизненного момента.

Алиса посмотрела на меня ласково-укоризненно, как на мальчика, пытающегося заглянуть в тайну деторождения.

– И вы ни разу не залетели?
– Толя, лапа, – протянула она обидчиво. – Ты лучше ешь.

Я, разумеется, и не ждал ответа, соль была в другом. Просто мое вырвавшееся из-под контроля раздражение подсказало мне сейчас «неделикатные», даже чуточку мстительные слова. Но это за столом понимали, слава богу, разве только двое – я и Алиса.

Через час, когда мы уже сидели за столом – сытые и слегка осоловевшие, Вовка придвинулся ко мне и, сделав деловитое лицо, спросил:

– Для зимней дороги, через Заповедный, большие работы потребуются, как думаешь?

В его вопросе не было ничего крамольного, ни обидного, я мог бы ответить односложно: «большие», или, наоборот: «небольшие», – и точка. Но мне неожиданно что-то захотелось кольнуть его:

– Знаешь, Вовик, посёлка я тебе не отдам.

– То есть как?

– А так.

– Медведям в аренду сдашь?

– И не медведям! – Во мне всё сильнее разгорался дух противоречия. – Сами будем работать.

– Во имя какого высшего смысла, Толик?

– Будем отбуривать глубокие горизонты. У нас с Брониславом есть кое-какие соображения, пойдем с ними в Управление, добьёмся пересмотра проекта. Нам думается, руда на глубине есть.

– Думается, представляется, воображается... – передразнил Вовка. – Под такую отжившую аргументацию нынче не отпускают и рубля.

Мы помолчали.

– Нету здесь промышленной руды, старики, – сказал Вовка грустно. – И нечего огород городить. Надо мужественно довольствоваться формулой: отрицательный результат – тоже результат.

– Мы от тебя слышали не раз: «Нету руды». Задним умом все крепки.

– Да нет, я всегда знал, – сказал Вовка.

– Брось цену себе набивать – уже открыто озлился я. – Забыли мы с Бронькой, что ли, как ты тогда на совещании пикировался с главным? Остроумно выглядело! Тогда ты тоже знал?

– Знал. – Вовка глядел на нас размягченными глазами победителя.

– Знал! – вскинулся я. – А чего же дудел в одну дуду со всеми!

– Так из чувства стадности! – Вовка рассмеялся.

– Не набивай себе цену, – повторил я.

– Обижаешь, Толик.

– Тогда, значит, хочешь уйти от ответственности. – Я отодвинулся от стола, разговор этот меня тяготил. – Ведь, согласишься, на всех нас лежит какая-то доля вины за неудачу. Пусть моральная, но она есть.

Вовка нахмурился, бугры лба затвердели: я, должно быть, больно задел его профессиональное самолюбие.

– Если бы ты не был моим другом...

– Брось, – прервал я.

– Нет, постой. Если бы ты не был другом, я плюнул бы на все твои выпады...

– Ну и плюнь.

– Не могу, видишь.

– Извини тогда, – сказал я примиренно. – Это так близко. Ты же понимаешь. Тяжело...

Вовка придвинулся ко мне, обнял за плечи.

– Хорошие вы мужички, Толик. Но уж слишком в чём-то наивные. Вы не обижайтесь. Хотите докажу?

– Да пошёл ты! Растравил душу, оракул-теоретик.

– Нет уж, постой! – Вовка решительным жестом отодвинул посуду. – Где тут мой кованный сундук с бумагами?

– Мальчики, мальчики, – сказала Алиса обеспокоенно. – Чего завелись? Чего ты, Канончик, завёлся? Оставь свой сундук в покое. Никуда он не делся, стоит, где стоял.

– Ни в коем разе!

– Канончик, прошу тебя, уймись.

– Я их слишком уважаю, чтобы они считали меня дураком и приспособленцем!

Вовка долго рылся в ящике с книгами, вернулся он с рукописью в руках.

– Только между нами, девочками, – предупредил он, подойдя, ко мне. – Ты упомянул тут про совещание. Помнишь, я тогда давал тебе прочесть работу по Канымскому отрогу.

– Ну и что?

– Это она и есть.

– Ну и что? Всё равно не въезжаю. Читать, что ли, снова заставишь? – Я умоляюще обернулся

к Алисе. – Лисанька, спаси ты меня от этой самовлюбленной личности, замордовал!

– Только одно место! – Вовка хватил ладонью по рукописи – запрыгала посуда. – Пять страниц! Правда, это последний экземпляр закладки, но ничего, разобрать можно. Отсюда, ну?

Вовка навис надо мной глыбой, дышал, и мне даже подумалось: во завёлся, с чего бы?

Я заскользил глазами по бледным строчкам, они расплывались, я не мог сосредоточиться.

«Природа... может быть объяснена... рудные тела... мелкими линзами... сильно магнитны...» Стоп. Я еще не улавливал смысла прочитанного, но что-то в душе кольнуло меня, заставило насторожиться.

Я стал читать заново, медленно проговаривая в уме каждое слово:

«Природа магнитных аномалий по Канымскому хребту может быть объяснена только после геологоразведочных работ. Однако, исходя из полевых материалов, можно вполне обоснованно сказать, что рудные тела здесь представлены многочисленными, в основном мелкими, линзами магнетитовой руды...»

Чёрт побери, верно. Неужели это написано еще три года назад? Дальше я читал всё быстрее, но крепко вцепившись в смысл.

«...линзы расположены кулисообразно в толще диоритов и габбродиоритов. Последние, как правило, сильно магнитны... Магнитные вмещающие породы создают большие по площади аномалии. Приуроченность аномалий к вершинам гольцов можно объяснить сильными и частыми грозами в летний период...»

Я бегло просмотрел еще страницы три, ага, вот и вывод:

«Из вышеизложенного следует: Канымское месторождение магнетитовых руд промышленного значения иметь не может».

«Промышленного значения иметь не может». Я поднял глаза на Вовку.

– Но ведь этого у тебя не было. И вообще по аномалии ничего не было. Отлично помню. Тебе и главный тогда заметил.

Я передал листки Брониславу. Вовка стоял посмеиваясь. В глазах его прыгали торжествующие искорки. Он произнес вместо ответа:

– Ну как?

Я вспомнил тот управленческий коридор, залитый дымным солнцем, Вовкино непривычно суетливое поведение и его туманную игривую фразу: «Не уверен, не обгоняй», сказанную по поводу моего замечания о невыправленной вторых нумерации.

Мне враз как-то, в одно мгновение, стал ясен весь не очень сложный ход Вовкиного замысла. Ход настолько на первый взгляд рискованный, настолько – при ближайшем рассмотрении – неуязвимый.

Понял ли он, что я понял его?

– Но всё же... почему ты скрыл эти страницы? – спросил я. Во мне ещё теплилась надежда, что, может быть, остряк Вовка просто мистифицирует нас. Но зачем?

– Не скрыл, а изъяс. Короче – не уверен был в своих выводах, этого достаточно? Ты что-нибудь слышал о такой штуке, как профессиональная требовательность?

– Перестань валять ваньку, – подал голос Бронислав. – «Профессиональная требовательность». Ты обязан был это, – он потряс листками, – высказать в любом случае.

– Кому? Броник! Святая ты душа. Нашему главному? Андрею Максимовичу? Я пять лет проедал ему плешь своей ртутью. Думаешь, там мои аргументы были слабее? Ни хрена подобного!

Что-то мне становилось нехорошо, тошнотно. Я потёр ладонью горло, грудь.

– Тебе же давалась возможность, ты работал сезон с отрядом, – сказал Бронислав, дёргая бровями. – И потом, главного можно понять. Или реальное, почти осязаемое железо, или твоя мифическая ртуть?

– Вы думаете, главный болел за железо, когда прилетал к вам форсировать буровые? – вскинулся Вовка. – Как бы не так. Управление не дотягивало годового плана по буровым. Вот он и даванул на вас: братцы, руда нужна стране, поднатужимся! Благоустроимся потом!.. Я эту механику давно знаю.

Теперь уже возразил я:

– Не будет плана по буровым – не будет руды.

– Не спорю, в итоге – да. Но ты не впадай тогда в демагогию, а руби прямо: нужны погонные метры.

– Всё равно, ты обязан был обнародовать свои соображения. Даже если бы их приняли за бред, – упрямо сказал Бронислав.

– Благодарю, не ожидал, – повернулся к нему Вовка с полупоклоном. – Добровольно надевать на себя колпак с бубенцами...

В моих ушах возник и стал толчками нарастать шум.

– А когда ты носился со своей мифической ртутью, ты не боялся выглядеть дураком?! – заорал я и отпихнул по столу рукопись, так что листки посыпались.

Передо мной замаячило расстроенное, перепуганное Алискино лицо.

– Толя, Толя, успокойся, ну с чего вы?..

А Вовка, весь красный, пробубнил:

– Старина, я же как друзьям, а вы взвинтились.

– Мы тебе тоже как другу! Отойди, Алиса, сами разберёмся. Как ты не хочешь понять одно-го? Мы три года мордовались здесь!

– И я мордовался, – сказал Вовка. – Какая разница?

Я встал, Вовка был чуть выше меня ростом, но сейчас мы смотрели глаза в глаза.

– Для нас Каным был цель. А для тебя – средство к цели. Вот какая разница, – сказал я.

– Ну, ну, ну, – протянул Вовка, или подыскивая контраргумент, или просто желая прекратить накалившийся и, конечно же, трудный для него разговор. – Это, старина, напоминает мне наши лагерные учения, помнишь? Сам ставишь перед собой чучело и сам – длинным коли! – ловко пронзаешь его штыком.

Я сразу как-то остыл, обмяк, такое было ощущение, что ем сахарную вату: в рот кладу много, а глотать нечего.

– Ну, хорошо, – сказал Бронька, усиленно шевеля бровями. – А если бы ты не нашёл ртути. Ведь такой вариант не был исключён. Что тогда?

Молодец Бронислав! Мне подумалось: уж этот вопрос неопровержим. В ответе на него должна проявиться, ну... мера Вовкиного понимания той ситуации, что ли. Действительно, что? Страшно подумать.

Но Вовка Канончик только усмехнулся.

– Отвечать на эту твою гипотезу, Броник, нет смысла. «Если бы»! Ведь я нашёл!

Наступила тягостная пауза.

– Мальчики, миленькие, лалочки, не надо, – сказала Алиса примиряющим голосом, подсаживаясь напротив нас и глядя то на меня, то на Бронислава просительным взглядом. – Вам, откровенно говоря, всё равно было где работать – на Канyme, или на Катyне, или еще где. Так зачем этот сыр-бор? Сколько не встречались – и вот нате!

Я увидел близко ее лоб в пигментных пятнах, висящие вдоль щёк волосы. Неужели мне когда-то нравился их вызывающий, медно-фиолетовый цвет? Вспомнился мне отчетливо тот грозовой вечер и то ошеломительное чувство мгновенной зыбкости, которое дарила эта женщина и которое долго потом – не буду кривить душой – счастливо преследовало меня. Я даже зажмурился на секунду – так остро и разочаровывающе, не ко времени было это воспоминание.

– Может, ты и права – нам с Толькой всё равно, где работать, – сказал Бронислав, дёргая к подбородку ворот свитера, потому что Алиса уж слишком пристально смотрела в его сторону. – Но не всё равно – ради чего...

– Если уж обращаться к высоким материям, то и он, – Алиса кивнула на остановившегося у окна в отчуждённой позе Вовку, – все эти годы не дачу строил на Чернявой... – Она сжала ладонями виски, точно у нее раскалывалась голова и не было больше никаких сил слышать и понимать нас. – Боже мой, – сказала тихо, – уродовать себя работой, рвать здоровье – и исключительно на свой страх и риск, без чьей-либо помощи, без поддержки. И пожалуйста...

– Ты не права, – сказал строгим голосом Вовка.

Уж с этой-то стороны Алиса возражений не ожидала:

– Ах, я не права!

– Анатолий верно сказал: это наши дела, сами разберёмся.

– Ах, сами! – Алиса встала, нервно зашарила по поясу, развязывая полотенце.

– Ну прошу тебя, не вмешивайся, – сказал Вовка.

Алиса отбросила скомканное полотенце, сжатыми в кулачок пальцами прикрыла рот, по-

вернулась, быстро пошла на кухню. Но обида и возмущение так всколыхнули ее, что она не выдержала, обернулась на пороге, в глазах ее стояли слезы...

– Когда я... неделями после работы в архивах сидела... пыль глотала, тебе материалы рыла – ты не говорил: это мои дела, не вмешивайся!..

– Алиса!

– ...А когда тебе предложили заместителя Бубнова, и ты отказался и с этим потерял не только ставку приличную, но и квартиру... Сколько нам можно по частным мыкаться!.. Ты отказался, и я поддержала тебя – и ты мне руки целовал...

– Алиса, прошу тебя!..

– ...А когда тебя ревматизмом ломало, и ты рычал от боли, и я по целым ночам не спала, компрессы тебе меняла – ты не говорил: не вмешивайся!

– Замолчи! – Канончик, побагровевший, стоял с трясущимися губами, на него тяжело было смотреть.

– Почему я должна молчать? Во всём, что я сказала, ничего стыдного, ни крамольного. Они твои друзья, пусть знают. Где были они, когда ты в гольцах корчился над лотком? А однажды – ты забыл уже? – приполз почти на четвереньках и уснул прямо в сених, под порогом? – Она взглянула на нас. – И это помимо прямой работы на участке, от которого тебя никто не захотел освободить. Где были вы, хочу вас спросить?

– Мы держали ему плацдарм, – хмуро и холодно отпарировал Бронислав – Алискины слезы его, казалось, нисколько не тронули. – Дороговатый, правда, получился плацдарм, но ничего, наше государство богатое...

– «Плацдарм держали...» Вы не знали, что держали, значит, и не считается, что держали.

– Зато знал он, – сказал Бронислав.

Вовка решительно подошел к Алисе, обнял её крепко за плечи: «Тебе надо прилечь, пойдём. Тебе нельзя так расстраиваться».

Ночью я долго не мог уснуть, лежал, смотрел в вязкую темноту комнаты. Неужели, потрясенно думал я, милая моя Алиса, нежная, страстная, экзальтированная Алиса, женщина, бросила на алтарь мужниного успеха всё, абсолютно всё? Да нет, бред какой-то. Нельзя, приказал я себе,

распускать свои нервы до такой степени. Кажется, не спал, ворочался рядом Бронислав.

Из кухни, где легли Канончики, раза два-три донесся горячечный Алискин шепот, в чём-то убеждавший, что-то продолжавший доказывать. И только однажды Вовка довольно чётко сказал: «Не надо было так...»

И непонятно, к чему это относилось: не надо было так поступать или не надо было так сегодня разговаривать...

Я завернулся с головой в одеяло.

Утром я обычно поднимался на работу рано, уходил, не завтракая. Проведя раскомандировку, прочитав полученные первым сеансом радиogramмы и отправив свои, я часов в десять-одиннадцать возвращался домой завтракать.

Так было и сегодня. Только в одиннадцать часов я не пошел домой. Я знал, что Бронислав отправился к себе на гору, дома одни Канончики. И я просто не представлял, как мне с ними вести себя. Я вышел из конторы, повернул вниз по тропе. Рядом шумел, извивался по камням в белой пене ручей.

По распадку расплывались и таяли призрачные перья тумана. Здание электростанции впереди, освещенное только что прорвавшимся над гольцами солнцем, походило на причаливший кораблек. Горячая отработанная вода падала в ручей серебряным жгутом.

Я вошёл в распахнутые двери, кивнул дежурному механику. Калились, помигивали связанные гроздью осветительные лампочки. Стрелки на электропульте чутко подрагивали, шевелились: уютно пахло нагретым маслом. Один дизель молчал (был резервным), второй утробно рокотал, сотрясая бетонное основание. Бока его жарко блестели. Я остановился перед ним. Его ровный и мощный рокот действовал успокаивающе.

И мне вспомнилось...

Шло второе лето нашей разведки на Канyme. Станция работала с полной нагрузкой, питая энергией всё наше сложное хозяйство – механический цех, пилораму, посёлок, а главное – буровые вышки. Неожиданно забарахлил двигатель. Срочно был включен резервный, а мы все

собрались на станции, принялись гадать, в чем причина. В конце концов выяснилось: заводской дефект, исправить своими силами нельзя.

Мы схватились за голову: что делать? Работать одним резервным двигателем – значит каждую минуту жить под угрозой непоправимых аварий на буровых.

Новый дизель, который мог нас выручить, имелся, как мы выяснили, на базе экспедиции. Везти такую махину по земле, через горную тайгу – потребуются прорва времени, да еще неизвестно, довезешь ли в спешке живым. Выход был один: доставить вертолётом на подвеске.

Мы радировали срочную заявку.

Приземлившись на площадке экспедиционного поселка, командир тяжелого «Ми-6» долго ходил вокруг чугунной туши дизеля, пинал, сомневался. Потом спросил: сколько же весит эта хреновина.

– Девять сто пятьдесят, – с готовностью ответил наш представитель, протягивая полетные документы на груз.

– Сто пятьдесят лишку? Не пойдет! – сказал командир. – Отвинчивайте что-нибудь.

Представитель, прекрасно знавший, в какое пиковое положение попадает партия, если сорвётся доставка дизеля, взмолился:

– Мы и так отвинтили все, что можно. Остался блок цилиндров, кусок железа! Автогеном, что ли, обрезать эту лишку?

Командир оказался в конце концов человеком понимающим. Он слил часть горючего, приказал: подцепляйте, чёрт с вами.

Дважды мощная машина приподымалась в воздух и оба раза оседала, едва не бороздя подвешенным под брюхо «куском железа» землю. И только на третий раз «вес был взят».

Вертолёт грузно, точно коршун с ношей в лапах, поднялся в воздух, взял курс на синие вдали горы.

Я стоял в томительном ожидании на нашей посадочной площадке.

«Ми-6» вывалился из-за гребня гольца. Он шёл опасно низко, едва не задевая колесами верхушки пихт. И без обязательного виража, пройдя по распадку, с рёвом завис над бревенча-

тым настилом. От ураганной струи разлетелись штабеля приготовленной к погрузке орсовской тары – плетёные корзины, ящики.

Рёв стих. Долго вертелись лопасти, затмевая полнеба, обвисая, и долго из кабины вертолёта никто не показывался.

Наконец сверху, шаря ногами ступеньки, спустился командир. Он был без кителя, в белой нейлоновой рубашке с закатанными рукавами. Тяжело присев на опрокинутый ящик, стал закуривать.

Мы робко подошли к нему. Рубашка на нем была мокрой, хоть выжимай. Разбухшие вены на висках – следы пережитого нервного напряжения.

Он поднял взгляд.

– Ну, а теперь колитесь – хрипло проговорил он, – какой настоящий вес этой болванки?

Мы сказали:

– Прости, командир, если можешь... Десять четыреста...

Он выругался, швырнул под ноги окурок и полез обратно в кабину.

– Но ты не представляешь, командир, как ты нас выручил, – сказал я вслед ему. – Мы твои вечные должники, помни. И у нас не было другого выхода.

Уже держась за дверной поручень, он обернулся:

– Если факт станет достоянием гласности, вольют в первую голову мне. Но и вы не отделаетесь испугом. Тоже помните!

С тем и улетел...

Прошло много времени с тех пор, а я вижу выражение лица лётчика, его мокрую от пота рубашку. Он мог бы воспользоваться ручкой аварийного сброса груза, и был бы оправдан, однако он не сделал этого. Великое спасибо его мастерству и его выдержке. Окажись он сейчас рядом, я встал бы перед ним на колени.

И перед Бронькой Афузовым встал бы, хотя вины перед другом не знаю.

Не может совесть смириться с тем, что все наши тяжкие усилия здесь, весь риск – напрасны. Одна надежда, одна мысль не даёт покоя. Удастся ли нам добиться пересмотра проекта, доказать: руда на глубине есть...

...В широких окнах станции мелькнул снижавшийся над посёлком лёгкий «Ми-1» – за Канончиками. В грохоте станционного дизеля я его не услышал. Подошёл к двери.

К посадочной площадке, по ту сторону ручья, шли, торопились двое – Вовка и Алиса. Рядом вертелся, взлаивая, Канымчик, уже превратившийся в большого лохматого пса. Вовка, грузно шагая, нес в руке баул. Алиса в развевающемся плащике всё старалась, несмотря на беременность, забежать вперед и всё что-то говорила, говорила, жестикулируя. Вовка только головой мотал.

Не доходя посадочного помоста, которого уже коснулась винтокрылая машина, Вовка повернулся и долго смотрел на посёлок, на пустынную от него тропу...

Потеснись, завалинка!

МИНИАТЮРЫ

*Язык этой «завалинки»
не всегда послушный
грамматическим правилам,
но всегда живой
и богатый оттенками*

Лапочка

– Внучек у меня пакостливый, а так – хороший. По жопке его похлопаю, укачаю, он и уснёт. Опосля проснется и босыми ножками по полу дрёп-дрёп. Станешь над ним строжиться: а кто это опять в штаники нафурил? Где ремешок? Где попа? А он ручонки так растопырит и тоже: де? де? И смотрит на тебя, глазки вытрескал. Такой лапочка! А то найдет гвоздик и гвоздиком по стеклу зыкат, зыкат, зыкат, убила бы!

Ценное указание

Окно со звоном распахнулось. Крепко опершись о подоконник, возгласила решительно, как Ильич с броневика:

– Серёга! Да ежжай ты в конце концов, сколько можно воздух газировать! Но смотри мне! Вернешься когда – машину запячь во двор потрезву. Не то опять воротилшки пошшибаешь, паразит!

Шёл, никого не трогал

– Шёл он, шёл, а был зюзя-зюзей! Да и стал посередь дороги. Весь расшеперился, глаза вразбежку. Его шлагбантом по башке бздынь!

– Да ну? И что?!

– Да ничё особеннова, токо вот теперь в психе лежит.

– Постой-постой. Почему в психе-то? А не в травме?

Со вздохом сочувствия:

– Потому, получается, что умственность отбило.

И тут не без чертей

– Зажил он, не подступись. Мужик хваткий, оборотистый, рыск имеет. Это мы все спроста, как с моста. А у него с подносу кость не выймешь. Зато сам он ково хошь облукавит. Обратн же цветну телевизору с города приволок, небель всяку. На стенке градусник доржит. Соседи сказывают, мясорубку от стола не отвёртывают!

– А што ты, сватья, хотела? Слыхала небось: богатому деньги черти куют.

Мода и эротика

– В старо-то время коротки плаття не носили, куда! А большей частью длинны носили, по самы лытки, вот таки! Да ишшо бант назаде. Да ишшо с хвостом. Идёт, бывало, в церкву, в руке хвост несёт!

– А почему короткие не носили?

– Почему-почему. Почём мне знать – почему.

– Ну, а всё же?

– Вот пристал, как банный лист к заднице. Да потому, должно, чтоб вам, мужукам, не азартно было!

Персона нон грата

– Бабушка, здравствуйте, как тут с рыбкой нынче? Лови не хочу?

– Милай мой! Кака рыба? Кака рыба? Господи! Кемерово уж сколь годов скидывают! Тепере

токо пропащша плывет. Нам тут Ченопыльской станции не хватат, а так всё есть... Откуда сам-то будешь?

– Да из Кемерова, бабушка.

Наклонилась, сбавила голос:

– Милай мой, никому тут не говори. А то и побьют, ей-бо!

Дурачок на бревнышке

– Послушай, говорят, ты вчера в своем дворе скворцов из скворешни выгонял? За что ты их, бедных?

– А за то самое! Пускай только свои живут. Местные.

– Погоди-погоди. Они у тебя что – мечены? Какие такие «местные»?

Молча, сосредоточенно закуривает. С дымом – досадливо:

– А таки! Немазано сухи! Воробьи называются, не слышал?

– Да уж слышал. Но слышал я и другое, запоминай: лося бьют в осень, а дурака завсегда.

За наше счастливое детство

– Каки там сапоги, каки ботинки, откудава? Штанов путявых не было, не токо што. Босиками лето жили. Босиками! На покосе, на жатве там, ли где по ягоду – токо пятки голы свистят! Но и то правда, што босые-то босые, штаны в заплатах, а вечерами в клуб на танцы-шманцы завихеривали, куда с добром!

– Погоди, а зимой как же?

– Зимой?.. Да што – зимой. Кто первый проснулся – тово и валенки.

Не будь сереньким!

На курицу во дворе:

– Тварь такая! У меня петушишко тихонький, серенький, дак она, вертихвостка, близко не подпускает. А вот соседа, горлодёра хохластова, – сколь угодно раз (смеётся). Вот и курица, оказываца, понимает: женишка получче надо!

«Прынцып»

– Токо муж со двора, она хвост задрала! На мне-то самой никакой ноготок не был. Я по точкам ихним не бегаю, у меня прынцып есть,

но слухами-то пользуюсь! Она там – то с одним а-ля-ля, то с другим а-ля-ля. Да люди-то не без глаз – видют, люди-то не без языка – доносят: она жа залигистрирована, как так?.. Муж? А чё муж? Шепнула ему по-соседски, через штафетник, он маненько посумлевался и все ж ки побил её. Она помалкиват, виноватая, а больше-ка чё?

Шелковы ниточки

– Захожу к ним в дом. Сидят две девочки, шёлковы ниточки в ушах. Сидят поют. Да ладно так поют, жалостно. Голосочки как струночки. И что ты думаешь, про что поют? Хоть стой хоть падай! Про как сполубить да про как спозабыть!

Тустеп, падеспань...

– Я бывало подчепурюсь, волосёнки распушу, на ушко локон-завлекалочку, на руку браслетик змейкой – и вперёд! В гарнизон, в клуб, на танцы, под духовой! Тустеп, падеспань... Офицерики круг тебя, как стрижи круг колокольни! А напоследок в круг войдешь, дробь дашь – все вповалочку! Под утро только очуствуешься: где это ты, господи.

А в наш сельский, когда случится, заглянешь, сидишь-сидишь, говеешь-говеешь да так и уйдешь нецелованной...

Длинно вздохнула:

– Чего уж тут, красивы не все были, а молоды были все.

Техэкспертиза

Выходит из уборной, застегнулся. Долго, раздумчиво чешет зад, глядя на перекошенный грузовик во дворе соседа. На помятом лице полный неврубон:

– Эх-ма! Што ли опять у Васьки лесора крякнула?

Доска почетная – несъедобная

Я в молодых годах на руднике золотом, на бадьях работала. Вставала на зорях. С потьма до потьма приходилось. Так утискаешься за смену, придёшь, на кровать ковырнёшься – и нету тебя! Зато, непохвальбой будь сказано, всегда перва на почётной доске. Бывало, правда, на

доске висишь-висишь, а жрать всё равно нечего, в доме-то ни картовочки.

Коррида в Сидоровском сельсовете

– Заявился днями к нам на ферму полномочный из самово району. Весь в малиновых штанах из плису, порфель под мышкой. Стал и шнурок на штиблете завязыват.. Завязыват, завязыват. А бык наш – производитель – откуда-то принесли вражину – как ево под зад боданёт! Полномочный из району – в эту самую, в как её, в силосну яму! Лебедем! Порфель с бумагами – поперед ево! У нас всех волосы на голове задыбели!.. Что было! Что было! Всю ферму квартальной премии лишили...

По культурному сказать, фулюган

– Вошце-то я спльчивый. Чуть чево – меня так и запередёргиват. Чё под рукой, тем и огрею. Или живым манером в рыло. Харахтера у меня фатит. А то и пенделя засандалю, не заржавеет. А то и по матушке! Так отчихвостю, любодорого. Вот и щас тут с вами держуся, чтоб покультурней слово. Дак ведь, едрён-батон, харахтер не остановить!

Продешевил?

– У неё еще слёзки обидные не просохли, а он, змей, прильнул к ней да, как жук, зауржал над ухом, заластился, слова разные, откуда что. Она, дурёха чёртова, и отмякла вся. И готово дело! Слышу: задышала-задышала... Не могу заснуть, сон чего-то пропал. Даже, стос, совсем вытрезвел, как и не пил. Эх, мила ты моя! Лежу и думаю. Лежу и думаю. Ах ты, думаю, ёшь твою семь копеек!..

«Перетрубацыя»

– От я тебе так скажу. Рани года мои попали в самый переполох. В переустроенье жизни. Как пошла эта, не к ночи будь сказано, перетрубацыя с революцией, иконки все поизломали, поиспоругали, пожгли. А где и церквам петуха пустили. Вот кака дурь была. Взбулгачили народ! Бога не стало, и пошли грабить... А 37-й! То ж вредительский год был. Скоко людей съел...

Как раздумаешься обо всём, – душа спекаца.

Конечно, правда

Разделяет на кухне цыплёнка:

– Раньше бы я «жопка» сказала, а теперь вот «гузка» говорю. Всё ж таки маленько да повежливей, покультурней, правда ведь?

Не смешите меня

– Эт про ково вы? Эт про Верку Пырсикову? Что она мужа свово блюдёт-обихаживат? Пылинки сдуват? Не смешите! Эт с мужика-то сдуват, который рубаху утюгом на себе гладит! Сама видела!

Фома неверующий

– А я тебе уж сколькой раз толкую: я лупцевал девчонок беспощадно! До пятова класса включительно!

– А почему до пятова?

– Почему-почему? Ты што ли дурак? Потому што с шестова меня уже под зад коленом!

«Шесть несчастий»

– Погоди-погоди. Ты ему поднесла хоть?

– Что? Поднясла?.. Ты спрашиваешь – поднясла? Я бы ему поднясла! Через чой-то ему подносить? Кабы добрый был, выпил бы, сказал: спасибо тебе, тёща. Где там! Нажорётся, давай ему ишо да ишо. Голова от него колется. (Замолчала, но накипевшее требовало выхода). Сперва на сплаву год мыкал, было не утоп. Выперли с занесением! После – лоцманом. Досе хвастает. – Я, хвастает, когда лоцманом на паузке по Лене ходил, за голяшкой завсегда чекушка!.. – Нашёл чем... После на Колыму черти унесли. Три года золото сымал.

– Золото? Подзаработал, наверное?

– Заработал! Пять лет лагерей да пять лет пораженья.

– Ну а теперь?

– Теперь добывает каку-та нефтью богату, а чё толку? Чё толку-та? Прилетит оттуда, с вахты, и как в провальну яму всё.

– Поговорила бы с ним, когда трезвый.

– Поговорила бы? Ты говоришь – поговорила? С им бесполезно говорить. С им говоришь, как рядом кладёшь, прости господи...

Припёрся позавчерась, пьянее вина, деда моего взбулгачил: отыщи ему! Тот, старый дурень, полез по полкам шариться, а руки-то ни к чёрту. Банка хлесь и вдребезину! А я-то сама де была, стара дура? Теперь вот сижу – на деда лютую... Тоже днями не лучше. Потацилась на вышку за венником да с лесенки брызнулась, три часа мёртвая была.

Она не выдержала – и уже на вскрик: – Баню растопила – тяги, чтоб она сгорела, нету!... А тут еще Физа! Карты разложила и сказала: мне шесть несчастий. Ну за что, спрашивается? Сдурела наготово баба. Теперь сидит, стерва, похахатывает. Пропади ты всё пропадом...

На ступеньках «полуклиники»

– Вот она, трешшина мово мосла. Вот она, родимая. Да ты глянь, кака красавица... Ой, погодь-погодь, это же вверх тормами! – Переворачивает снимок, изумлённо: – Эт не моя трешшина! Эт како-то страшило!.. А де тогда моя?!

Ликбез по зоологии

– Таки я вам скажу. Возьмем вот туё же жабу. Обнаковенную. Лягушковидную... *Limnodynastes dorsalis*. Эта склизкая животная наружностью своей шибко натураста. Ни в каки ворота. Глаза навypучку, брюха жёлтая и пинжак горошком... Ромашкин, где твоя рука! Мурашкина, где твое колено!..

До поленницы

– Юбка у ей така цветаста-цветаста, наподобие цыганской. И по-цыгански навepчена-навepчена. От как от меня и до той поленницы. И ни сколь я даже не вру!

Заклинило

– Боровок-то наш непутёвый, влез в ведро по уши и морду не вытащит, заклинило! С испугу побежал – об заплот ведром хрясь! Брякнулся, вскочил. Об угол дома хрясь! Брякнулся, вскочил. Господи, думаю, головушка бедная. Это ж недолго и до сотрясения!

Ажник зад отсох

В большом сибирском селе Шабаново хозяйка дома, куда определило меня на постой местное начальство, энергичная, уверенная в движениях и речах женщина, сказала мне, вроде как по простоте душевной:

– Сам штоль книжку пишешь?.. Ну да?.. Дивуюсь я, это каку голову надо – книжку писать. Я бы дак не смогла. Как ота тут днями заявленье в контору села. И што ты думаешь? Нет, што ты думаешь? Сидела-сидела, сидела-сидела, ажник зад отсох! Не написала! Пришлось невестке-учительше кланяться. Так ота!

А я подумал невесело: ну жох баба. Считаю, выдала обидную для меня мысль: ну вроде того, што работоспособность «пишущей» головы лимитирована крепостью задницы. Только вот слова другие подставила, соломку подстелила. И на том спасибо. Так ота.

Хочешь, каркну?

или Новое прочтение классики

– У них на передней стене картинка висит, клёвая обалденно! Ворона на дереве, а в роте замест сыра, который она сожрала, гранату за кольцо держит, понял? И лисе: – Тебя, лиса, жареный петух ишшо не клевал в онно место? Хочешь каркну? А вертихвостка глядит и токо облизываца, балда осиновая. Со смеху помрешь!

У меня – душа

– Медведь, он борондуков от уж мастер ловить. На удивленье! Слышу раз, борондуки клохчут: клох-клох-клох! Пошёл-иду, а он, само дело, лежит кверху брюхом и лапы вот так взнял. Вот так вот! Лапы черны, засмолены. А борондуки по нём смыгают. А он их лапой хоп, лапой хоп! Сам видел, от как тебя.

А от когда, допустим, убьют медведицу, шкуру сымут – форменный гомосапис! Короче, баба. Только, само дело, голяком, с грудочками такими, б.. буду. У нас некоторые ели. Я – нет. У меня ша. Как это я человека ись буду.

Тогда и «щас»

– Щас разве с венца начинают? С загсу? С родительскова благословенья? Как бы не так!

Извольничались нонче девки. Шас с другова конца нороят, чтоб сразу пузо выше лба!

Погремушки

– Пришел с войны муж, говорит: – Не мой сын! – Я прям умерла на месте, говорю: – Это чё ты такое говоришь? С какво ветру? Это же срам так говорить, да ещё при сыне-то!.. Я по тебе всю войну подушки проревывала, а ты...

Сын большеенький уже стал, в силу вошёл, говорит: – Не мой отец! – И ушел из дому, не оглянулся. Мне аж сердце залило. С той поры я сыночка своево, первеньково, и не вижу. Уж сколькой год.

– Ну а муж-то как, не обижает?

– Нет. Когда в добром стиху, то ничё, не обижает... А де и обижает. А куда децца? Сплачешь иной раз да и ладно (машет рукой). Господи-господи, в каждой избушке – свои погремушки...

Из воспоминаний ветерана

– Немцы, они обращались с пленными как? Но там, это, били прикладами, плеухи давали, пинки, двести грамм хлеба, правда. Не буду врать. Не подох я. А вернулся с Колымы через десять лет за этот плен, слух по селу, как в колокол ударили. Навроде того, что я, злодей, в плен сдался и тем измену Родине изделал. Галематня всё это! Я на фронте контужен был на уши, весь стреляный. – Долго молчит, заново, должно быть, переживая застарелую обиду: – А войны без плену не бывает. Окружили, взяли в шоры, – дак куды ткнёшься?

Тихая Макарьевна – импрессионист

К бабушке Макарьевне, тихой, в чём душа, живущей одиноко, залезли воры, украли деньги, небольшие, но всё равно жалко. Надо принимать меры. Делится своими секретами простодушно, с хитринкой в глазу:

– Тепере, милай, де попало денег не кладу. Не-ет, учёна уж. А кладу де в мешочек в соль, де в тёплай сапог, а де и в шшолку. Не вот воры сдогадаюца!

Такой же одинокий и в тех же летах мужичок – через четыре двора – попросил у Ма-

карьевны «литрову банку пшёнки займы» для рыбацких своих надобностей. Пообещал вернуть рыбой. Лето на исходе – ни рыбы, ни пшёнки.

В веселую минуту Макарьевна рассказывает:

– Прохожу, бывает, мимо, стану проть калитки, скричу: – Федо-ры-ыч, ты жив ли-и, здоров ли-и, должок, милай мой, кода-а? – А он стрепенётся на голос, увидит меня, опешится... и так вот соберёт-соберёт всё лицо в моршшину – и нету ево!

И сама смеется, заслоня кулачком рот.

А что? Штришок-то на портрет своего должника Макарьевна моя кинула – импрессионисты, жалкие от зависти, скиснут.

Минздрав предупреждает

– В ранешны времена в наших деревнях больниц-то не было. Не было больниц-то, знать их не знали, ведать не ведали – бабушками лечились.

Под зановесочкой

– Заглянула я к ей раненько утром, чем свет, под зановесочку люлеву. Гляжу, гляжу – кто-то спит, а не пойму, аж заслезилась. Пятки торчат! Таки разлаписты! Теперь вот ума не придам: чии? А спросить бы, поинтересоваться – не посмею. Чё-то как вроде боюсь. Бабёнка она непромашная, ково смутила к себе под зановесочку? Не спрошу, не из таких. Подумат ещё: вкрадочку подглядками занимаюсь. Лучче уж перетерпеть!.. Да кабы опеть, мила моя, брюшко не приспала...

Электорат «сумлеваеца»

– Голосовали мы допрошлый год за одново тут, горластова. Он нам сулил-сулил, сулил-сулил, а сулёнова ничево нету. И тепере я в ём шибко сумлеваюсь.

Электорат комментирует

– Мужики, гляньте, какую она декламацию развела! Во гладкая, во сисястая, во пышек нажоролась.

– Не-е, сосед, какие такие нынче пышки в городе, она, должно, гушшоно молоко по утрам трескает.

– Петро, Петро, ты там ближе, покрути. Рамку ей раздвинь, а то шшоки не пролазиют!

Электорат в рассуждении

– А мы-то... ну какие мы правильные? Где схвастаешь, где сплутуешь, ково-нить обсудишь, чё-нить не соблюдёшь. Рази это не грех? Где уж нам!

В святость сё равно не взойдешь. Куда! А што уж говорить об етих несчастных депутатишках...

Куда пим улетит

– Это ещё старшая тетка моя (давно покойница) рассказывала, а я запомнила. Как раньше-то замуж ходили? А куда, говорит, пим улетит, туды и идешь! Меня, говорит, первый раз сосватали как? Привезли жениха, глянула, оиньки! Чернявенький, мозглявенький. Я – к отцу: тятенька родненький, не отдавай за нево, он мне не кажется! – А отец: – Шчас не кажется, опосля покажется! – и весь разговор. Строгой веры был. Куда ж деваться, вышла. Как в яму упала. Стали жить. Господи! Чернявенький мой, как барсук, токо на спине спит, и по всей ночи храпит и зубами скрыгочет, а я ходи с головой. Да вот помер на третьем годе. Поднял колоду пчёл, с пупа сорвал. По чистой совести сознаюсь: я по ем ревела, ох как ревела. Земля ему пухом, моему чернявенькому.

Форменная издёва

Мужики-то наши вчераь вскинулись, как в рельсу кто вдарил: водку привезли в ящиках! Цельный кузов! Бегут к сельпу, как в догоняшки, с прискокками. А прибежали, глянули – хренушки! Олифа! В бутылках из-под московской! За голову схватились. Едва почувствовались: да куды её, блин, столь-то?!

Эхо классовой борьбы

– Попервости их под твёрдо задания подвели. А как токо на колхозном правленьи постановили их зажиточными, тут-то и пошла потеха. Всё у кулаков фисковали, под метлу, уплоть до балалайки. Одне руки оставили.

Знаю-то знаю, но...

– Оне, веснушки-то, в бабах исходют, в замуже, ты што ль не знаешь?

– Знаю-то знаю, исходют-то исходют. А всё равно рожа пегастая!

Усы от Буденного

К исходу дня, загнав в сарайчик клохчущую наседку с оравой цыплят, Макарьевна тут же наводит ревизию – пересчитывает пискляво-вертлявые комочки. Сбивается, снова считает... Господи, одного цыпленчишка нету!

Трусцой трусит вдоль огородных гряд с тихим воплем: «Цым! цым! цым!».

Возвращается расстроенная: ли коршун утащил, ли цыгане?..

Какой там, к дьяволу, коршун, какие цыгане, откуда им? Жалкий самообман. Оглянись окрест, Макарьевна! Кто это там, на крылечном приступочке? Кто – в облике кома искрящейся шерсти, надутых щек и усов от Буденного? Гроза местных подполий! И твоя, между прочим, Макарьевна, тайная любовь и привязанность! Сибирский котяра, разбойник и лукавец, каких поискать. По весне случилось – сама рассказывала – крольчонка приволок. Откуда? От кого? Так и не сознался, мерзавец.

Но ведь еще и красив как черт!

Обидеть красавца и фаворита напраслиной Макарьевне смерть как не хочется. Главное, где доказательства? Нету доказательств. Однако и оставлять прецедент без последствий – повадно бы не стало. Решение – сверхсоломоново. Приблизившись к котяре и грозно нависнув над ним, пошла выговаривать ему этаким заупокойным речитативом, с едва сдерживаемой нежностью:

– Да коб тебя, варначину, уязвило. Да коб тебя, ненасытнава, разодрало. Да коб тебя, живодёра, тряской затрясло...

Трогательная, скажу я вам, бабская побранка сквозь всевластную мелодию любви и привязанности!

Кончается тем, что котяра раздувает свои завлекательные будённовские усы – на всю ширину приступочка: пронесло! И, зажмурившись, воспаряет. Ввысь! В предзакатную зарю неба.

И летит высоко. Как высоко могут лететь звуки серебряных струн любви и привязанности. Хотя не так уж и высоко.

Оторва

– У них всё какие-то хитрости. Утром иду – телёночка нет, прибили. Обрато утром иду, туалета нет, под яр спихнули. К соседке Матвевне в курятник влезли, курят – в наволочки, и с концом. У ней же все грядки с маком обдербанили.

Четыре колодки пчёл у других соседей, у Капитона Макарыча, инвалида, – так что удумали, черти косорылые, непутёвые, – подожгли колодки! Пчела клубом, клубом! А тут на беду стадо с попаса. Коровы, батюшки, сделались бешены. Хвосты позадирали да по улицам пластать, да к реке, да по кустам. Только хрусток пошёл! Пастухи прям изматерилися, до самого темна оттэда их вынали.

– Так вы бы к участковому.

– К кому? Да эта оторва и ему бошку сымет (ну может, и не сымет), а мне уж, донощику, как пить дать прилетит на веники.

Сказанул же!

– Нет, ты глянь, глянь, как она ноги-то на растопырку ставит. По другому-то брюха мешает. Она что, скоро рожать будет?

– Рожать? Да но! Сказанёшь тоже – рожать. Куда уж ей рожать, она така и есь.

Тоже дело

– Где бабушка-то?

– Да де-то во двор ушла.

– А что долго-то так?

– Да что, опять, поди, с собаками ругается.

Прям обнаглела

– Я прям аж стала в пень! Ах ты, думаю, мышь защельная. Мово же роднова мужука увела и на меня же зубы щерит!

Горькое

– Я-то думала, век мне слома не будет. Молодая была, огнём всё делала. И копнила, и гребла,

и на сплаву лес дёргала, и двадцать лет и зим то в телятницах, то в доярках. Пальцы лупились, чулком сползали. И все-то в перебежки, всё внадсад, да что тут... И ребят, с которыми дружила в молодости, – потеряла. Один погиб, другого расстреляли. И вышла за кого пришлось. А какая уж радость – за нелюбого идти? И детей не случилось, доктора сказали: нутро надсожено...

Подруги советовали: сходи в церковь да сходи. Как это «сходи»? А если я Бога не чувствовала, как я могла в церковь войти? Теперь вот улетело всё, улетучилось. Все мои семнадцать годочки ушли. Прошли-прокатилися (заплакала). Ничего не осталось – ни волос, ни зубов, ни рук, ни ног... (утерлась краешком платка). Простите меня, я, когда плачу, думаю: лучше бы я умерла...

Обдолбанные «телевизером»

– Да чё читать их газеты, ково их читать-перечитывать. Телевизер всё равно скажет!

«Осиный пузырь»

– Тебе, мальчик, сколько? Шесть?

– Ково шесь? Ково шесь? Мне уже давно семь. – И отходя, сердито: – Придумали тоже – шесь!..

Бабулька с соседней завалинки:

– Гляньте вы на ево, какой сердитый, огрызаца, не задень. Как осиный пузырь. Каки они смолоду самондравны пошли, я прямо дивлюсь. Мы не таки были.

Другая плоскость

– Таки я тебе скажу, а ты вникой. Возьмём, в пример, пчелу. Мелкая насекомая букашка, да? А на ей, еслив глубже копнуть, ещё мельче заводится. Такая микроскопическая паразитка. Инфузория, скажем для наглядности. Ну – наподобь. Дак вот, мизерна штука эта – што? Из пчелы всю мозгову систему высасыват, вот што! Была пчёлка и нету. Пчеловоды за голову хватаются.

Другую плоскость возьмём. Лося, впример. Которого еще сохатым зовут. А почему – сохатый? Да? Объясняю популярно. Потому

што! – Поднял палец, держит паузу. – Потому что рога у нево наподобь сохи. Как бы развилисты! Хотя сох уже и праху нет, в древности остались. А сохатые-то живут!

И, неожиданно оживившись, прибавляет:

– У лосиного народа рога токо мужик носит. Несправедливо это. Натурально как в обществе. Вник?

Первая брань лучше последней?

– Мою пожилу соседку по паспорту зовут Олимпияда, а ей как бы не ндравится. Говорит: зови меня просто баба Пия. Ладно, думаю, баба Пия, так баба Пия. По мне хоть горшком назови, токо в печь не ставь.

Как-то днями съездила она в город, к детям в гости, рассказыват. Я слушала ее, слушала и говорю: – Ой, баба Пия, ну ты ваще! Чё уж из себя выкомариваш-та? Ну скоко трындеть одно и то же! То асфальт там горячий, она от нево недомогает, то не хочет ихны ковры-палазы персицки. Ходить по ним, видите ли, как по болоту! От надо же! Ну и живи, говорю, тада в своем хлеву, где пол зыбится, ходи по лепёхам.

Обиделась моя баба Пия вусмерть. Глаз не кажет.

Болтаем, а то язык на чё!

– Мне, бабоньки, вот че поинтересоваться. Чё это он не женится и не женится? В самой, вроде, поре мужик. Здоровый, становитый, фигура! Об ево лоб только поросят бить!

– Хох, чё не женится? Понятно дело чё. Либо чё не хватает, либо чё-нить неладно. Нюська, закрой уши, не слушай! Женилка, должно, не работает. А больше-ка чё!

– Хо-хо-хо! Ну ты, Клашка, даёшь!

– Бабы, бабы, глянь на Нюську! Нюсенька, ты чё така враз пунцова стала? Подслушала? Мы ж это шутьем! Болтаем сидим, а то язык на чё!

Слезам

– А я уже земляны поклоны не могу класть. На колени стать не могу, не подымусь. Шибко плоха сделалась. Больши года у меня, кости отерпли. Страшно до большой старости дожить. Смертушку как гостьюшку жду, да де-то не идёт. Ну эт песня такая... А зайду в церкву, ажно блеск везде, сиянье. Стану, у меня в грудях тает. Стою, стою, и так влияет на меня хорошо. Ну а как запоют, энту... «Верую!» – ой-ой! Ажно шкуру подират!

А молюсь я теперь, родимка моя, слезами.



Николай Дорожкин

Загадочная русская душа

Сами по себе эти слова – уже загадка. Почему-то не говорят о загадочности немецкой, датской, голландской, швейцарской души – нет, только о русской (или славянской). Почему? Не говорят и о загадочной душе монгола, китайца, индийца, перса – а ведь Восток вообще сплошная загадка. В чем дело?

Попытаемся взглянуть на проблему глазами иностранцев – например, французов, побывавших в России в начале XIX века. Вот мнение маркиза Астольфа де Кюстина: «Русские насмешливы, и мысль послужить объектом для их шуток была для меня невыносима... Русские не только склонны к насмешке, они холодны, хитры, остроумны и малоделикатны, как все честолюбцы. Они особенно недоверчивы к иностранцам, суждений которых опасаются, так как считают, что мы не очень благожелательно к ним относимся. Это заранее делает их враждебно к нам настроенными, хотя внешне они кажутся вежливыми и гостеприимными».

Совсем другие впечатления о людях России вынесла известная писательница баронесса Жермена де Сталь: «Повсюду в Европе резка противоположность богатства и нищеты, в России же ни то, ни другое не выделяется. Народ не беден, а знать способна, когда это необходимо, вести такой же образ жизни, какой ведет народ. С одной стороны, суровые лишения, с другой – изысканные удовольствия отличают эту страну. Сами вельможи, в палатах которых вы найдете всё, что есть блестящего и роскошного во всех странах и у всех народов, питаются в пути гораз-

до хуже французского поселенина и способны переносить не только на войне, но и во многих житейских случаях физическое существование очень стеснённое. Суровость климата, болота, леса и пустыни, покрывающие значительную часть страны, заставляют человека бороться с природой...

В народе этом есть что-то исполинское, обычными мерами его не измерить... Не лишним будет повторить, что народ этот создан из противоположностей поразительно резких. Быть может, совмещающиеся в нем европейская культура и азиатский характер тому причина... Гибкость их природы делает русских способными подражать во всём. Сообразно с обстоятельствами они могут держать себя как англичане, французы, немцы, но никогда они не перестают быть русскими...».

Всё, что писали о русском народе иностранцы, было, несомненно, известно замечательному историку В. О. Ключевскому. Он и рассматривал национальный характер соотечественников с учётом природы и истории России. При этом Ключевский употреблял слово «великоросс» достаточно условно, учитывая, что даже во внешности его отразились черты других племён, явно не славянские. В разделе «Психология великоросса» он пишет: «Народные приметы великоросса своенравны, как своенравна отразившаяся в них природа Великороссии. Она часто смеётся над самыми осторожными расчетами великоросса; своенравие климата и почвы обманывает самые скромные его ожидания, и, привыкнув к этим обманам, расчетливый великоросс любит подчас, очертя голову, выбрать самое что ни на есть безнадёжное и нерасчётливое решение, противопоставляя капризу природы каприз собственной отваги. Эта склонность дразнить счастье, играть в удачу и есть великорусский *авось*...».

Ни один народ в Европе не способен к такому напряжению труда на короткое время, какое может развивать великоросс; но и нигде в Европе, кажется, не найдём такой непривычки к ровному, умеренному и размеренному, постоянному труду, как в той же Великороссии.

Великоросс... вообще замкнут и осторожен, даже робок, вечно себе на уме, необщителен, лучше сам с собой, чем на людях, лучше в начале дела, когда ещё не уверен в себе и в успехе, и хуже в конце, когда уже добьётся некоторого успеха и привлечёт внимание: неуверенность в себе возбуждает его силы, а успех роняет их. Ему легче одолеть препятствие, опасность, неудачу, чем с тактом и достоинством выдержать успех; легче сделать великое, чем освоиться с мыслью о своем величии. Он принадлежит к тому типу умных людей, которые глупеют от признания своего ума. Словом, великоросс лучше великорусского общества... Природа и судьба вели великоросса так, что приучили его выходить на прямую дорогу окольными путями. Великоросс мыслит и действует, как ходит. Кажется, что можно придумать кривее и извилистее великорусского проселка? Точно змея проползла. А попробуйте пройти прямее: только проплутаете и выйдете на ту же извилистую тропу».

«Загадочная русская душа» занимала мысли и нашего знаменитого соотечественника, долгое время проживавшего за рубежом – художника, философа и путешественника Н. К. Рериха. Потомок обрусевших немцев заинтересовался содержанием слова «подвиг» и обратил внимание на то, что это понятие в принятом нами смысле не встречается больше ни у одного народа: «Оксфордский словарь узаконил некоторые русские слова, принятые теперь в мире: например, слова «Указ» и «Совет» упомянуты в этом словаре. Следовало добавить еще одно слово – непереводаемое, многозначительное русское слово «Подвиг». Как это ни странно, но ни один европейский язык не имеет слова хотя бы приблизительного значения. Говорят, что на тибетском языке имеется подобное выражение, и возможно, что среди шестидесяти тысяч китайских иероглифов найдется что-нибудь подобное, но европейские языки не имеют равнозначного этому древнему характерному русскому выражению. Героизм, возвещаемый трубными звуками, не в состоянии передать бессмертную, всезавершающую мысль, вложенную в русское слово «подвиг». «Героический поступок» – это не совсем то: «доблесть» – его не исчерпывает; «самоот-

речение» – опять-таки не то; «усовершенствование» – не достигает цели; «достижение» – имеет совсем другое значение, потому что подразумевает некое завершение, между тем как «подвиг» безграничен.

Соберите из разных языков ряд слов, означающих лучшие идеи продвижения, и ни одно из них не будет эквивалентно сжато, но точному русскому термину «подвиг». И как прекрасно это слово: оно означает больше, чем движение вперед, – это «подвиг»! Бесконечная и неустанная работа на общее благо имеет результатом громадный прогресс – это и дало России её великолепных героев. Великие дела совершаются без шума, они скромно творятся на пользу человечества.

Подвиг создает и накапливает добро, делает жизнь лучше, развивает гуманность. Неудивительно, что русский народ создал эту светлую, эту возвышенную концепцию. Человек подвига берет на себя тяжкую ношу и несет её добровольно. В этой готовности нет и тени эгоизма, есть только любовь к своему ближнему, ради которого герой сражается на всех тернистых путях. Он стойкий работник, он знает цену труду, он чувствует красоту действия в пыли труда, он готов приветствовать каждого помощника. Ласковость, дружелюбие, помощь угнетенному – вот характерные черты героя... «Подвиг» означает движение, проворство, терпение и знание, знание, знание. И если иностранные словари содержат слова «Указ» и «Совет», то они обязательно должны включить лучшее русское слово «Подвиг».

Приведённые здесь впечатления относятся к первой половине XIX века. Рерих писал столетием позже. А вот мнение о русских конца XX века, которое высказал известный итальянский писатель, обозреватель газеты «Ла Stampa» Джульетто Кьеза (с ним автору этих строк довелось беседовать в 2000 году на Международной конференции по тематике, связанной с отношениями людей разных рас и национальностей). На вопрос, правда ли, что у русских с итальянцами гораздо больше сходства, чем с другими европейцами и тем более американцами, Кьеза ответил:

«Очень известный итальянский журналист Индро Монтанелли сказал как-то: “Сходство между итальянским и русским народами настолько велико, что мне даже кажется: русский народ – это трагическая версия итальянского, а итальянский – комическая версия русского”. Остроумная фраза, и очень похоже на правду. Конечно же, мы разные. Но возникает вопрос: почему наши культуры так взаимно импонируют нашим народам? Почему итальянская музыка всегда так нравится русским и русская музыка – итальянцам? А наше и ваше кино? Почему все культурные элементы нашей жизни сильно отразились друг в друге?

Может быть, этому есть исторические причины. Например, тот факт недавней истории, что в Италии была самая большая в Европе коммунистическая партия, которая способствовала распространению произведений искусства, как-то созвучных советскому мировоззрению. Возьмите хотя бы неореализм итальянского кино... Это был мост между нашими культурами, нашими народами. Но всё, по-моему, имеет ещё более глубокие исторические корни. Кремль был построен итальянским архитектором Фиоравенти. Петербургские архитектурные ансамбли тоже связаны с именами итальянских архитекторов – Кваренги, Растрелли... Это ведь огромный вклад одной культуры в другую. Есть и психологические моменты. Италия, как и Россия, всегда имела большие проблемы в связи с разделением на богатых и бедных. У нас Юг отсталый, бедный по сравнению с Севером. Отсюда проблема перераспределения средств. У итальянцев, как и у русских, обострённое чувство социальной справедливости. Потому и нашли такую почву в наших странах коммунистические идеи. Наши проблемы гармонизации и конфликтов внутри общества во многом похожи на ваши – учитывая, конечно, масштабы. Разница в том, что Италия мононациональна, а Россия многонациональна.

Особенно похожи на итальянцев южные украинцы. У них даже встречаются фамилии итальянского типа. И этому есть историческое объяснение. Там, возможно, проживают и отдалённые потомки средневековых итальянцев. До

формирования в единое государство итальянцы имели крупный и сильный флот. Широко были известны генуэзские и венецианские навигаторы. Было много колоний, в том числе и на Чёрном море, в Крыму, вблизи нынешней Украины. Колонии были и в Северной Африке, но там из-за слишком большой разницы цивилизаций они не оставили такого культурного наследия. На Чёрном море средневековые итальянцы нашли более мягкий приём местного населения, в отличие от исламского в Африке. Они были восприняты не как завоеватели, а как гости. Значит, возможны были и смешанные браки.

У наших с вами народов налицо взаимная положительная комплиментарность. Даже когда Италия была вовлечена фашистами в войну против СССР, наши военные вели себя иначе, нежели немцы. И воевали плохо, в отличие от немцев и русских... Мы, кстати, всегда плохо воевали. Итальянцы – не военный народ. Не римляне, да? Так вот, наша литература переполнена воспоминаниями об отношениях с русскими и вообще советскими людьми во Второй мировой войне. Фильмы есть об этом. У итальянцев не хватает такой твёрдой, холодной жестокости, как у немцев, видящих мир чёрно-белым. У такого видения мира есть свои плюсы и минусы, но сейчас речь не об этом. Мы предпочитаем договориться. Не любим обострять ситуацию. Политика Италии всегда этим отличается, что не всегда хорошо. У русских тоже есть склонность к компромиссам. Мы понимаем вас и вашу политику лучше, чем французы и немцы. Не говоря уж об американцах и англичанах, которые, по-моему, вообще её не понимают».

Те наши фронтовики, которым приходилось в ходе Великой Отечественной войны противостоять итальянским частям, рассказывают, что они тоже относились к итальянцам иначе, чем к немцам и другим европейским оккупантам. Бойцы видели в них не столько врагов, сколько жертв немецкой военной машины. Даже сочувствовали им.

Известно высказывание одного итальянского автора, что американцы живут, чтобы работать, а итальянцы и русские работают, чтобы жить. Джульетто Кьеза уточнил:

«Это так. Но в этом смысле вы лучше итальянцев. Я знаю другое высказывание, принадлежащее немецкому театральному режиссёру. Он говорит: “У меня в России всегда складывается впечатление, как будто у русских впереди больше времени”. Остроумно, да? Россия сейчас не так богата, как Италия. Но в том, чем владеет, она великолепно разбирается. Есть у русских с итальянцами и другие общие качества. У наших и ваших людей очень высокая индивидуальность. Мы с вами не так стандартны, как те же американцы».

В ходе беседы итальянский писатель неоднократно давал понять, что в его понимании русские – это не только великороссы или даже восточные славяне:

«Ясно, что народы время от времени, в силу разных причин, перемещаются по Земле. Как мы уже говорили, те же генуэзцы и венецианцы побывали в Причерноморье, а ваши народы – славяне, племена Сибири и других восточных районов приходили на Апеннинский полуостров во времена падения Римской империи. Происходило и смешение народов, взаимное проникновение элементов разных культур. Я помню, в 1981 году был в Грузии с делегацией молодых распространителей газеты “Унита”. В одной горной деревне нас пригласили на пир. Великолепное грузинское пиршество, с песнями, танцами... Так вот, когда начались танцы, мои молодые коллеги, парни из Сардинии, смотрели с открытыми ртами: “Откуда здесь знают сардинские танцы?”... Когда они сами пошли танцевать, удивлялись уже грузины. Кто-то прошёл давно там или здесь! И надолго оставил свой след. То же и в отношении русских и итальянцев. Поколения людей уходят, а следы остаются... Главное, чтобы это были добрые следы!»

Нет ни элина, ни иудея, ни варвара, ни скифа...

Наши и зарубежные авторы, пишущие о «загадочной русской душе», вкладывают в эти слова разное содержание. Остановимся на одной стороне этой «загадки» – отношении русского человека к людям других национальностей. Да, одна из несомненных загадок – это феноменальная этническая терпимость русских (и вообще

восточных славян). «Всемирность» – так называл это качество Ф. М. Достоевский. Именно этническая терпимость позволила русским землепроходцам – стрельцам, казакам и торговцам – с ничтожно малыми силами пройти за короткое время Сибирь и Дальний Восток. Потому, наверное, и рассуждают западные (и в первую очередь американские) историки и психологи о загадке русской души, что не могут себе представить – как это можно без массового уничтожения местного населения и вообще без вражды к нему освоить громадные пространства Азии?

Но мало сказать, что русские относились к соседним народам «без вражды». Русские поселенцы в Сибири – купцы, служилые люди, военные и штатские чиновники, духовенство, беглые крестьяне – в массе своей относились к местным жителям как к своим, охотно создавали межэтнические семьи. Об этом писал ещё в середине XIX века А. С. Хомяков: «Русский смотрит на все народы, замежёванные в бесконечные границы Северного царства, как на братьев своих, и даже сибиряки на своих вечерних беседах часто употребляют язык кочевых соседей своих якутов и бурят. Лихой казак Кавказа берёт жену из аула чеченского, крестьянин женится на татарке или мордовке, и Россия называет своею славою и радостью правнука негра Ганнибала, тогда как свободолюбивые проповедники равенства в Америке отказали бы ему в праве гражданства и даже браке на белолицой дочери прачки немецкой или английского мясника».

Неравенство в той же Сибири было, как и в России, но в основном сословным, а не этническим. А если этническое и было, то отнюдь не в пользу русских. Как следует из документов XVII века, русские купцы платили пошлину 10 процентов от стоимости товара, а бухарцы и кавказцы – только 5. Последние облагали русских торговцев данью и при неуплате устраивали «наезды» – при попустительстве купленной полиции. Такое вот отношение российских властей к своим подданным – хуже, чем к иноземцам – всегда удивляло и радовало последних. Для народа России власть извечно – мачеха. В этом, кстати, ещё одна загадка русской души. Как отмечал Г. П. Федотов,

русские (именно великороссы) отличаются от других (и даже славян) тем, что не любят быть начальниками и – не любят начальство... И поэтому в России, как нигде, большинство высшего руководства (а в армии – даже низшего) представлено людьми нерусскими и «не совсем русскими»...

Европейцам непонятен интерес русских к чужой истории, ее деятелям. «Странные вы люди – уважаете Черчилля, Рузвельта, де Голля... какое вам до них дело?» – писал английский журналист. Но интерес русского человека к людям других рас и культур имеет свои особенности. Книги и фильмы о завоевании Африки или Америки европейцами по-разному показывают взаимоотношения пришельцев с неграми и индейцами. Но неизменно одно – русский читатель и зритель в большинстве сочувствует не так называемым «белым братьям», но – чернокожим и краснокожим аборигенам.

Вспомним русского ученого, потомка запорожцев Н. Н. Миклухо-Маклая. Менее года прожил он у папуасов Новой Гвинеи, но память о нем, перешедшая в обожествление, в «культ Маклая», жива до сих пор. Это разве случайно? И случайно ли, что на фоне обширной литературы на тему «белый человек и туземцы» (Д. Фенимор Купер, Майн Рид, Д. Лондон, Р. Хаггард и другие) в русской литературе тема отношений с «иногородцами» не получила развития и представлена разве что произведениями В. К. Арсеньева («Дерсу Узала»), М. М. Пришвина («Корень жизни», «Черный араб») да еще, пожалуй, Н. С. Лескова («На краю света») и В. Г. Короленко («Сон Макара»). Но как представлена! Вместо свирепых каннибалов и кровожадных охотников за скальпами – таежный житель, нанаец Дерсу Узала, который даже о животных говорит, употребляя слово «люди», или тунгус-язычник, поразивший воображение православного миссионера своим подлинно христианским отношением к ближнему (тому же миссионеру).

Уже упоминавшийся маркиз де Кюстин, который побывал в России при Николае I, писал, что его раздражала и пугала такая черта русских, как насмешливость. Да уж! Это мы умеем...

А что касается нашего юмора, насмешливости, умения видеть смешное в грустном и мрачном, этого «смеха сквозь невидимые миру слезы» – не эти ли качества помогают русскому народу держаться, не сдаваться и выживать?

Многих удивляет сочувствие русских к пленным, побежденным... «Но тому, о Господи, и силы / И победы царский час даруй, / Кто поверженному скажет: – Милый, / Вот, прими мой братский поцелуй!» Это – строки стихотворения Николая Гумилева, поэта-воина. Много ли мы знаем случаев, чтобы российский или советский военнопленный в Германии имел друзей среди местного населения? Обратных же примеров множество. Военнопленные Первой мировой войны (немцы, австрийцы, мадьяры) жили в Сибири в лагерях, свободно перемещаясь по городу, заводили друзей и подруг, женились.

А может, и вся-то загадочность русской души – в естественном, органичном, а не формально-догматическом принятии христианского учения о том, что «нет ни эллина, ни иудея, ни варвара, ни скифа...»? И еще – в нежелании другому того, чего себе не желаешь? Всего-то... Как просто!

Как Боян растекался мыслию по древу

В школе когда-то надо было заучивать наизусть: «Боян бо вещей, аще кому хотяше песнь творити, то растекается мыслию по древу, серым волком по земли, шизым орлом под облакы...» Конечно, можно было просто запомнить отрывок, чтобы выполнить домашнее задание и пятёрку заработать. Но если вдуматься в смысл этих слов, они казались непонятными и даже загадочными.

Когда читаешь «Слово о полку Игореве» не для ответа на уроке, а просто как хорошую литературу, поражают некоторые особенности творчества и автора, и вещего Бояна, постоянно упоминаемого в тексте. Боян, как это следует из зачина «Слова...», был человеком вещим, то есть мудрым. Значит, на людей и события он смотрел не с одной какой-то точки зрения, а с разных сторон и расстояний, высот и углов. Так смотрит кинооператор на съёмочную площадку. Точно так же, «по замыслению Бояню», поступает и автор «Слова».

И поэтому, читая «Слово», мы как будто смотрим хороший современный фильм: то видим лицо князя на переднем плане, то нам показывают издали и откуда-то сверху движение конной дружины – цепочкой по майской траве... А вот космический план – тень Луны закрывает солнечный диск, и тьма ложится на золотые шлемы и красные щиты витязей, и тут же – весенний лес, наполненный птичьими криками, и вдруг (вид снизу) – див, косматое чудище на верхушке дерева! И снова ближний план – слезы на глазах и усах Святослава, дальше – плачущая на крепостной стене Ярославна, а то – ужас в глазах «красных девок половецких», полонённых добрыми молодцами из дружины Новгород-Северского князя... «Слово» – как будто готовый сценарий! Разве это не странно для двенадцатого века?

Однако именно благодаря такому кинооператорскому зрению автора «Слова» становятся понятнее и образы то волка на земле, то орла под облаками... С волком и орлом как будто всё ясно – эти представители фауны всегда носили налёт мистицизма, да и само творчество есть тайнодействие... Но как понять «растекается мыслию по древу»? И что это за «мыслено древо», которое упоминается дальше в тексте «Слова» – «скача, славлю, по мыслену древу»?

Мысль или мышь?

По поводу мыслена древа и растекания по нему существует несколько точек зрения. Одни исследователи «Слова» считают, что «**мыслено древо** – это древо познания». И тогда растекаться по нему мыслью значит не что иное, как думать, мыслить. Это можно понять. Другие слововеды

высказывают иные мнения: мол, надо читать не «мысль», а «мысь», то есть «мышь», поскольку в псковском говоре «мышь» означает «белка». И «мыслено древо» – это уже «древо жизни», по которому вещий Боян растекается... белкой. Странный образ (если не сказать больше)...

Чтобы принять эту версию, нужны два предположения: во-первых, что автор поэмы был псковским, и, во-вторых, автор или переписчик допустил опisku – написал «мыслию» вместо «мысию». Но в поэме есть место, где вещий Боян уподоблен соловью (славлю): «скача, славлю, по мыслену древу». Получается, что и древо в «Слове» постоянно меняет своё назначение, и Боян вещий выступает, пусть фигурально, неким оборотнем, превращаясь попеременно то в белку (мышь), то в соловья.

Но приведённые здесь версии всегда казались автору этих строк несколько искусственными, уводящими от существа дела. На мой взгляд, есть прямое решение этой задачи. Оно заключается в том, что образ древа в обеих фразах «Слова» означает одно и то же: «древо» – это древесина, то есть дерево как материал. И не мышью (или белкой) растекается по нему вещий Боян, а именно мыслью. Потому оно и «мыслено древо». Всё оказывается гораздо проще, понятнее, даже очевиднее – и тем интереснее. Но для начала обратимся к людям, для которых история складывается не из гипотез, а из тех предметов материальной культуры, до которых приходится докапываться в буквальном смысле – с помощью лопаты и других шанцевых инструментов.

Очевидное для одних совсем не является таковым для других. Поэтому начнём обоснования с книги великого археолога – академика РАН **В. Л. Янина**. Книга называется «Я послал тебе берёсту». Автор её нигде не касается темы «Слова о полку Игореве» – у него другая задача: рассказать о поисках и находках Новгородской археологической экспедиции. Её первый руководитель, профессор **А. В. Арциховский**, ещё в 1930-х годах предсказал, что здесь будут найдены берестяные грамоты (сведения о единичных находках которых имелись и раньше), но только в 1951 году была обнаружена первая «берёста»; в тот же сезон нашли ещё девять. А дальше –

пошло-поехало... К настоящему времени число найденных берестяных грамот приближается к первой тысяче.

Новгородские находки показали, что в этой северной русской республике XI–XV веков грамотность была явлением привычным, обыденным. Чего только нет в этих грамотах на берёзовой коре! Хозяйственные и торговые записи и счета, переписка мужа с женой, работника с господином, конторские документы чиновников и тексты религиозных проповедей, протоколы заседаний Совета господ и жалобы в суд, брачные предложения и военные донесения, страницы из учебников и школьных тетрадей, каракули первоклашек и шифровки военного или коммерческого характера...

Канцтовары Древней Руси

Оказалось, что берёзовая кора как самый естественный, доступный, народный материал для письма служила заменителем дорогостоящего пергамента (выделанной телячьей кожи) и была широко распространена в этом качестве на Руси. И не только... Берестяные грамоты были найдены, кроме Новгорода, в Поволжье, Сибири, Эстонии, Швеции. В Подмоскovie, в обители святого Сергия Радонежского «...самые книги не на хартиях писаху, но на берестех» (Иосиф Волоцкий). Нетрудно вспомнить, что не только сибирские ханты и манси, шведские ярлы и финские рыбаки выцарапывали рисунки, буквы и различные знаки на бересте – это же делали североамериканские индейцы. «И на гладкой на берёсте много сделал тайных знаков... Все они изображали наши мысли, наши речи» – так писал об этом Генри Лонгфелло в прекрасной поэме «Песнь о Гайавате».

Обилие находок именно в Новгороде Великом объясняется особенностями новгородских почв, их повышенной влажностью и мощным, обширным водонепроницаемым слоем глины. В других почвах береста и древесные материалы так долго не сохраняются. Плохая сохранность древесных материалов – бич восточно-славянских культур. Ведь почти все строения славян, а также культовая скульптура и многое другое выполнялось из дерева. Из-за сильной подверженности древесины огню и микроорганизмам очень мало

сохранилось материальных памятников времён язычества, особенно в лесистой местности.

Большинство грамот нацарапано «писалом» – металлическим или костяным инструментом, заострённым с одного конца и закруглённым с другого. Эти писала, в отличие от берестяных грамот хорошо сохранившиеся, находят на территории от Пскова до Смоленска, Киева и Рязани. Значит, и писать было на чём. И не обязательно на бересте! В качестве материала для письма встречаются, например, луб (внутренняя кора липы) и просто дощечки. А недавно В. Л. Янин сообщил об уникальной находке в Новгороде. На этот раз обнаружена книжка из плоских дощечек с углублениями, заполненными воском, оказавшаяся школьным учебником XI века. Подобными «канцтоварами» пользовались когда-то и в Древнем Риме. Понятным стало и закругление на тупом конце писала: оно служило для заглаживания ошибок. Не отсюда ли пошло выражение «загладить вину»?

Но если «канцтовары Древней Руси» – это берёста, луб, дощечки простые и покрытые воском («церы»), то всё это и есть – древесные материалы! И, конечно же, читателю уже всё настолько ясно, что он самостоятельно вывел простую формулу:

ДЕРЕВО + МЫСЛЬ = КНИГА.

Да, именно берёста, луб и дощечки служили материалом для письма. Дощечки с нанесёнными на них буквами были букварями древнерусских школьников. А луб в качестве «того, на чём пишут» употреблялся на Руси и в античном Риме. Да и не только...

Интересно, что ещё в XIX веке такое предположение высказывал Е. И. Классен. Правда, у него не было достаточно материалов для обоснования своей догадки. Ведь в то время ещё не были известны новгородские берестяные грамоты. Может быть, он знал о других деревянных книгах?

Если берёста, луб, дощечки суть материалы для письма, то естественной видится прямая связь понятий «дерево» и «книга» в древнерусском обиходе. В старинном описании библиотеки Троице-Сергиевой лавры упоминаются «свёртки на деревце чудотворца Сергия». Такие

свёртки из берёсты с нанесёнными письменами находили археологи в новгородском раскопе. Приводятся и их фотографии.

Никого не удивляет, что немецкое слово «Papier» (бумага) происходит от папируса, а сам папирус – материал для письма в Древнем Египте и Элладе – получил своё название от нильского тростника, из которого изготовлялся. Это если не древесина, то всё-таки растение. Другой древний материал для письма, применявшийся народом майя, вообще изготовлялся из крупных листьев дерева вроде известного нам фикуса. Кругом древесные следы!

Интересно, что в «Словаре древнерусского языка» **И. И. Срезневского** есть такое значение слова «лубъ», как «грамота». «Лубъ» и «грамота» (документ) – синонимы. И не случайно всем известный вид печатной русской народной литературы тоже называется «древесным» словом – «лубок»! И ещё. Как будет тот же «лубъ» по-латыни? «Liber». А как по-латыни «книга»? Правильно, тоже – «liber». Что на Руси, то и в Риме! На других языках книга тоже называется «древесным» именем. По-немецки книга – «Buch», но это же слово означает и «бук» – дерево: наверное, именно на букowych дощечках начинали писать древние германцы. Причём раньше британцев: по-английски «книга» будет «book» – явное заимствование у немцев, потому что это слово с буком или другим деревом уже не связано. По-французски же «книга» – «livre»: тот же «liber». Понятно: французский язык относится к романской (латинской) группе.

Книжно-древесные связи можно и продолжить. Вряд ли случайно, что любая книга состоит из листов. Листья на дереве, листы в книге... Книгу листают, перелистывают, и шелест книжных – бумажных – листов перекликается с шелестом кроны дерева, состоящей из листьев... А то, что сейчас называется обложкой, не так давно именовалось «корками» – тоже словом древесного семейства. О документах и сейчас ещё говорят – «корочки»...

Так что, скорее всего, «Боянь бо вещей, аще хотяше кому песнь творити, то растекашется мыслию...» по страницам и свиткам древесных книг – берестяных, лубяных, из дранок и до-

щечек составленных. То есть – просто читал, что другими было написано, и сам писал вдохновенно, то рыща мысленно серым волком по земле, то взлетая сизым орлом под облака... Вещим он был, то есть мудрым, – так уж, наверное, грамоте-то разумел вельми! И не на родном только языке, подобно столь же вещему автору «Слова», в тексте которого – и тюркизмы, и латинизмы, и другие «-измы», доселе не разгаданные многомудрыми слововедами.

А ещё в словаре И. И. Срезневского есть слово «мысльникъ» – «ложная книга». Хоть и ложная, но всё-таки книга! Это ещё одно подтверждение близости выражений «мыслить» и «читать». Или – «писать». А вот содержащееся в зачине «Слова» выражение «ущекотал скача, славю, по мыслену древу» («щёкот» – соловьиное пение, «славий» – соловей) означает, вероятнее всего, исполнение написанной песни. Под рокочущие аккорды струн, как повелось исстари – ведь у славянских певцов ещё в VI веке был обычай сопровождать своё пение игрой на гусях. Может быть, традиция даже древнее – с античных времён, от таинственного Орфея, уроженца Фракии, земли балканских славян.

Термин «песнь» имеет и более широкое значение – как поэтическое произведение, которое можно читать, а не только петь. Примеры имеются в культурах многих народов: «Песнь песней» царя Соломона в Библии, «Песнь о Роланде», уже упомянутая «Песнь о Гайавате», да и «Витязь в тигровой шкуре» («... я же, некий Руставели, о великом Тариэле, проливая слёзы, пел»), «Песнь о вещем Олеге»...

Главное же, что художественные образы «растекания мыслью по древу» и «мыслена древа» в «Слове о полку Игореве» убедительно свидетельствуют о высокой поэтической и письменной культуре той Руси, которую почему-то привычно называют Древней. О подлинно Древней Руси известно пока не очень много. А времена создания «Слова» были для Руси нормальным Средневековьем. Но это уже другая история...

Кстати, и академик РАН В. Л. Янин согласен, что «мыслено древо» – это книга, а «растекаться мыслью по древу» – не что иное, как читать и писать на древесных древнерусских страницах.

Апрельский аврал 1961 года

Те, кому приходилось носить воду на коромысле, знают, что такое колебания жидкости в ёмкости! Но если вода, раскачав ведро, самое большое, плеснёт водоносу на ноги, то аналогичное поведение горючего или окислителя в топливном баке ракеты с ЖРД может привести к потере устойчивости, а это чревато весьма серьёзными последствиями.

Практически с самого начала работы в отделе динамики НИИ-88 (ЦНИИмаш) мне пришлось проводить экспериментальные исследования колебаний жидкости в топливных баках. Тогда только закладывались основы будущей лаборатории физического моделирования. В небольшом помещении располагались экспериментальные установки, кульманы конструкторов, столы инженеров и техников с развёрнутыми на них «синьками», миллиметровками и осциллограммами. Гудели вибростенды и генераторы, визжали напильники слесарей, чья-то электродрель сверлила швеллер; огромные шлейфовые осциллографы «Сименс» завораживали запахом озона и отблесками ртутных ламп...

Задачу экспериментального поиска способа «усмирения» волны поставил передо мной в начале 1960 года начальник лаборатории Геннадий Никифорович Микишев. За глаза мы звали его Шефом (в отличие от начальника отдела Анатолия Григорьевича Пилютика, которого именовали Папой). Теоретические работы по этой теме велись в лаборатории Бориса Исааковича Рабиновича. Конечно, «гасить колебания жидкости» – понятие качественное, а в науке и технике работают с числами. И для характеристики этого самого «гашения» колебаний существует специальная величина – коэффициент демпфирования.

Штурм Перекопа и Русский Эксперимент

Прежде, чем заниматься конструкцией устройства для гашения колебаний жидкого топлива,

мы должны были экспериментально определить коэффициенты демпфирования для «гладких» полостей, то есть без демпфирующих устройств. На первых порах важно было найти зависимость коэффициента демпфирования от размера бака и вязкости жидкости (критерий Рейнольдса). Баки у нас были – диаметром от 200 мм до полутора метров, а вот варьировать величиной вязкости было посложнее – вода есть вода. Увеличивать вязкость проще – был бы глицерин. А вот уменьшать...

Случайно в американском справочнике я увидел интересную жидкость с вязкостью в шесть раз меньше, чем даже у ацетона – бромистый метилен! Ссылка на немецкий источник. Нахожу источник – та же цифра. Докладываю Шефу. Он тоже удивлён. Но – серьёзные издания, как не поверить? Решаем добыть вещество для пробы. Главный измеритель отдела Николай Дмитриевич Пронин посоветовал обратиться в одно учреждение в Москве. Состоялась джентльменская сделка: поллитра на поллитра. Мы им – спирт, они нам – бромистый метилен. Добыли! Но – что такое? Измеряю вязкость – а она, как у ацетона... Возникли сомнения – насколько чистое вещество нам досталось?

Через некоторое время Шеф командировал меня туда, где это вещество добывается – в Крым, на Красноперекопский Бромный завод. Папа, подписывая командировочные бумаги, напутствовал меня словами: «Что, будем снова штурмовать Перекоп?» На заводе я целую неделю, сидя в заводской лаборатории, измерял вязкость различных проб и сортов бромистого метилена, а вечерами читал фантастику на украинском языке (книг на русском в местном магазине не было). К сожалению, пришлось расстаться с мечтой о «сверхмаловязкой жидкости» – скрупулёзные немцы всё же допустили опечатку, а хитрые американцы, ничтоже сумняшеся, её позаимствовали.

Эта история имела своё продолжение. Когда, спустя несколько лет, в обзорной американской статье Абрамсона появились ссылки на нашу с Микишевым работу, опубликованную в «Известиях АН СССР» (её назвали «русский эксперимент»), там же приводились и результа-



ты аналогичных американских исследований, где в числе моделирующих жидкостей использовался... бромистый метилен! Доверившись данным справочника, практичные американцы закупили большое количество этого чрезвычайно дорогого экзотического вещества, которое с успехом можно было заменить, как мы это и сделали, ацетоном и даже водой при температуре 95 градусов.

Работа по определению демпфирования колебаний жидкости в баках разных форм и размеров, при различных значениях вязкости и других параметров, заняла около года. Мы получили очень интересные и важные результаты, которые легли в основу дальнейших исследований. Можно было приступить к решению основной задачи – увеличения коэффициента демпфирования до величины, потребной для обеспечения устойчивости конкретного изделия.

Рейнольдс, Митрич и Фидель Кастро

Гром грянул, когда при первых запусках новой ракеты телеметрия показала: колебания жидкого топлива в одном из баков первой ступени настолько значительны, что приводят к колебаниям корпуса изделия. Ракету необходимо «вылечить», то есть погасить колебания. И вот тут-то оказалось, что Шеф не зря был давно озабочен этой проблемой, не напрасно в течение года бушевали штормы в баках, распространяя запахи ацетона и скипидара. К весне 1961 года мы уже имели немалый опыт экспериментального определения нужных нам коэффициентов демпфирования, выпустили интересный отчёт.

Нам было известно, что в США для гашения колебаний жидкого топлива применяются демпферы в виде набора кольцевых рёбер. Наши эксперименты показали их недостаточную эффективность, и мы приступили к испытаниям гасителя в виде продольных радиальных рёбер...

Вот в это самое время и «грянул гром». Побывав на нескольких совещаниях в верхах, Шеф дал мне ЦУ: «форсировать испытания бака с продольными рёбрами». Я по возможности форсировал... И вот, придя в субботу утром на работу и приступив к испытаниям с особым подъёмом (сокращённый рабочий день!), я вдруг узнаю, что Шеф уже звонил из Харьковского

ОКБ, где решалась судьба изделия, и требовал в срочном порядке провести испытания двух моделей того самого бака, в котором так опасно раскачалось жидкое топливо. В моделях должно быть установлено по восемь радиальных рёбер шириной около трети радиуса. Испытания проводить с жидкостями разных вязкостей. Результаты в виде графических и табличных зависимостей демпфирования от уровня жидкости и числа Рейнольдса передать ему в Харьков по спецсвязи. Там ждут результатов. Он будет звонить ежедневно. Руководителем работ назначается Леонид Рудольфович Дунц.

А что такое испытать две модели бака с рёбрами? Это значит – надо приваривать к имеющимся бакам конические части, заказывать в мастерской рёбра, устанавливать их в баках, добывать огромные количества ацетона и глицерина, готовить разведения с нужной вязкостью, заправлять, качать, записывать, а потом – расшифровывать осциллограммы (это – тяжкий монотонный процесс)... И всё это – срочно! Но Дунц успокоил: работу будет курировать сам директор НИИ – это упрощает дело.

А директором в это время был генерал-майор артиллерии, доктор технических наук Георгий Александрович Тюлин. Он тут же приказал обо всех затруднениях немедленно сообщать ему. На вопрос о сроке исполнения ответил кратко: «Срок – вчера!». Но, увидев выражения наших лиц, более спокойно сказал, что хорошо бы получить результаты хотя бы к понедельнику... Это значило, что работать придётся и в воскресенье. Но, как оказалось, не просто работать: начальник нашей группы испытателей Владимир Григорьевич Степаненко «обрадовал» нас, сказав о переходе на казарменное положение. И работа началась...

Прежде всего заказали ацетон и глицерин. Обычно от заказа до получения проходило несколько дней, но когда работу курирует генерал Тюлин – совсем другое дело. И в тот же день бутылки с глицерином и ацетоном были доставлены в лабораторию. Тем временем начались сварочные работы. В спешке Дунц забыл согласовать их с пожарниками – а они тут как тут! Штраф...



Разумеется, к понедельнику результатов не было, да и быть не могло – только установлены в баках рёбра, просчитаны нужные вязкости и подготовлена аппаратура. Можно приступать к испытаниям. Жидкости в баках раскачивали просто – вручную, с помощью специальной «мешалки», этакой алюминиевой трубчатой «палки» с металлическим полукругом на конце. В отчётах и статьях этот метод назывался «заданием начальной амплитуды»... Делать это легко только в малых баках, а попробуйте задать нужный тон колебаний в баке диаметром в полтора метра!

Казарменность нашего положения заключалась не в том, что нас никто не выпускал – мы сами просто не могли отойти хотя бы на час-другой: а вдруг что-то сделают не так? Обедали мы, конечно, в столовой, но вечером посылали кого-нибудь в «Гастроном» за продуктами, тем же самым питались и утром. Спали сидя за столом, часа по два-три, иногда и днём, если выпадала возможность. Забывали о бане и бритве.

К середине недели были проведены главные испытания по определению зависимости демпфирования от разных параметров. Столы были завалены осциллограммами. Такие же осциллограммы, только что проявленные и ещё мокрые от промывания, свисали с перил антресолей. В ожидании результатов генерал Тюлин звонил и приходил по нескольку раз в день, заглядывал и ночами.

Работа кипела, жидкость в баках колебалась и затухала, Пронин почти не отходил от аппаратуры, которая в то время была очень несовершенной. То и дело слышалось: «Митрич, у меня ноль поплыл!», «Митрич, кассету заедает!», «Митрич, тут какая-то дикая наводка!» И Митрич крутился, успевая подрегулировать, настроить, заменить...

Наконец, осталось только дорасшифровать осциллограммы, составить таблицы и построить графики. Выявился неожиданный результат: оказывается, демпфирование, возникающее только за счёт вихреобразования на кромках рёбер, практически не зависит от числа Рейнольдса. Значит, при проектировании и испытании

демпферов можно обходиться небольшой моделью бака и в качестве моделирующей жидкости использовать простую водопроводную воду! Огромная экономия времени, сил и средств.

Результаты были переданы по инстанциям. Теперь ожидали мы – как пройдёт пуск изделия с нашим демпфером. Аврал пока закончился. Можно было перейти к обычному ритму работы. Лично для меня этот аврал начался в субботу утром, а закончился в пятницу следующей недели, вечером. После работы можно было пойти домой. Правда, не для всех выход с территории обошёлся без приключений. Дунц за эту неделю оброс такой бородищей, что в проходной его задержали. Из охраны звонят Папе: «Тут какой-то Фидель Кастро прорывается на выход, говорит, что Дунц, а совсем не похож. Приходите разбираться!»

Есть такой демпфер!

Через несколько дней стало известно, что наш демпфер был установлен (в авральном порядке) в соответствующем баке подготовленного к старту носителя. Запуск прошёл как следует. По результатам телеметрии никаких колебаний корпуса на частотах жидкости не обнаружено. Полёт проходил в соответствии с расчётной траекторией. Ракета вылечена! Самое интересное, что эта победная реляция прозвучала в один день и час с известием о полёте Гагарина... Правда, не голосом Левитана по Всесоюзному радио, а из устного сообщения А. Г. Пилютника в узком кругу. Но не менее торжественно!

Вскоре вернулся из командировки Шеф. Всё в порядке! Не зря он от имени нашего НИИ произнёс «в инстанциях» фразу: «Есть такой демпфер!» Он рисковал, но после получения наших результатов было принято решение: ставить! Постепенно демпферы такого типа были установлены в баках многих ракет и космических аппаратов.

Некоторое время авралы продолжались, но становились всё реже, были более спокойными и к концу шестидесятых прекратились. Работа стала более размеренной, в 1967 году отдел переехал в новый, специально спроектированный и выстроенный корпус. Обновлялась аппаратура, создавались новые методики эксперименталь-

ных исследований. Мы занимались дальнейшим усовершенствованием демпферов, значительно повысили их эффективность за счёт снижения массы рёбер и усиления вихреобразования на их кромках. Были авторские свидетельства на изобретения, акты внедрения... Результаты исследований отражены во множестве статей и книг, демпфер стал обычным элементом конструкции. При подготовке книги «Введение в динамику ракет-носителей и космических аппаратов» (М.: Машиностроение, 1975) Б. И. Рабинович попросил меня нарисовать эскизы иллюстраций. На одном из них в аллегорическом виде представлены результаты учёта всех факторов, мешающих устойчивости ракеты-носителя. Робот, символизирующий наш демпфер, нейтрализует демона – возбудителя колебаний.

Но больше всего мне запомнился тот весенний аврал 1961 года, когда за неделю был спроектирован, изготовлен, испытан и внедрён в практику первый в нашей ракетно-космической отрасли механический демпфер колебаний жидкости. Позже для выполнения такого объёма работ требовались месяцы, а то и годы. А запомнилось это именно потому, что в те же дни был произведён первый в мире запуск космического корабля с человеком на борту. Это были Гагаринские дни. Это был Звёздный Час советской науки и техники, Звёздный Час Человечества.

Размышления после Дня науки

*Науки юношей питают,
Отраду старцам подают...
М. В. Ломоносов*

В окрестностях Дня науки, который отмечается 8 февраля, естественным образом возникают разговоры о том, как развивалась эта самая нау-

ка, в том числе и у нас в России. Спектр мнений достаточно широкий. Но преобладают высказывания типа «сначала наука появилась в Европе, а потом у нас». В поисках истины заглядываешь в Википедию – узнать, что на эту тему более умными людьми написано. А написано там немало. Например, вот это: «В области теоретической науки допетровская Россия отставала от Европы. Это связано со слабыми культурными связями с ней, недостаточным большим влиянием Византии, ограниченным распространением переводных научных трудов, культурными и социальными особенностями».

«Слабые культурные связи с Европой»... Откуда такой откровенный европоцентризм? Но разве Европа – источник научных знаний? Да, конечно, Древняя Греция с её корифеями Пифагором, Солоном, Гиппархом, Сократом, Платоном, Аристотелем, Гиппократом, Геродотом, Страбоном, Архимедом и т. д. – несомненно, источник знаний для Рима, Византии, а позже и европейских стран. Но при этом как-то забывается, что многие из перечисленных выше мудрецов получали основы научных знаний в более древней стране – Египте! А это отнюдь не Европа. И большая часть самой Греции находилась в Малой Азии – на территории нынешней Турции. Кстати, и Византия образовалась как раз на месте Великой Греции.

Далее – «слабая связь с Византией». А как же быть с тем историческим фактом, что Русь ещё до Крещения имела теснейшие взаимоотношения с Византией, а позже вообще приняла многое из культуры этой великой цивилизации?

Умалчивается также о научных достижениях арабов и персов, о самом явлении «Арабского Ренессанса», хотя ещё в школьных учебниках сороковых-пятидесятых годов было написано, что даже сам термин «алгебра» имеет арабское происхождение (Аль-Джебр), а слово «алгоритм» образовано от имени учёного Мухаммеда Аль-Хорезми (из Хорезма, на территории нынешнего Узбекистана). И цифры, которыми мы пользуемся, пришли к нам через арабов из Индии – вместе с десятичной системой...

Правда, объективности ради надо сказать, что авторы статьи в Википедии сообщают: «Первая

древнерусская математическая работа создана новгородским монахом Кириком в 1136 году (XII век). Позднее переводились и распространялись книги по космографии, логике, арифметике». Очень хорошо. Но посмотрим в той же электронной энциклопедии, как развивались науки в Западной Европе. Оказывается, знакомство европейцев с математикой и астрономией состоялось в Испании... в том же XII веке! Причём благодаря арабским учёным!

Говоря об отставании русской науки от европейской, авторы не скрывают удивления странным обстоятельством: «В отличие от науки, в области техники значительного отставания от Европы не было». То есть надо понимать так: теоретических знаний на Руси не было, но технологии – в металлургии, строительстве, оборонной промышленности несколько не уступали европейским. Действительно, и мечи ковали, и доспехи, и колокола отливали, и пушки, и храмы строили, и расписывали их, создавали великолепные шедевры иконописи... А деревянная архитектура Руси и России до сих пор остаётся непревзойдённой.

В некоторых текстах проводится мысль, что самых больших успехов науки достигают только при капитализме. Может быть, и так. Но разве в античные времена был капитализм в Древнем Египте, Вавилоне или Элладе? Однако какой там был взлёт научных знаний! Математика, физика, астрономия, медицина, история, философия... А ведь тогда ещё даже до феодализма было далеко. И разве нужен был буржуазный уклад Древнему Китаю для создания магнитного компаса, астрономических обсерваторий, пороха, ракет, бумаги, книгопечатания и прибора, фиксирующего малейшие подземные толчки? И разве был капиталистом сын Чингисхана хан Хулагу, оплативший из казны строительство обсерватории в Иране? А Великие географические открытия Колумба, Магеллана, Писарро, Кортеса, Васко да Гама, Федота Попова, Семёна Дежнёва, Ивана Москвитина, Фаддея Беллингаузена и Михаила Лазарева – все они были сделаны до воцарения капитала... Вспомним и о стремительном подъёме науки в СССР, где излечились

от капитализма на целых 73 года! А что этот капитализм дал науке в послеперестроечной России? «Читай и плачь!», – как писал незабвенный пророк Боконон...

Как известно, наука неотделима от образования. Академик Б. В. Раушенбах писал, что на Руси возможности для развития науки и образования появились после принятия христианства и кириллической письменности. В связи с этим вспоминаются замечательные книги и лекции академика РАН В. Л. Янина, который говорит о том, что первый школьный учебник в Новгороде датируется XI веком, и приводит неопровержимые доказательства массовой грамотности новгородцев – берестяные грамоты с текстами долговых расписок, судебных решений, военных донесений, любовных посланий, озорных частушек и т. д. Озорной новгородский школьник XII века Онфим увековечил своё имя, нацарапав на бересте «Кто писал не знаю, а я дурак читаю». И в том же XII веке на Руси был создан великий поэтический шедевр – «Слово о полку Игореве». Если такая вещь была написана, значит, она предназначалась для читателей, что говорит о высоком уровне не только грамотности, но и художественной литературы. Ведь «Слово...» – это не хроника похода Игоря (она содержится в летописях), а именно художественное произведение, отражающее позицию неизвестного автора и его знания по истории Руси. Это произведение до сих пор изучается историками и филологами, оставаясь неисчерпаемым источником сведений о жизни Руси того времени.

А если вспомним о дочерях великого князя Ярослава Мудрого, ставших королевами Франции, Норвегии и Венгрии? Анна Ярославна писала отцу в Киев из Парижа в 1048 году: «В какую варварскую страну ты меня послал! Здесь жилища мрачны, церкви безобразны и нравы ужасны...». Королева Анна владела несколькими языками, а её муж, король Генрих I, как и большинство его знати и рыцарей, был неграмотным...

А вот как отражена тема образования в Сети: «В России в XVII веке наблюдается рост числа грамотных людей среди населения. В различных

губерниях начинает появляться и развиваться деловая письменность. Различные документы фиксируются на бумаге». О мастерах-розмыслах (инженерах) времён Рюриковичей ни слова... Но семнадцатый век – это время начала правления династии Романовых, когда уже давно существует литература. А ещё за двести лет до Романовых было написано «Хождение за три моря» Афанасия Никитина – первого из европейцев, побывавшего в Индии (за 29 лет до Васко да Гамы)! Очень непростое произведение, созданное очень непростым человеком. Этот тверской купец, отправляясь в торговую экспедицию, брал с собой походную библиотечку – сундук с книгами...

Авторы Википедии справедливо отмечают, что наука как социальный институт в России появилась только при Петре I. «В 1725 году была открыта Петербургская академия наук, куда были приглашены многие известные учёные Европы. Среди них был и Герхард Миллер, второй русский историк, автор норманнской гипотезы происхождения Руси, и знаменитый математик Леонард Эйлер, который не только писал учебники на русском языке, но и стал в Петербурге автором множества научных трудов». Кстати, Леонард Эйлер оставил России не только научное наследие. Его прямые потомки и сейчас живут в нашей стране. Двое из них – участник Великой Отечественной войны Николай Сергеевич Эйлер и его сын Сергей Николаевич – работали в ЦНИИмаше, в подразделениях прочности.

«Большой вклад в развитие русской науки сделал академик М. В. Ломоносов, авторству которого принадлежит закон сохранения массы. В 1755 году им был основан Московский университет». Говоря о Ломоносове, стоило бы вспомнить и то, что в 1762 году, когда 200 обсерваторий Европы готовились к наблюдению прохождения Венеры по диску Солнца, результативно осуществить это смог только «архангельский мужик», открывший при этом наличие на Венере атмосферы. Трудно назвать области науки, где не испытал бы свои силы Михайло Васильевич. Зная 34 языка, он даже в языкознании сделал открытие – выделил группу

языков, названных им «пермскими» (в том числе карельский, коми, мордовские, удмуртский, марийский и т. д.).

Развитие науки в Европе, Америке и России имело свои особенности. Например, в России никогда не запрещалось учение Коперника. Его идеи стали известны в Москве сразу после выхода его книги. Подробное описание теории Коперника было изложено в трактате «Зерцало всея Вселенная». Более того, на городских рынках свободно продавалась большая печатная картина (типа современного плаката) с изображением «глобуса земного и небесного». На этом плакате были также изображены для сравнения все известные системы мира. О системе Коперника там были такие стихи:

*Коперник общую систему являет:
Солнце в середине вся мира утверждает.
Мнит движимой земли на четвёртом небе
быт,*

*А луне окрест ея движение творит.
Солнцу из центра мира лучи простирают,
Убо землю, луну и звёзды освещают.*

А пока Парижская Академия держалась своего постановления, согласно которому «падения камней с неба физически невозможны», петербургский академик П. С. Паллас привёз из Красноярска железную глыбу весом более 800 кг, найденную в Саянской тайге казаком-кузнецом Яковом Медведевым. Куски «сибирской железяки» быстро распространились по Европе. Профессор Харьковского университета Стойкович подготовил и издал книгу с подробным описанием всех известных метеоритов. Не запрещалась у нас и теория Дарвина, преподавание которой преследовалось законом в некоторых штатах протестантско-католических США даже в XX веке (так называемый «Обезьяний процесс» учителя Джона Скоупса, 1925–1926 годы).

Есть и ещё некоторые национальные особенности у развития наук в США и европейских странах. В 1981 году мне встретилась заметка в американском журнале, издававшемся на русском языке. Там говорилось, что группа американских учёных обратила внимание на заметные

совпадения экстремумов солнечной активности с возникновением на Земле различных стихийных бедствий, эпидемий, социальных взрывов. Это «открытие» было сделано через 45 лет после издания работ А. Л. Чижевского «Земное эхо солнечных бурь» и «Физические факторы социальных процессов». После этого уже не должно удивлять, что на Западе периодическая система элементов печатается без упоминания о Д. И. Менделееве.

И ещё. В начале 1997 года весь мир обошла сенсация: британские учёные успешно провели эксперимент по клонированию млекопитающих. В наших газетах и журналах фотографии шотландской овечки Долли потеснили даже «ангельские лики» Хакамады и Новодворской. А в марте того же года «Независимая газета» сообщила: «Клонирование млекопитающих впервые было осуществлено в СССР». Оказывается,

в мае 1987 года советский журнал «Биофизика» поместил статью группы наших авторов о проведённом ими клонировании, в результате которого на свет явилась мышь Машка. Способ был даже запатентован. Но наши наивные авторы решили опубликоваться ещё и на Западе, для чего послали статью в авторитетный журнал «Нейчур». Реакция последовала, но узнали о ней в мире лишь через 10 лет. Столько времени понадобилось европейским гигантам мысли, чтобы освоить методику наших биологов и выдать миру фотогеничную Долли...

А в завершение ещё раз обращусь к теме «наука и капитализм». Помните призыв бывшего главы Минобрнауки Фурсенко? «Надо готовить не творцов, а грамотных потребителей!» Это не что иное, как перефразированное кредо американских бизнесменов: «Образованный человек – плохой покупатель». Коротко и ясно!





Людмила Оленич



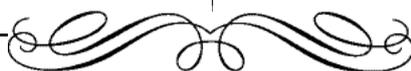
Оленич Людмила Владимировна окончила Кемеровский государственный университет, филологический факультет. Преподает в КемГУКИ, в других вузах Кемерова искусствоведческие и культурологические дисциплины. Научную деятельность сочетает с общественной. Регулярно участвует в работе епархиальной архитектурно-церковной комиссии в качестве эксперта. Является автором десятков научных публикаций, кураторских выставок и каталогов к ним. Состоит в комиссии по государственной аккредитации учреждений дополнительного образования. Сфера профессиональных интересов – современное церковное искусство (архитектура, иконописание), творчество художников Сибири. Член Союза художников России. Живет в Кемерове.

Три сезона кузбасских художников

В течение трех сезонов, с осени 2013 года, беловская и кемеровская публика получила возможность погрузиться в атмосферу станковой графики благодаря двум передвижным экспозициям, пастели и акварели, организованным по инициативе художника и куратора Л. Д. Адмакиной. Эти выставки дали вполне убедительный срез нынешнего состояния графического искусства в Кузбассе. Среди участников – художники из Кемерова, Новокузнецка, Белова, Ленинска-Кузнецкого, Прокопьевска, Топок.

В данном случае речь идет о выставке акварели, открытой в г. Белово и перевезенной в помещения Кемеровского университета культуры и искусств. В течение двух месяцев ее посмотрели сотни людей, очень разных по возрасту, профессии, вкусовым пристрастиям. Многие из них высказали свои впечатления просто, без специальных терминов: нравится или не очень, красиво или нет. И это важно, поскольку всякий интерес лучше безразличия.

Акварельная техника возникла в древности, но сохраняет актуальность, потому что каждая эпоха в чем-то обновляет ее. В этом искусстве есть и своя метафизика, непреходящее начало. Оно в объединении стихий: краски, носители света, взаимодействуют с водой. Говорят, что акварель вбирает тончайший слой бытия. В лучших достижениях такое искусство обращено к самым подвижным явлениям этого мира, к тому, что едва уловимо по ощущениям. Благодаря многоцветью и богатству технических приемов созданный на бумаге образ может коснуться самих оснований жизни.



Нельзя сказать, что зрители отдают предпочтение какому-то одному приему изображения: по мокрому или по сухому. Тем более что художники нередко смешивают те или иные способы цветоналожения. Главное, чтобы изображение сохраняло свежесть. Через прозрачность красок должна просматриваться фактура бумаги.

Конечно, в экспозиции почти из сотни произведений представлены разные уровни мастерства. Можно увидеть виртуозные работы и рядом – совсем непритязательные. Но все объединяет искренность, вложенная в каждый из листов, показанных акварелистами.

Очень уверенное владение реалистической эстетикой проявлено в портретах Н. Козленко. Ясное понимание формы, убедительная моделировка фигур, точность характеристик создают целостность образов. Жизнеутверждающая интонация «Автопортрета» и «Женского портрета» переносит воображение в созидательные десятилетия середины прошлого века. Здесь сразу прочитывается принадлежность к высокому уровню школы, преемственности творческих традиций.

В «Портрете художницы С. Гаращук» Г. Писаревской естественная пластика фигуры сопоставлена с напряженностью, внутренним разладом во взгляде персонажа. Этот диссонанс подчеркнут и в живописной гамме, соединяющей фиолетово-серые и охристые цвета.

В портретной работе В. Васильева личностные характеристики сплавляются с такой мерой обобщенности, которая ставит образ над конкретными чертами отдельного человека. В красивой серо-перламутровой гамме листа «Ностальгия по Тверской» выполнен образ русского интеллигента на фоне оскверняемых ценностей. Тут есть и переживание, и убеждающая обличительность.

Не чужд обобщенного виденья и Е. Ефремов в своей портретной работе под названием «Русь». Здесь важнее взгляд, а не этнические признаки в женском лице: обида и сила, мудрость и молодость.

А. Борщ, создавая изображение ребенка («Полинкины сны»), окружает его обилием приятных вещей и наполняет все кукольным обаянием.

В образе под названием «Ностальгия» у Л. Адамакиной тоже есть движение от частных характеристик к собирательности. Немного утрированная пластика женской фигуры, формы лица и рук в сочетании с крупными теплыми пятнами цвета и нервными штрихующими линиями создают облик кокетливый, но и мечтательный. Все это показано не без иронии.

Второй по успешности жанр, всегда приятный зрителям, – пейзаж. Листы с изображением природы на выставке преобладают. И тут у публики есть много фаворитов.

В больших акварелях Г. Писаревской привлекает совершенство исполнения и особая, возвышенная интонация образа. Любой природный мотив, избираемый художницей, осмысливается не как уголок увиденного ландшафта, но как фрагмент пространственной бесконечности. Вид городской окраины в «Березовских угольных дачах» и величавый разворот реки под высоким берегом («Старые Черви») несут в себе приметы особой авторской оптики этого мастера.

Всегда артистично сделаны акварели Е. Гавриловой. Видно, что она любит работать быстро, чтобы во всей полноте сохранить свое впечатление от природного мотива. Обращаясь к крупным планам, в листах «Долина Камыши», «Обское ненастье», художница с редкой убедительностью передает ощущение «плоти» бархатно-зеленых горных перевалов, скал, воздуха, облаков. Жизнь стихий у нее всегда динамична, и чаще всего доминирует вода, организуя ландшафт вокруг себя.

В листах у Е. Донягиной больше внимания уделяется природному эффекту, неожиданным натурным точкам. Живое наблюдение за метаморфозами в небе и на земле по-настоящему увлекает автора «Рождения облаков». Мотив «Серый день» очень спокоен, заставлен деревянными постройками. Но взгляд художницы направлен из-под низкого навеса, и это усиливает плановость изображения, дает композиционную интригу.

Пейзажи Н. Ставровой несут в себе радость путешествий, почти детского доверия к новым впечатлениям, где бы они ни возникали. В работе «Кемпинг» она добивается настоящей

«пльвучести» облаков, ощущения удивительной легкости существования.

«Голодная степь» В. Кравчука с низкими крышами построек показана в мареве пыли на фоне знойного заката, что дает почти физическое ощущение отчужденности этого пространства.

Близки в своем романтическом настроении к работам этих мастеров и акварели других участников: Е. Бирюковой «Озеро», А. Васильева «Осенний пейзаж», А. Малышевой «Шерегеш», Е. Юмановой «Путешествие по России», В. Ардашкина «Зимний мотив», Г. Усачевой «Зимние сны», Л. Чесноковой «Закат над Катунью», А. Степановой «Иней», В. Белова «Пейзаж с тополями», И. Казанцевой «Над сибирской рекой». По-видимому, общие условия творческой среды роднят их эмоционально. Сходство проявляется и в выборе мотивов. Почти никто, за исключением Е. Юмановой, не обращается к урбанистической тематике. Большинство авторов избирает горные, лесные, речные дали. Это то, что выходит за границы повседневности и рождается, как правило, на пленэре. Заметна и близость технических подходов: в большинстве случаев акварели сделаны способом алла прима – за один сеанс.

Третий жанр, многочисленно представленный на выставке, – натюрморт. В основном, художники написали цветы, размещая их в банках, вазах или совсем без емкостей. В постановочных натюрмортах Т. Беловой, С. Коврижиной, Г. Бухтеевой, И. Грицевой цветы соединяются с предметной средой, напоминая о старинных традициях, в которых любая изображаемая вещь несла в себе не только восхищение видимым миром, но и скрытые символические смыслы. Здесь в акварельных натюрмортах не ставятся задачи символизировать образ, но любование природной формой, желание воссоздать ее со-

вершенство связывает разные художественные эпохи. В букетах Э. Сурниной, В. Васильева, С. Коврижиной, Т. Некрасовой, Л. Ларионовой, где только написанные без других аксессуаров цветы, больше непосредственности, живого впечатления.

Есть на выставке и работы с выраженным метафорическим началом. Серия больших акварелей А. Дрозда вся насыщена идеей полета, сопоставления динамики и статики. В подвижных линиях и контрастных пятнах цвета едва просматривается предметная форма: летящие птицы, раковины.

В работах приглашенного новосибирского художника С. Меньшикова стильно решены дизайнерские задачи оформления детской книги и календаря на зодиакальную тему. В ряду бесчисленных вариантов календарных разработок с такой тематикой акварели Меньшикова не выглядят шаблонно. Впрочем, зодиак – только повод для того, чтобы в условной форме, изображающей животных, очень энергично графическими средствами выразить вполне российское, фольклорное представление о сказочных животных. Видно, что этот художник владеет хорошим опытом иллюстратора.

Еще одна дизайнерская работа под названием «Легенды Сибири» на этой выставке выполнена художницей А. Степановой. Можно предположить, что представленный лист – только один из серии, посвященной этнокультурной тематике. Если автору удастся удержаться от тривиальных, подражательных приемов выразительности, тема найдет вполне художественное воплощение.

В целом, выставка очень обнадеживает. В ней присутствует не только любовь к пленэрным занятиям акварелью, но и понимание самых широких возможностей этой техники.



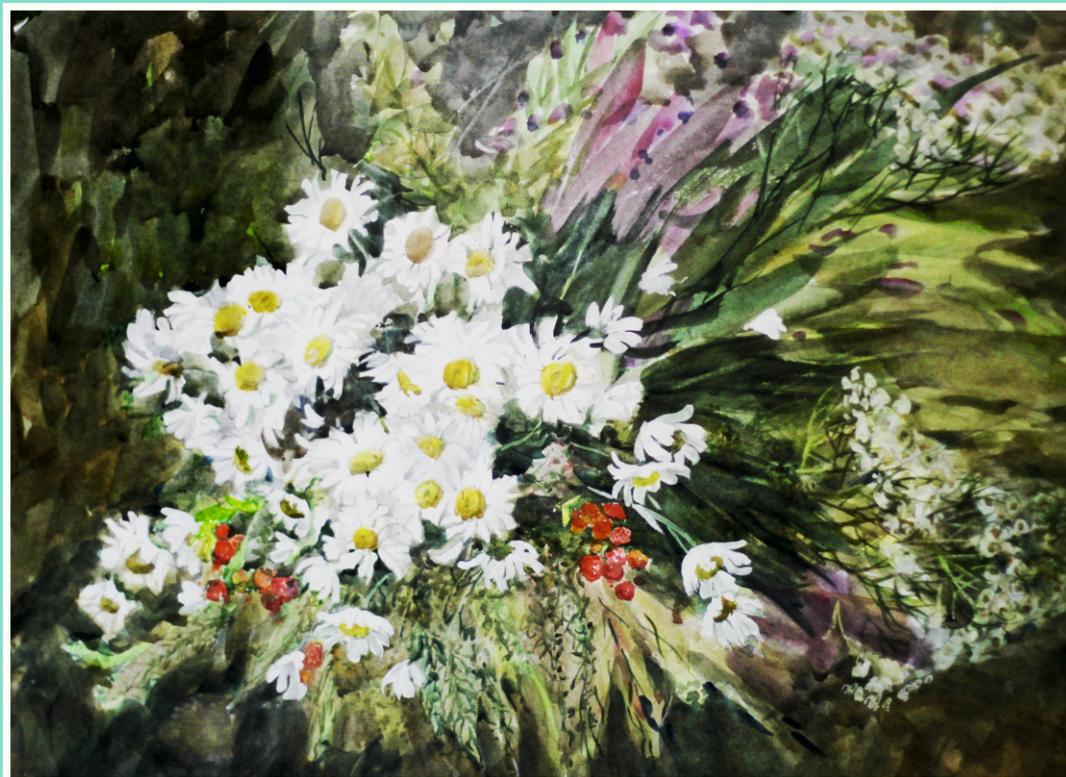
Три сезона кузбасских художников



Г. Писаревская. Портрет художницы. Кемерово



Э. Сурнина. Гладиолусы. Кемерово



В. Васильев. Ромашки. Новокузнецк



Е. Бирюкова. Усть-Кобырза. Топки



Е. Донягина. Серый день. Новокузнецк



Е. Гаврилова. Катунь. Новокузнецк



Н. Козленко. Женский портрет.
Белово



Е. Юманова. Путешествие по России. Кемерово



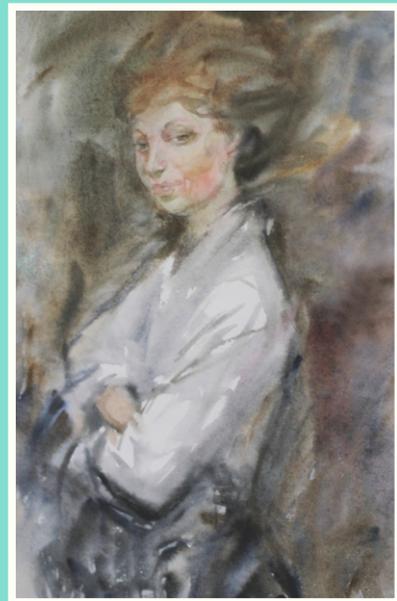
А. Дрозд. Полёт. Кемерово



А. Дрозд. Хозяин гор. Кемерово



А. Борщ. Полинкины сны. Кемерово



В. Васильев. Женский портрет. Новокузнецк



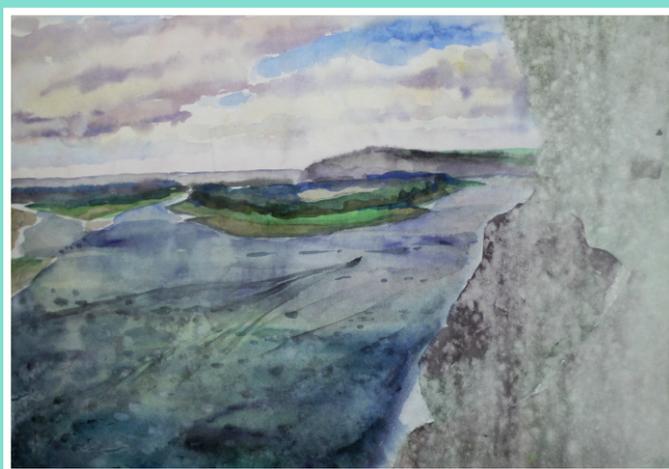
С. Коврижина. Флоксы. Новокузнецк



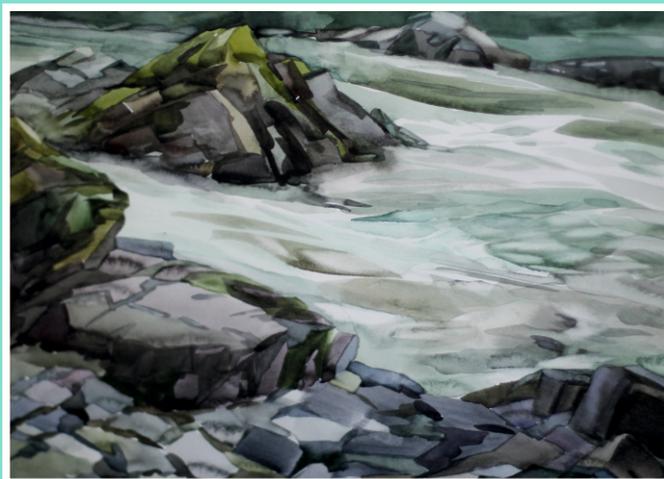
С. Меньшиков. Восточный календарь. Новосибирск



Е. Донягина. Морсит. Новокузнецк



Г. Писаревская. Правый берег Томи. Кемерово



Е. Гаврилова. Долина Камуши. Новокузнецк

Максимilian Волошин

Автобиография

Я родился 16 мая 1877 года, в Духов день, «когда земля – именинница». Отсюда, вероятно, моя склонность к духовно-религиозному восприятию мира и любовь к цветению плоти и вещества во всех его формах и ликах. Поэтому прошлое моего духа представлялось мне всегда в виде одного из тех фавнов или кентавров, которые приходили в пустыню к святому Иерониму¹ и воспринимали таинство святого крещения. Я язычник по плоти и верю в реальное существование всех языческих богов и демонов и в то же время не могу его мыслить вне Христа.

Родился я в Киеве и корнями рода связан с Украиной. Мое родовое имя Кириенко-Волошин, и идет оно из Запорожья. Я знаю из Костомарова², что в XVI веке был на Украине слепой бандурист Матвей Волошин, с которого с живого была содрана кожа поляками за политические песни, а из воспоминаний Францевой – что фамилия того кишиневского молодого человека, который водил Пушкина в цыганский табор, была Кириенко-Волошин³. Я бы ничего не имел против того, чтобы они были моими предками.

На своей родине я никогда не жил. Раннее детство прошло в Таганроге и Севастополе. Севастополь помню в развалинах, с большими деревьями, растущими из середины домов: одно из самых первых незабываемых живописных впечатлений.

С 4 лет до 16 – Москва. Долгоруковская улица, Подвиски – обстановка суриковской «Боярыни Морозовой», которая как раз в то самое время писалась в соседнем доме⁴.

Потом окраины Москвы – Ваганьковское кладбище и леса Звенигородского уезда: те

классические места русского Иль де Франса, где в сельце Захарьине⁵ прошло детство Пушкина, а в Семенкове⁶ – Лермонтова. И то и другое связано с моими детскими воспоминаниями.

Позже – Поливановская гимназия и казенная 1-я гимназия. Это самые темные и стесненные годы жизни, исполненные тоски и бессильного протеста против неудобоваримых и ненужных знаний.

16 лет – окончательный переезд в Крым – в Коктебель. Коктебель не сразу вошел в мою душу: я постепенно осознал его как истинную родину моего духа. И мне понадобилось много лет блужданий по берегам Средиземного моря, чтобы понять его красоту и единственность.

Я окончил феодосийскую гимназию и сохранил на всю жизнь нежность и благодарность к этому городу, который в те годы мало напоминал русскую провинцию, а был, скорее, южноитальянским захолустьем.

Два года студенческой жизни в Москве оставили впечатление пустоты и бесплодного искания. В 1899 году я был выслан в Феодосию за организацию студенческих беспорядков⁷. Потом уехал в первый раз за границу: в Италию, Швейцарию, Париж, Берлин. Я еще раз возвращался в Москву. Был допущен до экзаменов. Перешел на третий курс юридического факультета, опять уехал в Италию и Грецию; возвращаясь, был арестован, привезен в Москву и выслан в Среднюю Азию.

Это был 1900 год – год китайского пробуждения⁸. Сюда до меня дошли «Три разговора» и «Письмо о конце Всемирной Истории» Вл. Соловьева, здесь я прочел впервые Ницше⁹. Но надо всем было ощущение пустыни – той широты и равновесия, которые обретает человеческая душа, возвращаясь на свою прародину.

Здесь же создалось решение на много лет уйти на запад, пройти сквозь латинскую дисциплину формы.

С 1901 года я поселился в Париже. Мне довелось близко познакомиться с Хамба-ламой Тибета¹⁰, приехавшим в Париж инкогнито, и прикоснуться, таким образом, к буддизму в его первоисточниках. Это было моей первой рели-

гиозной ступенью. В 1902 году я так же близко соприкоснулся с католическим миром, во время моего пребывания в Риме¹¹ и осознал его как спинной хребет всей европейской культуры.

Затем мне довелось пройти сквозь близкое знакомство с магией, оккультизмом¹², с франк-масонством¹³, с теософией¹⁴ и, наконец, в 1905 году встретиться с Рудольфом Штейнером¹⁵, человеком, которому я обязан больше, чем кому-либо, познанием самого себя.

Интерес к оккультному познанию был настолько велик, что совершенно отвлек меня от русских событий 1905 года и удержал меня вдали от России. Первую русскую революцию я увидел в том преображении, которое выразилось в моем стихотворении «Ангел мщенья», осуществившемся воочию только теперь¹⁶.

Литературная моя деятельность, если не считать моих детских стихотворений, началась с 1900 года библиографическими заметками и статьями в «Русской мысли», а потом фельетонами в газете «Русский Туркестан». После – перерыв в два года, когда меня не печатали как «декадента». Затем – первый цикл стихов, напечатанный в 1903 году в журнале «Новый путь», стихи в «Северных цветах», основание «Весов», участие во всех художественных изданиях: «Грифе», «Перевале», «Золотом руне», «Аполлоне» и т. д. – в качестве художественного и литературного критика.

С 1904 года я стал писать художественные и литературные фельетоны в газете «Русь». Жил большей частью в Париже, лишь изредка наезжая в Россию.

Газетная моя работа изредка прерывалась всеобщими газетными травлями, вызываемыми по большей части моими публичными лекциями, – и тогда страницы всех газет на время для меня закрывались. Были годы, когда мне негде было писать и мои книги не принимались на продажу книжными магазинами. Так было перед началом Европейской войны. Это дало мне возможность прожить несколько лет безвыездно в Коктебеле, вновь вернуться к оставленной на некоторое время живописи и отойти от суеты литературно-журнальной суеты.

В самые последние часы перед началом войны я успел проехать в Базель, где принимал участие в построении Дома святого Иоанна¹⁷.

Потом был в Париже, в Лондоне и вернулся в Россию лишь в 1916 году. В феврале 1917 года был в Москве, а после не покидал берегов Черного моря.

В моих странствиях я никогда не покидал пределов древнего средиземноморского мира: я знаю Испанию, Италию, Грецию, Балеары, Корсику, Сардинию, Константинополь¹⁸ и связан с этими странами всеми творческими силами своей души. Форме и ритму я учился у латинской расы. Французская литература была для меня дисциплиной и образцом.

К стихам своим я относился всегда со строгостью. Мой первый сборник вышел, когда мне было 33 года. До внимания публики мои стихи доходили медленно. Газетная шумиха, слишком часто подымавшаяся вокруг моих статей, мешала мне как поэту. Меня ценили, пожалуй, больше всего за пластическую и красочную изобразительность. Религиозный и оккультный элемент казался смутным и непонятным, хотя и здесь я стремился к ясности, к краткой выразительности.

Мои стихи о России, написанные за время революции, вероятно, будут восприняты как мое перерождение как поэта: до революции я пользовался репутацией поэта наименее национального, который пишет по-русски так, как будто по-французски.

Но это внешняя разница. Я подошел к русским, современным и историческим, темам с тем же самым методом творчества, что и к темам лирического, первого периода моего творчества. Идеи мои остались те же. Разница только в палитре, которая изменилась соответственно темам и, может быть, большей осознанности формы.

Мой поэтический символ веры – см. стихотворение «Подмастерье», которое я написал как предисловие к «Иверням» – сборнику избранных моих стихотворений.

Мои политические credo разбросаны по всем моим стихам о современности.

Мое отношение к государству – см. «Левиафан».

Мое отношение к миру – см. «Corona astralis». 1920-е годы

1. *Святой Иероним* (330–419) – один из учителей западной церкви, богослов.

2. *Костомаров Николай Иванович* (1817–1885) – историк; упоминаний о Матвее Волошине в его трудах пока не обнаружено.

3. Точнее – Кириенко-Волошинов Дмитрий. См.: Францева Е. Д. А. С. Пушкин в Бессарабии (из семейных преданий) // Русское обозрение. – М., 1897. – Т. 43.

4. Неподалеку от Волошиных жил художник Василий Иванович Суриков (1848–1916), запечатлевший эти места (Новая Слобода) в картине «Боярыня Морозова» (1884–1887).

5. *Захарьино* (иначе – Захарово) – имение бабушки Пушкина по матери.

6. *Семеново* – по-видимому, Середниково, подмосковная дача Столыпиных, где Лермонтов бывал в возрасте 14–16 лет.

7. Волошин был заместителем представителя Крымского землячества в Московском университете и агитировал «за беспорядки». См.: Купченко В. Вольнолюбивая юность поэта // Новый мир. – 1980. – № 12.

8. Имеется в виду Ихэтуаньское восстание (Боксерское) в Китае в 1899–1901 годах.

9. *Ницше Фридрих* (1844–1900) – немецкий философ; Волошин познакомился с его работой «По ту сторону добра и зла» (1886).

10. *Хамба-лама Тибета* – Агван Доржиев (1854–1938) – реформатор ламаизма.

11. Волошин заинтересовался католицизмом летом 1902 года, попав в Ватикан. В рецензии на постановку «Сестры Беатрисы» М. Метерлинка он пояснял: «Я люблю католицизм потому, что он принял в себя все живое, настоящее, жизненное, что было в язычестве» (Русь. 9 дек. 1906).

12. *Оккультизм* – общее название учений, признающих существование скрытых сил в человеке и космосе, доступных лишь для посвященных.

13. *Франкмасонство* или *масонство* (от фр. franc mason – вольный каменщик) – религиозно-

но-этическое движение (в начале XVIII века в Англии, а затем во многих странах); масоны стремились создать тайную всемирную организацию с утопической целью мирного объединения человечества в религиозном братском союзе.

14. *Теософия*: 1) в широком смысле – всякое мистическое учение, претендующее на раскрытие божественных тайн; 2) мистическая доктрина Е. П. Блаватской (соединение мистики буддизма и других восточных учений с элементами оккультизма и неортодоксального христианства).

15. *Штейнер Рудольф* (1861–1925) – немецкий религиозный философ, основатель Антропософского общества; пытался найти синтез религии и науки в целях самосовершенствования человека; сыграл особую роль в формировании взглядов Волошина.

16. 9 января 1905 года Волошин был в Петербурге и видел расстрелы манифестаций. Под влиянием событий начавшейся первой русской революции он пристально изучает материалы о Великой французской революции; отношение зрелого Волошина к проблеме революции и возмездия см. в статье «Пророки и мстители» и в стихах революционных лет.

17. *Гетеанум* (иначе – Иоганнес-Бау) – своего рода храм антропософов (со сценой для постановки мистерий).

18. Существует легенда и о путешествии Волошина в Египет, которая не имеет никаких подтверждений.

О САМОМ СЕБЕ

Автор акварелей, предлагаемых вниманию публики под общим заглавием «Коктебель», не является уроженцем Киммерии по рождению, а лишь по усыновлению. Он родом с Украины, но уже в раннем детстве был связан с Севастополем и Таганрогом. А в Феодосию его судьба привела лишь в 16 лет, и здесь он кончил гимназию и остался связан с Киммерией на всю жизнь. Как все киммерийские художники, он

является продуктом смешанных кровей (немецкой, русской, итало-греческой). По отцовской линии он имеет свои первоко́рни в Запорожской сечи, по материнской – в Германии. Родился я в 1877 году в Киеве, а в 1893 году моя мать переселилась в Коктебель, а позже и я здесь выстроил мастерскую.

В ранние годы я не прошел никакого специально живописного воспитания и не был ни в какой рисовальной школе и теперь рассматриваю это как большое счастье – это не связало меня ни с какими традициями, но дало возможность оформить самого себя в более зрелые годы сообразно с сознательными своими устремлениями и методами.

Впервые я подошел к живописи в Париже в 1901 году. Я только что вернулся туда из Ташкента, где был в ссылке около года. Я весь был переполнен зрительными впечатлениями и совершенно свободен в смысле выбора жизни и профессии, так как был только что начисто выгнан из университета за студенческие беспорядки «без права поступления». Юридический факультет не влек обратно. А единственный серьезный интерес, который в те годы во мне намечался, – искусствоведение. В Москве в ту пору – в конце 90-х годов прошлого века – оно еще никак не определилось, а в Париже я сейчас же записался в Луврскую школу музееведения, но лекционная система меня мало удовлетворяла, так как меня интересовало не старое искусство, а новое, текущее. Цель моя была непосредственная: подготовиться к делу художественной критики.

Воспоминания университета и гимназии были слишком свежи и безнадежны. В теоретических лекциях я не находил ничего, что бы мне помогало разбираться в современных течениях живописи.

Оставался один более практический путь: стать самому художником, самому пережить, осознать разногласия и дерзания искусства.

Поэтому, когда однажды весной 1901 года я зашел в мастерскую Кругликовой и Елизавета Сергеевна со свойственным ей приветливым натиском протянула мне лист бумаги, уголь и сказала: «А почему бы тебе не попробовать ри-

совать самому?», – я смело взял уголь и попробовал рисовать человеческую фигуру с натуры. Мой первый рисунок был не так скверен, как можно было ожидать, но главными его недостатками были желание сделать его похожим на хорошие рисунки, которые мне нравились, и чересчур тщательная отделка деталей и штрихов. Словом, в нем уже были все недостатки школьных рисунков, без знания, что именно нужно делать. Словом, я уже умел рисовать и мне оставалось только освободиться от обычных академических недостатков, которые еще не стали для меня привычкой руки. На другой же день меня свели в Академию Коларосси¹. Я приобрел лист «энгра», папку, уголь, взял в ресторане мякоть непропеченного хлеба и стал художником. Но кроме того, я стал заносить в маленькие альбомчики карандашом фигуры, лица и движения людей, проходящих по бульварам, сидящих в кафе и танцующих на публичных балах. Образцами для меня в то время были молниеносные наброски Форена², Стейнлена³ и других рисовальщиков парижской улицы.

А когда три месяца спустя мы с Кругликовой, Давиденко⁴ и А. А. Киселевым⁵ отправились в пешеходное путешествие по Испании через Пиренеи и Андорру, я уже не расставался с карандашом и записной книжкой.

В те годы, которые совпали с моими большими пешеходными странствиями по Южной Европе – по Италии, Испании, Корсике, Балеарам, Сардинии, – я не расставался с альбомом и карандашами и достиг известного мастерства в быстрых набросках с натуры. Я понял смысл рисунка. Но обязательная журнальная работа (статьи о художественной жизни в Париже и отчеты о выставках) мне не давала сосредоточиться исключительно на живописи. В 1913 году у меня произошла ссора с русской литературой из-за моей публичной лекции о Репине⁶. Я был предан российскому остракизму, все редакции периодических изданий для меня закрылись, против моих книг был объявлен бойкот книжных магазинов.

Оказавшись в Коктебеле, я воспользовался вынужденным перерывом в работе, чтобы взяться

за самовоспитание в живописи. Прежде всего я взялся за этюды пейзажа: приучил себя писать всегда точно, быстро и широко. И вообще, все неприятности и неудачи в области литературы сказывались в моей жизни успехами в области живописи.

Я начал писать не масляными красками, а темперой на больших листах картона. Это мне дало, с одной стороны, возможность увеличить размеры этюдов, с другой же, так как темпера имеет свойство сильно меняться, высыхая, это меня учило работать вслепую (т. е. как бы писать на машинке с закрытым шрифтом). Это неудобство меня приучило к сознательности работы, и тот факт, что в темпере почти невозможно подобрать тон раз взятый, — к умеренности в употреблении красок и чистоте палитры.

Акварелью я начал работать с начала войны. Начало войны и ее первые годы застали меня в пограничной полосе — сперва в Крыму, потом в Базеле, позже в Биаррице, где работы с натуры были невозможны по условиям военного времени. Всякий рисовавший с натуры в те годы, естественно, бывал заподозрен в шпионстве и съемке планов.

Это меня освободило от прикованности к натуре и было благодеянием для моей живописи. Акварель не пригодна к работам с натуры. Она требует стола, а не мольберта, затененного места, тех удобств, что для масляной техники не требуются.

Я стал писать по памяти, стараясь запомнить основные линии и композицию пейзажа. Что касается красок, это было нетрудно, так как и раньше я, наметив себе линейную схему, часто заканчивал дома этюды, начатые с натуры. В конце концов я понял, что в натуре надо брать только рисунок и помнить общий тон. А все остальное представляет логическое развитие первоначальных данных, которое идет соответственно понятиям ранее законам света и воздушной перспективы. Гражданская война ограничила мои технические средства только акварелью. У меня был известный запас акварельной бумаги, и экономия красок позволила мне его длить долго. Плохая акварельная бу-

мага тоже дала мне многие возможности. Русская бумага отличается малой проклеенностью. Я к ней приспособился, прокрывая сразу нужным тоном, и работал от светлого к темному без поправок, без смываний и протираний.

Эту эволюцию можно легко проследить по ретроспективному отделу моей выставки. Это борьба с материалом и постоянное преодоление его.

Если масляная живопись работает на контрастах, сопоставляя самые яркие и самые противоположные цвета, то акварель работает в одном тоне и светотени. К акварели больше, чем ко всякой иной живописи, применимы слова Гёте, которыми он начинает свою «теорию цветов», определяя ее как трагедию солнечного луча, который проникает через ряд замутненных сфер, дробясь и отражаясь в глубинах вещества. Это есть основная тема всякой живописи, а акварельной по преимуществу.

Ни один пейзаж из составляющих мою выставку не написан с натуры, а представляет собою музыкально-красочную композицию на тему киммерийского пейзажа. Среди выставленных акварелей нет ни одного «вида», который бы совпадал с действительностью, но все они имеют темой Киммерию. Я уже давно рисую с натуры только мысленно.

Я пишу акварелью регулярно, каждое утро по 2–3 акварели, так что они являются как бы моим художественным дневником, в котором повторяются и переплетаются все темы моих уединенных прогулок. В этом смысле акварели заменили и вытеснили совершенно то, что раньше было моей лирикой и моими пешеходными странствованиями по Средиземноморью.

Вообще в художественной самодисциплине полезно всякое самоограничение: недостаток краски, плохое качество бумаги, какой-либо дефект материала, который заставляет живописца искать новых обходных путей и сохранить в живописи лишь то, без чего нельзя обойтись. В акварели не должно быть ни одного лишнего прикосновения кисти. Важна не только обработка белой поверхности краской, но и экономия самой краски, как и экономия времени. Неда-

ром, когда японский живописец собирается написать классическую и музейную вещь, за его спиной ассистирует друг с часами в руках, который отсчитывает и отмечает точно количество времени, необходимое для данного творческого пробега. Это описано хорошо в «Дневнике» Гонкуров⁷. Понимать это надо так: вся черновая техническая работа уже проделана раньше, художнику, уже подготовленному, надо исполнить отчетливо и легко свободный танец руки и кисти по полотну. В этой свободе и ритмичности жеста и лежат смысл и пленительность японской живописи, ускользящие для нас – кропотливых и академических европейцев. Главной темой моих акварелей является изображение воздуха, света, воды, расположение их по резонирующим и резонирующим планам.

В методе подхода к природе, изучения и передачи ее я стою на точке зрения классических японцев (Хокусай, Утамаро)⁸, по которым я в свое время подробно и тщательно работал в Париже и Национальной библиотеке, где в Галерее эстампов имеется громадная коллекция японской печатной книги – Теодора Дерюи⁹. Там у меня на многое открылись глаза, например на изображение растений. Там, где европейские художники искали пышных декоративных масс листвы (как у Клода <Лоррена>), японец чертит линию ствола перпендикулярно к линии горизонта, а вокруг него концентрические спирали веток, в свою очередь окруженных листьями, связанными с ними под известным углом. Он не фиксирует этой геометрической схемы, но он изображает все дефекты ее, оставленные жизнью на живом организме дерева, на котором жизнь отмечает каждое отжитое мгновенье.

Таким образом, каждое изображение является в искусстве как бы рядом зарубок, сделанных на коре дерева. Чтобы иметь возможность отличать «дефекты» от нормального роста, художник должен знать законы роста. Это сближает задачи живописца с задачами естествоведка. Раз мы это поняли и приняли, мы не можем отрицать, что в истории европейской живописи в эпоху Ренессанса произошел горестный

сдвиг и искажения линии нормального развития живописи. Точнее, этот сдвиг произошел не во времена Ренессанса, а в эпоху, непосредственно за ним последовавшую. При Ренессансе опытный метод исследования был прекрасно формулирован Леонардо¹⁰. Но на горе живописцев, этот метод не был тогда же воспринят наукой, а был принят два поколения спустя в формулировке не художника, а литератора Фр. Бэкона¹¹. Это обстоятельство обусловлено, конечно, самим складом европейского сознания.

Таким образом, экспериментальный метод попал из рук людей, приспособленных и природой, и профессией к эксперименту, к опыту и наблюдению, в руки людей, конечно, способных к очень точному наблюдению, но никогда не развивавших и не утончавших своих естественных чувств восприятия, что привело прежде всего к горестному дискредитированию «очевидности», но через это и к неисправимому разделению путей искусства и науки.

Правда, в области научного познания это привело к созданию различных механических приспособлений для точного определения мер и веса.

В свое время Ренессанс еще до раздвоенности науки и искусства создал различные дисциплины для потребностей живописцев: художественную перспективу и художественную анатомию. Но в наши дни художник напрасно будет искать так необходимых ему художественной метеорологии, геологии, художественной ботаники, зоологии, не говоря уже о художественной социологии. Правда, в некоторых критических статьях, например у Рёскина¹², есть нечто заменяющее ему эти нехватящие дисциплины (в статьях у Тернера), но ничего по существу вопроса и детально разработанного еще не существует в литературе.

Точно так же как художник не имеет сотрудничества ученого, точно так же и ученый не имеет сейчас часто необходимого орудия эксперимента и анализа – отточенного тонко карандаша, потому что научный рисунок – художественная дисциплина, которую еще не знает современная живописная школа.

Пейзажист должен изображать землю, по которой можно ходить, и писать небо, по которому можно летать, то есть в пейзажах должна быть такая грань горизонта, через которую хочется перейти, и должен ощущаться тот воздух, который хочется вдохнуть полной грудью, а в небе – те восходящие токи, по которым можно взлететь на планёре.

Вся первая половина моей жизни была посвящена большим пешеходным путешествиям, я обошел пешком все побережья Средиземного моря, и теперь акварели мне заменяют мои прежние прогулки. Это страна, по которой я гуляю ежедневно, видимая естественно сквозь призму Киммерии, которую я знаю наизусть и за изменением лица которой я слежу ежедневно. <...>

1930

1. Общедоступная студия, основанная художником Филиппе Коларосси в 90-х годах XIX века в Париже.

2. Форен Жан Луи (1851–1932) – французский художник и гравёр.

3. Стейнлен Теофиль (1859–1923) – французский художник.

4. Давиденко Елизавета Николаевна (1867–?) – русская художница.

5. Киселев Александр Алексеевич (1855–1911) – русский художник.

6. 16 января 1913 года психически больной А. Балашов изрезал картину И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Волошин 12 и 15 февраля в присутствии Репина выступил с лекцией, в которой объяснял, почему в самой картине «таятся саморазрушительные силы и почему не Балашов виноват перед Репиным, а Репин перед Балашовым»; 19 января 1913 года в газете «Утро России» была опубликована статья Волошина «О смысле катастрофы, постигшей картину Репина», где он дает свое толкование «реализма и натурализма и <...> роли ужасного в искусстве».

7. Гонкуры: Эдмон (1822–1896) и Жюль (1830–1870) – братья, французские писатели; по завещанию Э. Гонкура создан фонд Гонку-

ровской литературной премии (с 1903 года); см.: Гонкуры Э. и Ж. Дневник. – М., 1964.

8. Хокусай Кацусика (1760–1849) – японский живописец и рисовальщик, мастер цветной ксилографии. Утамаро Китагава (1753 или 1754–1806) – японский мастер цветной ксилографии и живописец.

9. По-видимому, Теодор Доре (1838–1927) – французский журналист, пропагандист импрессионизма.

10. Леонардо да Винчи (1452–1519) – итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый, инженер.

11. Бэкон Фрэнсис (1561–1626) – английский философ-материалист, писатель; в трактате «Новый органон» (1620) предложил реформу научного метода – очищение разума от заблуждений («идолов» и «призраков») на основе обращения к опыту, эксперименту.

12. Рёскин Джон (1819–1900) – английский писатель, искусствовед.

Голоса поэтов

Голос – это самое пленительное и самое неуловимое в человеке. Голос – это внутренний слепок души. У каждой души есть свой основной тон, а у голоса – основная интонация. Неуловимость этой интонации, невозможность ее ухватить, закрепить, описать составляют обаяние голоса.

Об этом думал умирающий Теофиль Готье¹, говоря, что когда человек уходит, то безвозвратнее всего погибает его голос. Недаром сам Готье так тщетно, несмотря на всю точность определений, старался пластически выявить обаяние голоса в своей поэме «Контральто». Но Теофиль Готье все же был неправ, потому что в стихе голос поэта продолжает жить со всеми своими интонациями. Лирика – это и есть голос. Лирика – это и есть внутренняя статуя души, возникающая в то же мгновение, когда она создается.

И мы знаем голос Теофиля Готье отнюдь не по описаниям его, а по стихам. Знаем юношеский,

патетически расплавленный голос «Альбертюса», знаем и зрелый, рокошущий и воркующий, быстро-скользящий, густой, с отливами застывающего металла голос «Эмалей и камей».

Смысл лирики – это голос поэта, а не то, что он говорит. Как верно для лирика имя юношеской книги Верлена² – «Романсы без слов».

Мы знаем, как по-разному звучит один и тот же размер у двух поэтов только благодаря различным интонациям голоса; как блоковское «И вновь, сверкнув из чаши винной...» не похоже на «Мой дядя самых честных правил...», хотя эти два стиха и по размеру, и по ритму тождественны. Мы знаем, как обыденные слова разговорной речи по-особому звучат в голосах различных поэтов: как у Федора Сологуба³ по-своему звучат «злой», «смерть», «очарование»; как у Брюсова⁴ звучит «в веках», «пытка»; как Бальмонт⁵ совершенно не похоже ни на кого произносит «Любовь», «Солнце»; а Блок – «маска», «метель», «рука».

Голоса поэтов пережили на наших глазах большую эволюцию. Старые поэты *пели*. Главное был напев. Напевов было немного. В них вправлялось все личное. Легко составлялся хор – школа. Пушкин в свое время ввел в русский стих четкую и сухую фразу – «прозу», которая подымала напевность соседних стихов до неведомой силы. Но эта благородная пушкинская «проза» в стихе вскоре выродилась в однообразный речитатив, и голоса русских поэтов потонули к 80-м годам в однообразной и чувствительной напевности, синтез которой был дан Надсоном⁶.

Французский «верлибризм» приблизительно в ту же эпоху поднял мятеж против торжественно-однообразного гула Гюго⁷, Леконт де Лиля⁸ и парнасцев⁹.

Символизм был борьбой за права голоса, борьбой за более интимное слияние стиха и фразы, которое, в сущности, и создало «свободный стих».

Через это завоевание, совершенное в чужой речи, и русская лирика почувствовала себя внезапно свободной. Сразу зазвучали в русской поэзии, перебивая друг друга, несхожие, глубоко

ко индивидуальные голоса, теперь нам хорошо знакомые.

Раньше всех ужалил ухо новой интонацией голос Бальмонта, капризный, изменчивый, весь пронизанный водоворотами и отливами, как сварка стали на отравленном клинке. Голос Зинаиды Гиппиус¹⁰ – стеклянно-четкий, иглистый и кольчатый. Металлически-глухой, чеканящий рифмы голос Брюсова. Литургийно-торжественный, с высокими теноровыми возгласиями голос Вячеслава Иванова. Медвяный, прозрачный, со старческими придыханиями и полынной горечью на дне голос Ф. Сологуба. Глухой, суровый, подземный бас Балтрушайтиса¹¹. Срывающийся в экстатических взвизгах фальцет Андрея Белого¹². Отрешенный, прислушивающийся и молитвенный голос А. Блока. Намеренно небрежная, пересыпанная жемчужными галлицизмами речь Кузмина¹³. Шепоты, шелесты и осенние шелка Аделаиды Герцык. Мальчишески-озорная скороговорка Сергея Городецкого¹⁴.

После этого был период, когда все русские поэты со страстью изучали анатомию и структуру стиха, разнимали его на составные части, искали числовых соотношений, стремились «алгеброй развязать гармонию», найти основные законы благозвучия и свести многообразие ритма к простейшим формулам.

Конечно, при этом выражались и обычные опасения: «Значит, теперь всякий может писать совершенные стихи», и осуждения: «Настоящие поэты создавали свои поэмы, ничего этого не зная и не изучая». Но вот миновало лишь несколько лет, и в русской лирике уже обнаруживаются плоды этой аналитической работы над стихом. И выявляются они не в тех, кто анатомировал и разымал, а в молодых, чисто интуитивно воспринявших итоги их исследований.

У старшего поколения современных поэтов лирический голос оставался голосом декламирующим, голосом напряженным, звучащим с возвышения, являясь более или менее точной стилизацией их живого голоса.

У последних пришельцев стих подошел гораздо интимнее, теснее к интимному, разговор-

ному голосу поэта. В старшем поколении это уже предчувствовалось в Ин. Фед. Анненском¹⁵ и намечалось в Кузмине. Теперь это слияние стиха и голоса зазвучало непринужденно и свободно в поэзии Ахматовой, Марины Цветаевой, О. Мандельштама¹⁶, Софии Парнок¹⁷.

В их стихах все стало голосом. Все их обаяние только в голосе. Почти все равно, какие слова будут они произносить, так хочется прислушиваться к самым звукам их голосов, настолько свежих и новых в своей интимности. «Значенье – суета, и слово – только шум, когда фонетика – служанка Серафима», – как говорит Мандельштам. О, это совсем не обработанный голос певца, наполовину ставший инструментом, а именно зацветающий звук голоса, произносящего случайные слова, иногда еще юношески ломающегося, но пленительного, как неожиданная статуя души, растворяемая временем в то самое мгновение, когда она возникает.

У меня звучит в ушах последняя книга стихов Марины Цветаевой, так не похожая на ее первые полудетские книги, но я, к сожалению, не могу сослаться на нее, так как она еще не вышла. Но предо мной два сборника стихов Софии Парнок и О. Мандельштама, вышедшие в этом году, волнующие по-разному, но одним и тем же волнением. Волнением голоса, в который хочется вслушаться, который хочется остановить, но он скользит, как время между пальцев.

Вот стихотворение С. Парнок, через которое я вошел в ее книгу:

*Смотрят снова глазами незрячими
Мать Божья и Спаситель-Младенец.
Пахнет ладаном, маслом и воском.
Церковь тихими полнится плачами.
Тают свечи у юных смиренниц
В кулачке окоченелом и жестком.*

*Ах, от смерти моей уведи меня,
Ты, чьи руки загорели и свежи,
Ты, что мимо прошла, раззадоря!
Не в твоём ли отчаянном имени
Ветер всех буревых побережий,
О Марина, соименница моря!*

Все это стихотворение – одна фраза, крикнутая единым духом, без перерывов. Первая строфа – созерцание, длительная задумчивость, сжимающаяся до боли в ее последнем стихе (В кулачке окоченелом и жестком). Вторая – неожиданный вопль, через который проходит целая смена интонаций, он начинается глубоким женским контральто (Ах, от смерти моей уведи меня...) и постепенным нарастанием чувства переходит от отчаяния к юношескому вызову, девичьему крику... (Не в твоём ли отчаянном имени...).

Это стихотворение – ключ к голосу всей книги: в ней ряд стихотворений, продуманных, замолчанных, молча закрепленных, и ряд стихов, крикнутых, прошептанных, сказанных, от вечных. Внутренняя статуя голоса возникает из этого зябкого молчания сердца, прерываемого криком нахлынувшей жизни.

В молчании кажется, «как будто кто-то равнодушный с вещей и лиц совок покров. – И тьма – как будто тень от света, и свет – как будто отблеск тьмы. Да был ли день? И ночь ли это? Не сон ли чей-то смутный мы?» («Белой ночью»); голоса поют «обрети и расточи»; время года «полувесна и полуосень»; «Сонет дописан, вальс дослушан, и доцелованы уста». «Ни святости, ни греха, во мне, как во всем дыханье – подземное колыханье вскипающего стиха».

И вот тут, как в приведенном выше стихотворении, прорывается вопль к жизни: «Снова сердце – сумасшедший капитан – правит парус к неотвратимой гибели...» – и снова: «Сердце открыто ветрам – всем ветрам», и начинается упрямый спор с уходящим временем: «Злому верить не хочу календарю. Кто-то жуткий, что то-ропишь? Я не подарю ни минутки. Отщипнуть бы, выхватить из жизни день, душу вытрясть... Я твою, пустая, злая дребедень, знаю хитрость», а после этого торжествующе: «Сегодня весна впервые, и миру нисколько лет!»

В этом основной, пленяющий изгиб лирического голоса С. Парнок.

Но среди интонаций ее останавливают своей глубокой страстностью и пронзительностью все слова, касающиеся любви и ее ран: «Ты не спросишь в ночи буйные, первой страстью

прожжена, чьи касанья поцелуйные зацеловать должна» или:

*Вспомнились эти глаза с невероятным
зрачком...
...Но под ударом любви ты – что золото
ковкое!
Я наклонилась к лицу, бледному в страстной
тени,
Где словно смерть провела снеговою пуховкою.*

Или о цыганке: «Тех крестили в крестильной купели, эту – в адском смоляном котле».

И рядом с этими ногами исступления и боли в лирическом голосе С. Парнок есть уклоны грации и нежности, достойные греческой антологии: «Ах, как бабочка, на стебле руки моей погостила миг – не боле – твоя рука ...», «Когда я твои губами слушала сердце...»

Сомнения быть не может, в этой лирике звучит тот волнующий и странный голос, о котором Теофиль Готье сказал:

*Que tu me plais, étimbre étrange!
Son double, nomine et femme à la fois,
Contralto, bizarre mélange,
Hermaphrodite de la voix.*

Что по-русски можно перевести так:

*Меня пленяет это слиянье
Юноши с девушкой в тембре слов –
Контральто! – странное сочетание –
Гермафродит голосов!*

Рядом с этим гибким и разработанным женским контральто, хорошо знающим свою силу и умеющим ею пользоваться, юношеский бас О. Мандельштама может показаться неуклюжим и оторочески ломающимся. Это и есть отчасти. Но какое богатство оттенков, какой диапазон уже теперь намечены в этом голосе, который будет еще более гибким и мощным!

Мандельштам не *хочет разговаривать* стихом – это прирожденный *певец*, и признает он не чтение стихов, а только патетическую декламацию; его идеал – театр Расина¹⁸, когда «расплавленный страданьем крепнет голос и достигает скорбного закала негодованьем раскаленный слог».

В его книге чувствуется напряженная гортань, обозначается горло певца с прыгающим адамовым яблоком. Часто на протяжении многих страниц он только пробует голос, испытывает его глубину, силу и нажим интонации. Для ценителя лирического пения эти пробы голоса, эти лирические фразы прекрасны:

*Осенний сумрак, ржавое железо –
Скрипит, поет и разъедает кровь –
Что мне соблазн и все богатства Креза
Пред лезвием твоей тоски, Господь?..*

Или:

*Отравлен хлеб и воздух выпит –
Так трудно раны врачевать –
Иосиф, проданный в Египет,
Не мог сильнее тосковать...*

Обе эти фразы из начала книги, которая расположена хронологически. Но я беру такое же четверостишие из ее конца. Насколько этот же голос звучит чище, гуще:

*Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся...*

В любви поэта к патетическому и торжественному нет ничего нового: все поэты начинают с этой любви.

«Как царский скипетр в скинии пророков, у нас цвела торжественная боль», – говорит Мандельштам про старую драматическую поэзию. Оригинально то, что его торжественность не однообразна, что для ее передачи ему надо предварительно изучить тысячи оттенков и модуляций, что в патетическом он любит не самый подъем чувства, а таинственное цветение голоса: «Зловещий голос, горький хмель, души расковыривает недра: так – негодующая Федра – стояла некогда Рашель». Поэтому он молится: «Да обретут мои уста первоначальную немоту» – и заклинает: «Останься пеной, Афродита, и слово – в музыку вернись». Он старается достигнуть истоков речи: «Она еще не родилась. Она и музыка, и слово и потому всего живого ненарушаемая связь».

Природа для него оживает через сравнение со звуком, с метрикой. «Как бы *цезурой* зияет этот день!» – восклицает он и описывает тихий летний день такими словами: «Есть иволги в лесах, и гласных долгота в тонических стихах – единственная мера; но только раз в году бывает разлита в природе длительность, как в метрике Гомера».

Лучшие стихотворения «Камня» посвящены таинствам речи и голоса, которые он почувствовал глубже всего. И вероятно, поэтому в мире пластическом он сильнее всего чувствует архитектуру; потому что не есть ли архитектура – камень, который стал словом, – и не каждый ли собор звучит своим голосом? «И пятиглавые московские соборы с итальянскою и русскою душой», и Айя-София с ее «гулким рыданием серафимов», и Notre-Dame, где, «как некогда Адам, распластывая нервы, играет мышцами крестовый легкий свод», Архангельский собор, «весь удивленье райских дуг», и Казанский: «распластался храм Господень, как легкий крестовик-паук».

Для Мандельштама торжественное всегда театрально и соединено с пышными драпировками и величественным жестом. Какой великолепный плафонный барокко дает он в заключении «Оды Бетховену»: «И царской скинии над нами разодран шелковый шатер, и в промежутке воспаленном, где мы не видим ничего, ты указал в чертоге тронном на белой славы торжество!..»

Ода – это его область. Ему удаются синтетически-живописные исторические определения: «Завоевателей исконная земля – Европа в рубище Священного Союза... Пята Испании, Италии Медуза и Польша нежная, где нету короля...», «...с тех пор, как в Бонапарта гусиное перо направил Меттерних...»

Но диапазон его тем очень широк, и он, несколько не понижая густого тембра своего стиха, может говорить и об аббате «Флобера и Золя», который проходит вдоль межи, «влача остаток власти Рима, среди колосьев спелой ржи», а вечером: «Он Цицерона на перине читает, отходя ко сну: так птицы на своей латыни молились Богу в старину». И о кинематографе: «Кинематограф... Три скамейки. Сентиментальная

горячка... И в исступленье, как гитана, она заламывает руки. Разлука. Бешеные звуки затравленного фортепьяно».

Голос Мандельштама необыкновенно звучен и богат оттенками и изгибами. Но настоящее цветенье его еще впереди. А этот «камень» пока еще один из тех, которые Демосфен брал в рот, чтобы выработать себе отчетливую дикцию.

1917

Комментарии

Голоса поэтов. Впервые: Речь. – 1917. – 4 июня.

Рецензия на книги:

София Парнок. Стихотворения. – Пг., 1916;

Осип Мандельштам. Камень: Стихи. – Пг., 1916.

Печатается по: *Волошин М.* Лики творчества.

1. *Готье* Теофиль (1811–1872) – французский поэт.

2. *Верлен* Поль (1844–1896) – французский поэт.

3. *Сологуб* (настоящая фамилия Тетерников) Федор Кузьмич (1863–1927) – русский поэт и прозаик.

4. *Брюсов* Валерий Яковлевич (1873–1924) – русский поэт, основоположник русского символизма, прозаик, критик и переводчик.

5. *Бальмонт* Константин Дмитриевич (1867–1942) – русский поэт-символист.

6. *Надсон* Семен Яковлевич (1862–1887) – русский поэт.

7. *Гюго* Виктор Мари (1802–1885) – французский прозаик, драматург, поэт.

8. *Леконт де Лиль* Шарль (1818–1894) – французский поэт.

9. Группа французских поэтов; сложилась в 1866 году после выхода сб. «Современный Парнас»; декларировала «искусство для искусства» (Леконт де Лиль, Ж. М. Эредиа, Сюлли-Прюдом и др.).

10. *Гиппиус* Зинаида Николаевна (1869–1945) – русская поэтесса, прозаик, критик.

11. *Балтрушайтис* Юргис (1873–1944) – русский и литовский поэт.

12. *Белый* Андрей (псевдоним Бориса Николаевича Бугаева) (1880–1934) – русский поэт-символист и прозаик.

13. *Кузмин* Михаил Александрович (1875–1936) – русский поэт, прозаик, композитор, музыкальный критик.

14. *Городецкий* Сергей Митрофанович (1884–1967) – русский поэт и художник.

15. *Анненский* Иннокентий Федорович (1855–1909) – поэт, драматург, критик, переводчик.

16. *Мандельштам* Осип Эмильевич (1891–1938) – русский поэт.

17. *Парнок* Софья Яковлевна (1885–1933) – русская поэтесса, переводчица.

18. *Расин* Жан (1639–1699) – французский драматург.

Суриков

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ

Познакомился я с Василием Ивановичем Суриковым в начале 1913 года, когда И. Э. Грабарь предложил мне написать о нем монографию для издательства Кнебеля. Через общих знакомых я обратился к Василию Ивановичу¹ с вопросом: не буду ли я ему неприятен как художественный критик и не согласится ли он дать мне материалы для своей биографии. Василий Иванович ответил, что ничего не имеет против моего подхода к искусству, и согласился рассказать мне свою жизнь. Когда мы встретились и я изложил ему предполагаемый план моей работы, он сказал: «Мне самому всегда хотелось знать о художниках то, что Вы хотите обо мне написать; и не находил таких книг. Я Вам все о себе расскажу по порядку. Сам ведь я записывать не умею. Думал, так моя жизнь и пропадет вместе со мною. А тут все-таки кое-что останется».

Наши беседы длились в течение января месяца. Во время рассказов Василия Ивановича я тут же делал себе заметки, а вернувшись домой, в тот же вечер восстанавливал весь разговор в наивозможной полноте, стараясь передать не

только смысл, но и форму выражения, особенности речи, удержать подлинные слова.

Смерть Василия Ивановича застала мою монографию еще не оконченной. Но я спешу опубликовать мои разговоры с ним как материалы для его биографии и для того, чтобы хоть в слабой степени запечатлеть звуки его живого голоса.

Приведя в порядок мои записи, я построил их не в последовательности наших бесед, так как Василий Иванович часто отвлекался, возвращался назад и повторял уже рассказанное, но в порядке хронологическом, чтобы дать связную картину его жизни.

Суриков был среднего роста, крепкий, сильный, широкоплечий, моложавый, несмотря на то, что ему было уже под семьдесят: он родился в 1848 году. Густые волосы с русою проседью, подстриженные в скобку, лежали плотную шапкой и не казались седыми. Жесткие и короткие, они слабо вились в бороде и усах.

В наружности простой, народной, но не крестьянской, чувствовалась закалка крепкая, крутая: скован он был по-северному, по-казацки.

Рука у него была маленькая, тонкая, не худая. С красивыми пальцами, суживающимися к концам, но не острыми.

Письмена на ладони четкие, глубокие, цельные. Линия головы сильная, но короткая. Меркуриальная – глубока, удвоена и на скрещении с головной вспыхивала звездой, одним из лучей которой являлось уклонение Аполлона в сторону Луны.

Однажды, рассматривая его руку, я сказал Василию Ивановичу:

«У Вас громадная сила наблюдательности: даже то, что Вы видели мельком, у Вас остается четко в глазах. Разум у Вас ясный и резкий, но он не озаряет области более глубокие и представляет полный простор бессознательному. Идея, едва появившись, у Вас тотчас же облекается в зрительную форму, опережая свое сознание. Вы осознаете из форм...»

Он перебил меня:

«Да вот у меня было так: я жил под Москвой на даче², в избе крестьянской. Лето дождливое было. Изба тесная, потолок низкий. Дождь идет,

и работать нельзя. Скушно. И стал я вспоминать: кто же это вот точно так же в избе сидел. И вдруг... Меншиков... сразу все пришло – всю композицию целиком увидел. Только не знал еще, как княжну посажу.

...А то раз ворону на снегу увидал. Сидит ворона на снегу и крыло одно отставила, черным пятном на снегу сидит. Так вот этого пятна я много лет забыть не мог. Потом боярыню Морозову написал. Да и “Казнь стрельцов” точно так же пошла: раз свечу зажженную днем на белой рубахе увидал, с рефлексами».

В творчестве и личности Василия Ивановича Сурикова русская жизнь осуществила изумительный парадокс: к нам в двадцатый век она привела художника, детство и юность которого прошли в XVI и в XVII века русской истории.

В одной научной фантазии Фламарион рассказывает, как сознательное существо, удаляющееся от земли со скоростью, превышающей скорость света, видит всю историю земли развивающейся в обратном порядке и постепенно отступающей в глубину веков³.

Для того чтобы проделать этот опыт в России в середине XIX века (да отчасти и теперь), вовсе не нужно было развивать скорости, превосходящей скорость света, а вполне достаточно было поехать на перекладные с запада на восток, по тому направлению, по которому в течение веков постепенно развертывалась русская история.

Один из секретов Сурикова – цельного и подлинного художника-реалиста, посвятившего жизнь самому неверному из видов искусства, исторической живописи, – в том, что он никогда не восстанавливал археологически формы жизни минувших столетий, а добросовестно писал то, что сам видел собственными глазами, потому что он был действительным современником и Ермака, и Стеньки Разина, и боярыни Морозовой, и казней Петра.

Он происходил из старой казацкой семьи. Предки его пришли в Сибирь вместе с Ермаком. Род его идет, очевидно, с Дона, где в Верхне-Ягирской и Кундрючинской станицах еще сохранились казаки Суриковы. Оттуда они пошли завоевывать Сибирь и упоминаются как осно-

ватели Красноярска в 1622 году⁴. Здесь двести двадцать шесть лет спустя и родился В. И. Суриков.

«После того как они Ермака потопили в Иртыше, – рассказывал он, – пошли они вверх по Енисею, основали Енисейск, а потом Красноярские Остроги – так у нас места, укрепленные частоколом, назывались».

Развертывая документы и книги, он с гордостью читал вслух Историю Красноярского бунта⁵, когда казаки спустили по Енисею неугодного им царского воеводу Дурново, и при упоминании каждого казацкого имени перебивал себя, восклицая: «Это ведь все сродственники мои... Это мы-то – воровские люди... И с Многогрешными я учился – это потомки Гетмана...»⁶.

А потом он начинал рассказывать:

«В Сибири народ другой, чем в России: вольный, смелый. И край-то какой у нас. Сибирь западная – плоская, а за Енисеем у нас уже горы начинаются: к югу тайга, а к северу холмы, глинистые – розово-красные. И Красноярск – отсюда имя; про нас говорят: “Краснояры сердцем яры”».

Горы у нас целиком из драгоценных камней – порфир, яшма. Енисей чистый, холодный, быстрый. Бросишь в воду полено, а его бог весть уже куда унесло. Мальчиками мы, купаясь, чего только не делали. Я под плоты нырял: нырнешь, а тебя водой внизу несет. Помню, раз вынырнул раньше времени: под балками меня волочило. Балки скользкие, несло быстро, только небо в щели мелькало – синее. Однако вынесло. А на Каче – она под Красноярском с Енисеем сливается – плотины были. Так мы оттуда – аршин шесть-семь высоты – по водопаду вниз ныряли. Нырнешь, а тебя вместе с пеной до дна несет – бело все в глазах. И надо на дне в кулак песку захватить, чтобы показать; песок чистый, желтый. А потом с водой на поверхность вынесет.

А на Енисее острова – Татышев и Атаманский. Этот по деду назвали. И кладбище над Енисеем с могилой дедовой: красивую ему купец могилу сделал. В семье у нас все казаки. До 1825 года простыми казаками были, а потом

офицеры пошли. А раньше Суриковы все сотники, десятники. А дед мой Александр Степанович был полковым атаманом⁷.

Подполье у нас в доме было полно казацкими мундирами, еще старой екатерининской формы. Не красные еще мундиры, а синие, и кивера с помпонами.

Помню, еще мальчиком, как войска идут – сейчас к окну. А внизу все мои сродственники идут – командирами: и отец, и дядя Марк Васильевич⁸, и в окно мне грозят рукой.

Атамана, Александра Степановича, я маленьким только помню – он на пятьдесят третьем году помер⁹. Помню, он сказал раз: “Сшейте-ка Васе шинель, я его с собой на парад буду брать”. Он на таких дрожках с высокими колесами на парад ездил. Сзади меня посадил и повез на поле, где казаки учились пиками. Он из простых казаков подвигами своими выдвинулся. А как человек был простой... Во время парада баба на поле заехала, не знает, куда деваться. А он ей: “Кума! Кума! Куда заехала?”. Широкая натура. Заботился о казаках, очень любили его.

После него Мазаровича назначили. Жестокий человек был. На смерть засекал казаков. Он до 56 года царствовал. Марка Васильевича – дядю – часто под арест сажал. Я ему на гауптвахту обед носил. Раз ночью Мазарович на караул поехал. На него шинели накинули, избивали его. Это дядя мой устроил. Сказалась казацкая кровь. После него Голотевского назначили. После Корфа. А после Енисейский казачий полк был расформирован¹⁰.

А Василий Матвеевич¹¹ (он поэт был – “Синий ус” его звали), его на смотр начальник оскорбил, так он эполеты с себя сорвал и его по лицу отхлестал – ватрушками-то.

У деда, у Василия Ивановича, что в Туруханске умер, лошадь старая была, на которой он всегда на охоту ездил. И так уж приноровился – положит ей винтовку между ушей и стреляет. Охотник был хороший – никогда промаху не давал. Но стареть начал, так давно уже на охоту не ездил. Но вздумал раз оседлать коня. И он стар, и лошадь стара. Приложился, а конь-то и поведи ухом. В первый раз в жизни промах

дал. Так он обозлился, что коню собственными зубами ухо откусил. Конь это – Карка, гнедой, огромный – после смерти его остался. Громадными правами гражданства пользовался. То в сусек забредет – весь в муке выйдет. А то в сени за хлебом придет. Это казацкая черта – любят коней. И хорошие кони у нас. У брата “Мишка” был. Он-то уж за ним ходил – и чешет, и гладит. А меня раз на вожжах тащил на именинах брата. Брат его продал, а ночью он стучит: конюшню разломал и пришел.

Эта неудержимая и буйная кровь, не потерявшая своего казацкого хмеля со времен Ермака, текла в жилах Василия Ивановича. Она была наследием отцовской стороны. Со стороны же матери было глубокое и ясное затишье успокоенного семейного уклада старой Руси.

«Первое, что у меня в памяти осталось, – рассказывал он, – это наши поездки зимой в Торгошинскую станицу. Мать моя из Торгошиных была¹². А Торгошины были торговыми казаками – извоз держали, чай с китайской границы возили от Иркутска до Томска, но торговлей не занимались. Жили по ту сторону Енисея – перед тайгой. Старики неделеные жили. Семья была богатая. Старый дом помню. Двор мощный был. У нас тесаными бревнами дворы мостят. Там самый воздух казался старинным. И иконы старые, и костюмы. И сестры мои двоюродные – девушки совсем такие, как в былинах поется про двенадцать сестер. В девушках была красота особенная: древняя, русская. Сами крепкие, сильные. Волосы чудные. Все здоровьем дышало. Трое их было – дочери дяди Степана – Таня, Фаля и Маша. Рукодельем они занимались: гарусом на пальцах вышивали. Песни старинные пели тонкими, певучими голосами. Помню, как старики Феодор Егорыч и Матвей Егорыч по́двечер на двор в халатах шелковых выйдут, гулять начнут и “Не белы снеги...” поют. А дядя Степан Федорович с длинной черной бородой. Это он у меня в “Стрельцах”¹³ – тот, что, опустив голову, сидит, “как агнец жребию покорный”.

Там старина была. А у нас другое. Дом новый. Старый суриковский дом, вот о котором в Истории Красноярского бунта говорится, я в разва-

линах помню. Там уже не жил никто. Потом он во время большого пожара сгорел. А наш новый был – в тридцатых годах построенный. В то время дед еще сотником в Туруханске был. Там ясак собирал, нам присылал. Дом наш соболями и рыбой строился. Тетка к нему ездила. Рассказывала потом про северное сияние. Солнце там, как медный шар. А как уезжала – дед ей полный подол соболей наклал. Я потом в тех краях сам был, когда остяков для “Ермака” рисовал. Совсем северно. Совсем как американские индейцы. И повадка, и костюм. И татарские могильники со столбами – “курганами” называются.

А первое мое воспоминание – это как из Красноярска в Торгошино через Енисей зимой с матерью ездили. Сани высокие. Мать не позволяла выглядывать. А все-таки через край посмотришь: глыбы ледяные столбами кругом стоймя стоят, точно дольмены. Енисей на себе сильно лед ломает, друг на друга их громоздит. Пока по льду едешь, то сани так с бугра на бугор и кидает. А станут ровно идти – значит, на берег выехали.

Вот на том берегу я в первый раз видел, как “Городок” брали. Мы от Торгошиных ехали. Толпа была. Городок снежный. И конь черный прямо мимо меня проскочил, помню. Это, верно, он-то у меня в картине и остался¹⁴. Я потом много городков снежных видел. По обе стороны народ стоит, а посередине снежная стена. Лошадей от нее отпугивают криками и хворостинами бьют: чей конь первый сквозь снег прорвется. А потом приходят люди, что городок делали, денег просить: художники ведь. Там они и пушки ледяные, и зубцы – все сделают. А раньше, помню, мне мать на луну показывала – я глаза и рот различал.

В баню мать меня через двор на руках носила. А рядом у казака Шердева медведь был на цепи. Он повалил забор и черный при луне на столбе сидит. Мать закричала и бежать».

Увлеченный воспоминаниями, Василий Иванович вытаскивает из крепкого кованого сундука, стоящего в темном углу комнаты, сундука, в котором у него хранятся все его рисунки, этюды, документы и фамильные воспоминания, несколько кусков шелковых тканей и по-

казывает треугольный платок из парчовой материи – половину квадрата, разрезанного от угла до угла. Парча красновато-лиловая, с желтизной и золотым тканьем, и хранит жесткие, привычные складки, которыми ложилась вокруг лица.

«Этот платок бабушка моя на голове носила. Это его для двух сестер купили и пополам разрезали. Приданое моей матери все украли – только это осталось. В Сибири ведь разбои всегда. На ночь, как в крепость, запирались. Я помню, еще совсем маленьким был. Спать мы легли. Вся семья в одной постели спала. Я у отца всегда “на руке” спал. Брат. Сестра. А старшая сестра, Елисавета, от первого брака, в ногах спала. Утром мать просыпается: “Что это, – говорит, – по ногам дует?”. Смотрим, а дверь разломана. Грабители, значит, через нашу комнату прошли. Ведь если б кто из нас проснулся, так они бы всех нас убили. Но никто не проснулся, только сестра Елисавета помнит, что точно ей кто ночью на ногу наступил. И все приданое материно с собою унесли. Потом еще платки по дороге на заборе находили. Да матери венчальное платье на Енисее пузырем всплыло: его к берегу прибило. А остальное так и погибло».

Тут же он достает фотографию своей матери в гробу. Она лежит с лицом старой крестьянки, с головой, повязанной платком. Облик спокойный, благостный, сильный. В нем кованость и медный чекан. Морщины глубокие и прямые.

А Василий Иванович продолжает вспоминать о встречах с разбойниками: как рабочий ломился к ним пьяный в кухню – зарезать хотел, а она успела запереться и через окно позвать из казачьего приказа казаков.

«Мать моя удивительная была. Вот Вы ее портрет видели¹⁵. У нее художественность в определениях была: посмотрит на человека и одним словом определит. Вина она никогда не пила, только на свадьбе своей губы в шампанском помочила. Очень смелая была. Женщину раз, мужеубийцу, к следователю привели. Она у нас в доме сидела. Матери ночью понадобилось в подвал пойти. Она всегда все сама делала: прислугу не держала. Говорит ей: я вот одна, пойдём, подсоби мне. Так вместе с ней одна в пустом доме в подвал пошла – и ничего.

А то я раз с матерью ехал, – из тайги вышел человек и заворотил лошадей в тайгу, молча. А потом мать слышит, он кучеру говорит: “Что ж, до вечера управимся с ними?”. Тут мать раскрыла руки и начала молить: “Возьмите все, что есть у нас, только не убивайте”. А в это время навстречу священник едет. Тот человек в красной рубахе соскочил с козел и в лес ушел. А священник нас поворотил назад, и вместе с ним мы на ту станцию, откуда уехали, вернулись. А я только тогда проснулся, все время головой у матери на коленях спал, ничего не слышал.

Семья у нас небогатая. “Суриковская заимка” была с покосами. Отец умер рано, в 1859 году. Мне одиннадцать лет было. У него голос прекрасный был. Губернатор Енисейской губернии его очень любил и всюду с собой возил¹⁶. У меня к музыке любовь от отца. Мать потом на его могилу ездила плакать. Меня с сестрой Катей брала. Причитала на могиле по-древнему. Мы ее все уговаривали, удерживали».

Наряду с этими впечатлениями незапамятной русской старины, обступившей детство Василия Ивановича, на эти далекие окраины истории доходили и вести современной жизни.

«Дядя Марк Васильевич и Иван – образованные были. Много книг выписывали. Журналы “Современник” и “Новоселье” получали¹⁷. Я Мильтона “Потерянный Рай” в детстве читал, Пушкина и Лермонтова. Лермонтова любил очень. Дядя Иван Васильевич на Кавказ одного из декабристов, переведенных, сопровождал, – вот у меня есть еще шашка, что тот ему подарил. Так он оттуда в восторге от Лермонтова вернулся. Снимки ассирийских памятников у них были. Я уж иногда в детстве страшную их оригинальность чувствовал. Помню, как отец говорил: “Вот Исаакиевский собор открыли... вот картину Иванова привезли...”¹⁸».

Дяди Марк Васильевич и Иван Васильевич оба молодыми умерли от чахотки. На парадах простудились. Времена были николаевские – при сорокаградусных-то морозах – в одних мундирчиках. А богатыри были. Непокорные. Когда после смерти дедушки другого атаманом назначили, им частенько приходилось на гауптвахте сидеть. Дядя Марк Васильевич – он уже болен

был тогда – мне вслух “Юрия Милославского” чита¹⁹. Это первое литературное произведение, что в памяти осталось. Я, прижавшись к нему под руку, слушал. Так и помню, как он читал: невысокая комната с сальной свечкой. И все мне представлялось, как Омляш²⁰ в окошко заглядывает. Умер он зимой, одиннадцатого декабря. Мы, дети, когда он в гробу лежал, ему усы закрутили, чтобы у него геройский вид был. Похороны его помню – лошадь его за гробом вели.

Мать моя декабристов видела: Бобрищева-Пушкина и Давыдова²¹. Она всегда в старый собор ездила причащаться; они впереди всех в церкви стояли. Шинели с одного плеча спущены. И никогда не крестились. А во время ектеньи, когда Николая I поминали, демонстративно уходили из церкви. Я сам, когда мне было тринадцать лет, Петрашевского-Буташевича на улице видел. Полный, в цилиндре шел. Борода с проседью. Глаза выпуклые – огненные. Прямо очень держался. Я спросил: – Кто это? – Политический, – говорят. Его мономаном звали. Он присяжным поверенным в Красноярске был²². Щапова тоже встречал, когда он приезжал материалы собирать»²³.

Настоящее общение с природой началось для Сурикова лет с шести, когда его отца перевели в 1854 году в Бузимовскую станицу²⁴ в шестидесяти верстах от Красноярска к северу.

«В Бузимове мне вольно было жить. Страна была неведомая. Степь не меренная. Ведь в Красноярске никто до железной дороги не знал, что там за горами. Торгошино было под горой. А что за горой – никто не знал. Было там еще за двадцать верст Свищово. В Свищове у меня родственники были. А за Свищовым пятьсот верст лесу до самой китайской границы. И медведей полно. До пятидесятых годов девятнадцатого столетия все было полно: реки – рыбой, леса – дичью, земля – золотом. Какие рыбы были! Осетры да стерляди в сажень. Помню – их привезут, так в дверях прямо, как солдаты, стоят. Или я маленьким был, что они такими громадными казались...»

А Бузимо было к северу. Место степное. Село. Из Красноярска целый день лошадьми ехать. Окошки там еще слюдяные, песни, что в городе

не услышишь. И масленичные гулянья, и христовославцы. У меня с тех пор прямо культ предков остался. Брат до сих пор поминовение обо всех умерших подает. В Прощеное воскресенье мы приходили у матери прощение на коленях просить. На Рождестве христовославцы приходили. Иконы льняным маслом натирали, а ризы серебряные мелом. Мама моя чудно пирожки делала. Посты соблюдали. В банях парились. Прямо в снег выскакивали. Во всех домах в Бузуме старые лубки висели – самые лучшие.

Верхом я ездил с семи лет. Пара у нас лошадок была: соловый и рыжий конь. Кони там степные – с большими головами – тарапаны. Помню, мне раз кушак новый подарили и шубку. Отъехал я, а конь все назад заворачивает; я его изо всех сил тяну. А была наледь. Конь поскользнулся и вместе со мной упал. Я прямо в воду. Мокрая вся шубка-то новая. Стыдно было домой возвращаться. Я к казакам пошел: там меня обсушили. А то раз я на лошади через забор скакал, конь копытом забор и задень. Я через голову и прямо на ноги стал, к нему лицом. Вот он удивился, думаю... А то еще, тоже семи лет было, с мальчиками со скирды катались – да на свинью попали. Она гналась за нами. Одного мальчишкухватила. А я успел через поскотину перелезть. Бык тоже гнался за мной: я от него опять же за поскотину, да с яра, да прямо в реку – в Тубу. Собака на меня цепная бросилась: с цепи вдруг сорвалась. Но сама что ли удивилась: остановилась и хвостом вдруг завиляла. Мы мальчиками палы пускали – сухую траву поджигали. Раз летом пошли, помню, икону встречать – по дороге подожгли. Трава высокая. Так нас уже начали языки догонять. До телеграфных столбов дошло. Я на Енисее приток переплывал – не широкий, сажень пятьдесят. А у меня судорогой ногу свело. Но я умел плавать и столбиком, и на спине. Доплыл так. А охотиться я начал еще с кремневым ружьем. И в первый же раз на охоте птичку застрелил. Сидела она. Я прицелился. Она упала. И очень я возгордился. И раз от отца отстал. Подождал, пока он за деревьями мелькает, и один остался в лесу. Иду. Вышел на опушку. А дом наш бу-

зимовский на юру, как фонарь, стоит. А отец с матерью смотрят – меня ищут. Я не успел спрятаться – увидели меня. Отец меня драть хотел: тянет к себе, а мать к себе. Так и отстояла меня.

В школу – в приходское училище – меня восьми лет отдали, в Красноярск. Я оттуда домой в Бузимо только приезжал. Интересное тут со мной событие случилось, вот я Вам расскажу. В приходском училище меня из высшего класса в низший перевели. Товарищи очень смеялись. Я ничего не знал. А потом с первого класса²⁵ я начал прекрасно учиться.

Пошел я в училище. А мать пред тем приезжала – мне рубль пятаками дала. В училище мне идти не захотелось. А тут дорога разветвляется по Каче. Я и пошел по дороге в Бузимо. Вышел в поле. Пастухи вдали.

Я верст шесть прошел. Потом лег на землю, стал слушать, как в “Юрии Милославском”, нет ли за мной погони. Вдруг вижу, вдали – пыль. Глядь – наши лошади. Мать едет. Я от них от дороги свернул – прямо в поле. Остановили лошадей. Мать кричит: “Стой! Стой! Да никак ведь это наш Вася!”. А на мне такая маленькая шапочка была – монашеская. “Ты куда?”. И отвезли меня назад в училище».

Наряду с этими впечатлениями вольного детства среди вольной природы в жизнь врывались суровые впечатления быта и нравов XVII века. «Мощные люди были. Сильные духом. Размах во всем был широкий, – рассказывал Василий Иванович. – А нравы жестокие были. Казни и телесные наказания на площадях публично происходили. Эшафот недалеко от училища был. Там на кобыле наказывали плетьюми. Бывало, идем мы, дети, из училища. Кричат: “Везут! везут!”. Мы все на площадь бежим за колесницей. Палачей дети любили. Мы на палачей, как на героев, смотрели. По именам их знали: какой Мишка, какой Сашка. Рубахи у них красные, порты широкие. Они перед толпой по эшафоту похаживали, плечи расправляли. Геройство было в размахе. Вот я Лермонтова понимаю. Помните, как у него о палаче: “Палач весело похаживает...”²⁶. Мы на них с удивлением смотрели – необыкновенные люди какие-то.

Вот теперь скажут – воспитание! А ведь это укрепляло. И принималось только то, что хорошо. Меня всегда красота в этом поражала, – сила. Черный эшафот, красная рубаха – красота! И преступники так относились: сделал, – значит, расплачиваться надо. И сила какая бывала у людей: сто плетей выдерживали, не крикнув. И ужаса никакого не было. Скорее восторг. Нервы все выдерживали.

Помню, одного драли; он точно мученик стоял: не крикнул ни разу. А мы все – мальчишки – на заборе сидели. Сперва тело красное стало, а потом синее: одна венозная кровь текла. Спирт им нюхать дают. А один татарин храбрился, а после второй плети начал кричать. Народ смеялся очень. Женщину одну, помню, драли – она мужа своего, извозчика, убила. Она думала, что ее в юбках драть будут. На себя много наверхтела. Так с нее палачи как юбки сорвали – они по воздуху, как голуби, полетели. А она точно кошка кричала – весь народ хохотал. А то еще одного за троеженство клеймили, а он все кричал: “Да за что же?”.

Смертную казнь я два раза видел. Раз трех мужиков за поджог казнили. Один высокий парень был, вроде Шалыпина, другой старик. Их на телегах в белых рубахах привезли. Женщины лезут – плачут, – родственницы их. Я близко стоял. Дали залп. На рубахах красные пятна появились. Два упали. А парень стоит. Потом и он упал. А потом, вдруг вижу, подымается. Еще дали залп. И опять подымается. Такой ужас, я Вам скажу. Потом один офицер подошел, приставил револьвер, убил его. Вот у Толстого, помните, описание, как поджигателей в Москве расстреливали? Там у одного, когда в яму свалили, плечо шевелилось²⁷. Я его спрашивал: “Вы это видели, Лев Николаевич?”. Говорит: “По рассказам”. Только, я думаю, видел: не такой человек был. Это он скрывал. Наверное, видел.

А другой раз я видел, как поляка казнили – Флерковского²⁸. Он во время переключки ножом офицера пырнул. Военное время было. Его приговорили. Мы, мальчишки, за телегой бежали.

Его далеко за город везли. Он бледный вышел. Все кричал: “Делайте то же, что я сделал”.

Рубашку поправил. Ему умирать, а он рубашку поправляет. У меня прямо земля под ногами поплыла, как залп дали.

Жестокая жизнь в Сибири была. Совсем XVII век. Кулачные бои помню. На Енисее зимой устраивались. И мы мальчишками дрались. Уездное и духовное училища были в городе, так между ними антагонизм был постоянный. Мы всегда себе Фермопильское ущелье представляли: спартанцев и персов. Я Леонидом Спартакским всегда был.

Мальчиком постарше я покучивал с товарищами. И водку тогда пил. Раз шестнадцать стаканов выпил. И ничего. Весело только стало. Помню, как домой вернулся, мать меня со свечами встретила.

Двух товарищей моих в то время убили. Был товарищ у меня – Митя Бурдин. Едет он на дрожках. Как раз против нашего дома лошадь у него распряглась. Я говорю: “Митя, зайди чаю напиться”. Говорит – некогда. Это шестого октября было. А седьмого земля мерзлая была. Народ бежит, кричат: “Бурдина убили”. Я побежал с другими. Вижу, лежит он на земле голый. Красивое, мускулистое у него тело было. И рана на голове. Помню, подумал тогда: вот если Дмитрия Царевича писать буду – его так напишу.

Его казак Шаповалов убил. У женщин они были. Тот его и заревновал. Помню, как на допрос его привели. Сидел он так, опустив голову. Мать его и спрашивает: “Что ж это ты наделал?” – Видно, говорит, черт попутал. – У нас совсем по-иному к арестантам относились.

А другой у меня был товарищ – Петя Чернов. Мы с ним франты были. Шелковые шаровары носили, поддевки, шапочки ямщицкие и кушаки шелковые. Оба кудрявые. Веселая жизнь была. Маскировались мы. Я тройкой правил, колокольцы у нас еще валдайские сохранились – с серебром. Заходит он в первый день Пасхи. Лед еще не тронулся. Говорит: “Пойдем на Енисей в проруби рыбу ловить”. – “Что ты? В первый-то день праздника?” И не пошел. А потом слышу: Петю Чернова убили. Поссорились они. Его бутылкой по голове убили и под лед спустили. Я потом его в анатомическом

театре видел: распух весь, и волосы совсем слезли – голый череп.

Широкая жизнь была. Рассказы разные ходили. Священника раз вывезли за город и раздели. Говорили, что это демоны его за святую жизнь мучили. Разбойник под городом в лесу жил. Вроде как бы Соловья-разбойника».

О начале своей живописи Василии Иванович рассказывал так: «Рисовать я с самого детства начал. Еще, помню, совсем маленьким был, на стульях сафьяновых рисовал – пачкал. Из дядей моих один рисовал – Хозяинов²⁹. Мать моя не рисовала. Но раз нужно было казачью шапку старую объяснить. Так она неуверенно карандашом нарисовала: я сейчас же ее увидел. Комнаты у нас в доме были большие и низкие. Мне, маленькому, фигуры казались громадными. Я потому всегда старался или горизонт очень низко поместить, или фону сделать поменьше, чтобы фигура больше казалась.

Главное, я красоту любил. Во всем красоту. В лица с детства еще вглядывался, как глаза расставлены, как черты лица составляются. Мне шесть лет, помню, было – я Петра Великого с черной гравюры рисовал. А краски от себя: мундир синькой, а отвороты брусничкой. В детстве я все лошадок рисовал, как все мальчики. Только ноги у меня не выходили. А у нас в Бузуме был работник Семен, простой мужик. Он меня научил ноги рисовать. Он их начал мне по суставам рисовать. Вижу, гнутся у его коней ноги. А у меня никак не выходило, это у него анатомия, значит.

У нас в доме изображение иконы Казанского собора работы Шебуева висело. Так я целыми часами на него смотрел. Вот, как тут рука ладонью с боку лепится. Когда я в Красноярском уездном училище учился, там учитель рисования был – Гребнев³⁰. Он из Академии был. У нас иконы на заказ писал. Так вот, Гребнев меня учил рисовать. Чуть не плакал надо мною. О Брюллове мне рассказывал. Об Айвазовском, как тот воду пишет, – что совсем как живая; как формы облаков знает. Воздух – благоухание.

Гребнев брал меня с собою и акварельными красками заставлял сверху холма город рисовать. Пленэр, значит. Мне одиннадцать лет тог-

да было. Приносил гравюры, чтобы я с оригинала рисовал: “Благовещение” Боровиковского, “Ангел молитвы” Неффа, рисунки Рафаэля и Тициана. У меня много этих рисунков было. Все в Академии пропали. Теперь только три остались. А вспоминаю, дивные рисунки были. Так тонко сделаны. Я помню, как рисовал, не выходило все. Я плакать начинал, а сестра Катя утешала: “Ничего, выйдет!”. Я еще раз начинал, и ведь выходило. Вот, посмотрите-ка. Это все я с черных гравюр, а ведь краски-то мои. Я потом в Петербурге смотрел: ведь похоже – угадал. Ведь как эти складки тонко здесь сделаны. И ручка. Очень мне эта ручка нравилась – так тонко лепится. Я очень красоту композиции любил. И в картинах старых мастеров больше всего композицию чувствовал. А потом начал ее и в природе всюду видеть. Когда меня губернатор Замятин³¹ хотел в Академию определить, я все эти рисунки собрал; их туда отправили. А ответ пришел: если хочет ехать на свой счет – пусть едет, а мы его на казенный счет не берем. А потом, когда я в Петербург уже приехал, меня спрашивает инспектор Шренцер³²: “А где же Ваши рисунки?”. Нашел папку, перелистал. “Это? – говорит – да за такие рисунки Вам даже мимо Академии надо запретить ходить”. Все эти рисунки так у него и пропали.

Я в Красноярске в детстве и масляные картины видал. У Атаманских в дому³³ были масляные картины в старинных рамках. Одна была: рыцарь умирающий, а дама ему платком рану затыкает. И два портрета генерал-губернаторов: Лавинского и Степанова³⁴.

А потом у крестной, у Ольги Матвеевны Дурандиной, у которой я жил, пока в училище был³⁵, когда наши еще в Бузуме жили; у нее тоже большие масляные картины были; одна сажженная, и фигуры до колен: старик Ной благословляет Иафета и Сима – тоже стариков, а Хам черный – в стороне стоит. А на другой – Давид с головой Голиафа. Картины эти – кисти Хозяинова, одного из родственников, были.

Я вот Вам еще один случай расскажу. Там в Сибири у нас такие проходимцы бывают. Появится неизвестно откуда, потом уедет. Вот

один такой на лошади проезжал. Прекрасная у него была лошадь – Васька. А я сидел, рисовал. Предлагает: “Хочешь покататься? Садись”. Я на его лошади и катался. А раз он приходит – говорит: “Можешь икону написать?”. У него, верно, заказ был. А сам-то он рисовать не умеет. Приносит он большую доску разграфленную. Достали мы красок. Немного: краски четыре. Красную, синюю, черную да белила. Стал я писать “Богородичные праздники”. Как написал, понесли ее в церковь – святить. У меня в тот день сильно зубы болели. Но я все-таки побежал смотреть. Несут ее на руках. Она такая большая. А народ на нее крестится: ведь икона, и освященная. И под икону ныряют, как под чудотворную. А когда ее святить, священник, отец Василий, спросил: “Это кто же писал?”. Я тут не выдержал: “Я”, говорю. «Ну, так впредь икон никогда не пиши”.

А потом, когда я в Сибирь приезжал, я ведь ее видел. Брат говорит: “А ведь икона твоя все у того купца. Пойдем смотреть”. Оседлали коней и поехали. Посмотрел я на икону: так и горит. Краски полные, цельные: большими синими и красными пятнами. Очень хорошо. Ее у купца хотел красноярский музей купить. Ведь не продал. Говорит: “Вот я ее поновлю, так еще лучше будет”. Так меня прямо тоска взяла.

После окончания уездного училища поступил я в четвертый класс гимназии – тогда в Красноярске открылась. Но курса не кончил. Средств у нас не было, пришлось из седьмого класса уйти³⁶. Подрабатывать приходилось. Яйца пасхальные я рисовал по три рубля за сотню. Помню, журналы тогда все смотрел художественные. Тогда журнал издавался “Северное сияние”. А раньше еще “Художественный листок” Тимма³⁷. Это еще во время Крымской войны. Пушка одна меня, помню, очень поразила – огнем полыхает.

Очень я по искусству тосковал. Мать какая у меня была: видит, что я плачу, – горел я тогда, – так решили, что я пойду пешком в Петербург. Мы вместе с матерью план составили. Пойду я с обозами – она мне тридцать рублей на дорогу давала. Так и решили.

А раз пошел я в собор, – ничего ведь я и не знал, что Кузнецов обо мне знает³⁸, – он ко мне в церкви подходит и говорит: “Я твои рисунки знаю и в Петербург тебя беру”. Я к матери побежал. Говорит: “Ступай. Я тебе не запрещаю”. Я через три дня уехал. Одиннадцатого декабря 1868 года. Морозная ночь была. Звездная. Так и помню улицу, и мать темной фигурой у ворот стоит. Кузнецов – золотопромышленник был. Он меня перед отправкой к себе повел, картины показывал. А у него тогда был Брюллова – портрет его деда. Мне уж тогда те картины нравились, которые не гладкие. А Кузнецов говорит: “Что ж, те лучше”.

Кузнецов рыбу в Петербург посылал – в подарок министрам. Я с обозом и поехал. Огромных рыб везли: я на верху воза на большом осетре сидел. В тулупчике мне холодно было. Коченел весь. Вечером, как приедешь, пока еще отогреться; водки мне дадут. Потом в пути я себе доху купил.

Барабинская степь пошла. Едут там с одного извозчичьего двора до другого. Когда запрягают, то ворота на запор. Готово? Ворота настезь. Лошади так и вылетят. В снежном клубе мчатся. И вот еще было у меня приключение. Может, не стоило бы рассказывать... Да нет – расскажу. Подъезжали мы уже к станции. Большое село сибирское – у реки внизу. Огоньки уже горят. Спуск был крутой. Я говорю: надо лошадью сдержать. Мы с товарищами подхватили пристяжных, а кучер коренника. Да какой тут! Влетели в село. Коренник что ли неловко повернул, только мы на всем скаку вольт сделали прямо в обратную сторону: все так и посыпались. Так я... Там, знаете, окошки пузырьные – из бычьего пузыря делаются... Так я прямо головой в такое окошко угодил. Как был в дохе – так прямо внутрь избы влетел. Старушка там стояла – молилась. Она меня за черта, что ли, приняла, – как закрестится. А ведь не попади я головой в окно, наверное бы на смерть убился. И рыба вся рассыпалась. Толпа собралась, подбирать помогали. Собрали все. Там народ честный.

До самого Нижнего мы на лошадях ехали – четыре с половиной тысячи верст. Там я доху

продал. Оттуда уже железная дорога была. В Москве я только один день провел: соборы видел. А 19 февраля 1869 года мы приехали в Петербург. На Владимирском остановились, на углу Невского. В гостинице “Родина”.

Приехал я в Академию в феврале. Я уже Вам рассказывал, как инспектор Шренцер посмотрел мои рисунки и сказал: “Да Вас за такие рисунки и мимо Академии пускать не следует”.

А в апреле – экзамен. Помню мы с Зайцевым – он архитектором после был – гипс рисовали. Академик Бруни не велел меня в Академию принимать. Помню – вышел я. Хороший весенний день был. На душе было радостно. Рисунок я свой разорвал и по Неве пустил.

Поступил я тогда в школу Поощрения, к художнику Диаконову³⁹, и три месяца гипсы рисовал. И научился во всевозможных ракурсах: нарочно самые трудные выбирал. За эти три месяца я три года курса прошел и осенью прямо в головной класс экзамены выдержал. Там еще композиции не подавались. А я слышал, какие в натурном задаются, и тоже подавал. Пять лет я пробыл в Академии. И научные классы прошел. Горностаев по истории искусств читал. Мы очень любили его слушать. Прекрасный рисовальщик был: нарисует фигуру одной линией: Аполлона или Фавна – мы ее целую неделю с доски не стирали. Я в Академии больше всего композицией занимался. Меня там “композитором” звали. Я все естественность и красоту композиции изучал. Дома сам себе задачи задавал и разрешал. Образцов никаких не признавал – все сам. А в живописи только колоритную сторону изучал. Павел Петрович Чистяков очень развивал меня. Я это еще и в Сибири любил, а здесь он мне указал путь истинного колорита.

Я ведь со страшной жадностью к знаниям приехал. В Академии классов не пропускал. А на улицах всегда группировку людей наблюдал. Приду домой и сейчас зарисую, как они комбинируются в природе. Ведь этого никогда не выдумаешь. Случайность приучился ценить. Страшно я ракурсы любил. Всегда старался дать все в ракурсах. Они очень большую красоту

композиции придают. Даже смеялись товарищи надо мной. Но рисунок у меня был нестрогий – всегда подчинялся колоритным задачам. Кроме меня, в Академии только у единственного ученика – у Лучшева – колоритные задачи были. Он сын кузнеца был. Мало развитой человек. Многого усвоить себе не мог. И умер рано...

А профессора... Нефф и по-русски-то плохо говорил. Шамшин все говорил: “Поковыряйте в носу. Покопайте-ка в ухе”. Первая моя композиция в Академии была, – как убили Дмитрия Самозванца. Но больше всего мне классические композиции дались. За “Пир Валтасара”, как к нему пророк Даниил приходит, я первую премию получил. Она в “Иллюстрации” воспроизведена была⁴⁰. Она в Академии хранится, слава богу, еще не украли.

В 69 году я, значит, поступил в Академию осенью. Так Петербурга и не покидал. После летами жил у товарища на Черной речке.

В 73 году я получил четыре серебряные медали, в 74-м научные курсы кончил⁴¹. Конкурировал я на малую золотую медаль “Милосердным самаритянином” и получил. Потом я ее Кузнецову в благодарность подарил. Она теперь в красноярском музее висит.

А первая моя собственная картина была: памятник Петра I при лунном освещении. Я долго ходил на Сенатскую площадь – наблюдал. Там фонари тогда рядом горели, и на лошади блики. Ее Кузнецов тогда же купил. Она тоже в музее красноярском теперь.

Пока я в Петербурге был, мне Кузнецов стипендию выдавал до самого конца. И премии еще брал всегда на конкурсах: то сто, то пятьдесят рублей. Так что в деньгах я не нуждался и ни от брата, ни от матери ничего не получал.

Петербург мне очень плох для здоровья был: грудная у меня болезнь началась было. Но в 73 году я на лето в Сибирь поехал: Кузнецов меня в свое имение в Минусинскую степь на промыслы позвал. Все лето я там пробыл и совсем поправился.

В семьдесят пятом я написал Апостола Павла перед судом Ирода Антипы на большую золотую медаль. Медаль-то мне присудили, а де-

нег не дали⁴². Там деньги разграбили, а потом казначея Исеева судили и в Сибирь сослали⁴³. А для того чтобы меня за границу послать, как полагалось, денег и не хватило. И славу богу! Ведь у меня какая мысль была: Клеопатру Египетскую написать⁴⁴. Ведь что бы со мной было!

Но классике я все-таки очень благодарен. Мне она очень полезна была и в техническом смысле, и в колорите, и в композиции.

Так мне вместо заграницы предложили работу в храме Спасителя в Москве. Я там первые четыре Вселенских собора написал⁴⁵.

Работать для храма Спасителя было трудно. Я хотел туда живых лиц ввести. Греков искал. Но мне сказали: если так будете писать – нам не нужно. Ну, я уж писал так, как требовали. Мне нужно было денег, чтобы стать свободным и начать свое”.

С окончанием Академии кончается личная биография Сурикова, и начинается творчество. Кровь старых бунтовщиков, покоривших Сибирь вместе с Ермаком, отстоенная в умиротворенном быту старой Руси, исключительно здоровое детство, обставленное суровыми, трагическими и кровавыми впечатлениями природы и человеческой жизни, глубоко потрясавшими детскую душу, но не осложнявшимися никакими личными катастрофами, образовали в нем сосредоточенный и мощный заряд огромной творческой силы.

Академия плохо или хорошо, насколько это было в ее возможностях, научила его связной художественной речи.

Теперь нужно было только огниво, чтобы зажечь горючие материалы, скопившиеся в душе.

Огнивом этим была Москва.

“Я как в Москву приехал, – рассказывал Василий Иванович, – прямо спасен был. Старые дрожжи, как Толстой говорил, поднялись.

Я в Петербурге еще решил “Стрельцов” писать. Задумал я их, еще когда в Петербург из Сибири ехал. Тогда еще красоту Москвы увидал. Памятники, площади – они мне дали ту обстановку, в которой я мог поместить свои сибирские впечатления.

Я на памятники как на живых людей смотрел, – расспрашивал их: “Вы видели, вы слы-

шали, – вы свидетели”. Только они не словами говорят. Я вот Вам в пример скажу: верю в Бориса Годунова и в Самозванца только потому, что про них на Иване Великом написано⁴⁶. А вот у Пушкина – не верю: очень у него красиво – точно сказка. А памятники все сами видели: и царей в одеждах, и царевен – живые свидетели. Стены я допрашивал, а не книги. В Лувре, вон, быки ассирийские стоят. Я на них смотрел, и не быки меня поражали, а то, что у них копыта стертые – значит, люди здесь ходили. Вот что меня поражает. Я в Риме в Соборе Петра в Петров день был. На колени стал над его гробницей и думал: “Вот они здесь лежат – исторические кости: весь мир об нем думает, а он здесь – тронуть можно”.

Как я на Красную площадь пришел – все это у меня с сибирскими воспоминаниями связалось.

Когда я их задумал, у меня все лица сразу так и возникли. И цветовая раскраска вместе с композицией. Я ведь живу от самого холста: из него все возникает. Помните, там у меня стрелец с черной бородой – это Степан Федорович Торгошин, брат моей матери. А бабы – это, знаете ли, у меня и в родне были такие старушки. Сарафанницы, хоть и казачки. А старик в “Стрельцах” – это ссыльный один, лет семидесяти. Помню, шел, мешок нес, раскачивался от слабости – и народу кланялся.

А рыжий стрелец – это могильщик, на кладбище я его увидал. Я ему говорю: “Поедем ко мне – попозируй”. Он уже занес было ногу в сани, да товарищи стали смеяться. Он говорит: “Не хочу”. И по характеру ведь такой, как стрелец. Глаза, глубоко сидящие, меня поразили. Злой, непокорный тип. Кузьмой звали. Случайность: на ловца и зверь бежит. Насилу его уговорил. Он, как позировал, спрашивал: “Что, мне голову рубить будут, что ли?”. А меня чувство деликатности останавливало говорить тем, с кого я писал, что я казнь пишу.

В Москве очень меня соборы поразили. Особенно Василий Блаженный: все он мне кровавым казался. Этюд я с него писал.

И телеги еще все рисовал. Очень я любил все деревянные принадлежности рисовать: дуги,

оглобли, колеса, как что с чем связано. Все для телег, в которых стрельцов привезли. Петр-то ведь тут между ними ходил. Один из стрельцов ему у плахи сказал: “Отодвинься-ка, царь, – здесь мое место”. Я все народ себе представлял, как он волнуется. “Подобно шуму вод многих”. Петр у меня с портрета заграничного путешествия написан, а костюм я у Корба взял⁴⁷.

Я когда “Стрельцов” писал – ужаснейшие сны видел: каждую ночь во сне казни видел. Кровью кругом пахнет. Боялся я ночей. Проснешься и обрадуешься. Посмотришь на картину. Слава богу, никакого этого ужаса в ней нет. Все была у меня мысль, чтобы зрителя не потревожить. Чтобы спокойствие во всем было. Все боялся, не пробужу ли в зрителе неприятного чувства. Я сам-то свят, – а вот другие... У меня в картине крови не изображено, и казнь еще не начиналась. А я ведь это все – и кровь, и казни в себе переживал. “Утро стрелецких казней”: хорошо их кто-то назвал. Торжественность последних минут мне хотелось передать, а совсем не казнь.

Помню, “Стрельцов” я уже кончил почти. Приезжает Илья Ефимович Репин посмотреть и говорит: “Что же это у Вас ни одного казненного нет? Вы бы вот здесь хоть на виселице, на правом плане, повесили бы”.

Как он уехал, мне и захотелось попробовать. Я знал, что нельзя, а хотелось знать, что получилось бы. Я и пририсовал мелом фигуру стрельца повешенного. А тут как раз нянька в комнату вошла, – как увидела, так без чувств и грохнулась.

Еще в тот день Павел Михайлович Третьяков заехал: “Что Вы, картину всю испортить хотите?” – Да, чтобы я, говорю, так свою душу продал!.. Да разве так можно? Вон у Репина на “Иоанне Грозном”⁴⁸ сгусток крови, черный, липкий... Разве это так бывает? Ведь это он только для страха. Она ведь широкой струей течет – алой, светлой. Это только через час так застыть может.

А Вы знаете, Иоанна-то Грозного я раз видел настоящего: ночью в Москве на Зубовском бульваре в 1897 году встретил. Идет сгорбленный, в лисьей шубе, в шапке меховой, с палкой. Отхаркивается, на меня так воззрился боком. Бородка с сединой, глаза с жилками, не свире-

дые, а только пронизательные и умные. Пил, верно, много. Совсем Иоанн. Я его вот таким вижу. Подумал: если б писал его – непременно таким бы написал. Но не хотелось тогда писать – Репин уже написал.

А дуги-то, телеги для “Стрельцов” – это я по рынкам писал. Пишешь и думаешь – это самое важное во всей картине. На колесах-то – грязь. Раньше-то Москва немощеная была – грязь была черная. Кое-где прилипнет, а рядом серебром блестит чистое железо. И вот среди всех драм, что я писал, я эти детали любил. Никогда не было желания потрясти.

Всюду красоту любил. Когда я телегу видел, я каждому колесу готов был в ноги поклониться. В дровнях-то какая красота: в копылках, в вязях, в саноотводах. А в изгибах полозьев, как они колышутся и блестят, как кованные. Я, бывало, мальчиком еще, – переверну санки и рассматриваю, как это полозья блестят, какие извивы у них. Ведь русские дровни воспеть нужно!..».

«“Стрельцы” у меня в 1878 году начаты были, а закончены в восемьдесят первом. В восемьдесят первом поехал я жить в деревню – в Перерву. В избушке нищенской. И жена с детьми. (Женился я в 1878 году. Мать жены была Свистунова – декабриста дочь⁴⁹. А отец – француз). В избушке тесно было. И выйти нельзя – дожди.

Здесь вот все мне и думалось: кто же это так вот в низкой избе сидел? И поехал я это раз в Москву за холстами. Иду по Красной площади. И вдруг... – Меншиков! Сразу всю картину увидел. Весь узел композиции. Я и о покупках забыл. Сейчас кинулся назад в Перерву. Потом ездил в имение Меншикова в Клинском уезде. Нашел бюст его. Мне маску сняли. Я с нее писал.

А потом нашел еще учителя-старика – Невенгловского⁵⁰; он мне позировал. Раз по Пречистенскому бульвару идет, вижу, Меншиков. Я за ним: квартиру запомнить. Учителем был математики Первой гимназии. В отставке. В первый раз и не пустил меня совсем. А во второй раз пустил. Позволил рисовать. На антресолях у него писал. В халате, перстень у него на руке, небритый – совсем Меншиков. “Кого Вы с меня писать бу-

дете?” – спрашивает. Думаю: еще обидится – говорю: “Суворова с Вас рисовать буду”. Писатель Михеев потом из этого целый роман сделал⁵¹. А Меншикову я с жены покойной писал⁵². А другую дочь – с барышни одной. Сына писал в Москве с одного молодого человека – Шмаровина сына⁵³.

В 1883 году картину выставил”.

«“Боярыню Морозову” я задумал еще раньше “Меншикова” – сейчас после “Стрельцов”. Но потом, чтобы отдохнуть, “Меншикова” начал.

Но первый эскиз “Морозовой” еще в 1881 году сделал, а писать начал в восемьдесят четвертом, а выставил в восемьдесят седьмом. Я на третьем холсте написал. Первый был совсем мал. А этот я из Парижа выписал.

Три года для нее материал собирал. В типе боярыни Морозовой – тут тетка одна моя Авдотья Васильевна, что была за дядей Степан Феодоровичем, стрелцом-то с черной бородой. Она к старой вере стала склоняться. Мать моя, помню, все возмущалась: все у нее странники да богомолки. Она мне по типу Настасью Филипповну из Достоевского напоминала. В Третьяковке этот этюд⁵⁴, как я ее написал.

Только я на картине сперва толпу написал, а ее после. И как ни напишу ее лицо – толпа бьет. Очень трудно ее лицо было найти. Ведь сколько времени я его искал. Все лицо мелко было. В толпе терялось.

В селе Преображенском, на старообрядческом кладбище – ведь вот где ее нашел.

Была у меня одна знакомая старушка – Степанида Варфоломеевна, из старообрядок. Они в Медвежьем переулке жили – у них молитвенный дом там был. А потом их на Преображенское кладбище выселили. Там в Преображенском все меня знали. Даже старушки мне себя рисовать позволяли и девушки-начетчицы. Нравилось им, что я казак и не курю.

И вот приехала к ним начетчица с Урала – Анастасия Михайловна. Я с нее написал этюд в садике, в два часа. И как вставил ее в картину – она всех победила.

“Персты рук твоих тонкостны, а очи твои молниеносны. Кидаешься ты на врагов, как лев”...⁵⁵.

Это протопоп Аввакум сказал про Морозо-

ву, и больше про нее ничего нет. А священника у меня в толпе помните? Это целый тип у меня создан. Это когда меня из Бузима еще учиться посылали, раз я с дьячком ехал – Варсонофием⁵⁶, – мне восемь лет было. У него тут косички подвязаны. Въезжаем мы в село Погорелое. Он говорит: “Ты, Вася, поддержи лошадей, я зайду в Капернаум”. Купил он себе зеленый штоф и там уже клюкнул.

“Ну, говорит, Вася, ты правь”. Я дорогу знал. А он сел на грядку, ноги свесил. Отопьет из штофа и на свет посмотрит. Точно вот у Пушкина в “Сцене в корчме”⁵⁷. Как он русский народ знал!

И песню еще дьячок Варсонофий пел. Я и слова все до сих пор еще помню.

Монах снова испугался

(так и начиналось),
В свою келью отправлялся –
Ризу надевал.
Большу книгу в руки брал,
Очки поправлял

(он очки пел, а не очки).
Бросил книгу и очки,
Разорвал ризу в клочки.
Сам пошел плясать.
Наплясался да доволи,
Захотел он доброй воли,
Вышел на крыльцо,
Стукнул, брякнул во кольцо –
Ворон конь бежит.
На коня монах садился,
Под монахом конь бодрился,
В зеленых лугах.
Во зеленых во лужочках
Ходят девушки кружочком.
Девиц не нашел.
К честной девушке зашел.
Тут и лягу спать.
На полу монах ложился –
На перине очутился:
Видит, что беда.
Что она ни вынимала,
Все монаху было мало.
Съел корову, да быка,
Да ребенка тредьяка...

А дальше не помню – все у него тут путалось. Так всю дорогу пел. Да в штоф все смотрел. Не закусывая пил. Только утром его привез в Красноярск. Всю ночь так ехали. А дорога опасная – горные спуски. А утром в городе на нас люди смотрят – смеются.

А юродивого я на толкучке нашел. Огурцами он там торговал. Вижу – он. Такой вот череп у таких людей бывает.

Я говорю – идем. Еле уговорил его. Идет он за мной, все через тумбы перескакивает. Я оглядываюсь, а он качает головой – ничего, мол, не обману.

В начале зимы было. Снег талый. Я его на снегу так и писал. Водки ему дал и водкой ноги натер. Алкоголики ведь они все. Он в одной холщовой рубахе босиком у меня на снегу сидел. Ноги у него даже посинели. Я ему три рубля дал. Это для него большие деньги были. А он первым делом лихача за рубль семьдесят пять копеек нанял. Вот какой человек был. Икона у меня была нарисована, так он все на нее крестился, говорил: “Теперь я всей толкучке расскажу, какие иконы бывают”.

Так на снегу его и писал. На снегу писать – все иное получается. Вон пишут на снегу силуэтами. А на снегу все пропитано светом. Все в рефлексах лиловых и розовых, вон как одежда боярыни Морозовой – верхняя, черная; и рубаха в толпе. Все пленэр. Я с 1878 года уже пленэристом стал: “Стрельцов” тоже на воздухе писал.

Все с натуры писал: и сани, и дровни. Мы на Долгоруковской жили. (Тогда ее еще Новой Слободой звали). У Подвисков в доме Збук.

Там в переулке всегда были глубокие сугробы, и ухабы, и розвальней много. Я все за розвальнями ходил, смотрел, как они след оставляют, на раскатах особенно.

Как снег глубокий выпадет, попросишь во дворе на розвальнях проехать, чтобы снег развалило, а потом начнешь колею писать.

И чувствуешь здесь всю бедность красок.

И переулки все искал, смотрел; и крыши где высокие. А церковь-то в глубине картины – это Николы, что на Долгоруковской⁵⁸.

Самую картину я начал в 1885 году писать; в Мытищах жил – последняя избушка с краю.

И тут я штрихи ловил. Помните посох-то, что у странника в руках. Это богомолка одна проходила мимо с этим посохом. Я схватил акварель да за ней. А она уже отошла. Кричу ей: “Бабушка! Бабушка! Дай посох!”. Она и посох-то бросила – думала, разбойник я.

Девушку в толпе, это я со Сперанской писал – она тогда в монашки готовилась. А те, что кланяются, – все старообрядочки с Преображенского.

В восемьдесят седьмом я “Морозову” выставил⁵⁹. Помню, на выставке был. Мне говорят: “Стасов Вас ищет”.

И бросился это он меня обнимать при всей публике... Прямо скандал. “Что Вы, говорит, со мной сделали?”. Плачет ведь – со слезами на глазах. А я ему говорю: “Да что Вы меня-то... (уж не знаю, что делать, неловко) – вот ведь здесь “Грешница” Поленова”. А Поленов-то ведь тут – за перегородкой стоит. А он громко говорит: “Что Поленов... дермо написал”. Я ему: “Что Вы, ведь услышит”...

А Поленов-то ведь письма мне писал – направить все хотел. – “Вы вот декабристов напишите”. Только я думаю про себя: нет уж, ничего этого я писать не буду.

Император Александр III на выставке был. Подошел к картине. “А, это юродивый!” – говорит. Все по лицам разобрал. А у меня горло от волнения ссохлось: не мог говорить. А другие-то, как лягавые псы кругом.

Я на Александра Третьего смотрю как на истинного представителя народа⁶⁰. Никогда не забуду, как во время коронации мы стояли вместе с Боголюбовым⁶¹. Нас в одной из зал дворца поставили. Я ждал, что он с другого конца выйдет. А он вдруг мимо меня: громадный, – я ему по плечо был; в мантии, и выше всех головой. Идет, и ногами так сзади мантию откидывает. Так и остались в глазах плечи сзади. Грандиозное что-то в нем было. Я государыни и не заметил с ним рядом.

А памятник этот новый у храма Христа Спасителя – никуда не годится. Опекушин совсем не понял его⁶². Я ведь помню. Лоб у него был другой, и корона иначе сидела. А у него на памятнике корона приземистая какая-то и сапоги солдатские. Ничего этого не было».

«Через год после того как я “Морозову” выставил, жена умерла. В 1888 году, седьмого апреля⁶³.

После смерти жены я “Исцеление слепорожденного” написал. Лично для себя написал. Не выставлял. А потом в том же году уехал в Сибирь. Встряхнулся. И тогда от драм к большой жизнерадостности перешел. У меня всегда такие скачки к жизнерадостности бывали. Написал я тогда бытовую картину – “Городок берут”.

К воспоминаниям детства вернулся, как мы зимой через Енисей в Торгошино ездили. Там в санях – справа мой брат Александр сидит⁶⁴. Необычайную силу духа я тогда из Сибири привез.

В 1891 году начал я “Покорение Сибири” писать. По всей Сибири ездил – материалы собирал. По Оби этюды делал. К 95-му году кончил и выставил, а в том же году начал “Суворова” писать. Случайно попал к столетию в 1899 году⁶⁵. В девяносто восьмом ездил в Швейцарию этюды писать⁶⁶.

С девятисотого начал для “Стеньки Разина” собирать материалы, а выставил в девятьсот седьмом. В самую Революцию попало. В Сибирь и на Дон для него ездил.

С 1908 году “Посещение царевны” писал. Выставил в 1913 году. Суворов у меня с одного казачьего офицера написан. Он и теперь жив еще: ему под девяносто лет. Но главное в картине – движение. Храбрость беззаветная – покорные слову Полководца идут.

Толстой очень против был. А когда “Ермака” увидел, – говорит: “Это потому, что Вы поверили, оно и производит впечатление”.

А я ведь летописи и не читал. Она сама мне так представилась: две стихии встречаются. А когда я, потом уж, Кунгурскую летопись начал читать, – вижу, совсем как у меня. Совсем похоже. Кучум ведь на горе стоял. Там у меня скачущие. И теперь ведь, как на пароходе едешь, – вдруг всадник на обрыв выскочит: дым, значит, увидел. Любопытство.

В исторической картине ведь и не нужно, чтобы было совсем так, а чтобы возможность была, чтобы похоже было. Суть-то исторической картины – угадывание. Если только сам дух вре-

мени соблюден – в деталях можно какие угодно ошибки делать. А когда все точка в точку – противно даже».

В этом одна из тайн суриковского творчества: он угадывал русскую историю не сквозь исторические книги и сухие летописи, не сквозь мертвую археологическую бутафорию, а через живые лики живых людей, через внутреннее чувство вещей, предметов и форм жизни. Для этих провидений была необходима вся необычная бытовая и родовая подготовка души, которая была дана Сурикову. Только благодаря ей, конечно, он мог так творчески глубоко зажигаться о встречные лица.

«Женские лица русские я очень любил, непопорченные ничем, нетронутые. Среди учащихся в провинции попадаются еще такие лица. Вот посмотрите на этот этюд, – говорил он, показывая голову девушки с сильным, скулистым лицом: вот царевна Софья, какой должна была быть, а совсем не такой, как у Репина⁶⁷. Стрельцы разве могли за такой рыхлой бабой пойти? Их вот такая красота могла волновать; взмах бровей, может быть... Это я с барышни одной рисовал. На улице в Москве с матерью встретил. Приезжие они из Кишинева были. Не знал, как подойти. Однако решился. Стал им объяснять, что художник. Долго они опасались – не верили. И Пугачева я знал: у одного казацкого офицера такое лицо.

Мужские-то лица по сколько раз я перерисовывал. Размах, удаль мне нравились. Каждого лица хотел смысл постичь. Мальчиком еще, помню, в лица все вглядывался – думал: почему это так красиво? Знаете, что значит симпатичное лицо? Это то, где черты лица сгармонированы. Пусть нос курносый, пусть скулы, – а все сгармонировано. Это вот и есть то, что греки дали, – сущность красоты. Греческую красоту можно и в остяке найти. А какое время надо, чтобы картина утряслась, так чтобы переменить ничего нельзя было. Действительные размеры каждого предмета найти нужно. В саженной картине одна линия, одна точка фона и та нужна. Важно найти замок, чтобы все части соединить. Это – математика. А потом проверять надо: поделить

глазами всю картину по диагонали». Жажда реализма, голод по точности были очень велики у Сурикова. «Если б я ад писал, то и сам бы в огне сидел и в огне позировать заставлял», – говорил он с энергией. Ту же самую непосредственность и силу вкладывал он в восприятия произведений искусства и людей.

Про Тинторетто он как-то говорил: «Черномалиновые эти мантии... Кисть-то у него просто свистит».

Про Александра Иванова: «Это прямое продолжение школы дорафаелитов – усовершенствованное. Никто не мог так нарисовать, как он. Как он каждый мускул мог проследить со всеми разветвлениями в глубину. Только у Шардена это же есть. Но у него скрыта работа в картинах. А у Иванова она вся на виду».

Однажды мы были вместе с Василием Ивановичем в галерее Сергея Ивановича Щукина и смотрели Пикассо. Одновременно с нами была другая компания. Одна из дам возмущалась Пикассо. Василий Иванович выступил на его защиту: «Вовсе это не так страшно. Настоящий художник именно так должен всякую композицию начинать: прямыми углами и общими массами. А Пикассо только на этом остановиться хочет, чтобы сильнее сила выражения была. Это для большой публики страшно. А художнику очень понятно».

Про публику: «Это ведь как судят... Когда у меня “Стенька” был выставлен, публика справлялась: “Где ж княжна?”. А я говорю: “Вон круги-то по воде – только что бросил”. А круги-то от весел. Ведь публика так смотрит: раз Иоанн Грозный, то сына убивает; раз Стенька Разин, то с княжной персидской».

Про Льва Толстого: «Софья Андреевна⁶⁸ заставляла Льва в обруч скакать – бумагу прорывать. Не любил я у них бывать – из-за нее. Прихожу я раз; Лев Николаевич сидит: у него на руках шерсть, а она мотает. И довольна: вот что у меня, мол, Лев Толстой делает. Противно мне стало – больше не стал к ним ходить».

Про разрыв Сурикова с Толстым я слышал такой рассказ от И. Э. Грабаря: «Он Вам никогда не рассказывал, как он Толстого из дому выгнал?

А очень характерно для него. Жена его помирала в то время. А Толстой повадился к ним каждый день ходить, с ней о душе разговоры вел, о смерти. Так напугает ее, что она после целый день плачет и просит: “Не пускай ты этого старика пугать меня”. Так Василий Иванович в следующий раз, как пришел Толстой, с верха лестницы на него: “Пошел вон, злой старик! Чтобы тут больше духу твоего не было!”. Это Льва Толстого-то... Так из дому и выгнал».

Этим исчерпываются мои записи бесед и рассказов В. И. Сурикова. Конечно, мне, знавшему Василия Ивановича только несколько месяцев, довелось услышать лишь небольшую долю его воспоминаний.

Сейчас живы десятки людей, знавших его несравненно более интимно и слыхавших его рассказы в гораздо больших подробностях. Было бы бесконечно ценно для материалов об его творчестве и жизни, если б эти лица дополнили и исправили мои записи новыми вариантами и подробностями, так как обстоятельства детства и юности В. И. Сурикова настолько редки и необычны, что каждая новая черта имеет значение как для понимания его творчества, так и для психологии художественного творчества вообще.

Приложения

Впервые опубликовано в журнале «Аполлон» (1911, № 6–7, с. 40–63). Печатается по тексту этого издания.

Как указывает сам М. А. Волошин, в начале 1913 года он стал собирать материал для монографии о Сурикове, заказанной ему И. Э. Грабарем (редактировавшим тогда серию книг «Русские художники. Собрание иллюстрированных монографий», издаваемую И. Н. Кнебелем); предполагалось, что работа Волошина о Сурикове будет четвертым выпуском этой серии, вслед за книгами С. Яремича о Врубеле, С. Глаголя и И. Грабаря о Левитане, И. Грабаря о Серове. 3 января 1913 года Волошин записал: «Сегодня началась работа с Суриковым» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 442, л. 54). В течение января 1913 года Волошин постоянно встречался с Суриковым и записывал беседы с художни-

ком. Книгу предполагалось издать в 1914 году. 1 июня 1914 года Грабарь писал Волошину: «А я все поджидаю рукопись монографии Сурикова, т. к. лето – самое удобное время для печатания, а поздняя осень – для выпуска в свет. У меня налажен целый ряд работ, и мне хотелось бы непременно скорее пустить монографию в печать» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 451). Однако летом 1914 года Волошин надолго уехал за границу, так и не представив рукопись. Когда Суриков умер (6 марта 1916 года), монография, задуманная Волошиным, еще не была закончена; Волошин дописал ее лишь в сентябре 1916 года. Но ему уже негде было ее напечатать, так как издательство И. Кнебеля, московского негодянта австрийского происхождения, было разгромлено 27 мая 1915 года во время шовинистических черносотенных погромов (см.: Об уничтожении издательства Кнебель // Аполлон. – 1915. – № 8–9. – С. 101).

Однако биографические материалы, собранные и записанные Волошиным (записи бесед сохранились в его архиве: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 148–150), представляли несомненный интерес для художественной общественности. Летом 1916 года, еще не закончив работу над книгой, Волошин опубликовал в «Аполлоне» записи своих бесед с Суриковым. «Могу поручиться, что статья будет одной из лучших и наиболее неожиданных моих статей», – писал Волошин из Парижа 4 июля 1915 года редактору «Аполлона» С. К. Маковскому, предлагая напечатать работу о Сурикове (ГРМ, ф. 97, ед. хр. 49); рукопись статьи была выслана в редакцию из Коктебеля 7 июня 1916 года. «В руках Волошина документальная точность записей искусно сочеталась с художественностью их обработки», – отмечает В. Н. Петров в статье «М. А. Волошин и его книга о Сурикове» (*Волошин Максимилиан. Суриков.* – Л., 1985. – С. 12–14). Отнюдь не выдвигая себя на первый план в записях рассказов Сурикова, Волошин «сумел уберечь и донести до читателя своеобразие речи художника, сохранить не только стиль его мышления, но и неповторимые живые интонации».

«Записи, опубликованные в “Аполлоне”, напечатаны под скромным подзаголовком “Материалы для биографии”, но они дают много больше, чем обещают. Как отмечает Волошин, он перестроил последовательность записанных им рассказов. <...> Умение органично ввести в ткань своего повествования подлинные слова Сурикова придает записям Волошина характер первоисточника» (Там же, с. 14). М. В. Нестеров утверждал, что статья Волошина о Сурикове «быть может, лучшее, что когда-либо было написано о рус<ских> художниках» (*Нестеров М. В. Из писем.* – Л., 1968. – С. 262).

В текст своей монографии о Сурикове Волошин ввел почти полностью рассказы художника о своей жизни, но существенно дополнил их историко-критическими суждениями о самой природе исторической живописи XIX века, о специфических особенностях историзма Сурикова и, наконец, о композиционных принципах, осуществленных в его семи больших картинах. Монографию «Суриков» Волошин считал «одной из наиболее серьезных и удачных своих работ» (см.: Письмо к В. В. Вересаеву от 12 марта 1922 года // Дружба народов. – 1983. – № 9. – С. 215; публикация В. Купченко и А. Маркова). Ныне монография опубликована в полном объеме (см.: *Волошин Максимилиан. Суриков / сост., вступит, статья и примеч. В. Н. Петрова.* – Л., 1985).

Основные живописные работы Сурикова, упоминаемые в записях Волошина:

«Вид памятника Петру I на Исаакиевской площади» (1870), «Пир Валтасара» (1874), «Милосердный самаритянин» (1874), «Апостол Павел объясняет догматы веры в присутствии царя Агриппы, сестры его Береники и проконсула Феста» (1875), «Утро стрелецкой казни» (1878–1881), «Меншиков в Березове» (1881–1883), «Боярыня Морозова» (1884–1887), «Исцеление слепорожденного Иисусом Христом» (1888), «Взятие снежного городка» (1890), «Покорение Сибири Ермаком» (1890–1895), «Переход Суворорова через Альпы» (1897–1899), «Степан Разин» (1900–1906), «Посещение царевной женского монастыря» (1911–1912).

1. *Через общих знакомых я обратился к Василию Ивановичу...* – «Общими знакомыми», устроившими встречу Волошина с Суриковым, были, по-видимому, художник П. П. Кончаловский и его жена Ольга Васильевна, дочь Сурикова.

2. *...я жил под Москвой на даче...* – Летом 1881 года Суриков с семьей жил в деревне Перерва близ станции Люблино.

3. *...Фламарион рассказывает, как сознательное существо ... видит всю историю земли развивающейся в обратном порядке и постепенно отступающей в глубину веков.* – Волошин имеет в виду второй раздел книги Камиля Фламариона «Люмен» – «Refluxum temporis» («Обратное течение времени»). См.: *Фламарион К. Люмен*. (Разговоры о бессмертии души). СПб., [1897], с. 52–82.

4. *...основатели Красноярска в 1622 году* – Красноярский острог был построен в 1628 году.

5. *...Историю Красноярского бунта...* – Видимо, имеется в виду статья Н. Н. Оглоблина «Красноярский бунт 1695–1008 годов» (Журнал Мин-ва народного просвещения, 1901, № 5; отд. отт. – 1902).

6. *...потомки Гетмана...* – Гетман Левобережной Украины Демьян Игнатьевич Многогрешный был сослан в Сибирь в 1672 году.

7. *...дед мой Александр Степанович был полковым атаманом.* – Неточность: полковой атаман Александр Степанович Суриков был двоюродным братом деда художника, Василия Ивановича Сурикова.

8. *...и отец, и дядя Марк Васильевич...* – Отец художника Иван Васильевич Суриков (ум. 1859) служил не по военному, а по гражданскому ведомству. (См.: Василий Иванович Суриков: Письма. Воспоминания о художнике, с. 299; комментарий Н. А. и З. А. Радзимовских); брат отца Марк Васильевич Суриков (1829–1856) служил пятидесятником, а затем хорунжим в Енисейском казачьем конном полку.

9. *...на пятьдесят третьем году помер.* – А. С. Суриков (1794–1854) умер в шестидесятилетнем возрасте.

10. *...Енисейский казачий полк был расформирован.* – Енисейский казачий конный полк, которым командовал полковник Иван Иванович Корх, был упразднен в 1871 году.

11. *Василий Матвеевич* – В. М. Суриков (ум. 1868) – двоюродный дядя художника, служил пятидесятником, хорунжим и сотником.

12. *Мать моя из Торгошиных была.* – Праксovia Федоровна Сурикова (1818–1895), уроженка Красноярска, происходила из старинного казачьего рода Торгошиных: предки ее жили в Торгошинской станице.

13. *Это он у меня в “Стрельцах”...* – Степан Федорович Торгошин (1810–?) послужил натурой для чернобородого стрелца в «Утре стрелецкой казни».

14. *...он-то у меня в картине и остался.* – Имеется в виду картина Сурикова «Взятие снежного городка».

15. *...Вы ее портрет видели.* – Суриков написал два портрета П. Ф. Суриковой – в 1887 и в 1894 годах.

16. *...всюду с собой возил.* – Иван Васильевич Суриков служил чиновником походной канцелярии при губернаторе Енисейской губернии.

17. *Журналы “Современник” и “Новоселье” получали...* – Имеются в виду известные литературные альманахи, издававшиеся А. Смирдиным (СПб., 1833, [ч. 11; 1834, ч. 2; 2-е изд. 1845, ч. 1–2; 1840, ч. 3]. См.: *Смирнов-Сокольский Ник.* Русские литературные альманахи и сборники XVIII–XIX веков. – М., 1965, с. 182–184, 186–187, 224, 228–229.

18. *...Вот Исаакиевский собор открыли... вот картину Иванова привезли...* – Оба события относятся к 1858 году – освящение Исаакиевского собора в Петербурге (30 мая) и доставка из Рима в Петербург картины А. А. Иванова «Явление Мессии».

19. *...“Юрия Милославского” читал.* – Исторический роман М. Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829).

20. *Омляш* – один из персонажей «Юрия Милославского», разбойник.

21. *...Бобрищева-Пушкина и Давыдова.* – Братья Николай Сергеевич (1800–1871) и Павел Сергеевич (1802–1865) Бобрищевы-Пушкины

отбывали ссылку в Красноярске в 1830-х годах; Василий Львович Давыдов (1792–1855) жил в Красноярске с 1839 года и там умер.

22. *Он присяжным поверенным в Красноярске был.* – Глава кружка «петрашевцев» Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский (1821–1866) жил на поселении в Красноярске в 1861–1864 годах, где занимался адвокатурой.

23. *Щапова тоже встречал, когда он приезжал материалы собирать.* – Историк и публицист Афанасий Прокопьевич Щапов (1830–1876), сосланный в 1864 году в Иркутск, принимал участие как этнограф и статистик в Туруханской экспедиции (1866); при подготовке к ней он занимался в Красноярском архиве.

24. *...в Бузимовскую станицу...* – Село Сухой Бузим, в 62 верстах от Красноярска.

25. *...потом с первого класса...* – В первый класс Красноярского уездного училища Суриков был принят в 1858 году по окончании курса приходского училища.

26. *“Палач весело похаживает...”* – Из «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (1837) М. Ю. Лермонтова. В 1891 году Суриков исполнил иллюстрацию к этой поэме.

27. *...у Толстого, помните ... Там у одного ... плечо шевелилось.* – Образ из романа «Война и мир» (т. IV, ч. 1, гл. XI): «...фабричный лежал <...> коленами кверху, близко к голове, одно плечо выше другого. И это плечо судорожно, равномерно опускалось и поднималось» (см.: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. – М.; Л., 1933, т. 12. – С. 43).

28. *...поляка казнили – Флерковского.* – Публичная казнь Федора Флерковского, ссыльного каторжного солеваренного завода, состоялась 6 июля 1866 года.

29. *Хозяинов Иван Михайлович* (ум. 1856) – дальний родственник Сурикова, иконописец (расписывал иконостас Благовещенской церкви в Красноярске).

30. *Гребнев Николай Васильевич* (1831–?) – преподаватель рисования в Красноярском уездном училище в 1859–1863 годах; сыграл большую роль в формировании Сурикова как художника.

31. *Губернатор Замятин* – Павел Николаевич Замятин – генерал-майор, гражданский и военный губернатор Енисейской губернии в 1862–1869 годах; в 1867 году ходатайствовал о зачислении Сурикова в число учеников Академии художеств. См.: Василий Иванович Суриков: Письма. Воспоминания о художнике. – Л.: «Искусство»; 1977. – С. 20, 293.

32. *Инспектор Шренцер* – Карл-Август Матвеевич Шрейндер (1815 или 1819–1887) – академик акварельной живописи, в 1859–1873 годах – инспектор классов Академии художеств.

33. *У Атаманских в дому...* – Имеется в виду дом двоюродного деда художника, полкового атамана А. С. Сурикова.

34. *...Лавинского и Степанова.* – Генерал-губернатор Восточной Сибири в 1822–1833 годах А. С. Лавинский и енисейский гражданский губернатор в 1823–1831 годах А. П. Степанов.

35. *...у крестной ... у которой я жил, пока в училище был...* – В 1856–1859 годах Суриков жил в Красноярске в доме своей двоюродной тетки с материнской стороны Ольги Матвеевны Дурандиной (урожд. Торгошиной, 1816–1881).

36. *...пришлось из седьмого класса уйти.* – Неверные сведения: Красноярская гимназия открылась 1 июля 1868 года, за несколько месяцев до отъезда Сурикова из Красноярска в Петербург.

37. *“Северное сияние” ... “Художественный листок” Тимма.* – Журналы: «Северное сияние. Русский художественный альбом» (СПб., 1862–1865) и «Русский художественный листок», издаваемый Вас. Фед. Тиммом (СПб., 1851–1862).

38. *...Кузнецов обо мне знает...* – Петр Иванович Кузнецов (1818–1878) – городской голова Красноярска (1853–1865), золотопромышленник. Благодаря его материальной поддержке Суриков получил возможность учиться в Академии художеств. Подробнее о взаимоотношениях Кузнецова и Сурикова см. в комментариях Н. А. и З. А. Радзимовских в кн.: Василий Иванович Суриков ... С. 294.

39. *...в школу Поощрения, к художнику Диаконову...* – В мае-июле 1869 года Суриков занимался в Санкт-Петербургской рисовальной школе,

существовавшей на средства Общества поощрения художеств; Михаил Васильевич Дяконов (1807–1886) был ее директором в 1865–1881 годах.

40. Она в “Иллюстрации” воспроизведена была. – В журнале «Всемирная иллюстрация» (1875, № 339, с. 8–9) был помещен рисунок Сурикова с эскиза «Пир Валтасара» (гравюра на дереве К. Крыжановского).

41. ...в 74-м научные курсы кончил. – Текст аттестата об окончании курса наук (4 ноября 1874 года) приведен в кн.: Василий Иванович Суриков ... С. 298.

42. Медаль-то мне присудили, а денег не дали. – Большой золотой медали Суриков удостоен не был и не получил в силу этого права поездки за границу за счет Академии художеств; 4 ноября 1875 года Суриков получил лишь диплом на звание классного художника первой степени.

43. ...казначей Исеева ... в Сибирь сослали. – Конференц-секретарь Академии художеств П. Ф. Исеев в 1889 году в связи с крупной денежной растратой был отстранен от должности, судим и сослан в Сибирь.

44. ...Клеопатру Египетскую написать. – В 1874 году Суриков выполнил эскиз неосуществленной картины «Клеопатра».

45. ...первые четыре Вселенских собора написал. – Работы по росписи храма Христа Спасителя Суриков вел в 1877–1878 годах – четыре большие фрески (402X363) на хорах на темы Вселенских соборов. Одна из этих фресок – Четвертый Вселенский собор – сохранена после сноса храма Христа Спасителя, находится в Музее истории религии и атеизма в Ленинграде (Казанский собор).

46. ...на Иване Великом написано. – Имеется в виду надпись, сделанная медными литерами под куполом главы колокольни Ивана Великого в московском Кремле «во второе лето господства» – то есть во второй год царствования Бориса Годунова.

47. ...костюм я у Корба взял. – При работе над картиной «Утро стрелецкой казни» Суриков пользовался изданием «Дневник поездки в Московское государство Игнатия Христофора Гвариента посла императора Леопольда I к царю

и великому князю Московскому Петру Первому в 1698 году, веденный секретарем посольства Иоганном Георгом Корбом» (М., 1867).

48. ...на “Иоанне Грозном”... – Картина И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван. 16 ноября 1581 г.» (1885).

49. ...Свистунова – декабриста дочь. – Суриков женился 25 января 1878 года на Елизавете Августовне Шаре (1858–1888). Ее мать, Мария Александровна Шаре (ум. 1893), была родственницей декабриста Петра Николаевича Свистунова.

50. ...учителя-старика – Невенгловского... – Фамилия лица, позировавшего Сурикову при создании образа Меншикова, в различных источниках называется по-разному; мнения сходятся лишь в том, что натурой для Меншикова послужил учитель одной из московских гимназий. См. комментарий С. Н. Гольдштейн в кн.: Василий Иванович Суриков ... С. 327–328.

51. Писатель Михеев ... роман сделал. – Имеется в виду рассказ прозаика Василия Михайловича Михеева (1859–1908), друга Сурикова, «Миних», опубликованный в журнале «Артист» (1891, № 17) и в сборнике «Художники» (М., 1894).

52. ...Меншикову я с жены покойной писал. – С Е. А. Суриковой был написан акварельный этюд для фигуры старшей дочери Меншикова, Марии.

53. ...Шмаровина сына. – Для фигуры сына Меншикова Сурикову позировал Николай Егорович Шмаровин, младший брат Владимира Егоровича Шмаровина (1850–1924), организатора московского художественного кружка «Среды».

54. В Третьяковке этот этюд... – Этюд «Голова боярыни Морозовой», переданный в дар Третьяковской галерее в 1910 году.

55. “...Кидаешься ты на врагов, как лев”... – Слова восходят к посланию Аввакума Ф. Т. Морозовой, княжне Е. П. Урусовой и М. Г. Даниловой в Боровск: «Персты же рук твоих тонкостны и действены <...> очи же твои молниеносны <...>»; «езде им <никонианам> являшася яко лев лисицам»; см.: Памятники истории

старообрядчества XVII века. – Л., 1927, кн. 1, вып. 1, стб. 409, 417 (Русская историческая библиотека, т. 39). Первоначально письма Аввакума к Морозовой были опубликованы приложением к статье Н. С. Тихонравова «Боярыня Морозова: Эпизод из истории русского раскола» (Русские вести, 1865, № 9).

56. *Варсонофий* – Варсонофий Семенович Закоурцев, дьячок сухобузимской Троицкой церкви. Запечатлен в этюде для «Боярыни Морозовой» «Голова священника».

57. ...у Пушкина в “Сцене в корчме”. – Сцена «Корчма на Литовской границе» из трагедии «Борис Годунов».

58. *А церковь-то ... это Николы, что на Долгоруковской*. – Церковь Николы на Долгоруковской (ныне Новослободской) улице (1703). Ныне не существует.

59. *В восемьдесят седьмом я “Морозову” выставил*. – «Боярыня Морозова» экспонировалась на XV Передвижной выставке 1887 года одновременно с картиной В. Д. Polenova «Христос и грешница».

60. *Я на Александра Третьего смотрю как на истинного представителя народа*. – С. Н. Гольдштейн отмечает в этой связи: «Характеристика Александра III как “истинного представителя народа” основывалась на непосредственных зрительных впечатлениях художника. “Громадная”, как говорил Суриков, фигура царя, облаченного в мантию и корону, в свое время поразила его своей внешней импозантностью, воплощенной в ней физической силой и именно поэтому была

воспринята им как олицетворение той мощи, которая свойственна, по убеждению Сурикова, народу» (Василий Иванович Суриков ... С. 328).

61. ...*во время коронации мы стояли вместе с Боголюбовым*. – Суриков написал акварель, изображающую коронацию Александра III в Москве в 1883 году: «Торжественный обход вокруг храма Спасителя». Алексей Петрович Боголюбов (1824–1896) – пейзажист.

62. *Опекушин совсем не понял его*. – Памятник Александру III в Москве работы А. М. Опекушина (ныне не существующий) был открыт у храма Христа Спасителя в 1912 году.

63. ...*седьмого апреля*. – Е. А. Сурикова скончалась 8 апреля 1888 года. См. письмо Сурикова к брату, А. И. Сурикову, от 20 апреля 1888 года (Василий Иванович Суриков ... С. 76–77).

64. ...*мой брат Александр сидит*. – См. воспоминания А. И. Сурикова о возникновении замысла и о работе над картиной «Взятие снежного городка» (Там же, с. 222–223).

65. ...*попал к столетию в 1899 году*. – Столетие Швейцарского похода Суворова 1799 года.

66. ...*ездил в Швейцарию этюды писать*. – Суриков ездил в Швейцарию летом 1897 года.

67. ...*царевна Софья ... должна была быть ... не такой, как у Репина*. – Имеется в виду картина И. Е. Репина «Царевна Софья Алексеевна через год после заключения ее в Новодевичьем монастыре, во время казни стрельцов и пытки всей ее прислуги в 1698 году».

68. *Софья Андреевна* – С. А. Толстая (урожд. Берс, 1844–1919), жена Л. Н. Толстого.



Николай Дорожкин

Кто кого побил на поле Куликовом?

Станный, казалось бы, вопрос. Давно известно из учебников и энциклопедий, что в битве на Куликовом поле войска великого князя московского Дмитрия Ивановича нанесли по господству Золотой Орды сильный удар, ускоривший её последующий распад. Но точно так же давно известно, что зимой 1380–1381 года хан Золотой Орды Тохтамыш окончательно добил Мамаева Орду, о чём оповестил Московского князя. Получается странная ситуация: Дмитрий Иванович, разгромив Мамаю, нанёс удар по Золотой Орде, а добивал Мамаю сам хан Золотой Орды. Значит, удар по Мамаю на поле Куликовом не был поражением Золотой Орды. Как это понимать?

Эти бросающиеся в глаза противоречия в своё время заинтересовали известного филолога и публициста В. В. Кожина и побудили его провести собственные исследования. Выводы, сделанные им, оказались во многом неожиданными даже для самого исследователя.

В самом деле, если «на Куликовом поле был нанесён сильный удар по господству Золотой Орды», то почему тогда после победы, одержанной 8 сентября 1380 года, «на ту же осень князь великий отправил в Орду своих килчеев (послов) Толбугу да Мокшею с дары и поминки (подати)»? Эти послы долго гостили у «царя» Тохтамыша и вернулись в Москву только в августе 1381 года. Но ещё зимой 1380–1381 года Тохтамыш окончательно добил Мамаю «на Калках» и отправил своих послов к Дмитрию Ивановичу и ко всем русским князьям с вестью, «какo супротивника своего и их врага Мамаю победи».

Отсюда «недвусмысленно явствует, что ни великий князь Дмитрий Иванович, ни хан Тохтамыш отнюдь не полагали, что на Куликовом поле Русь сражалась против Золотой Орды. На самом деле Русь это делала почти полутора веками ранее, в 1237–1240 годах, непосредственно во время нашествия. Тогда она действительно самоотверженно сражалась с уже покорившими полмира монгольскими войсками. Но затем Русь так или иначе вошла в состав Золотой Орды и никогда не преследовала цель выйти из нее посредством войны».

Могут возразить, что Иван III в 1480 году все же выступил с мощной военной силой против хана Ахмата и заставил его удалиться. Однако к этому времени Золотая Орда уже не существовала, сравнительно давно распавшись на несколько самостоятельных, увязающих в междоусобице ханств – Сибирского, Казанского, Крымского, Астраханского и т. д. И поэтому Ахмат являлся ханом всего лишь так называемой Большой Орды, недолгое время своего бытия занимавшей сравнительно малую территорию между Днестром и Доном и постоянно отбивавшейся от наездов других ханов – из Крыма и с Волги.

Получается, что Мамай был врагом и Руси, и Золотой Орды. А «как дошёл он до жизни такой», подробно рассказано в исследовании В. В. Кожина «Судьба России». Мамай не был ни наследником ордынского престола, ни вообще чингизидом. А был он крымским темником, то есть командовал золотоордынским войском, расположенным в Крыму и прилегающих степях. Он многократно пытался узурпировать власть в Орде, иногда это ему даже удавалось, но при появлении того или иного законного хана подданные Мамаю просто переставали ему повиноваться. К середине 1370-х годов Мамай понял, что власти в Золотой Орде ему не видать, и прекратил бесплодные попытки.

С этого времени Мамай обращает свой взгляд на Москву. Никакой враждебности к ней он ранее, до 1374 года, не проявлял – напротив, пытался расположить к себе Дмитрия Ивановича, по своей инициативе, без просьбы со стороны князя, посылая ему «ярлык на великое княжение». И великий князь московский исправно

платил подати Мамаю. Но под 1374-м годом летопись сообщает о бесповоротном «розмирии» Дмитрия Ивановича с Мамаем, которое в конечном счете и привело к Куликовской битве.

Сама *Мамаева Орда* – по крайней мере во времени ее «розмирия» с Русью – представляла собой совершенно особенное явление, о чем достаточно ясно сообщают известные всем источники. Существенное же различие между Мамаем и ханами Золотой Орды В. В. Кожинов обнаружил в «Сказании о Мамаевом побоище». Он пишет: «В «Сказании о Мамаевом побоище» изложена... «программа» собравшегося в поход на Москву Мамаю – программа, которую у нас нет никаких оснований считать произвольным вымыслом автора «Сказания». В пересказе современным русским языком программа эта выглядит так: «Мамай обратился к своим правителям, князьям и уланам (кудальцы, витязи) – так назывались члены ордынских княжеских семей): «Я не хочу делать, как Батый, но когда изгоню русских князей, возьмём их прекрасные города, пригодные нам, и сядем в них, тихо и безмятежно поживём...» И многие Орды присовокупил к себе, и нанял иноплеменных воинов из бесермен и армян, итальянцев, черкесов, осетин и буртасов... И пойдя на Русь... приказал селениям своим: «Никто пусть не пашет землю и не сеет хлеб, но будьте готовы на русские хлеба»...

«То есть Мамай, – поясняет далее Кожинов, – в отличие от создателя Золотой Орды Батыя (и, конечно, от его преемников), намеревался не просто подчинить себе Русь, а непосредственно поселиться со своим окружением в ее лучших городах, к чему золотоордынские правители никогда не стремились; столь же несовместимы с образом жизни Золотой Орды наёмные иноплеменные войска, на которых, очевидно, возлагал большие или даже основные свои надежды Мамай. Словом, Мамаева Орда была принципиально другим явлением, нежели Золотая Орда, и ставила перед собой иные цели...».

Интересно и то, что в ряде документов говорится об участии в войске Мамаю половцев и даже печенегов. Например: «Мамай идет на Русь со всей силою татарскою и половецкою»; «Дмитрий Иванович с всеми князьями русскими, изрядив полки, иде против поганых половець»;

«Поди, господине, на поганья половци» (призыв *Сергия Радонежского*); «храбрии же витязи, довольно испыташе оружие свое над погаными половци»; «Выеде же печенег ис полку татарского...»; «Ныне подвигаемся противу безбожных печенег, поганых татар». Напомню, что определение *поганый* имело в те времена иной смысл, чем сейчас – так называли язычников (от латинского *паганус*). Не случайно ещё в «Слове о полку Игореве» упоминаются «наши поганые», то есть кочевые тюркские племена, союзные русским княжествам. Татарами же тогда называли представителей всех народов Сибири, пришедших с Батыем, а нынешние казанские татары именовались *булгарами*. Кстати, и сам хан Тохтамыш был из сибирских татар – народа, близкого к другим аборигенам Западной Сибири...

Возможно, образы «половцев», «печенегов» использовались авторами для придания большей выразительности – примерно так же, как в годы Первой мировой войны русские газеты называли германцев «тевтонами». Но не исключено, что те же печенеги могли быть вовлечены в боевые действия, поскольку находились в пределах досягаемости – на территории нынешней Гагаузии. Что же касается половцев, то, как предполагает Ю. М. Лоциц, «половцы, или кыпчаки, составляли большинство в этом многоязыковом воинстве Мамаю, поскольку их кочевья занимали срединные степные пространства Мамаевой Орды».

Обратим теперь внимание на перечень иноплеменных наёмников. Участие в войске Мамаю народов Северного Кавказа, а также волжского племени *буртас* (его этническая принадлежность до сих пор не выяснена) – факт хорошо известный историкам. Кого называли тогда словом «бесермены», точно сказать трудно, да и не это главное. А вот армяне и «фрязы», они же итальянцы – они-то как попали в Мамаеву рать? Что это – эпизодическое участие европейских наёмников в попытке Мамаю завоевать Московское княжество, или тут просматривается более серьёзная политическая программа?

Что касается армян, то здесь речь идёт о жителях армянских колоний в Крыму. Из истории крымских армян известно, что они подверга-

лись постоянному давлению со стороны католической церкви. Часть армянской торговой верхушки, связанная с генуэзским капиталом, поддалась ватиканской пропаганде и дала католическому епископу Кафы (ныне Феодосии) своё согласие признать верховенство римского папы. Но папские миссионеры и епископы действовали не только методом убеждения, нередко прибегая к насилию и подкупу отдельных служителей армянской церкви. Так что «армянский вопрос» здесь вторичен. А на первое место выступает деятельность итальянцев из Венеции и Генуи.

По мнению ряда историков, присутствие итальянцев (венецианцев, генуэзцев) в Крыму было тесно связано с политикой Ватикана в отношении не только Руси, но и Византии. Эта политика имела самые губительные последствия. Как пишет Кожин, внедрение генуэзцев в Константинополь было обдуманым, упорно и неумолимо проводимым предприятием. Их исключительная энергия, их огромные денежные средства были направлены на то, чтобы укрепить себя, а с другой стороны – ослабить Византию в самом её центре... Генуэзская колония в Константинополе, с её обитателями, ничем не связанными с великим очагом византийской жизни и культуры, кроме только того, что они медленно, но верно губили его, была подобна неизлечимой язве на усталом, теряющем силы для борьбы организме. «Установку» генуэзцев в отношении византийцев можно определить словами императора Иоанна IV Кантакузина: *«они желали властвовать на Чёрном море и не допускать византийцев плавать на кораблях, как будто море принадлежит только им...»*

В то же самое время на стороне Дмитрия Ивановича было много татар. Дело в том, что, когда ордынские ханы стали мусульманами и начали принуждать своих подданных тоже принимать ислам, многие татарские военачальники – сотники и тысячники – стали со своими командами переходить под руку Москвы, где принимали православие и получали княжеские титулы. Их конницы и составляли знаменитый Засадный полк, удар которого решил исход битвы. Вообще военная поддержка Руси Золотой Орды в борьбе с натиском Запада началась ещё при

Батые. Московского князя поддерживали также *эрзя, мокша* и другие народы Поволжья. Даже княжеские послы (киличей) явно не славяне: Толбуга – имя тюрко-монгольское, а Мокшей (Мокший), известный знанием многих языков, был мордвином.

Главный же итог Куликовской битвы состоит в том, что народы Руси вместе с татарами дали очередной отпор западным «глобализаторам» и «цивилизаторам».

Гкифская война, или Пространство и Время как оружие

Лет десять назад мне довелось редактировать переведённую на русский язык иллюстрированную книжку «Военная форма» (французский автор Ж.-Л. Бессон). Там были представлены рода войск и соответствующее обмундирование армий всех времён, народов и наций – кроме, естественно, России. Автор вспомнил об «этой стране» (выражение отечественных Смердяковых) только в связи с войной 1812 года. Правда, из видов военной формы были показаны только зипуны и тулупы русских партизан. А наших солдат времён Великой Отечественной французский художник нарядил в такую срамоту, что мне пришлось самому взяться за карандаш и акварельные краски. Заодно дорисовал русско-го стрелка и наших воинов 1812 года – гусара и уральского казака. Но больше всего удивила одна картинка: зима, метель, люди у костра. И подписано: «Отступление русских войск в 1812 году». Чтобы восстановить историческую правду, слово «русских» я заменил на «французских». Потому что отступали наши войска только летом – до оставления Москвы

после Бородина. А потом всю осень и зиму отступали войска Наполеона.

Для точности следует отметить, что зиму остатки армии Наполеона встретили только на территории Польши. А польская зима существенно мягче русской. Как известно из работ Л. Н. Гумилёва, климатическая граница между Западной Европой и Россией (Евразией) проходит по отрицательной изотерме января – если к востоку от этой границы средняя температура января отрицательная, то к западу – плюсовая...

Миф о «генерале Морозе» отразился и в сценарии советского фильма «Гусарская баллада», где корнет Азаров и поручик Ржевский совершают подвиги в условиях суровой зимы. С приближением очередной круглой даты, связанной с Отечественной войной 1812 года, снова разгораются страсти в среде историков и журналистов. При этом, говоря о поражении Наполеона, либерально мыслящие авторы стараются найти причины, вроде бы не имеющие отношения к военному искусству российских военачальников. Например, опубликованная в «МК» статья А. Добровольского «Генерал Понос» начинается такими словами: *«Оправдывая неудачи русской кампании 1812 года, Наполеон и его полководцы не раз ссылались на суровый климат: мол, в отступлении и огромных потерях Великой армии виноват «генерал Мороз». Однако есть документальные свидетельства того, что brave завоеватели стали жертвой ещё и другого «полководца»: их подкосил массовый понос».*

Но давайте полистаем серьёзные источники – например, книги академика Е. В. Тарле, героя Отечественной войны Д. В. Давыдова, мемуары военного врача, главного хирурга 10-го кавалерийского корпуса Ф. Мерсье (по изданию И. Руа «Французы в России. Воспоминания о кампании 1812 года и о двух годах плена в России», СПб., 1912), наконец, сборник «Россия первой половины XIX века глазами иностранцев» (Лениздат, 1991), где есть глава «Французы в России. 1812 год по воспоминаниям современников-иностранцев».

Прежде всего вспомним, что Л. Н. Толстой в романе «Война и мир» называл французскую армию войском объединённой Европы. Это подтверждает в своей книге Франсуа Мерсье:

«В самом деле из 500 000 солдат на долю французов самое большое приходилось две пятых этой цифры. Среди 300 000 иностранцев, входивших в состав армии, пожалуй, одни лишь поляки... принимали участие в этой войне с большим пылом и энтузиазмом, чем сами французы. Пруссаки с затаенной болью в сердце становились под знамена человека, который принес им столько зла, который нанес столько оскорблений их национальной гордости, который, наконец, держал их в настоящем рабстве... Австрийцы, в течение 20 лет перед тем воевавшие с Францией, теперь краснели от стыда, будучи вынужденными стать в ряды ее союзников, и громко роптали по этому поводу... Что касается вспомогательных войск других наций: германцев, итальянцев, голландцев, испанцев и др. – большая часть их совершенно не скрывала своего неудовольствия; но тем не менее все эти войска, привыкшие гнуть спину под тяжестью французской дисциплины, несли покорно свои обязанности, хотя в душе и были настроены против своих поработителей». Разумеется, при таком состоянии «боевого духа» и первые осенние заморозки покажутся сибирский стужей...

Русская армия тоже состояла не из одних только русских людей, к которым в то время относились также украинцы и белорусы. На полях сражений прославились такие генералы и офицеры, как шотландец Барклай де Толли, немец Винцингероде, серб Милорадович, грузин Багратион, армянин Мадатов... В борьбе с наполеоновскими войсками деятельно участвовали многие народы Российской империи – татары, башкиры, мордва, чуваша, марийцы, удмурты, калмыки... Из татар Поволжья были сформированы 1, 2 и 3-й Тептярские, 1-й и 2-й Мишарские полки, из башкир – отдельный Башкирский полк. Кроме того, татары, башкиры и калмыки воевали в казачьих и партизанских отрядах. Наполеон все мусульманские народы России считал татарами и в начале войны, используя древний принцип «разделяй и властвуй», направил татарам послание с просьбой о поддержке. Он не знал, что татары – люди серьёзные...

Но вернёмся к «генералу Морозу». Вот как вспоминает о погодной обстановке перед от-

ступлением французский офицер Иелин: *«Император выехал из Москвы 19 октября... Когда я выехал из Москвы, в ней уже показались казаки. Погода была великолепная, было так тепло, что мы обедали при открытых окнах...»* Другой наполеоновский офицер удивляется, что осень в России такая же тёплая, «как в Фонтенбло». А Денис Давыдов приводит цитату из мемуаров французского офицера Гурго: *«До 25-го октября, то есть на обратном пути около Дорогобужа, погода была хорошая и стужа умереннее той, которую мы переносили во время кампании в Пруссии и в Польше в 1807 году и даже в Испании среди Кастильских гор, в течение зимней кампании 1808 года, под предводительством самого императора...»* Ясно, что из Москвы армию Наполеона выгнал отнюдь не мороз.

Теперь – о «генерале Поносе», который нанёс ущерб наполеоновским войскам ещё в ходе их наступления. «Документальные свидетельства», упоминаемые автором «МК», объясняют массовые кишечные болезни в наполеоновских войсках несколькими причинами. Это отсутствие продовольствия и медицинской помощи (обозы и «амбулансы» не успевают за войсками), плохая вода в российских болотах, жара несносная... Да, интервенты действительно страдали от голода и вынуждены были есть что попало. Но совсем не потому, что обозы не успевали...

Как свидетельствует французский офицер Дедем, пока армия шла по территории союзников, запрещалось грабить местное население. Начальство *«...удерживало солдат, говоря: «Когда мы будем на Русской земле, вы будете брать всё, что захотите...»*. Но воинов великой армии ждало жестокое разочарование: на Русской земле их встречали опустевшие деревни и сёла, где не было ни людей, ни скота, ни пищевых продуктов. А там, где жители ещё оставались, они были с «гостями» не очень приветливы. Посланный в деревню за провиантом французский унтер-офицер докладывал командиру: *«Все против нас. Никто ничего не хотел давать... Мужики вооружены пиками, многие на конях; бабы готовы к бегству и ругали нас так же, как мужики...»*. А дальше было ещё хуже: казаки отбивали обозы с продоволь-

ствием, крестьяне засыпали колодцы, уходили в леса, сжигали то, что не смогли увезти с собой. *«Солдаты наши оставляют свои знамёна и расходятся искать пищи; русские мужики, встречая их поодиночке или несколько человек, убивают их дубьём, пиками и ружьями»* (из письма офицера Пюибюска).

Перед вступлением в Россию генералы говорили солдатам: *«Вы идёте в страну, где едят лошадей!»*. Но ещё на пути от Смоленска до Гжатска привыкшие к европейской кухне завоеватели считали за счастье кусок конины. Вот воспоминания некоего Брандта: *«Очень сильная жара сменялась довольно чувствительным холодом; вода в большинстве случаев была очень плоха, а порой её и вовсе не было. Тогда солдатам приходилось жарить себе мясо на углях, а мясо это почти всегда было лошадиное, потому что крестьяне уводили свой скот настолько далеко, что его никак невозможно было поймать»*.

Чтобы понять, почему интервенты были удивлены и возмущены таким отношением мирного населения, а также чем было вызвано это отношение, следует несколько подробнее представить себе ситуацию того времени.

Наполеон, обладая информацией о вооружённых силах России и будучи особенно талантливым в деле массового уничтожения людей, тем не менее плохо представлял себе страну и народ, против которых начал эту кампанию. Например, он верил придворным и советникам, которые утверждали, что русские – это фактически скифы, полудикий народ, управляемый европейски образованными царями. И его стремление во что бы то ни стало захватить Москву было продиктовано, наряду с военно-политическими соображениями, также мечтой поживиться «скифским золотом», которого, по словам консультантов, в подвалах Кремля видимо-невидимо...

Скифская война

Конечно, никакого скифского золота Наполеон не нашёл. Его профессиональные мародёры – от солдата до маршала – и без того награбили в Москве столько всякого добра, что перегруженные повозки с ним серьёзно замедлили осеннее отступление. Но в начале кампании, при движении от Немана к Смоленску, а затем

к Москве, им и в голову не могло прийти, что армия, не знавшая поражений в Европе, вынуждена будет спасаться бегством, отбиваясь от гусарских сабель и казачьих пик, от крестьянских вил и топоров ...

Однако с боевым наследием скифов «великая армия» всё-таки столкнулась.

М. Б. Барклай де Толли и М. И. Кутузов хорошо знали методы Наполеона. В любой кампании ему было нужно генеральное сражение – и здесь его военный талант не знал себе равных. Во всех кампаниях победу ему приносила именно такая тактика.

Вполне естественно, что не в интересах наших военачальников было принимать правила ведения войны, навязываемые противником. План Барклая де Толли состоял в том, чтобы медленно отступать, ведя арьергардные бои, и увлекать вражеское войско вглубь страны. Он применял тактику, подобную той, какой искусно владели скифы и другие воины-кочевники. Скифы при нападении на них считали себя вправе применять в качестве оружия не только мечи и стрелы, но также природный ландшафт и погодные условия. Тактика их так и называлась в военных кругах – «скифская война».

Кутузов придерживался такой же позиции, но не высказывал её столь прямо и откровенно. Была и разница в подходах к стратегии. Барклай все расчёты строил на том, что Наполеон, непомерно растянув линию сообщений в неприступных российских пространствах, ослабит и погубит себя. Понимал необходимость «скифской войны» и русский император Александр I. Он говорил, что, если на стороне врага почти вся Европа и огромное превосходство живой силы, зато на стороне России – время и пространство. Согласно плану Барклая, русские войска, отступая, к началу зимы дошли бы до Волги, сохраняя армию и боеприпасы, а там оставалось бы только двигаться в обратном направлении, подбирая оружие и хороня замёрзших солдат и офицеров противника. О гениальности этого плана можно судить по словам Ф. Мерсье: *«После взятия Смоленска армия Наполеона успела уже уменьшиться более, чем на половину, тогда как силы противника были еще почти не тронуты».*

Казалось бы, что ещё нужно? Однако всегда найдётся своё «но». Генерал-фельдмаршал Барклай де Толли был талантлив, отважен, честен и прям, но суховат и не имел обаяния, которое на Руси значит неизмеримо больше любых превосходных качеств. Фельдмаршал Кутузов, опытный разведчик и дипломат, умел без нажима подчинять людей, был хитёр, лукав и – чрезвычайно обаятелен. Солдаты и офицеры его боготворили. Провожая Кутузова из Петербурга в армию, любимый племянник спросил: «Неужели вы, дядюшка, надеетесь разбить Наполеона?» «Разбить? Нет, не надеюсь разбить! А обмануть – надеюсь!»

Русский аристократ М. И. Голенищев-Кутузов, князь Смоленский, знал свой народ лучше, чем офранцузившиеся помещики, которые боялись своих крепостных больше, чем французской армии. Им казалось, что крестьяне поверят прокламациям Наполеона с обещаниями свободы и примут его сторону. Однако русские мужики, наученные нелёгкой жизнью, твёрдо усвоили заповедь Христа – судить о людях не по словам, а по делам. Нашествие европейских полчищ сопровождалось такими жестокими репрессиями, грабежами и насилием, что никакого доверия к завоевателям и быть не могло. *«Легкие отряды врага почти беспрестанно производили нападения на обозы и изолированные отряды французов, а русские крестьяне расправлялись со всеми оставшими»* (Ф. Мерсье). Крестьяне в 1812 году доказали, что именно у них было правильное политическое сознание и подлинный патриотизм.

Кутузов, приняв командование, хотя и произнёс историческое «Ну, разве можно отступать с такими молодцами?», всё же не отказался от плана Барклая де Толли. Он был уверен: Наполеона погубит пустыня, в которую русский народ превратит свою страну, чтобы извести вторгшихся неприятелей. И продолжал планомерное отступление.

Но не все придворные Александра I разделяли взгляды старого фельдмаршала, да и сам царь недолюбливал Кутузова, считая его хитрым и скрытным, как все дипломаты и работники внешней разведки. Некоторые из ближнего

окружения Александра даже умоляли царя сложить оружие и просить у Наполеона мира любой ценой. Другие, напротив, требовали устроить французам генеральное сражение.

И генеральное сражение было дано у Бородина. Наполеон привёл под Москву 130 тысяч человек и 587 орудий. У Кутузова было 112 тысяч человек и 640 орудий. Каждая сторона потеряла более 50 тысяч человек. Остатки великих армий отошли на свои позиции. Никто не считал себя побеждённым. Наполеон не сразу смог понять, что произошло. Уже в ссылке, на острове Святой Елены, он скажет: «Самое страшное из всех моих сражений – это то, которое я дал под Москвой. Французы в нём показали себя достойными одержать победу, а русские оказались достойными быть непобедимыми».

После Бородина

Вскоре после Бородина армия Наполеона вошла в Москву. Что получил Наполеон? Свидетельствует доктор Франсуа Мерсье: *«Шестьсот пленных и несколько подбитых пушек – вот и все трофеи, доставшиеся ему после этой битвы гигантов. Неприятельская армия покинула поле сражения в таком порядке, увозя с собой всех раненых и артиллерию, что не оставила даже отсталых, от которых было можно раззнать, по какому направлению она отступила. В то время как русские продолжали свое отступление к Москве, французы оказались обречёнными на ряд новых несчастий; будучи лишены возможности в течение предшествовавших дней заняться грабежом окрестностей, они должны были провести наступившую вслед за битвой ночь на бивуаке, без огня, среди десятков тысяч павших, умирающих и раненых. Лишь с наступлением утра удалось установить, что русские покинули свои позиции. Только очень немногие из сражений способны производить на войско такое необычайное впечатление, какое создавалось в данном случае; войска Наполеона, казалось, долго не могли опомниться от удивления. После стольких перенесенных ими несчастий, лишений и утомительных переходов, направленных всецело к тому, чтобы принудить неприятеля к сражению, наконец после того, как они сразились с ним, они все же не видели*

инного результата, кроме кровавого побоища, лишь увеличившего их несчастья и создававшего еще большую, чем раньше, неуверенность относительно продолжения и исхода войны».

Начались грабежи, в которых особенно отличались немцы, поляки и итальянцы. Пожар довершил дело. Армия объединённой Европы вынуждена была «повернуть оглобли» и двинулась к Калуге. Но Кутузов заставил противника отступать той же Смоленской дорогой, где его ждали сёла, разграбленные при наступлении, партизаны, вооружённые топорами и вилами, а ещё «эскадроны гусар летучих» и казацкие отряды, в составе которых рядом с русскими сражались татары, башкиры, калмыки. Письма Наполеона к Александру I и Кутузову с предложениями мира оставались без ответа. Впереди победителей Европы ждали голод, холод, позорное бегство императора, Березина...

Голод сводил людей с ума. Солдаты переставали подчиняться офицерам. Страдания отступающих войск подробно описаны в главе «Французы в России...» вышеупомянутого сборника. *«Люди дрались за кусок хлеба. Если кто-нибудь, замерзая от холода, подходил к костру, то солдаты, зажегшие его, без всякой жалости прогоняли его прочь. Если кто-нибудь, изнемогая от жажды, просил солдата, несшего полное ведро воды, дать хоть несколько капель, то он резко отказывал. Часто можно было слышать, как люди, бывшие, несмотря на разницу положения, до сих пор друзьями, теперь ссорились из-за пучка соломы или из-за куска конины, который они вырезывали для себя. Этот поход был тем более страшен, что совершенно исказил наши характеры, и у нас появились пороки, чуждые нам до сих пор. Люди, которые были до этого времени честными, чувствительными и великодушными, сделались теперь эгоистами, скупыми, ростовщиками и злыми» (Лабом).*

Некоторые, надеясь найти спасение в плену, выходили с поднятыми руками навстречу казакам и крестьянам. Но те, отняв оружие и драгоценности, прогоняли их обратно...

Так что «генералы Мороз и Понос» были для интервентов не случайными обстоятельствами, не стихийными бедствиями, а обычными традиционными средствами ведения «скифской вой-

ны». Подвергшийся нападению вправе выбрать своё оружие, в том числе холод, голод и всё с ними связанное.

Врагами вторгшихся в Россию войск объединённой Европы были также недомыслие Наполеона и его мания величия. Эта мания доводила Наполеона до того, что он объявлял своими личными врагами некоторых офицеров противника. Так, он с первой встречи (в Тильзите, при заключении мира в 1807 году) возненавидел Дениса Давыдова: как же, отважный гусар не опустил глаза под грозным взглядом Бонапарта и даже, хотя был ненамного выше ростом коротышки-императора, смотрел на него свысока. А в 1812 году, при отступлении, Наполеон чудом избежал пленения партизанами Давыдова. Узнав в нападавшем ненавистного гусара, он послал двухтысячный отряд с приказом – найти его и расстрелять. У Давыдова людей было около тысячи, но они смогли окружить французов и взять в плен весь отряд.

О том, каково было французам в русском плену, подробно писал тот же военный врач Ф. Мерсье, пленённый в Вильно. В пути через места, пострадавшие от нашествия, отношение к пленным конвоя и крестьян было весьма суровым. Всё изменилось, стоило войти на территории, не затронутые войной: «С момента нашего прибытия в пределы Саратовской губернии мы почти на каждом шагу встречали со стороны населения ее выражения симпатии и расположения, еще даже более трогательные, чем в Великороссии. И притом не только в деревнях, где нас радушно принимали крестьяне, но даже и в тех городах, где нам приходилось временно останавливаться, нас навещали русские вельможи и великосветские дамы; последние проявляли по отношению к нам особенное сочувствие, с необъяснимым для нас искусством успевали они осведомляться обо всех наших нуждах, и вслед за тем по адресу одного из нас получались необходимое белье, теплая одежда, обувь, вино, посланные чьей-то неведомой заботливой рукой. Как оказалось потом, все такие справки они получали от стариков-солдат нашего эскорта; эти brave ветераны охотно отвечали на подобные расспросы и оказывали помощь нашим любезным благотворительницам».

Но благотворительность населения была дополнена царской милостью: «...адъютант объявил нам, что по приказу Его Величества Александра I мы получим сейчас же жалованье, полагающееся каждому по чину, которое нам будут уплачивать и впредь первого числа каждого месяца из государственного казначейства. Он прибавил при этом, что на отпускаемые нам средства мы уже сами должны позаботиться о столе для себя, а также и обо всем необходимом по устройству в отведенном нам помещении, которое предоставлялось в наше пользование бесплатно, но что, впрочем, если бы кто из нас пожелал устроиться на квартире в городе, это свободно разрешается, разумеется, на собственный счет. Затем он закончил свою речь следующими словами, доставившими нам приятное удовлетворение: “Наконец, я должен сказать вам, господа, что отныне, согласно намерениям Его Величества, вы являетесь пленными лишь по имени; при вас более не будет ни караула, ни стражи; вы можете свободно ходить не только в городе, но и в окрестностях на несколько миль, возвращаясь только ночевать обязательно к себе на квартиру. Вы можете также, спустя некоторое время, предпринимать и более далекие путешествия, но каждый раз с разрешения губернатора и притом исключительно в пределах его губернии. Его Величество убежден, что вы не злоупотребите свободой, вам предоставленной; впрочем, не забывайте, что нарушение вами этих условий может повлечь за собой ссылку в Сибирь”».

В этом прослеживается наследие глубокой древности. Как известно, скифы и восточные славяне хотя и обращали пленных в рабов, рабство это было патриархальным. То есть рабы жили в тех же условиях, что и хозяева. Варвары! Азиаты...

Военные историки долго будут изучать кампанию 1812 года. А дедушка Крылов, не мудрствуя лукаво, представил своё видение в басне «Ворона и курица»: «Когда Смоленский князь, противу дерзости искусством вооружась, вандалам новым сеть поставил и на погибель им Москву оставил...» В этом вся суть: против дерзости – искусством! Древним, проверенным тысячелетиями военным искусством скифов – хозяев бескрайных степей Евразии.